

Н О В Ы Й
М И Р

3

1964

Н О В Ы Й
М И Р

1964

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 3

Март, 1964 г

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>150 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко</i>	
ТАРАС ШЕВЧЕНКО — Заповіт	3
ТАРАС ШЕВЧЕНКО — Завещание. Перевел с украинского А Твардовский	4
АЛ. СУРКОВ — Великий кобзарь Украины	5
—	
В РОЗОВ — В день свадьбы. Драма в трех действиях	10
НАЗЫМ ХИКМЕТ — Из неопубликованного. Стихи Перевела с турецкого М. Павлова	53
ВИЛЬ ЛИПАТОВ — Чужой. Повесть	55
С. МАРШАК — Лирические эпиграммы	132
Генерал армии А В. ГОРБАТОВ — Годы и войны (Страницы воспоминаний)	133
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
А. ТЕРЕНТЬЕВ — На Воткинской ГЭС. Записки рабочего-монтажника	157
ПУБЛИЦИСТИКА	
ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ — Женни Маркс (По ее письмам)	179
В ШКЛОВСКИЙ — Чегыresta лет русской книги	190
В МИРЕ НАУКИ	
ЮЛ. МЕДВЕДЕВ — Защитница полей	194
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А НИНОВ — Искусство невыдуманного рассказа	213
Ф. СВЕТОВ — Человек и его дело	226

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Е. Старикова. Портреты и размышления.— Сергей Нарвчатов. Истоки мужества.— В. Баранов. Во имя дружбы...— Б. Сарнов. Зрелость.— З. Паперный. В плане языка и по линии анализа.— А. Каменский. Писатель и история живописи.— И. Роднянская. «Пишущий правду...»	235
<i>Политика и наука</i>	
С. Г. Струмилин. Мир капитализма и социализма в цифрах.— Дм. Рудь. Могучий фактор сельскохозяйственного прогресса.— Я. Смородинский. Размышления о своей науке.— И. Миндлин. Против философии антикоммунизма.— И. Иноземцев. Цена карты.	263
КОРОТКО О КНИГАХ	276
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

*150 лет со дня рождения
Тараса Григорьевича Шевченко*

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

★

ЗАПОВІТ

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори' —
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... а до того
Я не знаю бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сім'ї великій,
В сім'ї вільній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.

25 Декабря 1845
в Переяславі



ТАРАС ШЕВЧЕНКО

★

ЗАВЕЩАНИЕ

Как умру, похороните
На Украине милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.
И когда с полей Украины
Кровь врагов постылых
Понесет он... вот тогда я
Встану из могилы —
Подымусь я и достигну
Божьего порога,
Помолюся... А покуда
Я не знаю бога.
Схороните и вставляйте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте — помяните
Добрым тихим словом.

Перевел А. Твардовский.



Ал. СУРКОВ

★

ВЕЛИКИЙ КОБЗАРЬ УКРАИНЫ

Девятого марта 1814 года в ничем не примечательном селе Моринцы, Звенигородского уезда, Киевской губернии, в семье крепостного крестьянина родился мальчик, названный при крещении Тарасом. Десятого марта 1861 года в столичном городе Российской империи Санкт-Петербурге безвременно, в расцвете своего поэтического гения скончался великий поэт украинского народа, один из величайших поэтов своего времени — Тарас Григорьевич Шевченко.

Между этими двумя датами простерлась судьба, равной которой по трагизму, по обилию физических и моральных мук, выпавших на долю одного человека, нет ни у одного из великих поэтов мира.

Рано потеряв родителей, сирота Тарас в полной мере испытал все тяготы и унижения горькой доли «крипака», подневольного комнатного мальчика, «казачка» при жестоком и своенравном отпрыске дворянского рода Энгельгардтов. Только невиданная природная одаренность, с детства проявившаяся огромная сила характера да счастливое стечение обстоятельств не дали светлому гению Тараса Шевченко погаснуть в непроглядных потемках рабской жизни, как искони гасли без следа тысячи талантов крепостных людей.

Выучившись читать и писать у полуграмотного сельского дьячка, с самого раннего детства Тарас почувствовал непреодолимую тягу к рисованию. Никакие наказания не смогли преодолеть эту тягу, и наконец изверг помещик, обуреваемый тщеславным желанием иметь среди двора своего крепостного художника, отдал восемнадцатилетнего Тараса на выучку к малярным дел мастеру Ширяеву. Знакомство с земляком художником Сошенко ввело крепостного юношу в круг внимания таких видных деятелей искусства того времени, как поэт Василий Жуковский и художник Карл Брюллов. Они способствовали выкупу Тараса из крепостной неволи и поступлению его в Академию художеств. Это был решающий шаг из душного мира крепостной безысходности в среду широких интеллектуальных и художественных интересов, к занятию любимым делом живописи и поэзии.

Годы, проведенные в Петербурге и на родной Украине, до черного дня ареста, заключения в каземат Петропавловской крепости и сдачи в солдаты, были годами чудесного расцвета таланта Шевченко-художника и гения Шевченко-поэта.

Читая бессмертные строки стихов и поэм Шевченко, рассматривая его художественные полотна, его акварели и рисунки, его офорты и гравюры, с особой болью ощущаешь, какое огромное преступление перед украинским народом и человечеством совершил Николай I, на десять лет набросив на душу Тараса удавку красного солдатского воротника и ускорив уход поэта из жизни.

Ни в русской, ни в украинской литературе XIX века нет поэта, которого бы можно было сравнить с Тарасом Шевченко по врожденному демократизму его творчества, по глубочайшей народности, по прямоте и последовательности бескомпромиссной ненависти к крепостническому строю. Печатью пламенного гнева отмечены все произведения Шевченко, написанные до солдатчины, во время солдатчины и после возвращения из ссылки.

С особой силой ненависть к социальному и национальному гнету нашла свое выражение в поэмах «Сон», «Кавказ», «Еретик».

С испепеляющей иронией Шевченко пишет в поэме «Кавказ»:

А тюрем сколько! А солдат!
От молдаванина до финна
На всех языках все молчат:
Все благоденствуют...

С горечью «крипака», испытавшего все муки крепостного ада, Шевченко в той же поэме создает гневные строки:

По апостольским заветам
Любите вы брата,
Суесловы, лицемеры,
Господом прокляты!
Возлюбили вы не душу,—
Шкуре братней рады.
И дерете по закону:
Дочке — на наряды,
На жите — сынкам побочным,
Жене — на браслетки...

С такой же беспощадной ненавистью Шевченко разоблачает лицемерие религии, служащей интересам угнетателей:

Часовни, храмы да иконы,
И жар свечей, и мирры дым,
И перед образом твоим
Неутомимые поклоны —
За кражу, за войну, за кровь,—
Ту братскую, что льют ручьями,—
Вот он, дареный палачами.
С пожара краденный покров!!.

Потому-то в «Завешании» мы читаем такие строки:

И когда с полей Украины
Кровь врагов постылых
Понесет он... вот тогда я
Встану из могилы —
Подымусь я и достигну
Божьег порога,
Помолюся. А покуда
Я не знаю бога.

Эти три мотива, варьируясь и углубляясь, неизменно звучат в стихах и поэмах Шевченко от первой строки «Кобзаря» до последней, написанной им на раннем закате его жизни.

И четвертый мотив, пронизывающий творчество великого кобзаря — бескомпромиссная, неумолимая и неистощимая ненависть к царям и их сатрапам, олицетворяющим и национальный и социальный гнет.

В Николае I, в его семье Шевченко видел врагов родного народа, своих личных врагов. Недаром он не называл Николая иначе, чем «неудобозабываемым тормозом». Недаром он в стихотворении «Холодный Яр», обращаясь к блюдолизам-либералам, требует:

Не зовите преподобным
Николу-Нерона!

Среди стихов, отобранных у поэта при его аресте в Киеве, была поэма «Сон», а в ней строки, вызвавшие особое ожесточение и ненависть Николая I, строки, в которых «помазанник божий» изображен чудовищным медведем, а про царицу сказано:

Та царица, что опенок —
Тонка, длиннонога,
И, бедняга, непрестанно
Трясет головою...

Эти стихи вызвали личную ненависть царя к поэту. Из-за этих стихов преемник Николая, его сын Александр II, при вступлении на престол отказал поэту в амнистии, несмотря на хлопоты влиятельных друзей.

Свою ненависть плебея-революционера к царям и царизму Шевченко пронес до последних дней своей жизни.

Меньше чем за полгода до смерти Тарас Григорьевич пишет стихотворение, вновь возвращающее читателя к четвертьвековому поединку поэта с царизмом:

Хотя лежачего не бьют,
Да и покою не дают
Ленивому... Тебя ж, о, сука!
И сами мы, и наши внуки,
И люди миром проклянут.
Не проклянут, а только плюнут
На тех раскормленных щенят,
Что ты шенила. Мука! Мука!
О скорбь моя, моя печаль!
Когда ты сгинешь? Или псами
Цари с министрами-рабами
Тебя затравят, изведут?
Не изведут! А люди тихо
Без всякого лихого лиха
Царя на плаху поведут.

Таким беспощадным, бескомпромиссным врагом царей, помещиков, их лакеев-либералов предстает перед нами Тарас Шевченко — певец гнева и народной мести, певец революционного призыва к борьбе угнетенных против угнетателей, подлинный и последовательный крестьянский демократ-революционер, карающий своим стихом угнетателей и поработителей родного украинского народа, всех народов, стонущих под ярмом угнетения.

Но рядом с ненавидящими, негодующими строками в поэзии великого кобзаря живут и до сих пор неизменно волнуют читательское сердце стихи, полные нежной любви к родной Украине, к ее неистощимой, неуми-

рающей красоте, к ее простому трудовому люду — крепостным мужикам, в сердцах которых свирепое рабство не убило живую и прекрасную человеческую душу, к чудесным ее пейзажам, которыми бредил штрафной солдат в приаральской пустыне, к ее героической истории и ее вольнолюбивым сынам, столетиями защищавшим свободу своей родины от посягательств ее врагов.

Горестная судьба поэта обусловила неизменный налет скорби и горечи, пронизывающий большинство созданных им произведений. В стихах Шевченко обильно льются слезы. Но во всем, что написал он за свою жизнь, нет ни строки жалостливой, ни строки, вызывающей безнадёжное отчаяние. Слезы в стихах Шевченко или переливаются в сыновнюю нежность к родине и ее угнетенному народу, или в разящий свинец ненависти к ее угнетателям.

Любовь к Украине — самое сильное, всеобъемлющее чувство в поэзии Шевченко. Но напрасно нынешние враги украинского народа, фальсифицируя творчество великого кобзаря, стараются загримировать его под шовиниста.

Да, Шевченко ненавидел врагов Украины, палачей и угнетателей ее народа. Да, он писал стихи-проклятья против польской шляхты, заливавшей столетиями кровью украинские земли. Да, безмерна была ненависть великого кобзаря к русскому царизму, превратившему братское соединение русского и украинского народов в ад национального и социального угнетения. Эти мотивы звучат в творчестве Шевченко всеобщее и полногласно.

Но те, кто к нынешней годовщине в спекуляторской спешке готовит в Вашингтоне открытие памятника великому кобзарю, сознательно оставляют в тени самое главное в творчестве Шевченко — гневный социальный протест революционера, протест против угнетения всех людей труда — вне национальных, географических и исторических рамок.

Они сознательно замалчивают пронизывающий все творчество Шевченко мотив сочувствия ко всем людям труда, без различия национальностей, постоянное противопоставление угнетателям — будь то польская шляхта или царские сатрапы — простого народа Польши и России, они оставляют в тени то обстоятельство, что долгие годы Тараса Григорьевича связывали узы горячей, искренней дружбы с передовыми представителями русского и польского народов, что в стихах его, в его письмах и дневниках можно уловить поразительное по тем временам чувство интернациональной солидарности, перерастающей рамки украинского патриотизма и славянской общности.

Нельзя не сказать еще об одной черте творчества великого кобзаря, особенно дорогой нам, людям, участвующим в создании поэзии социализма.

Творчество Шевченко тысячами нитей связано с народным творчеством Украины. Революционер и в области современного ему стиха. омоложивая и одухотворяя новым содержанием самые различные формы народной поэзии, ее песен, ее исторических «дум». Шевченко создал такой новый сплав, который выдержал испытание столетием. Своим примером он как бы утвердил обязательность ориентации новаторских поисков на глубокую народную традицию.

И недаром до сих пор, как отклик народного сердца на доверие поэта к безымянным народным певцам, десятки лучших стихотворений Шевченко живут в городах и селах Украины и, переступив ее границы, звучат на языках других братских народов.

Разве не стала «Рече та стогне Дніпр широкий» такой же всеобщее распевной русской народной песней, как «Ермак» Рылеева или «Коробейники» Некрасова? А «Вишневы садик возле хаты» и «В огороде,

возле брода»? А многие другие Шевченковы песни, ставшие народными песнями и украинцев, и русских, и белорусов, и иных народов нашей многонациональной родины?

Вот почему каждый из братских народов Советского Союза будет отмечать столетие со дня рождения великого кобзаря не только из чувства солидарности с братским украинским народом, но и как свой культурный праздник, ибо, переведенное на все языки и наречия народов нашей родины, слово Тараса находит отклик в сердцах молдаванина и финна, грузина и армянина, узбека и таджика и всех народов, которым Великая Октябрьская революция открыла широкие просторы для яркого цветения их национальных культур.

Сбылась мечта поэта, исполнилась его заветная просьба:

И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте — помяните
Добрым тихим словом.

Всемирный Совет Мира, объединяющий сотни миллионов людей, борющихся за мир в нашем сегодняшнем беспокойном мире, по праву вписал имя Тараса Григорьевича Шевченко в календарь памятных дат человечества.



В. РОЗОВ

★

В ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Драма в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

САЛОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ — ночной сторож.

НЮРА
ЖЕНЯ
НИКОЛАЙ

} его дети.

РИТА — жена Николая.

НЕЛЛИ — их дочь.

МИХАИЛ ЗАБОЛОТНЫЙ.

ВАСИЛИЙ ЗАБОЛОТНЫЙ.

КЛАВА КАМАЕВА.

МАЙЯ МУХИНА.

ТОНЯ — подруга Нюры.

ОЛЯ КОЖУРКИНА.

МЕНАНДР НИКОЛАЕВИЧ — кладовщик.

МАТВЕЕВНА.

СЕРГЕЕВНА.

АЛЕВТИНА ПЕТРОВНА.

Музыканты, парни, девушки, гости.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Двор небольшого дома, расположенный на высоком берегу Волги. Во дворе врытый в землю стол, верстак с привинченными к нему тисками. Сбоку виден сарай. Во дворе вещи, вынесенные из дома для просушки и проветривания: мебель, коврики, дорожки и другая разная утварь. В доме раскрыты окна. Там идет уборка, моются полы. На протяжении сцены Сергеевна периодически выносит ведро грязной водой, где-то за домом выливает его и несет в дом чистую воду. Иногда она вытрясает на крыльце то занавеску, то накидку, то просто тряпку. С Волги доносятся гудки пароходов, сирены самоходок, жужжание моторных лодок. Полдень. Жарко.

У стола сидят Салов Илья Григорьевич и Матвеевна. Салов диктует. Матвеевна записывает. У верстака Михаил, он разбирает какую-то деталь.

С а л о в. ...Значит, всего гостей будет сорок шесть человек. Ну, округлай — пятьдесят, может, кто так зайдет, на шум. Теперь пиши, чтокупить. Мяса килограммов десять уж обязательно — котлеты сделать да в пироги. Нет, десяти не хватит, четырнадцать уйдет. Пиши — четырна-

Право первой постановки в Москве принадлежит театру «Современник», в Ленинграде — Большому драматическому театру имени Горького.

дцать. Баранины возьми да свинины. Студень, конечно, надо. Значит, коровьих ног восемь штук или десять. Пиши уж десять. Селедок. Ну, пять-то килограммов обязательно. Посолоней возьми, да только не ржавых, не тощих, жирных выбери. Постного масла два кило уйдет: и на винегрет... на винегрет зеленого луку купи килограмма три, на базаре его уж много.

Матвеевна. Дорогой ещё, по семидесяти копеек.

Салов. Ничего, свадьба, чай, а не так — вечеринка. Яиц — и в пироги и к селедке — сотню надо взять. Можно недорогих, не по рубль тридцать четыре, а по девяносто пять. Капусты возьми кочна четыре, с мясом пироги-то сделаем и с капустой.

Матвеевна. С рыбой бы еще хорошо.

Салов. Рыбы-то, пожалуй, не достанешь.

Матвеевна. А я с утра в артель в Черноусово съезжу, достану. Прямо из невода возьму, и недорого.

Салов. Это хорошо. Съезди, достань.

Матвеевна. Дам на литровку, они мне полную корзину наложат.

Салов. Колбасы бы хорошо.

Матвеевна. Порыскаю.

Салов. Ну, пока все. Бери корзину и иди.

Матвеевна уходит.

(Ей вслед.) Семянок к вечеру купи стаканов пятнадцать.

Матвеевна ушла. Салов развернул лежащую на столе газету, посмотрел в нее, отложил в сторону.

Мишуха, принеси пивка, парит шибко.

Михаил. А где оно?

Салов. В подпол, поди, Нюрка поставила.

Михаил пошел в дом за пивом. Салов встал, подошел к дверям сарая, приоткрыл их.

(Говорит негромко.) Женечка! Женька!

Ответа нет. Салов прикрыл дверь и снова пошел к столу, но на ходу кого-то увидел за забором.

Менандр Николаич, зайди-ка.

Михаил вышел из дома.

Михаил. Нету там, Илья Григорьевич.

Салов. Значит, в погреб унесла. Поди пошарь — привыкай к дому-то.

Михаил идет в погреб. В калитку входит Менандр Николаевич. Он сильно плачет на одну ногу, видимо, инвалид войны. Здоровается с Саловым.

Менандр Николаевич (показывая на выставленное во дворе имущество). К завтрашнему торжеству готовишь?

Салов. Ага!

Михаил. Здравствуйте, Менандр Николаевич.

Менандр Николаевич. Здравствуй, Миша. Ты что, в вечернюю, что ли?

Салов. Три дня законные взял, положено.

Менандр Николаевич. То-то, смотри, гуляет.

Михаил ушел в дом. Менандр Николаевич здоровается за руку с Саловым.

Салов. Садись, Менандр Николаич, пивка выпьем.

Менандр Николаевич садится к столу.

Перерыв, что ли?

Менандр Николаевич. Обедать иду.

Салов. Жарища-то какая! Вторую неделю шпарит.

Менандр Николаевич. Сухо... Михаил-то к тебе уж и пере-
ехал?

Салов. Нет еще. Хочу по правилам: как завтра регистрируются,
так уж и сюда. Ты приходи, субботу и воскресенье гулять будем.

Менандр Николаевич. Влетит тебе это предприятие в ко-
пеечку.

Салов. Свадьба.

Менандр Николаевич. Деньги-то где достал?

Салов. Нюрка ссуду взяла, у Михаила подкоплено было, да я как
раз страховку жизни получил. Удобная штука, понимаешь! Вносил вро-
де по мелочам, а теперь сразу двести рублей отвалили.

Менандр Николаевич. Одного вина, поди...

Салов. Самогоночки добавим. Из Семеновского деверь привезет, до-
бывает там один...

Менандр Николаевич. Не боится?

Салов. Говорят, способ новый придумал. Холодильник у него ЗИЛ,
так он в холодильнике вымораживает. Не гонит, а по-новому — холодом
выпаряет.

Менандр Николаевич. Смотри ты!.. Надо узнать, как это.

Входит Михаил. Ставит на стол бутылки, стаканы.

Салов (*трогая рукой бутылку*). Запотела. Глотку бы не застудить.
(*Открывает пиво, разливает по стаканам.*) Достань-ка, Менандр Ни-
колаич, белил цинковых килограммов шесть. Есть на складе-то у тебя
или нет?

Менандр Николаевич. Тебе когда надо-то?

Салов. Да сегодня бы.

Все трое выпили пива. Михаил пошел к верстаку и тискам.

Это Николай просил. Катер он купил моторный, да цвет не по вкусу,
перекрасить хочет. Хорош катерок. Не видел?

Менандр Николаевич. Нет.

Салов. Он его у пассажирской поставил. Поедешь в город, посмот-
ри. Около шестидесяти сил... Да погоди, он, наверно, на нем сегодня и
приедет. Точно! Михаил вон ему бензонасос перебирает взамен.

Менандр Николаевич. Белила есть, как раз завезли. Ясли кра-
сить будем. Пока ребягишки в лагере, окрасим. Только ты мне дай би-
дон, я налью — будто бы молоко. А то неловко, увидит какая собака.

Салов. Мишуха, принеси-ка бидон!

Михаил (*заикаясь*). А г-где он?

Салов. В кухне, поди.

Михаил ушел.

Менандр Николаевич. С брачком парень-то.

Салов. А ему с Нюрой не по телевизору выступать комментатора-
ми... Да и не всегда он, иногда ровно говорит, без запинания.

Менандр Николаевич. С чего это у него?

Салов. От рождения, видать.

Менандр Николаевич. Нехорошо.

Салов. Чего нехорошо?.. Вон ты хромой, калека, можно сказать, от
тебя жена и то не откристилась.

Менандр Николаевич. Так я в Отечественную...

Салов. Одним словом, Нюркино дело, не наше.

Менандр Николаевич. Это точно. А так-то он как?
Салов. Тихий.

Пьют пиво. С Волги доносится басистый гудок теплохода.

Большой сверху идет. «Илья Муромец» должен. Волга-то стала, Менандр Николаич, а? Магистраль! Теплоходы, пароходы, самоходки, толкачи туда-сюда, а?

Менандр Николаевич. Точно. В двадцатых-то годах самолетские-то чудом красоты казались, а теперь их, голубчиков, и не видно в гуще-то, вымирают... Жалко, тоже красавцы были.

Салов. По высотой-то воде им тяжело.

Менандр Николаевич. Жаль только, этими морями Волгу портили, красоты той нет, тишины, волшебства...

Салов. Зато процесс.

Менандр Николаевич. Это точно... Роща вон там была, тоже нет, свели.

Салов. Домищи-то какие выставили!

Менандр Николаевич. Домищи — точно. Да... чего-то уходит, чего-то взамен.

Салов. И на заводе нашем что раньше-то выпускали? Напильники да чугуны с кастрюлями. А теперь экскаваторы.

Менандр Николаевич. Развиваемся...

Салов. Мост пешеходный строят.

Менандр Николаевич. Это хорошее дело. А то по весне да по осени тонут люди-то.

Салов. Николай катер на меня записать пожелал. Говорит: не хочу, чтобы мне этим катером всякий паразит в нос тыкал. Теперь ведь мода такая: раз ты начальник, стало быть, вор. Глупо.

Менандр Николаевич. Еще бы не глупо. Подумаешь, моторка! Да их теперь по Волге тыщи. Слышишь?

Тихо. Слышны звуки идущих по Волге моторных лодок.

Что раньше стрекоз. А помнишь, в двадцатых-то одна ходила, губисполкомовская.

Салов. Помню, помню. Смех! А чья она была?

Менандр Николаевич. Да я ж тебе говорю — губисполкомовская, обчая.

Салов. Да, да, богатеем.

Менандр Николаевич. Жизнь-то разворачивается...

Салов. Шибко.

Менандр Николаевич. А берегов старых жалко. Заводы были, камыши, остров песчаный.

Салов (*смеется, пугая его*). Погоди, еще издадут приказ — высушить всю Волгу. Скажут — не надо, и конец.

Менандр Николаевич. Кто это скажет?

Салов. Там... Решат и высушат. Один миг! Мол, будет тут проезжий тракт. Зальют, стало быть, русло асфальтом, до краев нальют, укатают и пустят машины. Мол, для скорости...

Менандр Николаевич. Будет тебе...

Салов. Вот те и будет!

Входит Михаил, ставит бидон на стол, идет к тискам.

Менандр Николаевич. Техника, конечно, идет. А я вот что читал: скоро изобретут машину почище телевизора — мысли читать будет.

Салов. Это ты оставь...

Менандр Николаевич. Говорю тебе!

Салов. Не допустят.

Менандр Николаевич. Увидишь.

Салов (*сердясь*). Закон издадут — не изобретать.

Менандр Николаевич. Да, да. Вот так я сижу с тобой, а в кармане у меня аппарат.

Салов. Не будет этого!

Менандр Николаевич. Будет. Что произойдет-то?

Салов. Неразбериха, вот что. Да разве человек волен над своими мыслями? Мало ли что в голову лезет... Вот тут я как-то сижу в охране с оружием своим, идет мимо Харитонов, бухгалтер наш, хороший человек, приятный, а я думаю: «Вот сейчас наведу я на тебя свое оружие... бац! и ты кверху лапками!..» Вот, брат, какие глупые мысли... Меня уж за одно это прямо арестовать надо, а? Как ты думаешь, Мишуха, изобретут такой аппарат?

Михаил. Возможно.

Салов. Одна радость — не доживу.

Менандр Николаевич (*берет бидон, уходит*). Благодарю за пиво.

Салов. Так ты принеси к вечеру.

Менандр Николаевич. Налью. (*Пошел.*)

Салов (*вслед*). На свадьбу-то с жинкой приглашаю.

Менандр Николаевич ушел.

Садись, Мишуха, в тень, а то голову напечет.

Михаил садится к столу, наливает пива, пьет.

Имущество-то свое ты из общежития сегодня и переноси, а то завтра кружало будет, завертит.

Михаил. Ладно.

Салов. С чего это ты зайкой-то стал? С рождения, что ли?

Михаил. Н-нет.

Салов. Испугали?

Михаил. Д-да т-так...

Салов. Это изъян небольшой. А в остальном хороший ты парень, деловой. Рад я, что ты Нюрку мою берешь. Она ничего, здоровая, ровная. Засиделась, конечно, маленько. Двадцать шесть лет — это для женщины возраст, да по тебе все, дурень, тосковала. Чай, уж года три, а то четыре, а ты все гянул чего-то. Чего тянул-то, а?

Михаил. Брак все-таки, Илья Григорьевич.

Салов. Это, конечно. Да ты зови меня просто — папаша, душевнее вроде.

Михаил. Не привык еще.

Салов. Привыкай. Вот, брат, и кончается твоя одинокая жизнь. Учить мне тебя нечему, вы теперь, молодые, учнее нас. Да ты разинь рот-то, поговори со мной.

Михаил. О чем?

Салов. О себе расскажи. О жизни, которая была. Что я о тебе знаю? Шестой разряд, комсорг цеха — и все.

Михаил. В детдоме я воспитывался.

Салов. Это знаю. А родители-то кто были?

Михаил. Неизвестно.

Салов. Приблудный, что ли?

Михаил. Из Ленинграда нас в сорок втором вывезли.

Салов. Стало быть, законные имелись. Это хорошо. Не помнишь их?

М и х а и л. Не помню.

С а л о в. Совсем?

М и х а и л. Совсем.

С а л о в. Ну, хоть что-нибудь маячит?

М и х а и л. Ничего.

С а л о в. Совсем ничего?

М и х а и л. Совсем.

С а л о в. Жалко. Интересно бы было... Экой ты, брат!

М и х а и л. Я себя только с детдома помню, с Перми.

С а л о в. Да, детдом — это не малина. Конечно, государству честь и хвала, забота, так сказать. Только детдом — нехорошо, из детдомов одно ворье выходит, жулики.

М и х а и л (*смеется*). Ну уж!

С а л о в. Не о тебе говорю, не обижайся. Детдом-то хоть путный был? А то в войну ко всяким таким заведениям примазывались разные, на жратву пёрли.

М и х а и л. И у нас было. Потом упорядочили.

С а л о в. А фамилия твоя от кого пошла, не знаешь?

М и х а и л. Нас, говорят, когда из Ленинграда вывозили, бомбили сильно, поубивали много. А кто остался, лесами да болотами выводили. Четырнадцать детей, говорят, осталось. Нашли за болотами без единого взрослого, поубивало их. Так всех нас и окрестили Заболотными. Трое еще в Перми умерло, тех уж я помню.

С а л о в. А остальные где?

М и х а и л. Ну, Василия-то, моего дружка, вы знаете. А остальные — по Союзу.

С а л о в. Да, война... (*Скомжал газету*.) Вот какие командиры воевать собираются, им бы так сказать: давайте-ка, господа-товарищи, мы сначала вас поубиваем, детей ваших и жен, а потом воевать начнем, согласны? Не согласятся ведь, потому сами-то выжить собираются, командиры-то эти... У нас тебе хорошо будет, Михаил. Я человек не трудный, во все времена честный был. Теперь круг твоей жизни замкнулся, причалил, брат. Теперь ровно пойдёт, хорошо. В школу-то ты в какой класс ходишь?

М и х а и л. В десятый.

С а л о в. Перспектива, значит, есть.

Во двор входит Василий.

В а с и л и й (*Михаилу*). Ты тут? Привет, Илья Григорьевич.

С а л о в. Здравствуй, баламут. Ты от кого удирал, что ли?

В а с и л и й. С чего это?

С а л о в. Рожа шкодливая.

В а с и л и й. Ног у калиткой прищемил.

С а л о в. Не хвост ли?

В а с и л и й. Я узнать — не нужно ли помочь?

М и х а и л. Вещи из общежития перенести надо.

В а с и л и й. Давай. Раньше невесты приданое в дом тащили, а теперь женихи.

М и х а и л. Равноправие.

В а с и л и й. Даже больше. Шиворот-наоборот... Пиво-то всем дают или только родственникам?

С а л о в. Сквозняк ты, парень, ветрогон. Пей.

В а с и л и й (*наливает пиво, пьет*). Почему сквозняк? Я веселый.

С а л о в. Чересчур.

В а с и л и й. А нам, Илья Григорьевич, много в жизни недодано. Что мы с Мишей в детском доме видели? Думаете, одни конфетки? Золо-

того детства не было. Оловянное было, железобетон. А теперь мы в люди вышли, сами себе начальство. Надо свое добрать. Жизнь-то хороша, Илья Григорьевич! Хороша, а?

Салов. Ну, хороша.

Василий. Именно. И Волга хороша, и небо хорошо, и во мне все переливается. Работаем мы складно. Висят наши портреты у ворот предприятия? Висят. Значит, с государством мы в ладах. Ну, и жить мы с Мишей должны в свое удовольствие, вольно, а?

Салов. Ты себя с Михаилом не равняй.

Василий. А я и не равняю, разные мы. Он в глубь жизни нырнуть норовит, а я поверху плаваю. Знаю.

Салов. Тебе тоже вглубь-то не мешало бы.

Василий. Не могу. Пузырь у меня внутри большой, наверх выбрасывает. Да и чего там в глубине — дышать нечем. Жили мы в глубине-то, знаем. А наверху солнышко светит, воздуху много, одна радость.

Салов. Несерьезный ты человек.

Василий. Это правильно. А почему? Я, Илья Григорьевич, не люблю, когда мне жизнь на завтра откладывают. Завтра, мол, тебе будет хорошо, а теперь потерпи. Мне ведь, собственно говоря, и сейчас хорошо. Я ведь не совсем опилками нашпигованный, на других вон смотрю, вижу — мечутся, как угорелые, глаза озабоченные, рыскают. Ох, мол, делом я сейчас занимаюсь, некогда мне, не до веселья, отойдите все от меня. Я лучшее добываю. А лучшее-то вот оно, тут. *(Стучит себя в грудь.)* Не люблю я озабоченных и серьезных, много они о жизни выдумывают, приписывают ей, чего в ней и не имеется.

Салов. Язык-то у тебя хорошо подвешен, да слава о тебе плохая.

Василий. Какая это?

Салов. Сам знаешь.

Василий. От зависти языки чешут.

Во двор входит Оля.

Оля. Здравствуйте.

Салов. Здравствуй, Ольга.

Михаил. Здравствуй.

Василий. Кожуркина, приходи завтра на свадьбу, присматривайся.

Оля. Женя не приезжал?

Салов. Уж целую неделю тут.

Оля. А где он?

Салов. Вон в сарае спит.

Оля. Так уже двенадцать.

Салов. От московской жизни отсыпается.

Оля. А что?

Салов. Ничего. Там, поди, коромысло. С лица сбежал и все спит, спит. А ты-то где была?

Оля. Картошку окучивали.

Салов. Поди побуди его.

Оля. Пусть спит. Я после.

Василий. Да как это возможно! Что он там, зажмуря глаза, видит? Сны? А тут наяву такая симпатия явилась. *(Бежит в сарай.)*

Слышно, как Василий будит Женю: «Вставай, вставай, самое дорогое-то и проспай» Василий выталкивает из сарая Женю. Гот в одних трусах, взлохмаченный, заспанный.

Вот он, москвич.

Женя *(Оле)*. Приехала... Я к тебе каждый день заходил, узнавал.

О л я. Мне говорили.

С а л о в. Так чего ж ты меня спрашивала, приехал ли он?

О л я. А чего мне говорить-то было?

С а л о в (*Жене*). Поди ополоснись.

Ж е н я. Я на реку, выкупаюсь. (*Берет полотенце, одежду. Оле.*) Пойдем.

О л я. До свиданья.

Убежали.

В а с и л и й. Облизывайся, Михаил. Ты свое отгулял, последний день вольным ходишь. А мне в общежитие вселят теперь вместо тебя какого-нибудь деятеля из-под Чухломы. Э-эх, предал!..

С а л о в. Хорошая девчушка. Да мой-то там в Москве завел, поди, кого. В Москве-то, говорят, разврат кишит. Так-то он чистый был. Станный даже...

В а с и л и й. Чего странней — в артисты поехал учиться.

С а л о в. Ну и что, не люди они, что ли. артисты-то?

В а с и л и й. Да ты не переживай, Илья Григорьевич, может, из него мировая кинозвезда загорится. Прославит он всю вашу фамилию и наш поселок. Может, и обо мне потом в связи с ним напишут: был у его шурина Михаила дружок Василий Заболотный, парень во всех отношениях замечательный.

С а л о в. И трепло, какого свет еще не видывал. (*Михаилу.*) Что это Нюрка-то провалилась? Посуду еще надо доставать, у нас и на десяти-рых не наберешь.

В а с и л и й. Так я один миг, Илья Григорьевич, никто не откажет. Скажу — Мишке-сироте на свадьбу одолжите: на тысячу человек приборов наберу. Народ добрый, любит жалеть.

С а л о в. Ну, так берешь посудное хозяйство на себя?

В а с и л и й. Сказано!

С а л о в. На пятьдесят персон. Ножи, вилки, тарелки, стопочки, графины бы тоже. Хорошей посуды не бери, перебить могут.

В а с и л и й. Сделаю.

С а л о в. Пойду Женьке пожрать разогрею. (*Ушел в дом.*)

В а с и л и й (*оглядывая дом, двор*). Хозяйство ты себе отхватил одним махом. Кто был ничем, тот станет всем.

М и х а и л. Ты от кого тут прячешься-то?

В а с и л и й. Пошел купнуться, да чуть на Майку Мухину не напоролся.

М и х а и л. Она все-таки дочь главного инженера.

В а с и л и й. А у меня в этих делах равноправие.

М и х а и л. Разлюбил?

Василий утвердительно мотнул головой.

Быстро у тебя...

В а с и л и й. Ты счастливый, Миша. Ты свою Нюрку полюбил, три года вокруг нее топтался, теперь женишься, и на этом твои сердечные переживания оканчиваются. Теперь ты ее до гроба любить будешь. Тебе и кажется, что у всех так: полюбил, женился, помер.

М и х а и л. Оправдания, что ли, ищешь?

В а с и л и й. А чего мне оправдываться, чудак? Я размышляю. Полюбил я Мухину? Полюбил. А теперь разлюбил? Разлюбил. Вот я и хочу понять, что во мне происходит. Ведь человек-то я хороший.

М и х а и л. И с Прохоровой у тебя история была.

В а с и л и й. И с Прохоровой.

М и х а и л. И с Мигуновой.

В а с и л и й. И с Мигуновой. Да ты не считай, собьешься.

М и х а и л. И всех любил?

В а с и л и й. Всех, кланюсь. Я, видать, родился таким. Иду по улице, ни одной более менее сносной пропустить не могу. Сотворил же бог такое разнообразие! Ты, поди, идешь, девчонок-то и не замечаешь, а посмотри, как они сами в глаза хотят бросаться! Одна платье такое наденет, всю талию подчеркнет, другая волосы от ушей вверх так зачесет, что самое ее симпатичное местечко вот тут, коло уха, так и высвечивает. Третья кофточку наденет такую рентгеновскую — глазам больно. Ты думаешь, она этот газ-шифон для вентиляции носит? Четвертая туфельками как к тебе в душу и заползает...

М и х а и л. Недаром они тебе на шею и вешаются.

В а с и л и й. Недаром.

М и х а и л. Что с Мухиной-то делать будешь?

В а с и л и й. Скажу: извините, обознался, не за ту принял.

М и х а и л. Что значит — не за ту?

В а с и л и й. Ищу, Миша.

М и х а и л. Кого?

В а с и л и й. Ну, ту, единственную, о которой в песнях поют.

М и х а и л. Долго ищешь.

В а с и л и й. Чем же я виноват, что она где-то прячется! Скажи, ты Нюрку по-настоящему любишь?

М и х а и л. По-настоящему.

В а с и л и й. Выворачивает тебя?

М и х а и л. Что значит — выворачивает?

В а с и л и й. Ну, душу всю, значит, наизнанку рвет?

М и х а и л. Любовь-то, думаешь, перепой, чтобы наизнанку рвало?

В а с и л и й. Я не так выразился... Скрытный ты, разве расскажешь. Помнишь, когда мы на плотине на Куйбышевской работали — мне тогда лет семнадцать было, — влюбился я в первый раз в одну убогенькую. Тосей звали. Не помнишь?

М и х а и л. Разве упомнишь всех...

В а с и л и й. Жениться хотел. А потом понял — не люблю я ее, а жаляю. А она тогда без меня вроде и жить не могла. Вот, брат, какое положение. Уж я задним ходом, такие петли давал, еле вырулил. Плакала она. А я себя распоследним подлецом чувствовал, убить хотел. А теперь у нее муж — кандидат наук, двое детей или трое, кажется, узнал я недавно случаем. Меня разве только для смеха вспоминает.

М и х а и л. Ну и что?

В а с и л и й. Так... Нюрка твоя, конечно, ничего. Пообтрепалась она в завком в последнее время, обшаблонилась. Раньше как-то душевнее была, ярче... Слушай, откровенно скажи: ты вот только ее и любил?

М и х а и л. Ее. Ну, еще одна была. Та не в счет.

В а с и л и й. Кто это?

М и х а и л. Нет ее тут, уехала давно.

В а с и л и й. Не скажешь?

М и х а и л. Незачем.

В а с и л и й. А которую больше?

М и х а и л. Несравнимо это.

В а с и л и й. В какую сторону?

М и х а и л. Ну, ладно, не залезай, куда не приглашают.

В а с и л и й. Чудной ты, Миша. (Смеется.)

М и х а и л. Чем это?

В а с и л и й. Да я каждое твое дыхание знаю, и вдох и выдох, как ты мое. И в детдоме кровати наши рядом стояли, и теперь койки в общезжитии по одной стенке выровнены.

Михаил. И что?

Василий. Все, друг милый, я про тебя знаю.

Михаил. Что?

Василий. Ладно, не тарашь глаза.

Михаил. А ты скажи.

Василий. Ох, любишь ты все в себе в одиночку таскать. Смотри, не надорвись когда. От всех у вас заперто было, да не от моего глаза.

Михаил. Да ты скажи, на что намекаешь-то, балда?

Василий. У-ух, копилка ты беззамковая, навечная!

В калитку входит Майя Мухина.

Майя. Мишенька, с наступающей.

Михаил. Здравствуй, Майя, приходи завтра.

Майя. Обязательно. Потанцуем. Здравствуй, Василий.

Василий. Я думал, ты в город уехала.

Михаил ушел в дом.

Меня, что ли, ищешь?

Майя. Тебя.

Василий. Вот я.

Майя. Вижу... Разлюбил?

Василий молчит. Майя заплакала.

Василий. Ну, чего ты... Тебе со мной хорошо было?

Майя. Очень!

Василий. Ну, скажи спасибо, и на этом покончим. Зачем плохо-то делать?

Майя. Гад ты ползучий, вот ты кто.

Василий. Быстро переквалифицировала!

Майя. Вася! *(Бросилась к Василию, хотела его обнять, но он отбежал в сторону.)*

Василий. Не любишь ты меня, вот что.

Майя. Я? Ты что? Это ты, ты, ты меня не любишь! Я к тебе всей душой.

Василий. Да не душой ты, а телом, вот в чем беда.

Майя. Паразит!

Василий. Не лайся.

Майя. Душа тебе нужна, выродок.

Василий. У тебя же незаконченное высшее образование...

Майя. А у тебя ремесленное. Понимал бы разницу, детдом проклятый!

Василий. Детдом... Правильно я тебя раскусил. Вот уж полную пазуху камней накопила. Детдом!.. У детдома душа есть, веселье, а у тебя эгоизм один. Детдому-то, может быть, именно тихая ласка нужна, слово. А у тебя, знаешь, один ход — полный вперед всем корпусом. Так ведь и обожраться можно.

Майя. Вон как?! Ладно! Слетит твоя рожа с Доски почета, не видать тебе теперь прибыльной работы. *(Зовет.)* Миша. Миша!

Входит Михаил.

Я тебе официально, как комсоргу цеха, говорю: поставь об этом аморальном типе вопрос. Мало того, что с моей лучшей подругой Мигуновой поступил как последний подлец. Если бы ты, Мишенька, слышал, как она убивалась и плакала. Припала головой мне на плечо и вздрагивает и вздрагивает. А если ты по дружбе покрывать его начнешь, то, Мишенька, и тебя пошекотать придется, хотя ты — парень сам по себе

безобидный. Учти! (*Подошла к Василию.*) Добром говорю: пойдем прогуляемся по-хорошему, я не обидчивая.

В а с и л и й. Все высказала?

М а й я. Все.

В а с и л и й. Ну и отдавай швартовы.

М а й я. Смотри, Михаил, и на тебя жаловаться будем. Помни, Зася, я сейчас в эту крутую гору бежала не за тем, чтобы тут поплакать. В одной книжечке вычитала: женщина, полюбив, способна и на величайшую подлость, и на величайший героизм. Ты, поди, не читал, потому что больше футболом интересуешься. Так попомни! (*Ушла.*)

В а с и л и й. Ну, знаешь, раскрыла всю свою сущность! Я в последнее время чуял, что она нехорошая, но до такой степени...

М и х а и л (*передразнивая*). В последнее время... Правильно раньше делали, что по три года ухаживали, выясняли. А у нас теперь чуть зашепочет: ай, скорей! скорей! скорей! Как ты сразу-то ее не раскусил?

В а с и л и й. Доверчивый я. Показалось мне что-то в ней, померещилось. Что-то она в первые-то разы стоящее мяукала. Видать, тоже из какого-то сочинения напрокат брала. Я и развесил махалки. Нежность-то я люблю.

М и х а и л. Вот теперь и женись на ней.

В а с и л и й. Еще чего! Такая сожрет и по косточке через день выплевывать будет да еще облизываться.

М и х а и л. Она тебе не Мигунова. Она, знаешь, на плече у всего завода рыдать будет.

В а с и л и й. Ну и что?

М и х а и л. Повертись. Это ведь я один знаю, что ты парень хороший, хоть и пакостник, а в глазах-то всех как выглядишь?

В а с и л и й. Как? Ведь ей, гадюке, хорошо со мной было. Ведь я ей настоящее чувство дарил. Я всегда настоящее, все. А как настоящее уходит, я и сам ухожу. Я же не обманываю.

М и х а и л. Ты тут у меня заплачь, все тебя и пожалеют.

В а с и л и й. От этого не только плакать, удавиться охота. Что это тебя, понимаешь, норовят в собственность взять? Я не хочу, знаешь, этих узов брака. Я вообще никаких узов не люблю и не признаю. А на тебя со всех сторон узы, узы так и набрасывают.

М и х а и л. С людьми живешь, не на луне. Поди залетай туда первым, кувыркайся в одиночестве, делай что хочешь.

В а с и л и й. А! И туда с земли команду подавать будут.

М и х а и л. Таких, как ты, без узды оставь — наворочают. Дал слово — держать надо, а в таких делах особенно. Тут уж чужую судьбу в руки берешь, чужую жизнь. Другой человек доверяет тебе ее, согласие дает.

В а с и л и й. Э, погоди! Не навязывай мне свой образ жизни. Ты когда начинаешь все эти слова говорить, у тебя правильно выходит. Я и сам понимаю, что так-то, как ты говоришь, лучше. Да в этих делах я почему-то не по фарватеру иду, сносит.

М и х а и л. Она тебя и в райком потянет.

В а с и л и й. Ну, знаешь, райкому только и делов. Так они и мечтают заседать на тему, почему Васька Заболотный от Майки Мухиной ходу дает. Нет, ты скажи мне, на какую пакость я себя три месяца растрачивал! А ей все мало, мало, мало. Не любит она жизнь, себя любит, персону свою. Думает, и весь мир для нее сотворен. Нет, милая, он для всех поровну.

Входит С а л о в.

Салов. Ты еще за посудой-то не ходил?
Василий. Сейчас иду.

Входят Нюра и ее подружка Тоня.

Салов. Чего как долго?

Тоня. Долго!.. Поди походи из магазина в магазин по такой жарше-то. Одних туфель сто пар перемерили. Привереда она.

Нюра. Так ведь получше хочется.

Тоня. Не узнать тихоню-то нашу. Шумит, как ветер какой! Затакала. Сиреневые бусы искали. Подай ей сиреневые, вынь да положь. Все ряды обошли, в фабричный район ездили, с ног валимся. Михаил, видишь, ей приказал — сиреневые бусы надеть.

Михаил. Да в шутку я, просто так.

Тоня. А для нее шутка твоя приказом вышла. Вот, брат, какую жену берешь верную. Не нашли толбко, голубые купили. Может, с голубыми нас и не возьмешь?

Михаил. Возьму.

Тоня. А то мы ведь и другого отыщем, получше тебя. (Нюре.) Примерь туфельки, покажи.

Нюра вынимает из коробки белые туфли на высоких каблуках. Тоня бросилась ей на шею, плачет.

Салов. Чего ты, Антонина?

Тоня. Жалко!.. Таковую свадьбу закатим, чтоб на той стороне, в городе, слышно было.

Входит Алевтина Петровна со свертком в руках.

Алевтина Петровна. День добрый, товарищи.

Салов. Здравствуй, Алевтина Петровна.

Тоня. Платье принесла?

Алевтина Петровна (Нюре). Примерить надо.

Тоня. Ну-ка, ну-ка, покажи.

Нюра. Хорошо получается, Алевтина Петровна?

Алевтина Петровна. Уж я тебе так скажу: сошью — никто отродясь такого не нашивал. Кто мне в прошлом году путевку в Маесту выхлопотал? Ты. Знаю, у Егорова из когтей выдрала, потому справедливая ты. Ему жену прогулять надо было, а мне ноги живые ремонтировать. Плясать на твоей свадьбе буду до упаду на этих-то на ногах... Пойдем в дом, чего они тут выпялились-то.

Нюра, Тоня, Алевтина Петровна идут в дом.

Нюра (с крыльца). Миша, а мы в рядах Клавдию Камаеву встретили. Она из Ленинграда теперь сюда совсем переехала. В седьмой школе преподавать будет. Я ее и на свадьбу позвала, и сегодня посидеть. До чего она красивая стала, ужас! (Ушла.)

Василий. Ух, и закрутим мы эти два дня.

Возвращаются Женя и Оля.

Салов (сыну). Поешь тут яшенку, в доме-то кавардак.

Оля идет к столу. Салов уходит в дом. Женя пошел в сарай.

Василий. Миша, пошли вместе посуду выпрашивать.

Михаил не отвечает.

Миша!

Михаил. Что?

В а с и л и й. За посудой, говорю, пойдем.
 М и х а и л. За какой посудой?
 В а с и л и й. Да ты что, от жары, что ли?
 М и х а и л. Идем, идем...

Василий и Михаил уходят.

Салов приносит яичницу, молоко, хлеб, ставит на стол и уходит. Из сарая вышел
 Женя. В руках у него рулон бумаги.

Ж е н я (*разворачивает рулон*). Видала?

О л я. Что это?

Ж е н я. К их свадьбе делаю. Я, значит, вечером усну, а как рассветет, часа в три просыпаюсь и до шести рисую, пишу. А потом опять спать ложусь. Это свадебная стенгазета. Назвал «Законный брак». (*Показывает.*) Это Нисра, это Михаил. А в середине отец в виде бога Саваофа благословляет их.

О л я. А это — ангелы. что ли?

Ж е н я. Какие ангелы! Это их будущие дети.

О л я. Так тут штук десять.

Ж е н я. Ну и что?

О л я. Так много не бывает.

Ж е н я. Во-первых, бывает, а во-вторых, я это для выражения идеи, чтоб ясней было. Ну, нарисовал бы я одного ребенка, двух, что было бы? Так, серый реализм, скука. А когда их тут десяток — забавно. Верно?

О л я. А что это за стихи?

Ж е н я. Пушкин, Блок, Евтушенко. Между прочим, я Евтушенко в Москве видел.

О л я. Разве он живой?

Ж е н я. У-у, темнота!..

О л я. Я теперь все-все советские кинокартины смотрю.

Ж е н я. Хороших маловато.

О л я. Мне все равно. А вдруг я тебя там увижу? Знаешь, сижу в зале и все мне чудится — вот-вот ты на экране появишься. Кажется, умру от страха, даже зубы стучать начинают.

Ж е н я. Сказать по секрету?

О л я. Ну?

Ж е н я. Только пока никому.

О л я. Конечно.

Ж е н я. Я снимаюсь в одной картине.

О л я. В главной роли?

Ж е н я. Нет, что ты! Ничего не понимаешь... Маленький эпизод, одна фраза. Но очень интересная, и крупный план.

О л я. Что такое крупный план?

Ж е н я. Когда ты во весь экран.

О л я. Один?

Ж е н я. Может, и один.

О л я. Ой, жутко! Когда, когда будет?

Ж е н я. Осенью.

О л я. А какая фраза?

Ж е н я. Фраза такая: «Ты удоем не хвастайся!»

О л я. Как?

Ж е н я. «Ты удоем не хвастайся!»

О л я. Странная фраза...

Ж е н я. Это ведь как произнести.

О л я. Конечно... И больше ничего не говоришь?

Ж е н я. Нет.

О л я. Совсем ничего?
 Ж е н я. Совсем.
 О л я. Интересно... Что ж ты об этом не писал?
 Ж е н я. Боюсь.
 О л я. Почему?
 Ж е н я. Вырезать могут.
 О л я. Как вырезать?
 Ж е н я. Вот так: чик ножницами кусок пленки — и тебя нет!
 О л я. Совсем?
 Ж е н я. Совсем.
 О л я. Неужели могут — ножницами?
 Ж е н я. Могут.
 О л я. Я бы их!..
 Ж е н я. Может, и не вырежут.
 О л я. Не вырежут, не вырежут, тебя не вырежут, не имеют права!
 Ж е н я. Почему это?
 О л я. Да как им не стыдно! Одна какая-то несчастная фраза и ту вырезать... Неужели боишься?
 Ж е н я. Ну, знаешь, все-таки..
 О л я. А я тебе скажу — пусть вырежут, пусть! И ты не расстраивайся. Важно, что тебя заметили и во весь экран. А если и вырежут, знаешь из-за чего?
 Ж е н я. Из-за чего?
 О л я. Из-за этой дурацкой фразы. Ну, что это такое: «Ты удоем не хвастайся!», а?!
 Ж е н я. Как произнести..
 О л я. Да как хочешь! (*Произносит фразу на все лады.*) Все равно глупо. Пусть режут — хоть ножницами, хоть ножом, хоть пилой перепиливают. Ты знаешь, я тебе как кинозритель скажу: из-за одной такой фразы можно в кино перестать ходить, можно и артистов возненавидеть, и доярок, и коров, можно даже из-за этой фразы молоко перестать пить. Ну, что это — «Ты удоем не хвастайся!» Пусть режут.
 Ж е н я. Ты, пожалуй, права. Верно, пусть.
 О л я. И хорошо.
 Ж е н я. И хорошо... А если не вырежут?
 О л я. Если не вырежут?
 Ж е н я. Да, если не вырежут?
 О л я. Ну и что? Никто эту фразу и слушать не будет, мимо ушей пропустят. Зато как тебя во весь экран увидят — ой, что будет!.. Да один наш поселок из-за тебя по пять раз на картину пойдет. Ты думаешь, зачем народ в кино ходит? Я вот тебе как кинозритель скажу: время убить и на любимых артистов посмотреть. В общем, я тебе так скажу: вырежут — хорошо, не вырежут — хорошо..
 Ж е н я (*тихо*). Скучала?
 О л я. Ждала.

Целуются.

В калитку входит Нелли, девочка лет десяти.

Нелли. Здравствуйте.
 Ж е н я. Здравствуй, Нелли.
 О л я. Здравствуй.
 Ж е н я. А мама с папой где?
 Нелли. В гору ташатся... Я видела, как вы целовались.
 Ж е н я. Ты что, Нелька?
 Нелли. Я всегда раньше, чем войти, в щель смотрю: интересно. По-моему, вам еще рано.
 Ж е н я. Нелька!

Оля. Дурочка, престо я его обняла за шею, у него по спине жук полз.

Нелли. Какой жук?

Оля. Майский.

Нелли. Большой?

Оля. Огромный.

Женя. Во какой! (*Показывает.*)

Нелли (*показывает*). Вот такой?

Женя. Даже больше.

Нелли (*Оле*). Поймала?

Оля. Конечно.

Нелли. Где же он?

Оля. Выпустила.

Нелли. Зачем?

Оля. Просто так.

Нелли. Это за тем, чтобы он ему опять на спину сел?

Женя. Смотри, будем купаться, утоплю!

Оля. Думаешь, подсматривать хорошо?

Нелли. Я еще этот вопрос для себя не решила. Если бы люди знали, что за ними подсматривают, меньше бы гадостей делали.

Женя. Нахваталась!

Нелли. Не маленькая — с восьмиклассниками дружу.

Во двор входят Николай и его жена Рита. Они несут завернутый в бумагу какой-то большой предмет, ставят его на скамейку. Все здороваются.

Николай. А где отец, невеста?

Женя. В доме.

Николай идет в дом.

Не ходи, там полы моют. Папа, Коля и Рита пришли!

Нелли. И я!

Голос Салова: «Иду!»

Николай. Садись, Рита, на лавочку, отдохни.

Рита садится и сразу же открывает книгу, которая у нее была с собой. Читает.

Видишь, к завтрашнему хоромы готовят. Неллечка, погуляй пока.

Нелли. Шахматы взял?

Николай. Взял. (*Вынимает из-за пазухи шахматы.*)

Нелли взяла их, отошла к верстаку и расставляет фигуры на доску.

Из дома выходят Нюра, Тоня и Алевтина Петровна.

Нюра (*увидев Риту, обрадованно*). Рита, вот хорошо, что пришла. У меня, знаешь, голова кругом. Еще не пила, а уж ненормальная! Ты, пооди, и забыла, как себя в такой день чувствовала?

Рита. Совсем забыла.

Николай. Десять лет скоро отмечать будем.

Нюра. Здравствуй, Коля.

Николай. Здравствуй, здравствуй... Моя Рита вас всех обогнала (*показывая на Нелли*), вон она — наш спидометр — года-то показывает, шелкает... Неллечка, поздоровайся с тетей Нюрой.

Нелли не оборачивается.

Неллечка!

Нелли не обращает внимания.

Ну, пусть играет, она у нас увлекающаяся.

Тоня. Пойду Лешу покормлю, вот-вот с работы явится. Ох, мои двое тоже бегают, щелкают... Я скоро вернусь, Нюра. Пока, товарищи.

Нюра. Алевтина Петровна, ну выпусти ты сантиметра на три-четыре, длинное мне хочется, как раньше.

Алевтина Петровна. Давай так уговоримся: или ты мне доверяешь, или к другой портнихе поезжай, вон хоть в город. Они тебе такое сошьют — не только на свадьбу, на похороны не наденешь.

Нюра. Доверяю я тебе, только...

Алевтина Петровна. И точка. По моде надо. Идем, Антонина.

Нюра (*вслед уходящим Тоне и Алевтине Петровне*). Уговори ее, Тоня...

Тоня и Алевтина Петровна ушли. Входит Салов.

Салов. Вечером я вас ждал или уж на худой конец завтра. (*Здоровается с Ритой и с сыном.*) Неллечка, иди конфетку дам.

Нелли быстро подбегает к деду. Салов вынимает из кармана конфеты, дает внучке.

Нелли. Я думала, шоколадные... Эти я не кушаю. (*Ушла к шахматам.*)

Салов (*убирая конфеты в карман*). Нормальным детям отдам, дура.

Николай. Ну, что ты так-то... Ребенок.

Салов. И ты дурак. Ну, ваше дело... Садись тут. Пива хочешь или квасу?

Николай. Все одно.

Салов. Женька, принеси.

Женя ушел за квасом.

Николай. Нюра, отец, вот какая ерунда вышла — в командировку я на три дня еду, не могу на свадьбе-то быть. В район, черт те дери, ехать надо.

Салов. Что значит надо: чай, ты начальник, сам себе голова.

Николай. Из горкома звонили.

Салов. Ты бы объяснил: мол, родная сестра замуж идет.

Николай. Там ведь государственно мыслят, отец.

Салов. Это, конечно... Обидно.

Николай. И мне тоже.

Нюра. А ты придешь, Рита?

Рита. Постараюсь. Если Нелли устрою к кому.

Нелли. Никуда я тебя не пушу.

Рита (*строго*). Помолчи.

Нелли. Я сказала!

Рита (*зло*). А я сказала — умолкни.

Лицо Нелли вдруг растянулось в гримасу. Она заплакала и бросилась к отцу.

Нелли. Папа, папа, я не хочу ни к кому идти! Па-а-па!

Николай. Не плачь, Неллечка, не плачь, никуда мама не пойдет. (*Рите.*) Ну, скажи, что не пойдешь.

Рита молчит.

Скажи, тебе говорят!

Рита молчит. Нелли плачет громче.

Скажи, слышишь! Какая ты, Рита, упрямая. (*Целует дочь.*) Не пойдет она, не пойдет...

Рита. Не пойду!

Николай (дочери). Ну, вот видишь — не пойдет, не пойдет... Вытри глазки. (*Вытирает дочери слезы.*) Умница! (*Целует ее.*) Иди играй.

Нелли. Женя, сыграем партию?

Женя. Некогда.

Оля. Давай со мной срежемся.

Нелли. А ты умеешь?

Оля. Ну, еле-еле.

Нелли. Тогда не буду. С плохим игроком играть — только руку портить. Кто хочет?

Все молчат.

Пойду во дворах партнера поищу. (*Отцу.*) Дай денег на мороженое. (*Отец дает деньги.*) Больше, больше дай — может, кого угостить придется.

Николай дает еще денег Нелли, и та уходит.

Николай. Дите! Ну до чего хороша, а? Сладость этакая, прелесть! А умна-то, бестия! Вундер-киндер!

Пауза.

Нюра (тихо). Идиот!

Николай. Своих заведешь, тогда поговорим... Это мы тебе, Нюра, подарок принесли. (*Развернул сверток, поставил на стол. Это телевизор.*) Он немного барахлит, но у тебя муж на все руки, наладит. В ремонт я его только два раза отдавал. Трубка новая. Мой-то «Алмаз» только экраном побольше, а видимость та же... Ты не сердись, что я тебе, так сказать, подержанную вещицу сунул?

Нюра. Да что ты! Дорогой он, спасибо тебе. (*Целует брата.*)

Николай. Хорошо, что продать не успел.

Салов. Это ты молодец. А то мы, когда что выдающее, к Менандру ходим. У него хоть «КВ», а все же чудо.

Нюра (*целует Риту*). Спасибо тебе. И Миша-то как обрадуется. Спасибо. (*Еще раз целует.*) Ох, хорошо, наверно, богатым быть.

Николай. Неплохо.

Салов. А я вот тут, когда Валентину-то Терешкову в космическом полете показывали, смотрю на нее и думаю: батюшки, что же это такое! Она в космосе летает, то есть на том почти свете, а я за ней наблюдение веду, вижу, как она глазами моргает, как ротиком дышит, как шевелится. И знаете, какая меня мысль пронзила? А что, если там, на какой-нибудь планете, какие ли марсиане, юпитериане, что ли, вроде такие же приборы имеют и на нас, земляных людей, смотрят! Вот, положим, сейчас кто-то из них наш двор видит — тебя, меня, ее, всю нашу земную жизнь рассматривает в прибор какой.

Женя. Вот, поди, смеются-то!

Николай. Любишь ты, отец, философию разводить.

Салов. Старость...

Николай. Никто не смотрит. Выше человека существа нет. Он — венец природы. Самая красота, ум самый.

Нюра. Женя, отнеси его в сарай, а то здесь как бы в суматохе кто не задел.

Женя уносит телевизор. На крыльце появляется Сергеевна.

Сергеевна. Готово. Теперь только просохнет, и можно обратно несть.

Салов. Погоди, Сергеевна, рассчитаюсь сейчас с тобой. (*Лезет в карман за деньгами.*)

Сергеевна. Не возьму. Решила: подарок это от меня Мишке и Нюр-

ке твоей. Да и тебя, вдового, жалко. Была бы жива покойница Александра Ивановна, радовалась бы.

Салов. Завтра-то приходи.

Сергеевна. Знамо. Пока! *(Ушла.)*

Вернулся из сарая Женя.

Оля *(тихо Жене)*. Пойдем к нам, у нас не сутолочно. Газету доделаем.

Женя *(отцу)*. Мы к Оле.

Ушли.

Николай. Как бы нам вскорости еще одну свадьбу не играть.

Салов. Всех вас пристрою и к Александре Ивановне на кладбище рядом лягу. Ждет, поди.

Николай. Насчет белил-то не узнавал?

Салов. Менандр принесет к вечеру.

Николай *(дает отцу деньги)*. Уплати.

Салов. Давай-ка диван в дом втащим.

Берут диван, несут в дом.

Нюра. Вот, Рита, и моя очередь подошла... Как тебя вижу, ты все с книжкой да с книжкой. Умная!

Рита. А я не для ума читаю, а чтоб жизни не видеть. Это у меня вроде опиума. Наркоз. Мысли свои забиваю, чтоб не лезли.

Нюра. Какие мысли?

Рита. Всевозможные.

Нюра. А что читаешь-то?

Рита. Не знаю.

Нюра. Ты ведь веселая была, помнишь, в школе? Хохотушка. Семья, что ли, так заела?

Рита. Семья.

Нюра. Знаю я, что ты в себе носишь.

Рита. А ты, добренькая, не суйся.

Нюра. Злая ты.

Рита. И что?

Нюра. Ну, не буду.

Рита. Вот так лучше. *(Опять уткнулась в книгу.)*

Входят Михаил и Василий. В руках у них посуда.

Михаил. Здравствуй, Рита.

Рита. Здравствуй, жених.

Василий. Начальнице привет!

Рита. Здравствуй, вертихвост.

Василий. Не ревнуй. Придет очередь, к тебе подъезжать будем.

Рита. Поскорей бы: руки чешутся.

Нюра *(Михаилу)*. Рита с Николаем телевизор подарили.

Василий. Везет людям!

Михаил. Спасибо. Разве мыслимо такие подарки делать.

Рита. Николай новый купил. Этот старый, попорченный.

Михаил. То-то. на душе легче.

Василий. Мы из него конфетку сделаем.

Нюра. Рита, помоги.

Взяли у ребят посуду, ушли в дом. Михаил что-то ищет у верстака.

Василий. Мишуха, ты что?

Михаил. Чего?

В а с и л и й. Сник будто — словно тебя перекусил кто.

М и х а и л. Жара.

В а с и л и й. Для меня тоже жара да еще Майка Мухина. И то не чахну. Что с тобой?

М и х а и л. Отстань, чего липнешь!

В а с и л и й. Старое-то со дна поднялось, что ли? Так ведь это пустое, Миша, мираж прошлого, привидение вроде, вчерашний сон.

М и х а и л. Ну, что ты тут распелся! Заткнись, говорю!

В а с и л и й. У-у-у, вот это да! Я-то думал — совсем потухло, а у тебя под золой-то тлею еще.

М и х а и л. Я сказал...

В а с и л и й. Молчу. И кой черт ее именно в это время принес сюда!

М и х а и л. Отвертка-то куда провалилась? *(Ищет.)*

В а с и л и й *(подойдя)*. Вот, у тебя под носом... Она, поди, в Ленинграде замуж вышла.

М и х а и л. Рашпиль куда-то сунул.

В а с и л и й. Вот и рашпиль.

М и х а и л. Убрать надо. *(Убирает инструменты в ящик.)*

Василий взял гитару, которая была вынесена из дома и лежала на скамейке, перебирает струны.

Перестань играть.

В а с и л и й. Я отвлеченно...

М и х а и л. Перестань, говорю!

Вышла Н ю р а.

Н ю р а. Посуды-то еще мало, не хватит.

В а с и л и й. Так мы клич кликнули: Шустовы поднесут, Дерябины, Овчинниковы обещали... Нюра, Камаева-то Клавдя замуж выскочила или еще одна бродит?

Н ю р а. Я впопыхах-то и не спросила. А что?

В а с и л и й. Так. Коль одинокая, приударить хочу. *(Михаилу.)* Пойду за твоими пожитками в общежитие. Постель-то тоже нести?

М и х а и л. Постель не надо.

Н ю р а. До свадьбы-то нехорошо.

В а с и л и й. Формализм! Нюра, ты сегодня держи Мишку обеими руками, а то смотри, сбежит накануне свадьбы.

Н ю р а. Будет тебе, трепло.

Василий ушел. Нюра и Михаил одни.

Костюм-то твой черный отутюжить надо.

М и х а и л. Поглажу вечером.

Н ю р а. Я сама сделаю.

М и х а и л. Мужское это занятие.

Н ю р а *(подойдя)*. Доволен ты?

М и х а и л *(потрепал Нюру по голове, погладил, как маленькую)*.

А ты?

Н ю р а. Очень.

М и х а и л. Вот и хорошо.

Н ю р а *(тихо)*. Давно тебя люблю. Одного... Чего-то у тебя глаза озабоченные?

М и х а и л. Дел-то сколько...

Н ю р а. И не держи в голове. Мы с отцом сделаем, люди помогут. Хорошо будет, весело. *(Смеется.)* Все ведь не верю, не верю, так и кажется — разразится что. *(Прижалась к Михаилу.)* Хорошо нам будет, Миша.

Входят Рита, Николай и Салов.

Николай (*увидев Нюру, обнимающую Михаила*). Ай-ай-ай, до свадьбы-то не грешите, нечестно.

Рита (*мужу*). Я книгу в доме оставила, принеси.

Николай. Риточка, сходи и возьми.

Рита. Принеси, сказала!..

Николай (*ко всем*). Вот на нее находит иногда... (*Уходит в дом.*)

Салов. Мишуха, давай еще одну лавку к завтраму сделаем. У меня за сараем хорошая тесина валяется.

Михаил. Давайте. Илья Григорьевич.

Михаил и Салов ушли за сарай. Николай выходит из дома, передает Рите книгу и тоже уходит вслед Михаилу и Салову. В калитку входит Клава.

Нюра. Клава! Заходи, заходи, вот еще кто здесь! (*Показывает на Риту.*)

Клава. Рита! (*Обнимает ее.*)

Рита. С окончанием!

Клава. Да, все. Спасибо. Переехала сейчас Волгу, иду по улочкам — ноги-то родной земли касаются. Ведь каждый забор знаком, каждое дерево, камень. Три года не видела...

Рита. Истрепала ты нервы в Ленинграде.

Клава. Вам это не понять — когда долго родных мест не видишь. Все так дорого, оживает и так на душе чисто-чисто.

Нюра. Ой, откуда ты сиреневые бусы достала? В Ленинграде купила?

Клава. Это старые, еще от мамы.

Нюра. Клабочка, дай мне их на эти два дня поносить.

Клава. Они же стеклянные, простые.

Нюра. Ну и что, дай.

Клава (*снимая бусы*). Пожалуйста. (*Отдает их Нюре.*)

Нюра. Миша пожелал. Говорит: купи сиреневые — надень. А их нету нигде. (*Прячет бусы.*) Завтра надену — удивится! Сказала ведь, что не достала, голубые купила.

Клава. Не пойдут они тебе, не к лицу.

Нюра. Все равно.

Клава. Отдай лучше обратно.

Нюра. Еще чего, и не думай. (*Смеется.*) Опять мы трое, как девочки, вместе. (*Клаве.*) Слушай, я изменилась?

Клава. Ни капельки. Похорошела разве.

Нюра. Это я от волнения красная. А ты изменилась!

Клава. Старая стала?

Нюра. Нет. Ленинград-то да институт какой-то на тебе отпечаток положили, вроде совсем не наша. Аккуратная такая стала, интеллигентная. И глаза глубокие. Ученость твоя в них так и отражается. Переменилась ты. А я, значит, нет.

Клава. Ты тоже.

Нюра. Ну, уж не сахара. Извертелась я в завкоме-то. Тому путевку, этому пособие, там ребенка в детский сад, тут на похороны подавай, пятым кваргиру вынь да положь, десятым — муж жену колотит, тридцать пятым — жена от мужа ушла. Помочь-то всем охота, дело все, надо.

Клава. Доброта твоя известна.

Нюра. Ох, и не говори. Доброта-то она тоже — омут. Иногда кажется, и нету во мне доброты, всю вычерпали до дна, до капельки. Собачиться начинаю, как дрянь какая. Самой потом стыдно, а уж удержаться не могу. Человек-то ведь с болью своей к тебе идет, с делом, а возможности-то у меня какие? Я бы ведь всем путевки в Сочи да в Ялты

хоть по два раза в году, все того стоят... Работают-то хорошо, трудно. Всем квартиры, всем пособия — да нету. Одному дам, другому отказывать надо. А ведь отказываешь тому, кому тоже позарез. Плачут которые. Я сама с ними сначала редела, а потом слез уж и нет, кончились. Омужичилась. Идет кто ко мне с просьбой, я уж вся, знаешь, вытянулась, как собака, стойку какую делаю, так уж по мне и видно: не подходи, укушу.

К л а в а. Больше, наверно, на себя наговариваешь.

Н ю р а. Сдерживаюсь, конечно, стараюсь не показать... Может, с осени в вечерний техникум поступлю, в текстильный. На фабрику потом в город устроюсь... Ну, ладно, чего я вдруг плакаться начала. Ты-то как? Замужем?

К л а в а. Нет.

Н ю р а. Что так?

К л а в а (*мягко, растерянно*). Не вышло.

Н ю р а. А был кто?

К л а в а. Был.

Р и т а. Они все, парни-то, сволочи.

Н ю р а. Уж и все!

Р и г а. Все. Ты на Мишку Заболотного молись. Юродивый он, нетипичный. И то, поди, поглубже копни, тоже дрянь окажется.

Н ю р а. Злая ты, Ритка, и завистливая.

Р и г а. А у тебя все замечательные. Счастливенькая!

Н ю р а. Знаю я, в чем твоя беда. Не любишь ты Николая.

Р и т а. А ты докажи.

Н ю р а. Думаю, ты все Юрку Кожина любишь, по нем сохнешь.

Р и т а. Вспомнила!

Н ю р а. Настоящая любовь, поди, и не проходит. Так, утихнет разве, но все равно сосет. Уехал он тогда от тебя.

Р и т а. А я его сама отвадила.

Н ю р а. Ну уж!.. Он Любочку полюбил, хоть и хромя она.

Р и т а. Нарожала ему Любочка троих в два приема, пусть радуется!

Н ю р а. Любит он зато ее.

Р и т а. Николай меня тоже любит.

Н ю р а. Боится он тебя.

Р и т а. А это мне еще больше нравится. Я хочу, чтобы меня боялись.

Н ю р а. На страхе хорошее не держится.

Р и т а. Дура ты, в наше время весь мир на страхе держится.

Н ю р а. И что хорошего?

Р и т а. Зато здорово.

К л а в а. По-моему, мир на человеческих надеждах стоит, бьемся за них... а то бы рухнул.

Н ю р а. Послушай, неужели ты оттого злая, что Юрка Кожин тебя оттолкнул?

Р и т а. Дура ты, дура!

Н ю р а (*Клаве*). Какой мальчишка-то был, помнишь? И по прыжкам в городе первый, и стометровку, и учился-то как! Недаром сейчас уж аспирант. А красавчик-то какой!

Р и т а. Ну, развела! Никого я не любила и не люблю. Не стоят они того.

Н ю р а. Слушай, он тебе, наверно, и сейчас по ночам снится, Юрка-то, его во сне видишь?

Р и т а (*кричит*). Перестань, блаженная!

Пауза.

К л а в а. Не надо, Нюра.

Н ю р а. Риточка, прости меня. Я ведь не думала, что точно-то так говорю.

Р и т а. Николая я люблю, Николая, поняла? Думаешь, одна ты счастливая? Я, может, счастливее тебя. Я жизнь без прикрас вижу, а ты еще мордой шлепнешься, тогда запоешь, позлей меня будешь. *(Ушла в дом.)*

Н ю р а. Я ведь не хотела ее обидеть. Нехорошо... Погоди, да ведь ты еще и Михаила моего не видела.

К л а в а. Он разве здесь?

Н ю р а. Здесь. С отцом лавки к завтраму делают. Гостей-то будет!.. *(Зовет.)* Миша!

К л а в а. Да не зови ты его.

Н ю р а. Почему?

К л а в а. Делом ведь занят.

Н ю р а. Пусть хоть поздоровается.

Входит М и х а и л.

Посмотри-ка, кто...

М и х а и л *(подойдя к Клаве)*. Здравствуй, Клава.

К л а в а. Здравствуй.

Здороваются.

М и х а и л. Как живешь?

К л а в а. Хорошо. А ты?

М и х а и л. Я тоже хорошо.

В шалитку входит В а с и л и й. Через плечо у него перевешены связка книг и книжная полка. В одной руке чемодан, в другой настольная лампа.

В а с и л и й. Приданое прибыло!

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Тот же двор. Вечер. Еще не совсем темно, но по ходу действия темнеет все сильнее, хотя ночь светлая, а не темная. Все вещи, которые были вынесены из дома, со двора убраны. На окнах дома висят занавески. В доме горит свет. Оттуда доносится стук ножей, тяпок: готовят кушанья к свадьбе. Над столом висит лампочка под абажуром, протянутая на шнуре. От нее падает яркий круг света на стол и скамейки, стоящие вокруг него.

Сергеевна сидит в стороне и рубит тяпкой в корыте. Женя и Оля, разложив на столе свою стенгазету, рисуют.

М а т в е е в н а *(высовываясь из окна)*. Сергеевна!

Сергеевна. Что?

М а т в е е в н а. Дрожжи-то куда положила?

Сергеевна. На подоконнике, в кухне, в голубой чашке!

М а т в е е в н а. Кончишь рубить — скрикни меня. *(Исчезла.)*

О л я. Женя, а в кино по-настоящему целуются или так просто?

Ж е н я. Не совсем чтобы по-настоящему, но и не совсем чтобы так.

О л я. Этому делу у вас в институте тоже учат?

Ж е н я. Какому?

О л я. Ну... целоваться.

Ж е н я. Не то чтобы уж специально, но если по ходу отрывка или этуа надо, то конечно.

О л я. А ты целовался?

Ж е н я. Как тебе сказать... *(Замялся.)*

О л я. Вот так и скажи — целовался?

Ж е н я. Мне, знаешь, один раз попало задание... ну, по ходу дела надо было...

Оля. И?

Женя. Я ее обнимаю, а у нее губы какой-то лиловой краской намазаны и изо рта табаком несет.

Оля. Ну?

Женя. Еле пригубил. Чуть двойку не поставили. Мутить начало.

Оля. Подумаешь, двойка!

Женя. Так ведь надо. И любить по заказу надо, и ненавидеть, и восторгаться, и подозревать, и отчаиваться, и воровать. Людей ведь играть буду, а в людях все есть.

Оля. Я бы тоже хотела артисткой стать. Переживать, переживать... А артистам много платят?

Из дома выходит Салов.

Салов. Ребятки, помогите-ка студень в погреб снести.

Женя и Оля идут в дом.

Салов. Сергевна, ты тут никак всплакнула? Молодость, что ли, вспомнила?

Сергеевна. Какую молодость! Лук рублю, проел. Я и сейчас не старая, чего вспоминать-то! Молодость — пустота. Аппетит на жизнь с возрастом приходит. И понимание.

Женя и Оля проносят студень в блюде и в тазу в погреб. Возвращаются к столу. Салов ушел в дом.

Женя. Тут сверху хорошо бы какой-то лозунг написать, вроде «Любовь не картошка, не выбросишь за окошко!»

Оля. Напиши: «Любовь — это все!»

Женя. Юмора нет. А может быть, так, как на заборах пишут да на скамейках ножом вырезают: Нюра плюс Миша равняется любовь?

Оля. У меня целая тетрадка есть, я туда из книг, которые читаю, разные мысли про любовь выписываю. Можно выбрать.

Женя. Замечательно! Мы все эти афоризмы вместо передовицы пустим. Где тетрадка?

Оля. Дома.

Женя. Айда!

Женя свернул стенгазету, унес в сарай. Они с Олей ушли.

Сергеевна. Матвевна!

Голос Матвевны из дома: «Чего-о?»

Порубила, чего еще надоть?

Голос Матвевны: «Капусту!»

Сергеевна идет в дом. В калитку входят Василий и пять-шесть мужчин.

Василий. Тихо... Давайте сюда. Вот тут становитесь, у крыльца. Так... (Расставляет всех по местам.) Как только ворота откроют, так и наяривайте. Вся дорогу, что они от ворот к дому пойдут, без передышки играть, ясно?

Голоса: «Ясно», «Да», «Понятно».

Слушай дальше. Столы во дворе стоять будут, в доме-то в такую погоду духота, да и тесно. Как первый гост старик Салов Илья-то Григорьевич произнесет — думаю, ненадолго затянет, не на собрании, — так вы туш, одно колено. Не тяните. Выпить-то уж у всех будет чesаться, так что не два раза, не три, а один. Как «горько» крикнут — тоже туш. Тут уж все три раза можно, пока целуются. Так сказать, оживите момент. Ну, и после каждого тоста по одному разку.

Первый музыкант. Вася!

Василий. Ну?

Первый музыкант. А что в начале-то играть будем, марш?

Василий. Можно и марш. Не похоронный, конечно. Это ваше дело, что умеете, то и играйте.

Второй музыкант. У нас в репертуаре больше торжественные собрания и балльные танцы.

Василий. Можно и танцы, вальс или танго. Хорошо бы просто революционное что-нибудь, вроде «Смело мы в бой пойдем» или в этом духе. Позвончей, главное. Оптимизму дайте. Ясно?

Голоса: «Понятно», «Да», «Ясно».

Держать в секрете, не трепать! Сюрприз. Все. Ходу давайте!

Первый музыкант. Вася!

Василий. Что тебе?

Первый музыкант. Выпить бы.

Василий. Чего-о?! Завтра налижетеесь.

Первый музыкант. Да я говорю — воды, бы кружечку, пересохло в горле.

Василий. Воды тебе!.. Давай без анекдотов.

Первый музыкант. Я, знаешь, в самом деле..

Василий. Ходу отсюда, ходу! Не до смеха.

Выпроваживает всех со двора. Показался Салов.

Салов. Где молодежь-то вся?

Василий. На берегу костер жечь собираемся.

Салов. А ты что тут?

Василий. Воды попить зашел.

Салов. А-а-а... *(Идет в сарай.)*

В калитку входит Михаил.

Василий. Ты чего откололся?

Михаил. Нюра послала платок взять, зябко у воды, тянет. Между прочим, Майя туда пришла, тебя, видать, ищет.

Василий. Меня ли! Поди, кого другого уже высматривает.

Михаил ушел в дом. Из сарая с охалкой дров в дом пошел Салов. Михаил снова вышел во двор.

Михаил. А ты что ушел?

Василий. Так, дела мелкие... Ты подберись, Михаил, посмотреть на тебя невозможно.

Михаил. Что это?

Василий. Я тебя отродясь таким не видывал.

Михаил. Каким?

Василий. Чего ты там у себя в мозгах-то своих со стороны на сторону катаешь? Смотри, выходку какую не сделай.

Михаил молчит.

Поворотов тут нет.

Михаил *(смеется)*. Ты-то поворачиваешь, когда тебе вздумается.

Василий *(испугавшись)*. А ты себя со мной не равняй. Я это я? Я на тебя, может быть, молюсь за то, что ты не я, понял?

Михаил сел на скамейку.

Неси платок-то. *(Подошел к Михаилу, увидел, что у того в руках два платка.)* Два взял? Зачем два?

Михаил. Не знаю, какой ей надо.

Василий. Врешь! Один носи. *(Вырывает из рук Михаила один платок.)* Иди.

Михаил не двигается.

Иди, Мишуха.

Вышел Салов.

Салов. Миша, у тебя рубля три еще не найдется?

Михаил *(достает из кармана деньги)*. Вот как раз трешка есть.

Салов. В аптеку заодно зайду. Мыла куплю духовитого, одеколону для туалета да нашатырного спирту пузырька два, пирамидону еще. *(Уходит.)*

Михаил. Вася!

Василий. Что?

Михаил *(после паузы)*. Позови сюда Клаву.

Василий. Кого?! Ты что?!

Михаил. Позови.

Василий *(решительно)*. Не позову.

Михаил *(после паузы)*. Васька! Ведь ты единственный человек, с которым я обо всем могу говорить. Могу я с тобой говорить обо всем, совсем обо всем?

Василий *(очень робко)*. Ну, можешь. Только ты не говори, не надо.

Михаил. А я хочу.

Василий. А я слушать не буду!.. Нет, вы, эти самые примерные, которыми нам в глаза-то тычут, всего страшнее. Уж если вы какое колесо отточите, так мы чистыми детьми оказываемся, ангелами. У черта копыта паленым пахнуть начинают.

Михаил. Позови.

Василий. Не позову. Раньше надо было думать. Ты что, разлюбил Нюрку-то начисто?

Михаил. Не знаю я сейчас ничего. Не говори со мной об этом.

Василий. Брось ты это, брось! Это, Миша, тебя запрет дразнит. Нельзя уж ничего сделать, вот ты и бьешься. По себе знаю. Я уж давно решил, что самые большие удовольствия для человека — это удовлетворение, брат, своих пороков, всего, чего нельзя. Точнехонько! Вот тебе нельзя с Клавдией, так тебя и обуревают.

Михаил. Не то говоришь, совсем не то. Я и сам знаю, что назад нельзя, нету ходу... Во мне сейчас какой-то другой человек говорит, не я — вот этот, весь своей жизнью сделанный, — а тот, настоящий. Он, Вася, интереснее меня, глубже в сто раз. Если бы не та война, я бы тот был, другой. Во мне как бы два, понимаешь, человека есть. Ну, ладно, не смотри ты на меня, как на свихнувшегося. Позови ее, Вася. Я хоть наговорюсь, я хоть все слова скажу. Я же потом их никогда в жизни никому не скажу. Сегодня-то я еще могу.

Василий. Не надо, Миша.

Михаил. Не надо, считаешь? Нельзя мне, да? Да, нельзя. Ох, Васька, Васька... *(Мечется.)*

Василий. Ладно... Я позову... Мне что...

Михаил *(оживленно)*. Позови, позови!

Василий. Предлог-то какой выдумать?

Михаил. Не знаю, не знаю, сам сочини, сам.

Василий уходит. Из дома выходит Матвеевна.

Матвеевна. Поставили тесто... Вот, Миша, как жизнь-то твоя переворачивается. Это оттого, что ты хороший человек. Хорошего человека судьба пожмет-пожмет, да и отпустит, обласкает еще... Покурить у тебя нет?

Михаил. Есть. *(Достает папиросы, угощает Матвеевну и закури-
вает сам.)*

Матвеевна. Садись, покурим. *(Садится на лавочку.)* Хорошо, а?
Михаил. Хорошо.

Матвеевна. Экой ты молчун. А я говорунов люблю, зубочесов. Мой-то трепло страшное. Приучил, видать. Я, знаешь, не могу одна быть, только в коллективе. Когда одна дома остаюсь, страх нападает, пугаюсь. К кому-нибудь иду или к себе зову. Не выдерживаю одиночки.

Голос Сергеевны: «Матвевна!»

Аюшки?

Голос Сергеевны: «Где провалилась? Картошку чисть!»

Иду-у! Ох, завтра расколюсь! *(Ушла.)*

Михаил идет к калитке. В это время входят Василий и Клава.

Клава. Иди, Миша, костер уж поджигают. *(Василию.)* Чего, ты говоришь, срочно делать надо?

Василий молчит.

Михаил. Иди сюда.

Василий пошел к калитке.

Вася, не уходи. Стань у калитки. Если пойдет кто, знак дай.

Василий. Ты что?

Михаил. Стань, говорю. Да не с той стороны, а с этой.

Клава. Что, Миша?

Михаил. Сядь тут.

Садятся у стола.

Василий *(идет к столу и вывинчивает лампочку)*. Неопытность. *(Стал у калитки.)*

Михаил. Как же так вышло, Клава?

Клава. Да. Прошло мимо, Миша. Мимо прошло. Одна я виновата. И не жалею. Не меня жизнь обидела, а я ее. Понимаю... Свела она нас с тобой и все знаки подала, а я не послушалась живого голоса. Сама, думаю, по себе... Что мне в нем показалось, не знаю. Слепил. Разве я могла думать, что такой красивый, такого большого роста может быть таким маленьким...

Михаил. Обидел тебя?

Клава. Разве тем, что сам себя раскрыл... И как только потухло там все, рассеялось, сразу ты опять передо мной встал. Ведь лучше тебя и человека в мире нет. Как я люблю тебя, Миша мой... Не мой, не мой! Ты меня прости за эти слова, некстати они, и нехорошо, знаю. Я бы тебе этого ни за что не сказала, если бы не свадьба твоя завтра. Потом-то уж совсем неприлично мне будет тебе подобное сказать. Я бы и сюда, в наш город, не приехала, если бы мать не заболела. И за Волгу сюда потому не ехала. Если бы Нюра в рядах не встретила, и не пошла бы. А уж когда она позвала — неловко, думаю. Да и тянуло, тянуло... Я только хочу, чтоб ты простил меня, Миша, если можешь...

Пауза. На заднем плане видны багровые всполохи от костра.

Василий. Костер запалили.

Пауза.

Михаил. Не люблю ведь я ее.

К л а в а. Не говори! Не говори так!

М и х а и л. Жалею только. Товарищеской любовью люблю.

К л а в а. Привыкнешь, Миша, привыкнешь, она хорошая, добрая.

М и х а и л. Тебя люблю и всегда любил. Привязался я к Нюре, верно, особенно от тоски. Год идет, два, а кругом все: «чего тянешь?», «женись», «не волинь», «пора». Я ведь и сам подумал: все так и надо, это и есть жизнь, это счастьем и называется, покоем. А то — к тебе — болезнь вроде была, горячка... Какую-то я ошибку сделал. Только ты не думай, женюсь я на ней, верным ей буду на все время.

К л а в а. Знаю, знаю! Что ты! Назад поворачивать разве можно!

Сидят молча.

М и х а и л. Сегодня-то ведь я еще совсем свободный человек. Не хочу быть чистым. Можно я тебя поцелую? Один раз, только один раз.

К л а в а. Да, можно...

Михаил целует Клаву долгим, горячим, влюбленным поцелуем.

М и х а и л. Ну, и все. Теперь я знаю, что это. Ты знаешь, я сам себя сейчас уважаю. Я каким-то вольным себя чувствую. Хорошо свободным быть!.. Уходи... погоди, еще раз. (*Целует долго.*) Ну и все, все!.. Еще!

К л а в а. Нет, нет, милый, не надо!

М и х а и л. Да, да! Милая ты моя! Ой-ой-ой-ой-ой! В первый раз я живу!

К л а в а. Уеду я. Клянусь тебе, уеду. Даже знать не будешь где.

М и х а и л. Да, да... Ну, все!.. Иди теперь вниз, к костру. Я тоже приду немного погодя. Иди. (*Подходит к Василию.*) Иди, Вася.

В а с и л и й. Разорви все, Мишака! К чертовой матери разорви!

М и х а и л. Нельзя, Вася, нельзя, не сходи с ума!

В а с и л и й. Миша, разорви! Разорви! Миша!

Из-за сарая появляется М а й я.

М а й я. Вы что? (*Василию.*) Я за тобой, паразитом, пошла. Клавку-то, думаю, подцепил, повел. Подошла к забору, прильнула — дух захватило. Вот что детдомовцы-то вытворяют! Совесть-то где у вас, честность? Такого еще за всю жизнь не только не видывала, не слыхивала и не читывала. (*Пошла к калитке.*)

В а с и л и й (*преграждая ей путь*). Куда?

М а й я. Ну, конец вам будет!

В а с и л и й (*удерживая Майю*). Миша, Клава, ходу давайте на берег к костру, ко всем. Да по одному, а не вместе.

М а й я. Пусти! (*Хочет вырваться.*)

В это время Михаил и Клава уходят в калитку.

Ты думаешь меня силком взять, глотку мне заткнуть!

В а с и л и й (*отпуская Майю*). Давай, Майя, поговорим с тобой.

М а й я. Не уговаривай меня, не на такую попал.

В а с и л и й (*резко*). Ну, Майя, говорю прямо — или ты меня имеешь, или все.

М а й я. То есть?

В а с и л и й. Только пикни, и я тебя на таком расстоянии держать буду, вот как отсюда до Пантусова.

М а й я. Что это ты еще, Василий?

В а с и л и й. Ну, иди сюда.

М а й я (*подходя*). Что?

Василий обнимает ее.

Не трожь!

В а с и л и й. Как хочешь. *(Отпускает ее.)*

М а й я. Ну, валяй!

В а с и л и й *(обнимает Майю)*. У-у-у, жару-то в тебе сколько...

М а й я. Хороша?

В а с и л и й. Хороша.

М а й я. То-то... Чего днем-то куражился?

В а с и л и й. Настроения не было. Да еще ремеслухой попрекнула.

М а й я. Сгоряча.

В а с и л и й. И шла бы к ученому.

М а й я. Ну их, ученый тебя обнимет, замрет и начнет про какую-нибудь кибернетику говорить.

В а с и л и й. Рта не разевай, поняла?

М а й я. А что это Мишка-то, подлец какой? Все-то его за порядочного считали, даже я. Передовик, тихий!

В а с и л и й. Любовь тут.

М а й я. Я видела.

В а с и л и й. Да не такая, настоящая.

М а й я. Какая это?

В а с и л и й. Пойдем к костру.

М а й я. А чего нам там делать? Пойдем лучше к тому лесочку, побродим.

В а с и л и й. Неловко... потом погуляем.

М а й я. Свадьба-то будет?

В а с и л и й. Будет, будет.

М а й я. А то ведь и не потанцуешь... *(Обнимает Василия.)*

В калитку входит С а л о в.

С а л о в. Тьфу, судить надо за такое безобразие.

М а й я. Слава богу, у нас в Советском Союзе за любовь не судят. *(Ушла с Василием за калитку.)*

С а л о в *(зовет)*. Матвевна, Сергевна!

Женщины выходят.

Молодежь-то от костра сюда идет. На стол-то хоть клеенку постелите, поставьте чего пожевать.

С е р г е е в н а. Знамо.

Женщины накрывают стол клеенкой, ставят недорогие конфеты, печенье. Уходят. Салов хочет включить на крыльце лампочку, которую вывинтил Василий, но лампочка не загорается.

С а л о в. Испортилась.

Входит М е н а н д р Н и к о л а е в и ч.

М е н а н д р Н и к о л а е в и ч *(отдавая Салову бидон)*. Получай. Видал моторку-то. Хороша. *(Показывая на бидон.)* Тут семь вошло, я уж полный налил.

С а л о в *(отдавая Менандру Николаевичу деньги)*. Это тебе трояк от Николая на пол-литра.

М е н а н д р Н и к о л а е в и ч. Спасибочки. *(Прячет деньги в карман.)* Ну как, управляешься?

С а л о в. Вроде все нормально идет.

М е н а н д р Н и к о л а е в и ч. Один Женька теперь у тебя жеребчиком бегать будет.

С а л о в. Молодой...

М е н а н д р Н и к о л а е в и ч. Точно... Да он в Москве и сам округится, тебе только информацию подаст.

С а л о в. С парнем легче... Ты что долго-то?

Менандр Николаевич. Присел на горе на лавочку у старого кладбища да Волгой полюбовался. Текет, милая, с луной играет. Тысячу бы лет на нее глядел без усталости. Чем больше гляжу, тем сильнее к ней гянет... Умирать буду — спросят: чего, Менандр, напоследок хочешь? Отвечу: на нее взглянуть... Ох, коротка жизнь человеческая!

Салов. Коротка...

Менандр Николаевич. Коротка-то уж ладно, да смысла в ней нет, Илья. Зачем живешь — непонятно.

Салов. Это, Менандр, наверно, и все так считают. Только вслух не говорят, потому — страшно.

Менандр Николаевич. Точно.

Салов. Только если бы был смысл, уж совсем бы глупость была.

Менандр Николаевич. То есть?

Салов. Вот, допустим, мне скажут: живешь ты затем, чтобы улететь на другую солнечную систему... Слышал про другие-то галактики?

Менандр Николаевич. Так у меня телевизор...

Салов. Ну вот... А я обратно скажу: зачем?.. Да и не хочу на другую, мне тут хорошо, на Волге... Что другое скажут — я опять: зачем?.. И ежели бы этот исходный смысл появился, вот тогда-то уж настоящая бессмысленность и была бы... А тут природа тебе тайну дает — вроде бы намекает про что-то... Говорит: «Живи, мол!» Ты ей: «Заче-ем?» А она тебе так только хитро глазом подмигивает: «Знаю, мол, зачем! На-адоть!..» Тайна — она и обещает что-то, зовет, тянет. Жить-то и охота.

Из-под горы слышны смех и говор приближающейся молодежи.

Менандр Николаевич. Вон молодым-то все, поди, ясней ясного. Забот-то нет...

В калитку с шумом входят Нюра, Михаил, Клава, Рита, Николай, Василий, Майя, Оля, Женя, Тоня, парни и девушки.

Салов. Мишуха, лампочка, видать, перегорела.

Василий. Сейчас поглядим. *(Влезает на стол, ввинчивает лампочку.)* Волосок стряхнулся.

Все усаживаются вокруг стола. Салов, который в это время уходил в дом, возвращается с блюдом, ставит его на стол.

Салов. Семянок вам пожарил, грызите.

Все берут семечки, грызут. Кто руками, кто зубами. Пауза. Только шум шелканья семечек. Кто-то ставит на стол патефон, заводит, проигрывает пластинку.

Нюра. Миша, принеси блюдца, а то весь двор заплюем.

Николай. Михаил, не ходи, сегодня она тебе еще не хозяйка.

Михаил встает, идет в дом.

Тоня. Ох, Нюрочка, сидела в девках, сидела, зато самого видного парня выхватила.

Первая девушка. Непьющий, главное. Мой Сенька всем бы хорош, а напьется — скотина скотиной, рожа тряпкой висит.

Вторая девушка. Ну, и не выходи за него.

Первая девушка. А где ты тверезого-то отыщешь? Все парни пьют.

Третья девушка. Что парни! Уж и девки начали...

Первый парень. Женька, не слыхал в Москве — не собираются указ издать, чтоб народ пить бросил?

Второй парень. Как пить дать!
Первый парень. Проблема номер один.

Хохочут.

Третий парень. Н-ну, артист!..

Входит Михаил. Расставляет блюда по столу. В них все бросают шелуху.

Второй парень. Петя, поставь-ка там пластиночку. Нюрочка, вызываю...

Нюра и парень танцуют.

Тоня. Ну, Нюра, счастье тебе прямо таланту прибавило.

Николай. Клавдия, если уж ты там в Ленинграде не совсем обывательница, давай! Раньше-то выхаживала.

Клара. Я уж забыла...

Нюра. Не тоскуй, Клавочка, не могу сегодня грустных видеть... Найдем мы тебе жениха — хорошего, нашего, заволжского...

Василий (*тихо Клавдии*). Виду не показывай... Ну, пошла!.. (*Взял гитару, подыгрывает.*)

Клава танцует, стараясь быть как можно веселее. В это время Майя что-то поспешно шепчет на ухо Николаю. Николай подошел к Василию и почти вырвал у него гитару, остановил патефон. Музыка оборвалась. Пляска кончилась.

Николай (*сдерживаясь*). Будет на сегодня...

Нюра. Что ты, Коля, еще посидим часок.

Николай. Поздно... Клавдии вон за Волгу ехать надо. Паром скоро ходить перестанет.

Василий. Так вы ее на своей моторке докатите.

Николай. А я на моторке всех-то не вожу... (*Михаилу.*) Чего вскопчил, Мишуха?.. Завтра работать с утра, по домам, товарищи, по домам!..

Рита. Что ты затеял, Николай?

Николай. Я, как старший брат, о свадьбе беспокоюсь. Чтобы люди-то не усталые были, не сонные. А то выпьют по маленькой, их и развезет — весело ли будет... До свиданья, товарищи, до завтра... отдыхайте.

Нюра. Клавочка, завтра пораньше приходи...

Все расходятся.

Николай. Мишуха, останься, я с тобой за бензонасос не расплатился.

Михаил. Да ни к чему это, Николай Ильич, пустяковое дело...

Николай. Пригодится тебе теперь в хозяйстве.

Михаил. Не возьму...

Василий. Пошли, Миша!

Николай. Не пойдет он... И ты подожди.

Майя. Счастливочко!

Николай. Задержись, Майя, на пять минут. А ты, Нюра, поди пока в дом.

Нюра. Что это у тебя вдруг секрет объявился?

Николай. Поди, поди... Сюрприз некоторый.

Нюра (*смеясь*). Что это уж выдумали... Рита, пойдем со мной.

Уходят в дом.

Остались Николай, Майя, Василий, Михаил. Майя хочет улизнуть.

Николай. Я просил, Майя!

Майя. Да что же вы делаете, Николай Ильич! Я же вам под страшным секретом выдала...

Василий. Вон оно что!..

Николай. А я таких секретов не люблю, Мухина...

Майя. Бросит меня теперь Вася, бросит! Он же запретил мне...

Николай. Не бросит. Не где-нибудь живет, чтобы безобразия разводить... найдем управу.

Василий. Вы уж страху на меня не нагоняйте...

Майя. Васенька!

Василий. Кот тебе теперь на крыше Васенька, туда полезай!

Майя. Николай Ильич!

Николай (*Василию*). Ты не выставляйся, Василий, и так уж больно на виду. Норму бы лучше давал, чем с девки на девку скакать... Раньше по сто сорок, по сто шестьдесят бывало, а теперь еле сто тянешь. Сто-то пять с уговорами... Девки-то, видать, из тебя силы вытянули.

Василий. Девки?.. Девки, Николай Ильич, они, напротив, силы придают!.. Норму! Перевыполнил я на сто шестьдесят... было. А потом мне эти сто шестьдесят нормой сделали. Что это такое, а?..

Николай. Ладно, на эту тему мы с тобой побеседуем. Вон у тебя какой образ мыслей. Михаил!

Михаил. Что?

Николай. Правду Мухина сказала, будто ты Клавку Камаеву только что на этой лавке тискал?

Майя. Да не видела я ничего, не видела я ничего, пошутила!..

Михаил. Я?.. Т... т... т...

Николай. Ну, ну, разродись, косноязычный!.. Иди, Майя, теперь уж мне все ясно.

Майя. Вася!

Василий. Не произноси!..

Майя. За что же вы меня, Николай Ильич, предали!

Николай. Серьезными словами бросаешься, Мухина. Иди...

Майя ушла.

Стыд-то есть?.. Ты же передовой, вожак до некоторой степени. По тебе, может, простой народ равняется — пример вроде. А ты что?.. Молчишь, молчун?.. Смотри! (*Взял бидон с белилами, который стоял в стороне. Ходит по двору.*) Честности в вас, молодых, мало, скромности... И нашел когда! В канун свадьбы... потерпеть не мог... Ох, еще работы с вами — невпроворот... Василия это на тебя влияние. Его повадки... (*Василию.*) Правду про тебя Мухина шепнула, что ты Михаилу свадьбу предлагал поломать?

Василий. Так ведь вы, Николай Ильич, в этом деле одну сторону видите.

Николай. Ты моей точке зрения оценку не давай, не спрашиваю... Ответь на вопрос: предлагал?

Василий. Вам как — правду говорить или посмеяться?

Николай. Предлагал?!

Василий. Ну, предлагал. А толку что?

Николай. Да-да... Мосты строим, Волгу в магистраль превращаем, дома, экскаваторы... а человеком мало занимаемся, мало... Да для такой образины, как ты, персональный дворец построй, всего дай ему вволю — и жратвы и ширпотреба, — все равно по всем углам пакостить будет... Все ему чего-то еще хочется, чего-то еще, чего-то еще!.. Строй с вами... (*Василию.*) После свадьбы чтобы ноги твоей не было в этом доме, слышишь?.. А тебе, Михаил, вот что скажу... Не марай кодекс, ясно? Ты

думаешь, его зачем по всем стенкам развешивают? Не телевизор мне тебе подарить надо было, а именно его в рамке, чтобы ты на самом видном месте его повесил... Словом, смотри! Выкинешь фокус, всю твою жизнь переломаю, да так, что до самой смерти волком выть будешь. *(Ушел в дом.)*

В а с и л и й. Что молчишь?.. Вот они как доброту-то твою оборачивают, видел, а?.. *(Замечает, что Михаил не может говорить.)* Ну, успокойся, не обращай ты на этого паразита внимания... Ну, скажи что-нибудь...

Михаил молчит.

Ну, Мишуха...

М и х а и л *(с трудом)*. Ч-ч-что?..

В а с и л и й. Слушай, поговори ты с Нюжкой обо всем откровенно. Она вроде на других баб не похожа, может, поймет.

М и х а и л. Нельзя.

В а с и л и й. Да, напаялил ты на себя свою честность и тащишь, как черепаха свою костяшку... Отложи хоть свадьбу-то, не руби под корень в такой-то ситуации.

М и х а и л. Как же я отложу?.. Как?

В а с и л и й. Заболей, что ли.

М и х а и л. Да нельзя же, нельзя!.. Ты что — уж ничего не соображаешь, что ли!.. Должен я жениться на Нюре, завтра же должен, завтра!.. Откладывай не откладывай...

В а с и л и й. Перед кем должен?

М и х а и л. Да перед всеми людьми должен, соображай... Перед Нюрой в первую очередь, перед самим собой... Что же я за человек буду, если откажусь от нее?

В а с и л и й. Что ты за человек будешь? Да уж хуже-то, чем сейчас есть, и не будешь!.. Порядочным выглядеть хочешь — вон ведь что в тебе сидит. А на самом деле ты подлец, да еще какой! Только в разные наряды разряженный... Должен! Этот милый твой долг — что он есть? Перед кем? Так, перед всякими там условностями. А главный-то долг у человека перед кем? Перед природой, вот что... И не честный ты человек, а выдуманный... выдуманный ты человек, точно... Ты вот тут обещался мне откровенно говорить. Ну и скажи.

М и х а и л. Что?

В а с и л и й. Любишь ты Клавдию?

М и х а и л. Да ведь знаешь, чего спрашиваешь.

В а с и л и й. Безумно?

Михаил молчит.

Теперь ответь: любишь ты Нюрку?

М и х а и л. Так ведь не в любви тут совсем дело...

В а с и л и й. Любишь ты Нюрку?

М и х а и л. Я уже говорил: другой ее любовью люблю...

В а с и л и й *(зло)*. Всемирной, что ли, человеческой?..

М и х а и л *(кричит)*. Да, да! Ведь человек же она!

В а с и л и й. Так человеческой-то любовью мы всех любить обязаны. Так и в библии записано. А Нюрку ты в жены берешь. Тут от тебя другая любовь требуется, особая. Ты со своей человеческой-то любовью и женился бы на всех девках, что без парней голодными рыщут... Да как же ты, не любя Нюрку, в жены ее берешь? Это как у вас, порядочных, называется? Честность?.. Миша, женишься ты на ней — значит, всю свою жизнь под топор кладешь... уж захлопнется тогда за тобой все... и не жди ничего... А ведь таким, как я тебя сейчас с Клавдией видел, я раньше и не знал тебя. Ведь осветился ты весь...

ведь и голос у тебя другой был, и лицо... Ведь друг ты мне, Миша, а не так просто — знакомый человек... Давай за Волгу сейчас перемахнем, в город. Ты хоть поговори с Клавдией не по-воровски, спокойно. Она, мне помнится, на улице Семашко живет... Ее-то со своей честностью уж, как скотину какую, и в счет не считаешь. Ведь она не спит сейчас... ведь она о тебе думает, плачет, поди... Любит тебя.

Михаил. Не поеду я, не поеду! Незачем!.. Да и паром уже, поди, не ходит.

Василий. На лодке перемахнем.

На крыльце появляется Нюра.

Нюра (*растерянно*). Миша, что это там Николай сплетни про тебя какие плетет?..

Голос Николая: «Михаи-ил!»

Правда это?..

Голос Николая: «Михаи-ил!»

Михаил. Я тебе, Нюра, все обещаю сказать... (*Уходит в дом.*)

Нюра (*бросаясь к Василию*). Вася! Как же это? Ведь свадьба скоро... что же это выходит?.. Разве я что-нибудь сделала?! Обнимал он ее тут? Обнимал?.. Ты мне все скажи... ты видел... знаешь... Не хочет он идти, что ли? Да ведь он же говорил, обещал...

Василий. Пойдет он, пойдет. Что ты как полоумная-то сделалась...

Нюра. Пойдет?

Василий. Пойдет.

Нюра. Ну и все!.. Ну и хорошо!.. Это он так, поди, шутя обнимал, баловался только, дурил... А Майе уже и показалось... Дура она набитая... и пошла языком звонить... Противно как...

Василий. Нюра!

Нюра. Что, Вася?

Василий. Я к тебе как к человеку обращаюсь.

Нюра. Ну?..

Василий. Только ты спокойно меня слушай, собери мозги...

Нюра. Ну?..

Василий. Если ты человек, Нюра, отпусти Михаила.

Нюра. Куда?

Василий. Совсем отпусти. Сними с него обещание, освободи.

Нюра. Чего?! Значит, в самом деле у него?! От тебя он этой заразе переменчивой научился! Бабник ты, бык племенной, пакостник!

Василий. Меня кроши сколько угодно, на меня не пристанет... Ты о Михаиле подумай, если уж на самом деле он тебе дорог. О жизни его... Что он видел? Счастья-то ведь настоящего каждый человек ждет. А что у него было? Ведь он сегодня вот тут на этой лавочке слезы лил... Понимаешь ли ты это, чтобы такой литой парень, как Мишка Заболотный, слезу выпустил... не удержал? Значит, уж боль-то сверх горла шла... Да когда его в детдоме распроклятая Софья Павловна при всех порола за то, что Степка лишнюю булочку сожрал, а она думала, что это Мишка, а потом в чулан заперла, где его чуть крысы не сожрали, — он и то рта не раскрыл... не то что слезы не выпустил. Только с тех пор заикается стал, особенно когда при нем что несправедливое творят... А лет так около четырнадцати пермские парни — человек шесть — били его за то, что он от них какую-то девчонку защитил... один оборонялся. Кровь уж из него идет, губа рассажена, один глаз оплыл, из-за уха хлещет — какой-то паразит, видать, железяку ему туда воткнул... ты, поди, и шрама-то за ухом у него не замечала. — а он бьется с ними и молчит, молчит и бьется... Хорошо, я сэм увидел, подлетел. Ох, и рвали же мы их вдвоем-то на

куски!.. А уж когда мы на плотине работали, авария произошла, обвал случился...

Н ю р а. Что ты из меня жалость-то вытягиваешь?! Что ты от меня хочешь-то?! Адвокат ты распроклятый!.. *(Вдруг.)* Я-то, думаешь, чурка осиновая, пень, табуретка кухонная? *(Заревела.)*

Василий подходит к Нюре.

Иди ты к черту, проклятый! На-ка выкуси!.. Не отдам его, слышишь?! И не помышляй!.. Да я весь поселок подыму!.. И Николаи не позволит, и я сама!.. Нюрка ~~добрая~~, Нюрка сделает!.. Не добрая я! К черту вас!.. Я вам полез Ритки буду!.. Что стоишь, что zenки-то свои поганые вы-лупил?.. Уходи отсюда, к черту уходи!.. К чертовой матери!.. *(Вдруг налетела на Василия и изо всех сил бьет его кулаками.)*

В а с и л и й *(отбежав к калитке)*. Осатанела... Да разве кто из вас о Мишке подумает... Все о себе, о себе каждый... Кулаки внутренние!.. Ладно, крутите его, перевязывайте! Никто из вас не любит его, вот что! Зверюги!! *(Ушел.)*

На крыльце появилась Р и т а.

Н ю р а. Риточка! *(Бросилась к ней.)* Ведь на самом деле у них, на самом деле! Горит он там, Васька проклятый сказал, огнем горит... Нет уж, он пойдет, нет уж, не отдам его!.. Да что это на свете-то творится!.. *(Плачет.)*

Р и т а *(обняв Нюру)*. Ну, отложи пока свадьбу на два-три дня... все за это время выяснится, уляжется...

Н ю р а. Как это отложи?.. Еще чего!.. Да скорей бы эта ночь проклятая прошла, скорей бы уж мы расписались!

Р и т а. Нюрочка, а вдруг он на самом деле... Может, он в себе ту любовь гаил, настоящую...

Н ю р а. Да мне-то что! Что мне до этого! Там она с каким-то парнем путалась — сорвалось, так сюда пожаловала, на худой конец моего Михаила подцепить захотела... Гадина она, тварь! Нет, уж не будет этого!.. И любит Михаил меня, любит! Три года со мной одной ходит... Что ему ее-то любить!.. Меня он любит. Я знаю! Меня!..

Р и т а. Ну, посиди со мной тут, посиди иди...

Нюра подошла к Рите и села на лавочку. Рита обняла ее. Пауза.

Пойдет он, ты, Нюра, не беспокойся.

Н ю р а. Пойдет?

Р и т а. Пойдет.

Н ю р а. Васька-то мне тоже это сказал, слово в слово — пойдет...

Р и т а. Ну и хорошо.

Н ю р а. Такой у меня праздник на душе был... Ох!..

Пауза.

Р и т а. Ты меня сегодня Юрой Кожиным попрекнула, помнишь?

Н ю р а. Не подумала я... нехорошо вышло.

Р и т а. Не он разлюбил меня, а я его оттолкнула, силой. В лицо ему плюнула, а он мне руки целовал и плакал. Уж только когда за Николая вышла, уехал.

Н ю р а. Зачем же ты так?

Р и т а. Помнишь, когда мы еще в школе учились, твой день рождения отмечали? Шестнадцать лет тебе исполнилось... завтра-то как раз десять лет тому будет?.. Проводил меня Юра до дому, и так мы с ним тогда хорошо у калитки стояли. Вот на этом моя настоящая-то жизнь и оборвалась.

Н ю р а. А что случилось?

Р и т а. Проводил он меня, ушел. Ведь и не целовались мы с ним еще... А я не пошла домой. Так мне хорошо было, так внутри пелось. Пошла я по-над Волгой-то к роще. Светать уж начало, розоветь. Вижу, Николай ваш на обрыве сидит. Я к нему подошла... Знала, что он в меня влюблен был, и от этого мне тоже гордо было. Он ведь уж тогда в техникуме на последнем курсе учился... особым мне, десятикласснице-то, казался — и взрослым, и недостижимым в чем-то... Ну, подошла я к нему. Мне от моей любви к Юре всех любить хотелось, всем верила и во все... не то что теперь... Обрадовался он, сильно обрадовался. Пошли мы по роще... А ведь мы тогда, на рождени-то на моем, вино пили — портвейн да еще настойку смородиновую. Я тот день из минуты в минуту во всех подробностях помню... Тоже от глупой храбрости да от счастья много пила. Мне уж и без вина-то море по колено было — от одной уверенности в жизни... а от вина-то к рассвету совсем шальная стада... развезло, сама не своя... Как уж тогда все это вышло — не хочу говорить... Он-то, может быть, меньше виноват, хотя, дурак, старше меня был, мог бы соображать. Да ничего он не мог, животное этакое!.. Я одна виновата... Мне все Юра перед глазами представлялся... Ну, а с утра-то, как проснулась, новая у меня жизнь началась... и по сегодняшний день идет... Юрка-то, бедный, понять не мог, что я на него кидаться стала и с Николаем ходить... А уж что у меня в душе творилось, как я себя душила и казнила... А потом выяснилось — беременная я... Николай-то ваш как узнал, испугался. Трус он ужасный, жалкий даже... В загс потянул, с перепугу-то... Он ведь меня не настоящей любовью любил, хотелось ему меня, ну и все... И сейчас он меня совсем не любит, боится только. Боится, что убить могу... Убить-то, конечно, не убью, но так мне его иногда отдубасить хочется... Я уж его раза два по морде съезживала... Терпит. После битья-то еще лстивее становится... Есть у него там какая-то женщина... табельщица, кажется... А мне все равно. Так, пугаю его иногда, когда злоба душит. А так — все равно... На работе, конечно, забываюсь, дышу еще, да и то! У всех жизнь нормально идет, смех, дети как дети, мужья... Не могу переносить! Я и на свадьбу твою не потому иди не хотела, что Николай уезжает — не едет он никуда, это я ему выдумала, чтоб не иди. А теперь приду.

Н ю р а. Будет свадьба-то? Будет?

Р и т а. Конечно.

Н ю р а. Так чего ж ты тут мне свое-то рассказываешь? Зачем? Мне уж сейчас твоего-то не надо, мне своего хватает...

Р и т а (*грустно*). Это я тебе мосточек кладу — через пропасть-то эту.

Н ю р а. Какой еще мосточек?

Р и т а. Будь осторожна, Нюра, в ложь не полети... Во лжи жить — все равно что в вонючей яме.

Н ю р а. Чего ж ты-то от Николая тогда не уходишь?

Р и т а. Сил нет. Вовремя не оторвешь — так и тянешь.

Н ю р а. Да ведь любит меня Михаил, любит!.. Что вы тут мне в уши-то жужжите...

Входит Н и к о л а й.

Н и к о л а й. Пойдем, Риточка!.. Анна, не переживай, плюнь.

Н ю р а. Вещи он сюда уже перевез.

Н и к о л а й. Не нервничай, говорю. Пусть он и не пикнет. Я, может, завтра по гакому случаю от командировки освобожусь, попрошу горком.

Р и т а. Да не ври ты, я уже сказала.

Н и к о л а й (*смеется*). Жена!.. Это, знаешь, после партийного руководства вторая сила... Мы тебя в обиду не дадим. (*Подходит к сестре, целует ее.*) Спи спокойно, полный порядок будет... Риточка, идем.

Р и т а (*целует Нюру*). Приеду завтра.

Н и к о л а й (*зовет*). Отец, мы отчаливаем!

С а л о в появился на крыльце.

Пока!

С а л о в. До свидания!

Р и т а. До свидания, Илья Григорьевич.

Рита и Николай ушли. Салов долго смотрит на дочь.

С а л о в. А я тебе к завтраму тоже подарок приготовил, шкатулочку на базаре купил... ловко сделана... Я поговорил там с Михаилом... он ничего... не обидит. А у мужчин это, Нюрок, бывает... заход вроде... на время... у некоторых.

На крыльцо вышел М и х а и л.

Мишуха, ты приходи завтра пораньше, лавку доделаем.

М и х а и л. Хорошо.

С а л о в. Ночь-то какая!.. Чистая!

М и х а и л. Да.

С а л о в. Пойду на дежурство... пора собираться. (*Ушел в дом.*)

Н ю р а (*подбежав к Михаилу*). Мишенька, уедем мы, забудешь ты эту проклятую... Ведь меня ты любишь, меня! Меня? Да?

М и х а и л. Тебя.

Н ю р а. Ну, вот видишь, видишь!.. Все устроится... Я по завкомовским-то делам когда бегаю, миру кого — вижу, устраивается... Сидоровы в прошлом году уж как рассорились, насмерть, кажется... Побежала я к нему сперва. Потом к ней... Потом опять к нему... Уж и сама думать стала, что ничего не получится... А ведь вышло... рады они теперь... раде-хоньки... вышло... Мишенька мой!.. Да неужели все на свете так переменчиво!.. (*Обняла его, прильнула.*)

М и х а и л (*тоже обнял ее, как ребенка*). Поженимся мы, Нюра, завтра, ведь я не отрекаюсь.

Н ю р а. Точно? Точно?

М и х а и л. Т-т-точно...

Н ю р а. Ну, и хорошо, ну, и спасибо тебе... Оставайся у нас ночевать.

М и х а и л. Я уж в общежитие... Ты не бойся, я не сбегу... человек ты мой хороший! (*Целует ее в голову.*)

Н ю р а. Любишь ты ее, скажи? Любишь?

Михаил молчит.

Ну, не буду, не буду... Ну и что? Пройдет все, вот увидишь, пройдет, забудется... Ну, уходи!

Стоят молча.

Дай я тебя поцелую. (*Целует Михаила долгим, жарким поцелуем.*) Иди.

Михаил уходит. Хлопнула калитка. Нюра села на лавку. Из дома вышел С а л о в. Он в ватнике, в руках узелок — видимо, пища.

С а л о в. Ушел?

Нюра кивает головой. Салов идет к калитке.

Как Матвевна и Сергевна уйдут, запри калитку.

Н ю р а. Женьки еще нет.

Салов. Жди теперь! Через забор перелезет... Спать иди... постарайся... а то лицо мягкое будет...

Салов ушел. Нюра неподвижно сидит на лавочке. Слышно, как идет колесный пароход, шлепая плечами по воде. Он дает короткие тревожные гудки. Из дома выходят Матвеевна и Сергеевна.

Матвеевна. До завтра, Нюрок.

Нюра. До свидания.

Матвеевна. С капустой пироги особенно хорошо удались. Да и все складно получается.

Снова тревожные гудки парохода.

Нюра. Что это как пароход-то раскричался...

Матвеевна. Лодку, поди, предупреждает. Безобразничают... Поперек едут — под самый нос режут... Спешат все... доспешатся... Будь здорова!

Нюра. До свидания.

Женщины ушли. Снова пароход дает короткие тревожные гудки.

Да не кричи ты, не кричи!..

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же декорация. День. Двор чисто убран. Сооружен длинный стол, накрытый скатертями и уже частично уставленный едой и напитками. По забору и крыльцу развешены цветы живые и искусственные. На ступени крыльца брошена матерчатая дорожка. Сергеевна и Матвеевна продолжают накрывать стол, бегая то в дом, то в погреб с кушаньями. Тоня украшает наличники окон полотенцами и цветами. В калитку входит Майя.

Майя. Ух, разрисовали! Где они?

Тоня. Уже в загс пошли.

Майя. Поплелся, значит, голубчик!

Тоня. А ты как думала?

Майя. Испугался, конечно. Ты слыхала, он с Васькой ночью на ту сторону в лодке катал.

Тоня (*она все знает*). Хватит брехать-то.

Майя. Люди видели. Вернулся-то на рассвете.

Тоня. Помогай лучше. Скоро придут...

Майя (*помогает украшать двор*). Закрутил! Клавдя-то не показывалась?

Тоня. Нет.

Майя. Уж, поди, хватит стыда не появляться. Еще погоди, по дороге какое-нибудь колено отмочит... Не дойдя до загса, сбежит. Они, детдомовские, без узды.

Тоня. Будет каркать-то, ворона!

Майя. Увидишь! Барахлишко-то свое он сюда из общежития перетащил?

Тоня. Еще вчера все принес... кроме постели.

Майя. Вон как! Самое-то главное, значит, там оставил.

Тоня. Подумаешь, тюфяк да подушка!

Майя. Хитер!.. А я на Ваську жалобу сочиняю. Аморальный тип, пусть судят.

Тоня. Разлюбила?

М а й я. Чего любить-то, раз ушел. Хорош, конечно, но гад.

Т о н я. Замуж пора тебе всерьез. Отец у тебя такой уважаемый, завод-то как поднял — на весь Союз! Голова! А ты? Плачут они, поди, с матерью от такого твоего поведения...

М а й я. Да разве они молодежь понимают!.. Они все свои принципы в нос тычут!.. Все понять не могут, что их век кончился, другой идет. Не хочу я половыми вопросами мучиться, без них дел хватает.

Т о н я. Тьфу!

М а й я. Плюйся не плюйся, к тому идет — к свободе! Старики повьрут, наши порядки будут, увидишь.

Входят Женя и Оля, они вносят газету, разворачивают ее и припиливают на заборе.

Вон молодежь поддержит, да еще разовьет... Ишь, что выдумали — стенгазету. (*Подходит, читает.*) «Любви все возрасты покорны. Пушкин»... Не возражаем, пусть всем достанется... «Любить — значит жить жизнью того, кого любишь. Толстой»... Однобоко, старик, узко — о себе думать тоже не мешает... «Невесело на свете жить, колы сердцу некого любить. Шевченко»... В точку попал, в яблочко!.. «Никто не принуждается к заключению брака, но всякий должен быть принужден подчиняться законам брака, раз он вступил в брак. Карл Маркс»... Отжило, милый!.. «В душе померк бы день, и тьма настала б вновь, когда бы из нее изгнали мы любовь. Лишь тот блаженство знал, кто страстью сердце нежил. Тот, кто не знал любви, тот все равно, что не жил»... Это другое дело. Кто это высказался? Мольер... Приветик!..

В калитку вошли Салов и Менандр Николаевич. Они быстро пересекли двор и скрылись в доме.

Старик-то как сын... и не глядит. Поджилки, поди, трясутся. (*Читает дальше.*) «Если... ты любишь, не вызывая взаимности, то есть если твоя любовь не порождает ответной любви, если ты своим жизненным проявлением в качестве любящего человека не делаешь себя человеком любимым, то твоя любовь бессильна... Карл Маркс»... Хватит уж Марксом-то пугать!.. «У любви, как у пташки, крылья, законов всех она сильней. Кармен». Сразу видно, своя баба!

На крыльцо вышла Сергеевна.

Сергеевна. Девочки, помощь требуется!

Т о н я. Идем, Майя.

Т о н я и Майя ушли.

О л я. Как ты думаешь, понравится им?

Ж е н я. Надеюсь.

Из дома выходят Салов и Менандр Николаевич.

Менандр Николаевич. Женька, Ольга, добегите-то до загсу... чего они там застряли? Да когда обратно пойдут, знак дайте.

О л я и Ж е н я ушли.

Да сядь ты, не суетись... Уж пошли, уж распишутся... Чего нервный-то такой?

Салов. Скоблит по сердцу...

Менандр Николаевич. Чего?

Салов. Веселья нет... радости.

Менандр Николаевич. Это тревога звонит... Принесут справку с печатью, и отойдет.

Салов (*подсел к Менандру Николаевичу*). У меня, Менандр, у самого в этом вопросе уверенности нет. Честное ли дело идет или наоборот?

Менандр Николаевич. То есть?

Салов. Ну что, бестолковый ты или души нет?

Менандр Николаевич. Была вроде.

Салов. Была!..

Менандр Николаевич. Понял... Тут, Илья, все ясно, двух суждений нет... Ты от своей жены не бегал.

Салов. Я не в пример. Я свою Александру Ивановну одну любил..

Менандр Николаевич. Вот видишь...

Салов. погоди... Я, говорю, свою Александру Ивановну одну любил, всегда. А что, думал, если мне вдруг при живой жене другая полюбится? Что делать стану? Боялся я этого случая. Не выпал он мне, слава тебе господи!.. Я за себя ручаться не мог, горячий мужчина был... кругом примеров-то множество. Видел я, как люди мучаются этим самым делом... О тех, у кого ветер в таких случаях, о тех не говорю: кобельки, и ничего больше — вошки да блошки... А для кого бедой такое дело оборачивалось, горем... Какой тебе тут природа диктант дает, какую подсказку шепчет, и не знаешь. С одной стороны, порядок, условие, так сказать, такое, договор, его соблюдать необходимо, а с другой...

Менандр Николаевич. К чему это, значит, ты клонишь?

Салов. Вот я и думаю, дело ли Михаил делает, что идет...

Менандр Николаевич. Ты что? Что мелешь-то!

Салов. Это я так, отвлеченно говорю, вообще...

Менандр Николаевич. Когда дело до жизни доходит, Илья, философию надо бросать, она что — игра ума, и только.

Салов. Это, конечно...

Менандр Николаевич. Да ежели свадьба расстроится — что поднимется-то, чуешь?

Салов. Даже и вообразить нельзя всего шуму-то разного.

Менандр Николаевич. То-то. Ведь закон промеж людей тоже не зря устанавливается.

Салов. Закон, Менандр, порой людям тогда нужен, когда они не знают, где правда. Условие они тогда такое заключают между собой. Временное. До выяснения сути... Вот, к примеру, есть закон — чужого не брать. Вор, ежели взял. А ведь где-то, в высших-то, так сказать, порядках, чужого-то и нет, и своего нет... Общее все. Как та губисполкомовская моторка, о которой ты мне вчера-то напомнил... Конечно, рад я, что Нюрка наконец мужа нашла... И Михаил распишется... Он воли-то себе не даст. Он с детских лет привык себя в руках держать... дисциплину знает... Да какая у них жизнь будет?.. Впереди-то что им маячит?.. Тут вопрос!..

Менандр Николаевич. Вперед-то, Илья, ни один человек не знает. Предполагает только... Привыкнут друг к другу, обтерпятся... и пойдет.

Входят музыканты, которых приводил Василий. В руках у них сверкающие инструменты.

Салов. Вам что, товарищи?

Первый музыкант. Василий Заболотный прислал — играть.

Менандр Николаевич. Вон как... с музыкой, значит.

Салов. Не чересчур ли уж?..

Первый музыкант. В самый раз, Илья Григорьевич, -- свадьба! Перезнакомьгесь. (*Представляет музыкантов.*) Гусев Семен, фрезеровщик... Репочкин Федор Федорович, старший технолог, Лапкин Трофим Константинович, конструктор... Это Вовка Пузин, ремесленное кончает...

Товарища Харитонова, поди, знаете, бухгалтер ваш, зарплату вам насчитывает.

Салов (*здоровается со всеми*). Да еще рано, нету их.

Первый музыкант. А мы — позицию занять... Вот тут нам указано... Становитесь, товарищи.

Музыканты становятся у крыльца. Двор наполняется народом. Некоторые принесли подарки, отдают Салову. Тот складывает их на верстаке. Тут и свертки, и букеты, и вазы, и бутылки шампанского, и подушка, и абажур, и коробки конфет, и этажерка, и духи, и всякая всячина. Все здороваются с Саловым. Часть гостей знает о последних событиях в доме Салова, остальные пришли, как на самую счастливую свадьбу, ничего не подозревая. Общий гомон. Салов и Менандр Николаевич ушли в дом. Возникают следующие реплики:

- Чин чином все разукрасили.
- Люблю свадьбу — счастьем пахнет.
- Пошел Мишка-то, железный!
- Другой бы и хвостом вильнул, не посмотрел бы.
- Точно.
- А куда ему деться было? У всех на виду. Откажись — кончилась бы его карьера.
- Из комсомола вышибли бы.
- С чего это?
- В два счета!
- Я бы первый голосовал, хоть и жалко.
- И глупо!
- Да, тут уж податься некуда, хошь не хошь.
- Пусть он ее любит, ничего, золото она, наша Нюрочка.
- Это точно.
- Нюрка хорошая.
- Слюбятся.
- Газету-то какую выдумали, смех!
- Стол богатый.
- Начисто, поди, выложились.
- Пара-то какая замечательная: что он, что она — счастливые!
- Сурьезные оба.
- Чего-то не по себе мне.
- Брось, весело будет.
- Мой графин с краю поставили — не кокнули бы. (*Переставляет графин, на его место ставит другой.*)
- А моего тебе, значит, не жалко! (*Переставляет. Ставит на его место бутылку.*)
- Тут поскорей выпить надо, сразу все в норму войдет.
- Цветов-то, цветов! На такую свадьбу и поменьше бы можно.
- А Клавка, гадюка, носа-то не кажет.
- Еще бы!
- Неужели он ночью к ней в город ездил?
- Ну и что?
- Васька сказал — побродили они коло ее дома, и все. Она и не вышла.
- Верь Ваське!
- У-у, вороны, слетелись смотреть, как на утопленника.
- А верно, почему это народ на всякие несчастья смотреть бежит? Машина кого задавит — бегут, утопленник — бегут. А уж если пожар — полгорода мчит!
- Интересно... событие.
- Обогащение ума.

— Помню, когда первый аэроплан прилетел, все высыпали, хоть по квартирам шарь.

— Раньше воров меньше было.

— Так раньше у нас в поселке полторы тыщи людей жило, а теперь за десяток перевалило.

— И что?

— На душу-то населения воров меньше будет — вот что!

— Точно.

— Ишь ты, ловко! Радио, поди, не выключаешь.

— Молодежь нынче вольности много берет.

— И не говори! Моя штаны надеть хотела, как мужик, на свадьбу-то.

— В Москве, говорят, женщины прямо по главным улицам в штанах ходят.

— А милиции приказ дали — стрелять без предупреждения.

— Ну, уж не ври. Забирают просто и бьют.

— Будет вам молоть-то!

— А узкие брюки молодежь у эпохи выторговала. Носют.

— Потому время теперь такое... Раньше-то — у-у! — дали бы им жару!

— «Раньшего» тебе захотелось!

— Не то чтобы... но для порядку.

— Катись ты со своим «раньше»!.. Восемь лет я его зазря из котелка хлебал.

Вбегают Оля и Женя.

Оля и Женя (*наперебой*). Все!.. Расписались!.. Идут! Идут!

Они снимают перекладину с ворот, распахивают их. Все замерли. В ворота рука об руку идут Нюра и Михаил, молодые муж и жена. Сзади Василий и другие.

Лица Нюры и Михаила каменные. На мгновение они остановились, войдя во двор.

Салов. В дом войдите сперва, а потом уж к столу.

Михаил повел Нюру. Грянул оркестр какой-то душещипательный вальс-марш вроде «Дунайских волн». Михаил ведет Нюру в дом. Следом за ними идут Салов, Николай, Рита, Женя. Все замерли, впились глазами в молодых. Когда молодые скрылись в доме, музыка умолкла и снова возникли реплики.

— Ну, слава тебе господи, все хорошо вышло.

— Чего хорошего-то?

— Зато порядок.

— Платье-то как идет к ней.

— Оно всем пойдет.

— Ни кровинки в лице-то у нее.

— Страху-то натерпелась.

— Выпить бы уж скорей!

— Только это и знаешь!

— Пойдут дети, дела... и забудется.

— Что забудется-то?

— Все.

— Вот то-то и оно!

— Эх, жизнь, жизнь...

Василий (*злобно*). Радуйтесь, радуйтесь, свадьба!!! (*Вдруг выкидывает несколько плясовых колен.*) Э-эха! Э-эх! Весело, свадьба! (*Танцует.*)

Гости совсем притихли. Из дома выходят Нюра, Михаил, Салов, Николай, Рита, Женя, и всех как прорвало:

- Поздравляем!
- Счастливо жить!
- За стол, за стол!
- Нюлочка, какая же ты красавица!
- Миша, поздравляем!
- Здорово все вышло!
- К столу, к столу!
- Наливай живей, наливай!
- Садитесь, товарищи, садитесь! Ура! Ура!

Все шумно рассаживаются за стол. Налили рюмки, стопки. Салов встал, поднял рюмку. Все умолкли.

Салов. Ну... вот... мечтала моя Александра Ивановна о твоём счастье, Нюрок... думала она об этом дне... да рано ушла... не дождалась... Живите дружно... уступайте друг дружке... Это необходимо... Чужую волю не гнетите, без воли человеку дышать трудно... Жизнь не в жизнь... уступайте... Ну, счастья вам...

Оркестр грянул туш. Все пьют. Выпили — зашумели.

— По второй наливай, по второй!

Шум. Налили по второй. Чей-то голос выкрикнул: «Горько!», и как по команде все наперебой закричали: «Горько!», «Горько!», «Горько!» Молодые встают для традиционного поцелуя. Михаил приподнимает вуаль с лица Нюры, берет жену за руки и притягивает к себе. Оркестранты взяли на изготовку инструменты.

Нюра (*слегка сопротивляясь, тихо*). Не надо.

Реплики.

- Ишь ты!
- Застыдилась!
- Целуй ее, Миша! Целуй!
- Бери!
- Горько! Горько!

Михаил берет Нюру за плечи и приближает к себе.

Нюра (*с криком*). Не хочу!

Она выскакивает из-за стола и бежит в дом. Гости тоже повскакали со своих мест, смеются.

Реплики.

- Ишь ты что выдумала!
- Проворная какая!
- Засиделась в девках-то!
- Туго.
- Силком ее, Миша, бери! Силком!
- Ай да Нюлочка!
- Лови ее, лови! Лови!

Несколько человек бегут в дом и под общий смех вытаскивают Нюру из дома. Держат ее за руки. Нюра хочет вырваться, но не может, даже покраснела от натуги.

- Вот она!
- Бери ее, Миша!
- Целуй!

Общий крик: «Горько!!!»

Михаил неуверенно идет к Нюре.

Нюра (*кричит*). Не хочу!!

Все вдруг утихло, поняли, что это не привередничание, не шутка, не игра.

Мишенька!.. Не хочу!.. Люблю тебя, Миша!! Не могу твою свободу брать... Не хочу!.. Что же это мы делаем?!

М а й я. Чего ты несешь-то, полоумная?

Н ю р а (*не слушая, со слезами*). Я еще ночью все поняла, когда одна во дворе сидела... Все ясно было... Говорят, утро вечера мудреней... Выгодней, может, а не мудреней. В тишине-то чистые мысли идут... ясные... верные... А утром подумала: нет, мой он, мой!.. Только загадала: как распишется — какие у него глаза будут, увижу... Видела, как ты свой смертный-то приговор подписывал... и глаза у тебя совсем... спокойные стали, ровные... Люблю же ведь я тебя, Мишенька! Тебя люблю, не себя...

М а й я. Да ты опомнись... что город-то говорить будет!..

Н ю р а. Ну уж если я все это пережить собираюсь, то город как-нибудь переживет!

В а с и л и й. Нюра!.. Нюрочка!.. Нюра!!!

М а й я. Об отце, об отце-то подумай!

С а л о в. Говори, Нюрок, говори.

Н ю р а. Иди, Миша, иди!.. Миша мой! Не могу! (*Снимает фату.*)

Оркестр вдруг грянул туш. Кто-то замахал на оркестрантов руками, но дирижер истоково взмахивает руками, и туш гремит два, три и четыре раза. На звуках оркестра идет занавес.

К о н е ц



Соленые морщинистые веки
 закрыты были, точно он заснул,—
 но в этой тьме, где все тонуло в блеске,
 старик не спал, он слушал моря гул,
 гул длиннозубых рыб, гресманных, хишных,
 туманных горизонтов,
 и огней,
 гул лодок и сетей,
 рыбачьих хижин
 и скал, которые цветут на дне...

Но, может быть, гудели эти сосны,
 которым в тучах век свой вековать?
 Он знал, что если снизу вверх посмотрит,
 то может закружиться голова...

Стояли горы синими слоями,
 сосновый лес и море шли на стык.
 На берегу, на камушках, огромный,
 один, закрыв глаза, лежал старик.

Мои похороны

Откуда вынесут гроб мой, из нашего ли двора?
 И как вы меня опустите с третьего этажа?
 Ведь гроб не поместится в лифте, да и нельзя,
 а лестница наша узка.

И, может быть, голуби будут, и солнце по грудь,
 а может быть, снег, наполненный криком детей,
 а может быть, дождь, и мокрый асфальт вокруг,
 и ящики с мусором будут стоять у дверей.

Мне на лоб упасть может капля дождя —
 вода, говорят, к добру,
 и будет оркестр или нет — дети ко мне прибегут,
 дети покойников любят, за мною пойдут по двору.

Проводит меня наш милый балкон с бельем,
 окно нашей кухни посмотрит сверху мне вслед.
 Я в этом дворе был счастлив. Будь счастлив, мой
 дом!

Соседи мои, желаю вам долгих лет.

Апрель 1963 г.

Перевела М. Павлова.



ВИЛЬ ЛИПАТОВ

★

ЧУЖОЙ

Повесть

Глава первая

1

Город стоит у подножья двух высоких сопок. Когда за ними всходит солнце, оно не сразу освещает город — солнце минут десять обливает сопки прозрачным светом. И уж потом лучи падают на город: рассеявшись, заполняют чистые и широкие центральные улицы, оловянно отсвечивают в окнах, гасят горбатые фонари дневного света. А еще через пять — десять минут солнце с центральных улиц города проникает на улочку темных одноэтажных домов, где нет ни тротуаров, ни асфальта, и вообще это даже не улочка, а переулочек, имя которому Татарский.

Город же невелик; один из тех городов, что лежат за Байкалом и называются сибирскими. Здесь полтора-два тысяч населения, три универсальных магазина, пединститут, мединститут, областная партийная школа, три кинотеатра, ресторан. Завод в городе один. Есть, правда, всякие ремонтные заводишки, артели, промкомбинаты, но настоящий завод — один, машиностроительный. Он занимает добрых три квартала на одной из оживленных улиц.

Машиностроительный завод виден и слышен из любой точки города. Если не видны откуда-то его высокие кирпичные корпуса, то видна труба, а уж если не видна и труба, то слышен гул завода — грохот железа, ежечасные гудки, по которым горожане ставят часы.

Из Татарского переулка машиностроительный завод виден весь, со всеми его корпусами и трубами. Сюда всегда доносится гул вентиляторов литейного цеха, скрежет и стук прессов, пенье мощных моторов. Особенно хорошо машиностроительный завод слышен утром: кажется, что он дышит за ближайшим забором. Таково чудесное свойство прозрачного забайкальского воздуха.

Татарский переулочек в шесть часов утра уже не спит. Мужчины и женщины стоят в очереди у водоразборной колонки, колот дрова, трясут коврики и половики, подметают дворы, идут в магазины, которые открываются в семь утра. В переулочке Татарском два магазина — мясной и хлебный.

Без пятнадцати семь утра у мясного магазина среди десяти — двенадцати человек стоит в очереди полная прямая старуха в просторном костюме из серой шерсти. У нее строгое лицо, строгие глаза, строгий выпуклый подбородок; она курит папиросу и по-мужски закусывает ее крепкими зубами, по-мужски подносит ко рту руку с папиросой. Выкурив ее, старуха неторопливо закуривает другую — видно, что она чем-то

взволнована. Люди, посматривая на нее, понимающе переглядываются. Когда щелкает замок дверей магазина, очередь шевелится, распадается и старуха как-то оказывается впереди всех; она оборачивается, хочет встать на свое место, но соседка справа тихо говорит:

— Идите, идите, Елена Федоровна... Вам сегодня некогда! Идите, мы не возражаем.

— Спасибо! — Елена Федоровна первой входит в магазин.

Она покупает пять килограммов говядины на котлеты. Когда за ней закрывается дверь, раздаются голоса:

— Свадьба у них сегодня... Ирина Августовна выходит замуж за инженера...

— Сколько лет была одна, а теперь замуж выходит...

— Легко ли матери — какой еще человек окажется. Если бы Ирина Августовна молодая была, а то сын взрослый да самой-то скоро сорок!

— Ну, еще не сорок...

— Инженер-то — мужик красивый, видный...

— Э, как знать, Петровна! С лица воду не пить...

Елена Федоровна этих разговоров, конечно, не слышит; она идет по переулку, на ее лице, возле рта, застывают две глубокие складки, она думает о том же, о чем говорят в очереди. Тридцативосьмилетняя дочь Елены Федоровны Ирина действительно сегодня выходит замуж, мужем ее будет инженер машиностроительного завода Иван Николаевич Черепнин, и Ирина действительно всю жизнь прожила одна, и у нее есть взрослый сын Саша, который работает токарем на том же заводе.

С будущим мужем дочери Елена Федоровна познакомилась только два месяца назад, знает его плохо и мучится от предчувствия, что брак будет неудачным. Елена Федоровна не понимает, почему ей так кажется, и от этого страдает еще больше. Сейчас она нерешительно останавливается перед калиткой своего дома. Дом большой, состоит из двух половин, в одной из которых живет ее семья, а во второй — семья Михаила Михайловича Шведова. Вокруг дома садик, крыша утопает в листе тополей. Елена Федоровна прислушивается, поевживается. Хорошо слышно, как гудит и лязгает машиностроительный завод, как по соседним улицам с урчаньем бегут автобусы; видны алеющие высокие сопки.

Проходит минута, может быть, две. Елена Федоровна поднимает с земли сумку, выпрямляется, становится строгой и, словно набравшись решимости, распахивает калитку своего дома. Широким шагом, странным при ее грузной полноте, она идет по узкой дорожке, посыпанной желтым песком. В садике шелестят тополя, прыгают по веткам воробьи, похожие на заводные игрушки; в садике шум машиностроительного завода слышен не так, как на улице.

Елена Федоровна садится на стул возле столика, вкопанного в землю, опустив голову на скрещенные руки, задумывается. Потом поднимает голову, медленно обводит взглядом сад, песчаные дорожки, дом, утонувший в тополях, и усмехается. «Вот так штука! — думает она. — Я смотрю на этот дом так, точно он мне чужой!» Это, конечно, удивительно, так как Елена Федоровна живет здесь много-много лет и очень любит дом и сад с его песчаными дорожками.

Завтра по этим дорожкам будет ходить Иван Николаевич Черепнин, технолог машиностроительного завода. Он сядет на этот стул, иронически улыбнется — он всегда улыбается иронически, — что-то скажет своим веселым баритоном; он будет спать в одной постели с Ириной, а Елену Федоровну называть тещей. «Какая я все-таки баба! — опять усмехается Елена Федоровна. — Простая баба, и точка!»

Мысль о том, что позднее замужество дочери будет неудачным, не оставляет ее. Потому Елена Федоровна опять закуривает — наверно, уже пятую папиросу в это утро.

— Доброе утро, бабушка!

На песчаной дорожке, покрытой веселыми солнечными зайчиками, стоит высокий, крепкий парень в синей спецовке и новых кирзовых сапогах; он держит в руках холшовую сумочку с обедом и улыбается бабушке. Она быстро повертывается к нему и тоже улыбается:

— Доброе утро, Саша!

Они смотрят друг на друга так, словно давно не виделись, а потом как-то разом, точно сговорившись, гасят улыбки.

— Ты завтракал, Саша? — тихо спрашивает Елена Федоровна.

— Я хорошо позавтракал, бабушка...

И опять ненадолго замолкают, так как оба думают о том, что сегодня вечером в их дом поселится чужой человек.

— Я иду на работу, бабушка!

— Иди, Саша!

Стройный, сильный, он уходит по песчаной дорожке, а она провожает его задумчивым взглядом. Вздыхает. По-бабьи пригорюнивается. Затем решительно поднимается, идет в дом, чтобы жарить котлеты и пирожки к свадьбе, которая, по словам ее будущего зятя, должна быть семейным и скромным праздником.

2

Бывают такие люди, у которых всегда праздничный вид.

В какой бы они ни были одежде, что бы они ни делали, от них всегда веет праздничностью. Трудно объяснить, в чем тут дело, но при встрече с таким человеком весь день будет вспоминаться: «Что-то у меня сегодня было хорошее... А что?»

У Саши Озолина, внука Елены Федоровны, всегда, независимо от того, грустен ли он, весел ли, праздничный вид. У Саши подвижное, чуть нервное лицо, порывистые движения; глаза у него большие, блестящие, а выражение их постоянно меняется — то веселое, то печальное, то дерзкое, то озорное. Отец Саши грузин, мать — русская, дед по матери — латыш; три эти крови — сильных и таких разных, — слившись, дали ему оригинальную внешность: смуглое лицо, нос с горбинкой, белые и мягкие волосы и серые, как у матери, глаза.

И сегодня Саша шагает так энергично, голова у него так высоко поднята и серые глаза так блестят, что никак не подумаешь, что мысли у него печальные. Его мать, Ирина Августовна, главный врач городской больницы, выходит замуж за инженера-технолога Сашиного завода Ивана Николаевича Черепнина, и сегодня состоится свадьба, в которой повинен он, Саша, так как именно он познакомил мать с Черепниным. Сегодня придет в их дом чужой человек, поставит свои вещи и станет жить в их доме.

У Саши такое чувство, будто он впервые увидел мать и теперь стесняется смотреть ей в глаза. Ему стыдно за нее и стыдно своих мыслей. Он даже оглядывается по сторонам, так как ему кажется, что весь город видит и понимает его переживания. Но возле Саши никого нет. Он один на длинной улице, что прилегает к переулку Татарскому и что ведет к машиностроительному заводу.

Солнце ярко горит, поднявшись над двумя высокими сопками, покрытыми лиловым пламенем багульника — самого знаменитого забайкальского растения. Этот низкорослый кустарник по весне нежными яркими цветами. Багульником залиты все сопки и пади, он растет

меж соснами и березами, и все Забайкалье становится нежно-лиловым. Саша жадно оглядывает лиловые весенние сопки и опять тяжело вздыхает: нынче для него не так ярко цветет багульник, не так красивы сопки, не так ярка весна, как раньше, и все потому, что мать сегодня выходит замуж. Эх, мама, мама!

Да, Саша теперь не может смотреть в глаза матери, где-то на дне их он видит что-то такое, что ему не хочется видеть. У матери изменился даже голос. Она вообще стала незнакомой, далекой; как-то она вошла в комнату Саши, нервная, напряженная, стремительно подошла к нему, обняла руками за голову, прижала к себе. Он понял, что она испугана, растеряна, сам тоже растерялся и, бормоча: «Ничего, мама, ничего!» — невольно отстранялся от матери. У него сжималось сердце, першило в горле. «Ничего, мама, ничего!» — повторял Саша. — Ничего не надо говорить! Я все знаю...» В глазах у нее показались слезы.

— Спасибо, Саша! — тихо сказала мать и, осторожно ступая, вышла из комнаты.

Он бросился на кровать и лежал долго, до тех пор, пока не стало больно спине от неловкой позы... А этим же вечером за тонкой перегородкой Саша услышал взволнованный голос бабушки.

— Никто не хочет принуждать тебя! — громко говорила бабушка своим четким учительским голосом. — Никто не имеет права запретить тебе выходить замуж, но твоя мать хочет знать, любишь ли ты Ивана Николаевича. Гляди мне в глаза и отвечай: любишь или нет?

За стенкой долго стояла тишина, только слышалось, как скрипит стул под грузным телом бабушки.

— Я ничего не знаю, мама! — сказала наконец мать. — Я, наверное, забыла, как люди любят. Но я, кажется, люблю его...

И опять долго стояла тишина.

— Бог с тобой! — вздохнула бабушка. — Бог с тобой, выходи за него!

За стенкой что-то брякнуло, скрипнуло, зашуршало и вновь притихло, но Саша понял, что мать бросилась к бабушке и надолго замерла на ее плече. Сколько раз на Сашиной памяти мать плакала на плече у бабушки! Сколько раз... И вот плакала опять — оттого, что выходит замуж за Ивана Николаевича, что жил на белом свете черноволосый лейтенант, что Саша — сын этого лейтенанта. А когда проплакалась и ушла за чем-то ночью в больницу, Саша до утра не мог уснуть — все думал о матери, о бабушке, о себе, о Иване Николаевиче, о своем отце, портрет которого висит в гостиной. Мысли были тяжелы, как слитки металла, и ни одну из них он не мог додумать до конца и так и не решил, хорошо ли делает мать, выходя замуж, или плохо. Он и сейчас не знает этого.

Саша не замечает, что шагает уже в толпе заводских рабочих. Вокруг него толчея, шум... Только утром толпа бывает такой веселой и разговорчивой. Ярко светит солнце, бегущая волна ветра прокатывается по листьям тополей, а сопки горят лиловым отсветом. Оглядевшись, Саша обнаруживает, что рядом с ним тихонько шагает Юра Чешуйкин — один из его друзей. Юра пристально разглядывает Сашино лицо, лукаво покачивает головой и улыбается милой девчоночьей улыбкой.

— Здорово, Юрениш! — смеется Саша.

Юра Чешуйкин маленького роста, беловолосый, голубоглазый, тонкий; у него не только девчоночьей улыбка, но лицо девчоночье — тонкокожее, румяное. Настроение у Саши быстро меняется, он веселеет, улыбается во все свое смуглое лицо.

Саша обнимает Чешуйкина за тонкие плечи.

— Ну, пошли на завод!

Машиностроительный завод — это металл.

Все, что не металл, на заводе как бы прячется, не видно глазу — и то; что корпуса завода сложены из кирпича, и то, что посередь двора растет несколько тополей и посажены цветы. Завод пахнет металлом, гремит, дышит, и даже мысли инженеров и конструкторов на чертежных досках выражаются линиями металла. На людях завода тоже лежит печать металла: их лица темны, суровы — след металла; их руки шершавы и сбиты — след металла; их глаза прищурены — след металла, который опасен для глаз.

Металл в каждом цехе завода — главное, а тем более в ремонтно-механическом цехе. Здесь ремонтируют сложное заводское оборудование, здесь работают самые искусные на заводе слесари, токари, фрезеровщики, строгальщики, лекальщики.

Саша Озолин работает в ремонтно-механическом цехе. Ему двадцатый год, но он уже токарь пятого разряда. Всего за полтора года Саша прошел путь, который другие ученики совершают за три. Саша — талантливый токарь, о нем говорят, что он родился металлостом. Это так и есть: мальчишкой Саша бегал на детскую техническую станцию; десяти лет он собрал из огрызков металла свой первый электрический моторчик, а в четырнадцать — сконструировал дизельный двигатель с оригинальным клапанным механизмом.

Ремонтно-механический цех — высокое закопченное здание. Здесь нет шика сборочных цехов, где стеклянные потолки, где меж станков стоят в кадках фикусы, где висят на свободных кусочках стен кумачовые лозунги; здесь потолок деревянный, окна — небольшие, пол — бетонный, вздрагивающий от напряжения; здесь гул станков не однообразный, как в других цехах, а разноголосый, сумбурный, так как станки разные: скрежещут — токарные, скрипят — строгальные, визжат — сверлильные, едко похрустывают металлом — фрезерные.

Сашин станок стоит в левом углу цеха и так расположен, что, отрывая глаза от детали, которую обрабатывает резец, Саша видит всех своих друзей: Юру Чешуйкина, Вадима Табачникова, Володю Якунина. Это лучшие друзья Саши. С ними он ходил на детскую техническую станцию, учился в одном классе, вместе с ними пришел на завод, вместе с ними готовится поступать в политехнический институт. Позади Саши на особенном станке работает его учитель — токарь Петр Алексеевич Гомозов. Он не только учитель Саши, но и всех его друзей: Вадима Табачникова, Юры Чешуйкина, Володи Якунина.

Сегодня Саша точит трехступенчатый вал. Работа эта — ученическая, и Саша время от времени облакачивается на столик с инструментом, думает свою думу о матери, бабушке, инженере Черепнине и себе самом. Сквозь пыльные окна цеха пробивается солнечный свет, ложится заплатами на дрожащий бетонный пол.

В первом часу дня, незадолго до обеденного перерыва, к станку Саши неторопливо идет высокий человек в добротном сером костюме. Это тот самый Иван Николаевич Черепнин, который еще вчера зарегистрировал брак с Сашиной матерью и теперь согласно закону является отчимом Саши. Когда Иван Николаевич идет к станку Саши через весь ремонтно-механический цех, то почти все рабочие поднимают головы от станков и почтительно здороваются с ним; то же самое делают друзья Саши — Вадим Табачников, Володя Якунин, Юра Чешуйкин. Весь ремонтно-механический цех здоровается с Иваном Николаевичем Черепниным, и он отвечает энергичным наклоном головы и чуточку улыбается.

— Добрый день, Саша! — звучно здоровается Иван Николаевич.

— Добрый день, Иван Николаевич!

Иван Николаевич смотрит на Сашу весело, потом говорит с легкой иронией:

— Директор завода — чуткий человек! Через его секретаря мне было передано, что я могу сегодня вообще не работать. То же самое относится к тебе, Саша. Если хочешь, можешь идти домой. Но... — Иван Николаевич делает небольшую паузу. — Но Ирина Августовна не хочет, чтобы мы с тобой рано являлись домой. Мы, по ее выражению, будем путаться под ногами. Потому давай, Саша, явлюсь домой позднее. Этак часиков в пять.

— Хорошо, Иван Николаевич, — соглашается Саша. — Придем домой часиков в пять.

С тех пор, как мать и Черепнин объявили о женитьбе, Саша смотрит на отчима долгим, изучающим взглядом и видит его не таким, как раньше. Не может он видеть в своем отчине того инженера-технолога Черепнина, которого раньше уважал за ум и знания и которому даже немного подражал. Теперь Саше все не нравится в Черепнине.

У Ивана Николаевича высокий лоб, широко поставленные веселые глаза и яркие, полные губы. У него интересное лицо, а Саше кажется, что у Ивана Николаевича лоб чрезмерно велик, что у него слишком легкомысленные глаза и слишком чувственные губы. У Ивана Николаевича Черепнина веселый взгляд, а Саше кажется, что взгляд у него недобрый, въедливый; на Иване Николаевиче хороший и не слишком новый костюм, а Саша думает, что Иван Николаевич одет с ненужным щегольством. Все-все кажется нехорошим Саше в Черепнине, хотя месяц назад, когда еще не было речи о женитьбе Черепнина на матери, инженер казался ему симпатичным и умным человеком.

— Итак, договорились! — весело решает Иван Николаевич. — До пяти мы будем на заводе, несмотря на субботний день...

Когда Иван Николаевич поворачивается, чтобы уйти, навстречу ему торопливо семенит токарь Петр Алексеевич Гомозов. Заметив его, Иван Николаевич останавливается и с добродушной улыбкой наблюдает, как, подходя к нему, Петр Алексеевич Гомозов гордо поднимает голову, делает презрительным лицо и снисходительно шурит глаза.

— Здравствуйте, Петр Алексеевич! — здоровается Черепнин.

— Здорово, брат-инженер! — недовольно буркает Гомозов.

Петр Алексеевич Гомозов, по кличке Петр Великий, терпеть не может, когда к его ученикам подходят инженеры и разговаривают с ними. В такие моменты он нервничает, злится, саркастически улыбается и, наконец не выдержав, идет к инженеру. То же самое происходит сейчас: сложив руки на груди, Гомозов приближается к Черепнину, усмехнувшись, говорит:

— Одного я не пойму — рабочий сейчас день или не рабочий? Может, не рабочий — тогда и я могу лясы поточить... Ты, инженер, не улыбайся на мои слова! Я всегда правду-матку в глаза режу... Я такой...

Он смотрит на Черепнина испепеляющим взглядом, которого любой человек должен бы испугаться, но Иван Николаевич смеется.

— Сейчас, товарищ Гомозов, рабочий день. А я удаляюсь, чтобы не доставлять вам огорчение...

Иван Николаевич уходит из цеха свободной, непринужденной походкой.

— Ишь ты какой... — говорит Гомозов. — Чего это он к тебе лезет, Сашка? Ты смотри у меня! Если чего надо, иди ко мне. Все объясню. Я такой!

Саша смотрит на «его величество» без улыбки. Сегодня смешная выходка Петра Великого нисколько не потешила его. Оборачиваясь, он

провожает взглядом Черепнина до дверей цеха. «Не может же человек стать плохим только потому, что он женится на моей матери!» — тоскливо думает Саша.

Басовито, важно гудит заводской гудок. Это обеденный перерыв. Саша торопливо выключает станок, вытирает руки ветошью — сейчас он пойдет к друзьям.

Сашины друзья — веселые, общительные люди. Они любят подтрунивать друг над другом, делать вид, что ничего не воспринимают всерьез, смотрят на весь мир чуточку легкомысленно. Потому, подходя к ребятам, Саша заранее невольно настраивается на тот лад, в котором они живут.

— Здравия желаю, орлы! — громко здоровается Саша. — Вольно! Можете не вставать!

— Здравия желаем! — хором отвечают друзья, а один из них, Володя Якунин, вскакивает и вытягивает руки по швам:

Саша кладет на землю свой холщовый мешочек и вынимает из него еду — прошлогодние соленые помидоры, колбасу, огурцы, пышный хлеб, кусок сала, термос с горячим кофе. Все это он прибавляет к тому, что уже лежит на земле.

— Хорошо живут ноне генералы! — со вздохом произносит Володя Якунин. — Че хошь, то ешь...

У него атлетическая фигура, курносый нос и дерзкий взгляд. Он немного заносчив, этот Володя Якунин, и это видно сразу.

Шевелят голыми ветками тополя, бегут полосатые тени по песчаным дорожкам, пошумливает приглушенный, обеденный завод. От земли исходит пряный аромат прелых листьев, от завода порой наносит запахом металла и мазута. Ложки постукивают о стенки кастрюли, с них стекают капли.

Саша опускает ложку в кастрюлю. С ощущением счастья думает он о том, что у него самые замечательные друзья — и этот самодовольный и заносчивый Володька, и этот умный, добрый и чуткий Вадька, и робкостеснительный, нежный, как девушка, Юрка Чешуйкин. Ощущение теплоты, радости и счастья охватывает Сашу, ему хочется обнять друзей, сказать им что-то ласковое и радостное, но этого нельзя сделать. Володька Якунин зашипит что-то злое насчет бабьей сентиментальности, Вадим предостерегающе прикроет глаза: «Спокойно, Саша, умерьте немножко ваш пыл!» — и только Юрениш благодарно прижмется, если обнимешь его.

Сашины друзья переглядываются.

— Сегодня мы без тебя идем в ночной патруль! — наконец говорит Вадим Табачников. — Ничего, вечерок походим без тебя...

Юра и Володя молчат. И по этому молчанию, и по тому, что говорит Вадим Табачников, Саша понимает, что его друзья не хотят идти на свадьбу его матери, хотя Саша, и мать, и бабушка, и Иван Николаевич Черепнин усиленно приглашали их.

— Смешно, если мы буйной тройкой ввалимся на свадьбу... — улыбаясь, объясняет Вадим Табачников.

— Ничего, — говорит Саша, — вечерок побуду без вас!

Ребята поднимаются с земли, крепкие, дружные, спокойные, неторопливо идут по скверу. Молчат. А что им говорить? Пылает солнце, небо прозрачно, словно нет в нем воздуха; видны две лиловые высокие сопки, к которым прилегает город. Кажется, что они горят на солнце лиловым пламенем багульника. «Свадьба! — шагая, думает Саша. — Свадьба! Как странно, что это слово относится к матери. Свадьба!»

Навстречу им шагает сутулый мужчина лет двадцати восьми — у него бледное лицо, глубоко посаженные глаза и согнутая спина. Увидев чет-

верых, он замедляет шаги, медленно-медленно, как бы насильно, зло улыбається.

— Идут знаменитые борцы с преступностью, — говорит мужчина. — Гроза морей и оксанов! — Затем поворачивается к Вадиму Табачникову и продолжает: — Теперь еврейчики тоже храбрые стали... Тоже ходят в комсомольском патруле...

После этого он неторопливо, словно ждет чего-то, идет дальше. Они молча смотрят ему вслед. Они замерли. Они не шевелятся. Они провожают мужчину ненавидящими взглядами. Это самый главный враг Саши и его друзей — токарь Степан Шведов, сын Сашиного соседа по дому Михаила Михайловича Шведова, живущий отдельно от отца.

Володя Якунин суматошно взмахивает руками и кричит:

— Я убью его!

— Спокойно! — говорит Вадим Табачников. — Спокойно!

4

Есть на заводе уголки, где нет металла. В них, огражденная полуметровыми кирпичными стенами, стынет умная, насыщенная мыслями тишина, плавают задумчивые облачка табачного дыма, порой раздаются приглушенные шаги — это инженер, сморщив лоб от напряжения, ходит у своей чертежной доски. Здесь из металла изготовлены только чертежные приборы да лежащие на столах детали. В отделах главного технолога, главного конструктора, главного энергетика металл живет в линиях и контурах чертежей. Металл здесь меняет свои очертания несравнимо легче, чем там, где его обрабатывают резцами, сверлами, фрезами. Его изменения подчинены здесь только воображению и таланту людей.

Инженер отдела главного технолога Иван Николаевич Черепнин сидит за чертежной доской в уголке небольшой комнаты, в той ее части, которая считается в отделе самой удобной: здесь свет падает на чертежную доску из двух окон — справа и позади. Инженер-технолог Черепнин во время работы может подойти к любому из них, опереться лбом в стекло и смотреть то на заводской двор, то на улицу, за которой видятся две лиловые сопки, похожие на верблюжьи горбы. Он временами смотрит то в одно окно, то в другое, а в отделе главного технолога умеют определять настроение Ивана Николаевича по тому, в какое окно он смотрит.

Если Иван Николаевич Черепнин стоит у окна, выходящего на заводской двор, — у него плохое настроение, если у окна с лиловыми сопками — хорошее. От окна к окну Иван Николаевич переходит нечасто, так как настроение у него держится устойчиво. Он может целыми месяцами подходить к окну с лиловыми сопками, а потом — тоже месяцами — к окну с заводским двором. Вот как устойчивы его настроения. Главный технолог завода Борис Васильевич Скрябин откровенно признается, что ему по душе те дни, когда Иван Николаевич стоит у окошка с заводским двором, то есть когда у Черепнина плохое настроение.

Дело в том, что Иван Николаевич работает лучше, когда у него плохое настроение, — он тогда реже стоит у окна, чаще задерживается на работе по вечерам, фантазия у него богаче, а инженерская хватка злее. А в хорошем настроении Иван Николаевич может два часа подряд простоять у окошка.

В середине мая у Ивана Николаевича отличное настроение. Вот сейчас он стоит возле окна с двумя лиловыми сопками и, постукивая пальцами о подоконник — получается веселый мотивчик, — смотрит на сопки, но не видит их, так как думает о том, что в его жизни происходят важные, для него самого неожиданные события.

Еще месяц Иван Николаевич Черепнин не испытывал никакой необходимости в перемене своего холостяцкого образа жизни. Теперь же он женился, и у него уже появились такие обязанности и сложности, которых лучше было бы избежать.

«Муж, зять, отчим!» — посмеивается про себя Иван Николаевич, но сам чувствует, что не получается его прежней легкой усмешки, ибо за словами «муж, зять, отчим» появляются живые лица его жены Ирины Августовны, ее сына Саши и ее матери — Елены Федоровны.

Ивану Николаевичу Черепнину сорок один год, но он ни разу не был женат, хотя знал много женщин. Они были разными, эти связи, — прочными и недолговечными, веселыми и обременительными, нужными и ненужными, — но ничего не было подобного теперешнему. Сейчас, вспоминая прошлое, он думает о том, что, пожалуй, первый раз в жизни полюбил по-настоящему, то есть так, что любовь заканчивается женитьбой. Да, у него нет сомнений в том, что любовь серьезна, если уж ради нее он пошел на те сложности жизни, которых долго старательно избегал. Отец у Ивана Николаевича умер давно, мать вышла опять замуж, и он лет с тридцати жил в уютной холостяцкой квартире — одинокий, свободный. И был доволен жизнью, и никогда не думал, что в сорок один год жениться, если не женился в тридцать. Он весело пропагандировал холостяцкую жизнь, утверждал, что вполне счастлив. Все это полетело к черту, когда Иван Николаевич повстречался с Ириной Августовной.

Случилось это так. Полтора года назад в стделе главного технолога среди чертежных досок и задумчивых облачков дыма, среди напряженной, думающей обстановки вдруг раздался взволнованный голос главного технолога Бориса Васильевича Скрябина, который просто-таки кричал о том, что в ремонтно-механическом цехе появился молодой необычно талантливый токарь. Скрябин так восторженно говорил об этом, что Иван Николаевич, который терпеть не мог восторженности, недовольно оторвался от чертежной доски и, морщась — у него тогда было плохое настроение, — вышел из своего милого закутка.

— Талант! Настоящий талант! — кричал Скрябин. — Мне давно, знаете ли, не приходилось видеть таких способностей. И, кстати, это тот самый юноша, что в прошлом году представил на выставку детского творчества дизельный мотор оригинальнейшей конструкции.

Недовольный горячностью главного технолога, Иван Николаевич продолжал морщиться.

— Нечего морщиться, товарищ Черепнин! Если я говорю, знаете ли, талант, значит — талант! — разозлился главный технолог.

— Если вы говорите, то определенно талант! — сказал Иван Николаевич, отвесив насмешливый поклон, отчего главный технолог совсем расвирипел и медвежьей походкой ушел в свою отгороженную фанерой комнату.

Слышно было, как он там чертыхался и гремел металлом, — сердясь, главный технолог всегда перебрасывал с места на место детали, лежащие на столе.

— Если он так разгорячился... — задумчиво сказал один из технологов, — то...

— Юноша наверняка гений! — весело объявил Иван Николаевич. — А посему сейчас же идем к нему в цех!

Иван Николаевич действительно пришел в цех и, незаметно понаблюдав за работой Саши Озолина минут десять, понял, что перед ним на самом деле талантливый юноша.

— Работайте! Работайте! — дружески сказал он Саше, когда тот, оглянувшись, заметил его. — Я позднее зайду, чтобы поговорить с вами... Есть одна славненькая техническая идея.

Вечером Иван Николаевич опять пришел в цех. Потом зашел еще как-то, а потом они незаметно подружились, и через месяц Саша пригласил Ивана Николаевича к себе домой. Они тогда вместе работали над сложной деталью, и Иван Николаевич решил посмотреть, как живет его молодой друг.

Он пришел в переулочек Татарский вечером и увидел Ирину Августовну, сидящую в плетеной качалке.

Ирина Августовна была красива той красотой, которая вдруг расцветает у женщин к сорока годам, когда, кажется, все позади. Увидев ее, Иван Николаевич мысленно присвистнул: «Вот какое сокровище скрывается в переулочке Татарском!» Он уже слышал от Саши, что мать живет одиноко, а отец Саши погиб на фронте...

С этого дня все и началось. И длилось целый год, а кончилось тем, что убежденный холостяк Иван Николаевич Черепнин справляет сегодня свадьбу. Именно поэтому же Иван Николаевич отрывается от веселого окошка с двумя лиловыми сопками и неторопливо идет к фанерной комнатешке главного технолога. Идет он вольной, независимой походкой, так как Иван Николаевич из тех людей, которые не позволяют ни командовать собой, ни относиться к себе хоть чуточку свысока любому начальству. Он не допускает по отношению к себе ни панибратства со стороны начальства, ни безразличия.

Борис Васильевич Скрыбин работает на заводе всего второй год. У него высокая костистая фигура, желтое, словно пергаментное, лицо и большие горящие глаза. Он такой худой и высокий, что молодые технологи зовут его иногда «святыми мощами боярина Бориса», не вкладывая в это никакой насмешки. Молодые технологи любят своего главного. Неплохо относится к нему и Иван Николаевич Черепнин.

— Борис Васильевич,— обращается Иван Николаевич к главному технологу, входя в его фанерное царство,— не забыли ли вы, что сегодня в семь часов вечера у меня имеет быть семейное торжество?

— Помню! — отвечает главный технолог.— В семь часов мы прибудем на торжество!

— Чудненько! Карета будет подана без пятнадцати семь, или вы желаете пройти пешком?

— Пешочком!

— Еще раз чудненько! — кланяется Иван Николаевич и, больше ничего не сказав, выбирается из фанерной комнатешки, но у дверей останавливается, так как ему навстречу с чертежом в руках мчится смешной и странный парень — технолог Вася. Его так все зовут в отделе — Вася, хотя здесь принято величать друг друга по имени и отчеству. А вот его все-таки зовут Вася — иначе просто нельзя называть этого потешного и странного парня. Посмотришь на его наивные, детские глаза — Вася; увидишь тонкую рукастую фигуру — Вася; услышишь тонкий и робкий голос — Вася.

— Иван Николаевич,— своим тоненьким голоском произносит Вася,— Иван Николаевич, детали никак не сопрягаются... Хоть их убей, не сопрягаются! — И сует под нос Черепнину чертеж.— Вот, Иван Николаевич! — прибавляет он плачущим голосом.

— Значит, не сопрягаются? — весело спрашивает Иван Николаевич, мельком заглядывая в чертеж.— Ох, уж эти детали! Почему же они не сопрягаются? — как бы про себя бормочет он, выхватывает из нагрудного кармана пиджака остро отточенный карандаш и стремглав проводит на чертеже несколько линий.— Вот и сопрягаются! Посмотрите, Вася, ведь сопрягаются?

Вася хватается Ивана Николаевича за руку, с горячей признательностью жмет ее.

— Спасибо! Спасибо, Иван Николаевич!

— Умерьте ваш бой, Вася! — смеется Иван Николаевич. — Умерьте пыль и займите свое боевое место!

Вася уходит на свое место, а Иван Николаевич печально думает о том, что этот Вася — несчастный человек. Инженерских способностей у человека ни на грош, но Вася вбил себе в голову мысль, что упорством, трудолюбием, настойчивостью он может наверстать отсутствие таланта. Вася работает как проклятый: в семь часов утра он уже приходит в отдел, в двенадцать ночи еще сидит над деталями, которые у него постоянно «не сопрягаются».

«Эх, Вася, Вася! — думает Иван Николаевич. — Ну зачем ты так мучишься! Разве нет на свете других хороших вещей, кроме деталей, которые не сопрягаются? Есть такие вещи, Вася! — и тут же вспоминает: — Свадьба! Свадьба! Я сегодня буду сидеть на собственной свадьбе... Это смешно, но здорово!»

5

Ирина Августовна Озолина — главный врач городской больницы — на работе бывает совсем другим человеком, нежели дома. В чертах ее лица нет нежности, доброты, оно суровое, сосредоточенное. Ирина Августовна ходит по больнице в мягких тапочках, но кажется выше ростом, чем на высоких каблуках, движется мягко и бесшумно, но в каждом движении — решительность.

Ирина Августовна — хирург. Сегодня, в субботу, она оперирует больного по поводу хронического аппендицита. Операция эта несложная, привычная, но сегодня в операционной стоит какая-то особенная тишина, что-то происходит такое, чего обычно не бывает на операциях аппендицита. И то, что ассистирующий Ирине Августовне ординатор опускает голову, и то, что сама Ирина Августовна замедляет движение рук в резиновых перчатках, и то, что присутствующие на операции студенты жмутся друг к другу, — все это необычно для операции аппендицита. Студенты-третьекурсники еще не понимают, что произошло, но и они чувствуют, что случилось что-то страшное.

Ирина Августовна, опустив руки, замирает, потом поднимает голову и закрывает глаза, словно в них ударил яркий солнечный свет. Несколько мгновений она неподвижна, затем медленно двигает пальцами в перчатках и так же медленно открывает глаза — в них страдание, боль. Студенты теснятся, испуганные и взволнованные, сбиваются в кучу. И по-прежнему стоит тишина, бьет в широкие окна солнечный свет, рассеиваясь марлевыми экранами, и по-прежнему смотрит на пол молодой ординатор.

В тишине слышно, как гремит железом, шипит паром, свистит вентиляторами машиностроительный завод. Ирина Августовна вдруг замечает, что не дышит, — какхватила глоток воздуха, так и затаила его в легких. Она порывисто вздыхает, но ей мало воздуха, так как маска все-таки плохо пропускает его. Медсестра салфеткой вытирает капли крупного пота, которые выступили на узкой полоске лба Ирины Августовны, видной из-под маски.

Похоже, что уже и студенты понимают, что случилось. Ирина Августовна, взяв себя в руки, выпрямляется, продолжает пальцами то движение, на котором остановилась, и только теперь понимает, что все это — и растерянность, и страх перед тем, что произошло, — продолжалось не более двух-трех секунд. Ей же показалось, что прошла вечность с тех пор, как она увидела на слепой кишке округлую, плотную и бугристую опухоль.

Невозможная тишина стоит в операционной; лица студентов, как маски. Бедные, они впервые встречаются со смертью в такой форме! Одно дело, когда давно уже известен диагноз с летальным исходом, другое дело, когда во время операции аппендицита вдруг обнаруживается опухоль. Даже опытные врачи со страхом отшатываются — похоже, что больного человека неожиданно кто-то ударил ножом...

Потом Ирина Августовна снимает маску и перчатки, прямая, строгая, недобрая, выходит из операционной. Руки она несет как бы на отлете, чуточку согнутыми в локтях; так носят руки все хирурги. Ирина Августовна входит в свой маленький белый кабинет, садится за стол и роняет голову на кипу бумаг. Поза у нее жалкая, беспомощная. Так и сидит она — кривобоко, неловко.

Кто сказал, что врачи привыкают к смерти? Ирина Августовна переживает смерть больного, как смерть близкого, родного человека; она несчастна, мир для нее темен и тосклив, когда плохо ее больным; она счастлива и весела, когда у больного понижается температура.

Неоперабельный рак! Боже, человек до сих пор не умеет бороться с небольшой, округлой и такой пустячной на вид опухолью! Боже мой! Хочется тихо и горько, как в детстве, заплакать.

Но плакать нельзя, так как скоро откроется дверь и войдет дежурный врач с сообщением о новом больном или о том, что кому-то нужна ее, Ирины Августовны Озолиной, помощь и консультация.

Ирина Августовна выпрямляется. Именно такой строгой и властной она нужна больным и врачам; они должны быть уверены в том, что главный врач все знает, все умеет, никогда не теряется, что в его маленьком белом кабинете — спасение для больных. Сурово глядит она на дверь, в которую стучат.

— Войдите!

Появляется дежурный врач, почтительно останавливается на полпути меж дверью и столом Ирины Августовны.

— Прибыл новый больной, Ирина Августовна, — докладывает он. — Ничего сложного для того, чтобы беспокоить вас, нет, но он хочет видеть именно вас... Кажется, ваш знакомый, Ирина Августовна...

— В какое отделение?

— В терапию, Ирина Августовна!

— Хорошо, Владимир Петрович.

Дежурный врач уходит, а Ирина Августовна бегло заглядывает в зеркало, затем твердым шагом идет в терапевтическое отделение. У дверей ее встречают две сестры, дежурный врач, пропустив вперед, неслышно шагают за ней. Она останавливается на пороге и удивленно округляет глаза — на белой кушетке лежит ее старый знакомый Ефрем Артемьевич Ямышев, сосед по Татарскому переулку, известный всему городу весельчак.

— Ефрем Артемьевич, — восклицает Ирина Августовна, — это вы?

— Я, Иринушка! — весело и громко отвечает Ефрем Артемьевич. — То в грудях болит, то под лопаткой ноет, а то ни сесть, ни встать... Ты, Иринушка, уж посмотри меня, а то старуха пристала — ни крестом, ни ладаном. Ты ведь знаешь мою старуху, Иринушка! Это такой мед...

И сразу становится весело в приемном покое, где всегда стоит гяжедая тишина, где разговаривают шепотом. Ефрем Артемьевич так крепок, бодр, силен, что просто трудно поверить: неужели ему девяносто восемь лет? Со своей громадной бородой, великанскими руками и ногами, он лежит на маленькой кушетке.

— Подозрение на инфаркт... — докладывает дежурный врач.

— На кого? — спрашивает Ефрем Артемьевич. — На кого ты го-

воришь, рыжеватый? — И внезапно громко, задорно хохочет: — Инфаркт! Мать честная, как у интеллигента... Ведь бывает же такое... Инфаркт!

— В двенадцатую палату,— улыбнувшись, говорит Ирина Августовна.— Я после сама посмотрю вас, Ефрем Артемьевич...

Возвращаясь в свой кабинет, Ирина Августовна улыбается. Повеслевшая, она в первый раз за это утро думает о том, что вечером ее свадьба. Подумав об этом, Ирина Августовна чувствует, как у нее резко и громко бьется сердце. Свадьба! Свадьба!

Ирина Августовна все это длинное и трудное утро — и за операцией, и после нее, и в своем кабинете, и в приемном покое — чувствовала всем своим существом, что сегодня состоится ее свадьба, что есть на свете Иван Николаевич Черепнин, но она не думала об этом. Свадьба и Иван Николаевич Черепнин существовали в ней, жили рядом с тем, что она делала, но не пробивались в четкую мысль, а вот теперь пробились, и она с радостно застучавшим сердцем думает о том, что сегодня станет женой Ивана Николаевича.

6

Свадьбы отличаются одна от другой так же, как люди: сколько различных людей, столько свадеб, и даже больше. Одно дело — когда человек женится двадцати двух лет, другое дело — когда сорока. Значит, свадьбы бывают молодые и старые.

Молодые свадьбы веселы и бесшабашны, гости на них пьют и часто кричат «горько», жених и невеста смущаются. На старых свадьбах «горько» кричат редко, с неловкостью в голосе, жених и невеста целуются суховато и официально, и от всего, что происходит на свадьбе, остается грустноватое чувство, подобное тому, какое бывает осенью, когда бесшумно опадают листья тополей, тянутся на юг журавли, а воздух просветлен предзимней ясностью.

На свадьбе Ирины Августовны и Ивана Николаевича «горько» кричать, пожалуй, некому. За большим столом сидят Елена Федоровна, Саша с Таней Венгеровской, гость жениха — Борис Васильевич Скрябин, гостя невесты — Тамара Борисовна. Это такие люди, что никто из них не закричит «горько». Закричать «горько» басовитым голосом способен только один человек из присутствующих на свадьбе — сосед Озолиных по дому Михаил Михайлович Шведов, человек с маленькими самодовольными глазками, задраным подбородком. На пиджаке Михаила Михайловича планки орденов и медалей, лицо у него волевое, сильное, ему уже почти шестьдесят лет, но он не имеет ни единого седого волоса. Рядом с ним сидит жена.

Гости уже выпили по большой рюмке кто вина, кто водки, и теперь за столом стоит та неловкая тишина, которая всегда следует за первой рюмкой. Гости закусывают стеснительно, маленькими кусочками, молчат, и слышно только деликатное, приглушенное похрустывание огурцов, «спасибо», сказанное вполголоса, негромкий звяк вилок да шелест развертываемых салфеток.

Ирина Августовна как бы застыла, лицо напряженное, и только глаза, большие и серые, горят, а на щеках молодой и жаркий румянец. Платье на ней, конечно, не белое, но все-таки светлое, она кажется в нем и моложе, и стройнее, и изящнее, чем обычно.

— Пожалуй, надо выпить еще! — раздается в тишине голос Ивана Николаевича. — Нам ли останавливаться на достигнутом?

Иван Николаевич такой, как всегда, только, пожалуй, менее ироничен. На нем тоже светлый костюм, белая рубашка, верхняя пуговица расстегнута, и, наверное, от этого он тоже выглядит моложе и красивей.

— Михаил Михайлович,— весело говорит Иван Николаевич,— вы, кажется, хотели что-то сказать!

— Да! — басом отвечает Шведов.

Он встает, прокашливается, поправляет лацканы темного пиджака, напускает на лицо такое выражение, точно ему предстоит объявить о чем-то очень важном. Он встает, и оказывается, что это рослый и полный человек.

— Уважаемые товарищи! — говорит он. — Позвольте произнести пару слов... При каком торжестве мы сегодня присутствуем? — спрашивает Михаил Михайлович и сам же отвечает: — При торжестве, когда сочетаются браком Ирина Августовна и Иван Николаевич. Что мы знаем про Ирину Августовну? Мы знаем ее как нужного специалиста-врача, который известен всему городу хирургией. Что мы знаем про Ивана Николаевича? Мы знаем его как нужного специалиста-инженера, который тоже известен всему городу...

Михаил Михайлович делает маленькую паузу, во время которой Саша успевает мельком оглянуть присутствующих: Иван Николаевич улыбается, Борис Васильевич Скрябин смотрит на Шведова с недоуменным удивлением, Таня Венгеровская смущается, жена Шведова зло смотрит на мужа, бабушка Саши непроницаема, а мама персжиивает за Шведова — ей, как и Саше, стыдно за него.

— Таким образом, товарищи,— важно продолжает Шведов,— мы находимся на свадьбе двух известных городу людей. Поздравим же их с бракосочетанием и выпьем за их здоровье!

Подняв рюмку, Михаил Михайлович надувает щеки, как музыкант, играющий на басы, делается красным и вдруг ревет отчаянным голосом:

— Горько!

Иван Николаевич и Ирина Августовна целуются сдержанно, как и полагается целоваться сорокалетним людям на запоздавшей свадьбе. Но Саше становится так стыдно, что он закрывает глаза.

И вдруг он чувствует в своей руке маленькую и теплую руку Тани Венгеровской. Подняв голову, он видит ее взволнованное милое лицо, широко открытые глаза и крепко сжимает пальцы девушки.

За столом возникает негромкий шум, потом с треском отодвигается стул и во весь свой огромный рост поднимается костистый и высохший, как мумия, главный технолог Борис Васильевич Скрябин. Не сказав ни слова, занятый и сосредоточенный, он на виду у всех выходит из комнаты в прихожую и быстро возвращается, держа в руках что-то большое и тяжелое, завернутое в бумагу.

— Жених некоторым образом технолог! — произносит Борис Васильевич. — Потому я позволю себе преподнести ему подарок! Примите, Иван Николаевич!

Борис Васильевич разворачивает бумагу, и Саша удивленно подается вперед — в руках у главного технолога та самая готовальня, о которой на заводе ходят легенды и на которую Иван Николаевич всегда поглядывал с завистью. В этой готовальне что-то около пятидесяти предметов, сделана она лет двадцать назад виртуозом-лекальщиком по чертежам самого Бориса Васильевича.

— Берите, Иван Николаевич! — суховатым тоном продолжает Борис Васильевич. — Вы, знаете ли, неплохой технолог... А потом я впервые в жизни приглашен сослуживцем на свадьбу! После революции свадьбы были не в почете, а потом, знаете ли, мне было не до свадеб...

Это, пожалуй, не совсем тактично — упоминание о том, что Борис Васильевич впервые на свадьбе сослуживца, и то, что он этим как бы объясняет свою щедрость, — но все меркнет перед подарком.

— Спасибо! Сердечное спасибо, Борис Васильевич,— благодарит Иван Николаевич.

Он растроган. Ирина Августовна невольно подается к нему — нежность и счастье заливают ее лицо. Саша не может больше видеть счастливые лица матери и отчима, ему хочется выбежать из комнаты, но он не знает, как это сделать, какой найти предлог. Сашу выручает Борис Васильевич Скрябин.

— Нуте-с, товарищи! — громко произносит Борис Васильевич. — Теперь я вынужден откланяться, товарищи... Десять часов, знаете ли, а я всегда в одиннадцать уже сплю... Я, знаете ли, никогда не нарушаю режим и потому позвольте откланяться!

— Э, так не полагается! — удивленно-начальственным басом говорит Михаил Михайлович Шведов. — Это, позвольте вам заметить, неуважение к хозяевам и гостям...

Шведов хочет подняться, чтобы удержать Бориса Васильевича, но Иван Николаевич говорит:

— Борис Васильевич действительно никогда не нарушает режим...

— До свидания, товарищи! — раскланивается Борис Васильевич и уходит широким шагом.

— Я провожу Бориса Васильевича! — неожиданно для самого себя говорит Саша и, взяв за руку Таню Венгеровскую, выходит в ту комнату, где теперь будут жить Саша и бабушка. Здесь на стенах висят три больших портрета. Саша подходит к одному из них; Таня прижимается к нему плечом. На портрете молодой лейтенант. У него маленькие усики, пышные брови, орлиный нос и такие дерзкие глаза, что кажется — лейтенант вот-вот крикнет что-то сердитое своим гортанным голосом, недовольный тем, что его пристально разглядывают.

— У тебя сейчас такие же глаза, как у него, — почему-то робко произносит Таня. — Вы похожи...

— Он же мой отец! — вздыхает Саша. — Это же мой отец!

Таня Венгеровская испуганно прижимается к Саше — ей больно за него.

7

Через полчаса после этого в комнату, где висят три больших портрета, грузно входит Елена Федоровна, садится на широкий диван, притихнув, слушает доносящееся до нее позвякивание вилок, громкий голос Михаила Михайловича Шведова, веселый баритон Ивана Николаевича. Елена Федоровна закуривает, и сразу ее лицо, движения, поза делаются мужскими.

Она курит, думает, внимательно смотрит на три портрета. На одном из них мужчина с небольшой бородкой, в очках, в старинном сюртуке. Это декабрист Иван Тургин — дед Елены Федоровны. Сосланный в Забайкалье, он женился на местной девушке, имел пятерых детей. Девичья фамилия Елены Федоровны Тургина, а Озолина она потому, что рядом с декабристом висит портрет второго мужчины — тяжелое квадратное лицо, строгие глаза, бритая голова, крупная и шишковатая. Это Август Янович Озолин — муж Елены Федоровны, отец Ирины Августовны. Его настоящая фамилия Озолин, он латыш, но еще при жизни потерял в фамилии мягкий знак, и латышская — Озолин, — она стала звучать по-русски: Озолин.

Август Янович Озолин погиб в 1924 году, когда командовал полком в Средней Азии. Елена Федоровна вскоре родила Ирину. Это было во время ликвидации басмаческих банд.

Елена Федоровна познакомилась с Августом в первые годы революции. Она ходила тогда в кожаной тужурке, курила махорку, говорила сиплым, грубым голосом, но ничего не могла поделать с тем, что из нее так и выпирала угловатая гимназистка. Красноармейцы, которых она учила грамоте, звали ее «барышня», и она до боли завидовала тем девушкам их политотдела, которых они звали по именам, мужественно и по-свойски: Анка, Любка, Фенька.

Август Озолин появился зимой. Вместе с клубами морозного пара в комнату, где она учила красноармейцев грамоте, ворвался высокий парень в перетянутой ремнями шинели.

— Ты есть учительша? — спросил он, поблескивая серыми страшно-ватыми глазами. Потом увидел ее испуганное лицо и смутился: — Мы, кажется, не поздоровались, — сказал он тихо. — Мы очень извиняемся, барышня. Здравствуй!

— Я не барышня! — рассердилась она. — Меня зовут Лена. Ленка, если угодно...

— Хорошо, барышня, буду звать вас Лена...

Через месяц он перенес к ней свои вещи — шинель, мешок и оружие... Елена Федоровна закуривает вторую папиросу. В эти дни, когда ее дочь выходит замуж за Ивана Николаевича Черепнина, она курит папиросу за папиросой.

«Судьба! — думает Елена Федоровна. — Глупая штука — судьба! Боже мой, какая глупая штука»...

Надо же было так случиться, что и лейтенант Ваню Тобидзе погиб на войне через неделю после того, как в далеком забайкальском городе родился его сын Саша. Сержант медицинской службы Ирина Августовна Озолина так и не успела стать Ириной Тобидзе. Вот и сидит Елена Федоровна на диване, вот и курит папиросу за папиросой, вот и думает, что ничего хорошего не принесет Ирине ее брак с Иваном Николаевичем, хотя сама не знает, почему так думает.

С Еленой Федоровной происходит странное — она чувствует себя оскорбленной, обиженной, когда Иван Николаевич пристально разглядывает портреты деда и мужа, когда осторожно расспрашивает о них и когда смотрит на портрет Ваню Тобидзе. Решительная, привыкшая к ясности во всем, она мучится от неопределенности, корит себя за то, что с предубеждением относится к Ивану Николаевичу.

— Ты совсем запуталась, милая моя, — говорит сама себе Елена Федоровна. — Ох, как запуталась!

Ей уже давно надо идти к гостям, подавать сладкое, а она все сидит в маленькой комнатке с тремя большими портретами, которые смотрят на нее строгими, внимательными глазами и словно спрашивают: «Почему ты не любишь Ивана Николаевича, почему ты думаешь, что его брак с Ириной будет несчастным?»

Глава вторая

1

Плохо человеку, если ему не хочется идти домой. Кончилась рабочая смена, из решетчатых ворот машиностроительного завода валит оживленная толпа, а Саша стоит возле проходной и печально думает: куда пойти?

Надо бы пойти домой, но по саду уже ходит размеренными шагами или сидит в плетеной качалке Иван Николаевич, который с работы приходит рано — как только стрелки покажут пять, он уже выходит из проходной и спешит в переулок Татарский. Ивану Николаевичу не надо идти

в душ, чтобы смывать рабочий пот, и потому он приходит домой в четверть шестого. Можно пойти и в читальный зал заводской технической библиотеки, но Саша устал, и перед тем, как сесть за учебники, ему надо хоть часик отдохнуть.

А почему, собственно говоря, не пойти домой? Полтора месяца прошло с тех пор, как его мать вышла замуж, но Иван Николаевич не сделал ничего такого, чтобы Саша был недоволен отчимом; наоборот, Иван Николаевич ведет себя с Сашей мягко, предупредительно, он делает все для того, чтобы Саше было легко с ним. Однако Саше не хочется идти домой, и он стоит у проходной вот уже несколько минут. Потом он все-таки поворачивается и решительно шагает в сторону дома.

Пока Саша идет той улицей, где стоит машиностроительный завод, он находится в двадцатом веке — здесь улица залита гладким и толстым бетоном, по сторонам ее горбато вытянулись вверх столбы с лампами дневного света, а высокие, широкооконные дома раскрашены по проекту городского архитектора в несколько ярких красок. Здесь бегут по улице лакированные автомобили, шипят шинами по бетону автобусы, от витрин магазинов отражаются солнечные зайчики. И пахнет здесь двадцатым веком — бензином, нагретым бетоном и горячими цехами завода.

Улица за углом — это уже двадцатый век вперемежку с девятнадцатым. Здесь лежит не бетон, а асфальт, да и то не во всю улицу, а только посредине ее, высокие кирпичные дома здесь перемежаются деревянными, нет горбатых высоких фонарей, и пахнет здесь не бензином, а смесью пыли и раскисшего от жары асфальта. Лакированных автомобилей на улице мало, здесь идут грузовые тяжелые машины, которым городской автоинспекцией запрещен въезд на ту бетонную улицу, что тянется возле машиностроительного завода. А налево за этой улицей, в Татарском переулке, живет только девятнадцатый век, перемежающийся с восемнадцатым. Дома здесь сплошь деревянные, ни асфальта, ни бетона, ни фонарей нет, ни лакированных автомобилей, сюда не заходят даже грузовые, так как нечего им тут делать: в два магазина — хлебный и мясной — продукты завозят на седой полуслепой лошади.

Восемнадцатый, семнадцатый, может быть, и шестнадцатый века в переулке Татарском живут за домами и заборами — в глубине огородов некоторых домов стоят кособокие и черные бани. Из земляных крыш растет лебеда и какая-то густая и цепкая травка, двери у бань такие, что приходится не входить, а вползать. Печки сложены из необожженных кирпичей, а низкие лавки срублены из толстых досок. В банях нет труб, и топятся они по-черному. В переулке Татарском пахнет не бензином, не бетоном, не асфальтом, а цветами, тополиным духом и огурцами да укропом.

Пройдя Татарский переулок из конца в конец, Саша открывает скрипучую калитку своего дома, ступает на песчаную дорожку, покрытую полосатыми мягкими тенями. Песок хрустывает под ногами, в нос бьет запахом свежей листвы, прелю мхов из огорода. Немного постояв на месте, Саша глубоко вдыхает пряный воздух, вздернув голову, идет дальше — стремительно и легко.

Иван Николаевич сидит в плетеной качалке. На нем светлый спортивный костюм, домашние туфли с густой меховой опушкой. Он умыт, аккуратно причесан, весь свежий, молодой и веселый. В руках Иван Николаевич держит книгу, и качалка задумчиво покачивается, и все это так мирно, тихо, уютно.

— Добрый вечер! — тихо здоровается Саша.

— Добрый вечер! — откликается Иван Николаевич, опуская книгу на колени и взглядывая на Сашу веселыми, потеплевшими глазами. — Мы ждем тебя, чтобы ужинать. Переодевайся скорее!

— Хорошо!

Саша проходит в сени, где скидывает промасленный и пропотевший комбинезон, тяжелые грубые ботинки. И как только первый ботинок со стуком падает на пол, из комнат быстро выходит Елена Федоровна.

— Здорово, внук!— громко произносит она.— Опять опаздываешь?

— Здорово, бабушка!— в тон ей отвечает Саша.— Не опаздываю, а задерживаюсь!

Бабушка подходит к Саше, обнимает его, целует в висок; он обнимает ее и тоже целует. После этого они ласково смотрят друг на друга, так как бабушка весь день скучает по Саше, а Саша — по бабушке. Каждый день они встречаются так, словно бог знает как давно не виделись.

— Мойся, Саша!— говорит бабушка, которая всегда заставляет Сашу мыться дома, хотя он принял на заводе душ; она и слышать не хочет о том, что он уже чист. Потому бабушка бежит за полотенцем, приносит, останавливается обочь внука и ждет, пока он вымоется, чтобы подать ему это широкое, как простыня, махровое полотенце.

— Спасибо, бабуся!— радостно говорит Саша, надевая светлую пижаму, которая хрустит оттого, что накрахмалена.— Спасибо. Ты у меня — чудо!

— Подхалим!— отвечает она своим грубоватым голосом.— Настоящий подхалим!

А сама опять обнимает внука и опять целует — чистого, повеселевшего, бодрого. Затем, легонько, шутливо толкнув Сашу в спину, бабушка идет возиться с ужином, а Саша выходит на высокое крыльцо, потягивается, вздохнув, спускается в сад. К его лицу прикасаются ветви молодых тополей, пахнет уже отцветающей черемухой.

Как хороша жизнь! Прийти после работы домой, увидеть бабушку, мать, сад, привычный с детства, умыться холодной водой и надеть хрустящую пижаму — что может быть лучше! Чувствовать себя молодым и здоровым, ощущать, как приятно ноют мускулы после работы, знать, что тебя ждет Таня. Все хорошо! Но вот сидит в плетеной качалке Иван Николаевич, покачиваясь, читает книгу, и ноги у него кажутся Саше обросшими длинными волосами оттого, что такая уж меховая опушка на его домашних туфлях.

Боже, но ведь это хорошие туфли! У Саши под кроватью стоят точно такие же, и он иногда надевает их. «Я несправедлив к нему! — думает Саша, но на полдороге к отчиму все-таки останавливается и идет обратно в дом.— Потом,— думает он,— потом, после ужина, я посижу с Иваном Николаевичем...»

2

Когда Иван Николаевич и Саша вместе, то Саша настроен только на него, как бывает настроен всегда на одну и ту же волну военный радиоприемник.

Вместе с ними могут быть мать и бабушка, могут быть посторонние люди или даже друзья, но Саша настроен только на Ивана Николаевича Черепнина. Все остальные находятся как бы не в фокусе Сашиного зрения, говорят на другой волне, хотя Саша и видит и слышит их. Он даже разговаривает с матерью, бабушкой и друзьями, но в то же время чувствует Ивана Николаевича, видит его боковым взглядом.

Сегодня — то же самое: Саша, Иван Николаевич, Ирина Августовна сидят в саду, читают, а Саша все время настроен на Ивана Николаевича, хотя занят учебником тригонометрии. Вечер тих и задумчив, луна — большая и блестящая — висит над садом, лунные тени ярки и как бы углубляют тишину. Только в лунную ночь может быть такой полной и значи-

тельной тишина: в ней слышно, как с шорохом перевертывается страница, как хрустит песок под качалкой Ивана Николаевича, как мать изредка с легким вздохом кладет книгу на колени и молча смотрит на луну.

Иван Николаевич читает тоже не очень углубленно, часто откладывает книгу и тоже подолгу смотрит на луну и на мать — прямо в ее блестящие глаза — и задумчиво, ласково улыбается. Потом снова берет книгу, перелистывает страницы и часто при этом поправляет настольную электрическую лампу, которая висит на тополиной ветке. Иван Николаевич поправляет лампу так, чтобы свет ее падал на книгу матери, и в такие моменты, не поднимая головы, Саша не видит, но чувствует, что мать благодарно кивает Ивану Николаевичу.

Проходит минут пятнадцать—двадцать, и Иван Николаевич с шумом захлопывает книгу.

— Пустяковая книжонка! — насмешливо-благодарным тоном заявляет он. — Автор хочет доказать мне, что хорошо быть хорошим человеком... Экой ловкий! С другой же стороны, он считает, что плохо быть плохим человеком...

Сказав это, Иван Николаевич сладко, тягуче зеваает, сложив руки на груди, обводит взглядом Ирину Августовну, Сашу, высокую луну, песчаные дорожки, испещренные тенями.

— Ладно, черт побери!. Если мне уделят минутку внимания, то я вам расскажу об одном глупом и несчастном человеке, который стал умным и счастливым... Послушайте, ибо интересно знать, как человек может делаться умным и счастливым! — оживленно продолжает он, обращаясь к жене и Саше. — Уделите секунду вашего драгоценного времени.

Говорит он весело, радушно, так хорошо и покойно, что его просто нельзя не слушать. И Саша отрывается от учебника, а Ирина Августовна давно уже держит книгу на коленях, и ее глаза обращены на Ивана Николаевича со сдержанной лаской.

— Рассказывай, — улыбается она. — Саше еще полчаса до того, как идти в патруль... Мы слушаем тебя, Иван!

— Так вот, — смеясь, продолжает Иван Николаевич, — жил-был на земле глупый и несчастный человек. Он работал в отделе главного технолога, жил в коммунальной квартире, день и ночь ходил из угла в угол, потому что — повторяю — это был глупый и несчастный человек. Именно такие люди ходят из угла в угол своих маленьких коммунальных квартир, так как эти глупые и несчастные люди не знают, что такое тихий лунный свет, плетеная качалка и холодная окрошка, которую готовит Елена Федоровна. Ну-с, вот! Такова завязка романа... Развязка же такова. Однажды с глупым и несчастным человеком произошло чудо — к нему пришел волшебник и показал ему плетеную качалку, высокую луну над черемухами и накормил его холодной окрошкой. И стал умным и счастливым глупый и несчастный человек! Он был бы еще более счастливым, если бы авторы не писали вот таких романов...

Иван Николаевич поднимает книгу, держит ее несколько мгновений, словно взвешивает, и неожиданно быстрым и ловким движением забрасывает в кусты.

— Умный и счастливый человек забрасывает в кусты дрянную книжку! — поясняет он.

Не сдержавшись, Саша громко хохочет. Иван Николаевич живо поворачивается к нему, расплывается в улыбке, довольно потирает руку об руку. Ирина Августовна тоже тихо смеется.

— Коли Саша смеется — значит, он готов почесать зубы! — живо заявляет Иван Николаевич. — Итак, будем чесать зубы!

Он употребляет всегда такое выражение, когда говорит о своей привычке поболтать, посмеяться, полушутливо-полусерьезно пофилософствовать по вечерам. Потому Иван Николаевич уютно и удобно усаживается в качалке, кладет голову на спинку и глядит в небо.

— Наблюдаю за Сашей и думаю,— говорит Иван Николаевич,— не обидно ли в наше время зубрить тригонометрию? Зачем обыкновенному инженеру сия почтенная наука, если я вчера прочитал в «Известиях» милую заметочку. Электронно-счетной машине был задан расчет железнодорожного моста, которым до этого целый год занималась конструкторская группа. И что вы думаете? За несколько минут машина дала лучший вариант моста. Даже по контуру, то есть по той стороне дела, которая близка к искусству, к эстетике. Мост был лучше, целесообразнее и, значит, красивее. Как вам это нравится? Нет, каково!— восклицает он, всплескивая руками.— Что вы на это скажете?

— Саша, стой!— вдруг панически громко и шутливо кричит Иван Николаевич, заметив нетерпеливый жест Саши.— Все знают! Скажешь, что машина — дело рук человеческих, что она никогда не заменит мыслящее существо. Знаю и даже — скажу тебе по секрету — недавно по заказу хитрого заводика разработал технологию миленькой вещички. Говорят, получилось недурно и сыграет какую-то роль. И так, я знаю, что машина никогда не заменит человека, но...— Он молитвенно складывает руки на груди.— Но заменила же машина проектную группу... Вот я и думаю — может быть, не всем надо в двадцатом веке зубрить тригонометрию?

— Новая форма пессимизма!— смеясь, говорит Саша.— Пессимизм технический...

— Во-во,— подхватывает Иван Николаевич.— Именно, Саша! Ты вселовишь на лету. Пессимизм не оттого, что человек глуп и несовершенен, а оттого, что умнеют и совершенствуются машины...

Закинув голову, Иван Николаевич тоже смеется, и все смеются. Саша хохочет и думает, что в его подозрительности есть что-то гадкое.

— Кстати,— просмеявшись, говорит Иван Николаевич,— раньше глупый и несчастный человек не знал, что такое хороший и чистосердечный смех под луной. Теперь он знает, что это — отличная штука! И вообще...— Иван Николаевич легонько вздыхает.— И вообще... Жизнь не так уж плоха! А теперь замечу, что пора спать! Даже счастливые и умные люди работают в отделе главного технолога и к девяти часам являются на службу.— Иван Николаевич поднимается, зевнув и потянувшись, легонько кивает головой Ирине Августовне.— Спокойной ночи, Саша! Тебе скоро идти в патруль.

— Спокойной ночи, Саша!— тихо говорит Ирина Августовна, не глядя на сына.

— Спокойной ночи!— отвечает он.— Спокойной ночи!

Они уходят, а Саша с радостью думает, что через полчаса он пойдет в ночной патруль. Саша закрывает книгу, кладет голову на скрещенные руки. Так он сидит до тех пор, пока позади не раздается тихий скрип песка — это идет по саду бабушка, страдающая бессонницей. Она иногда целые ночи ходит по саду. Ходит, думает о чем-то, иногда легонько прищипывает. Сейчас бабушка бесшумно приближается к Саше, садится рядом с ним, достает из кармана пачку папирос и закуривает.

Сашина бабушка курит всю жизнь. С папиросой в зубах она сидела над ученическими тетрадами, с ней стояла в очередях в годы войны, с ней провожала Сашу первый раз на завод; с папиросой бабушка бесшумно ходит по саду, и в темноте кажется, что летает светлячок,— это бабушка взмахивает рукой, в которой зажата папироса. Курит бабушка по-мужски, и лицо от папиросы у нее делается суровым. Бабушка до старости

сохранила что-то такое, что было присуще комсомольцам двадцатых годов и что Саша знает по книгам и кинофильмам. Саше иногда кажется, что на голове у бабушки красная косынка.

— Вот так-то, Саша,— тихо говорит бабушка.

— Да! Вот так-то...— отвечает Саша.

Больше им ничего не надо говорить — все понятно: и почему Саша невесел, и почему бабушка теперь особенно часто мучится от бессонницы, и почему она курит папиросу за папиросой.

3

С двенадцати до двух часов ночи комсомольский патруль — Саша и его друзья — должен «прочесать» два темных переулка, небольшую улицу и полчаса, до закрытия, подежурить возле центрального ресторана города. В это время бражники, отгуляв положенное время, выходят из ресторана бушевать — сводят денежные счета, схватываются из-за веселых подруг, берут штурмом редкие такси.

В час пятнадцать минут ночи патруль идет по узкому и темному переулку. Впереди шагают Саша Озолин и Вадим Табачников, позади — Юра Чешуйкин и Володя Якунин. Идут ребята тихо, осторожно, молча. Саша Озолин сунул руки в карманы, втянул голову в плечи, ссутулился — восприимчивый, нервный, впечатлительный, он поневоле идет так, как велит темная ночь, узкий переулок, возможность встречи с преступлением; Вадим Табачников идет спокойно, размеренным шагом — неторопливый, солидный, сдержанный; Юра Чешуйкин подражает Саше Озолину, а Володя Якунин идет, как на параде, с гордо вздернутой головой.

Луны нет, но небо, усыпанное звездами, светло — видны две высокие сопки, врезанные темным силуэтом в прозрачное небо. На левой сопке, самой высокой и стройной из двух, временами что-то металлически поблескивает — вращается эллипс локатора: провожает и встречает самолеты, приглядывается к тому, что делается в ночном небе. Над локатором, перевернувшись ручкой вверх, висит громадный ковш созвездия Большой Медведицы, сложенный из крупных, немигающих звезд.

Четверо идущих по темному и длинному переулку тоже чутко приглядываются к темным закоулкам, прислушиваются к тишине, прошупывают настороженным шагом сиящий переулок. Чем они дальше уходят от центральной улицы города, тем осторожнее шагают, старательнее молчат, больше сутулятся; походка у ребят делается вкрадчивой. Таким шагом они проходят весь переулок, на стыке его с соседней улицей оставиваются и выпрямляются.

— В Забайкалье все спокойно! — насмешливо говорит Володя Якунин. — Спит родное Забайкалье!

— Идем обратно! — говорит Саша таким тоном, словно недоволен тем, что родное Забайкалье спокойно спит; ему, наверное, было бы интересней, если бы в темном и длинном переулке грабили бы продуктовый ларек или бы подвыпившие парни снимали у прохожих часы.

— Полгода назад по этому переулку люди боялись ходить в двенадцать часов ночи, — строго поглядев на Сашу, говорит Вадим Табачников. — Пошли к ресторану!

К центральной улице города четверо идут быстрым, легким шагом — ребята уже не прислушиваются к тишине, не приглядываются к темным закоулкам, не сутулятся. И теперь, когда не надо быть настороженным, Вадим Табачников думает о том, что он ведет себя не так, как надо.

Вадим Табачников немного философ; он вечно копается в самом себе и окружающих, вечно анализирует свои и чужие поступки, не делает

шагу без того, чтобы не обдумать, зачем он этот шаг делает, и вот сегодня он думает о том, что у него недостает морального права на то, чтобы с чистыми помывками ходить с ребятами в ночном патруле. Он, Вадим, все время удерживает Сашу Озолина от опрометчивых поступков, говорит ему о том, что нельзя нарочно искать злоумышленников, что надо радоваться спокойствию в длинном переулке, а сам с нетерпением ждет встречи со Степаном Шведовым, ждет, что вот покажется Степан Шведов, что он увидит его ненавистное лицо. Это и мучит Вадима Табачникова. У дружинников должны быть чистые руки, а он, Вадим, ежеминутно, ежечасно ждет встречи со Степаном Шведовым, чтобы отомстить ему.

Четверо наконец выходят на центральную улицу города, где еще горят неоновые вывески, бегут редкие такси, идут одинокие пешеходы. Оказавшись в свете горбатых фонарей, Вадим подтягивается, так как именно здесь, в центре города, можно встретить Степана Шведова, который часто бывает в ресторане. Вадим уже ни о чем не может думать, кроме Шведова. «Так нельзя!» — говорит он себе, а сам оглядывает улицу, жадно смотрит на шумную толпу у ресторана.

Ресторан скоро закрывается, и потому возле него кипят страсти, слышен чей-то пьяный голос, матерщина, возле такси — шумная свалка, кто-то неистово стучит в уже закрытую дверь, жалобно повторяя: «Отец,пусти! Сто грамм, и все... Отец,пусти!»; несколько темных фигур копошатся в отдалении — не то дерутся, не то кого-то поднимают с тротуара; три девушки стоят рядом, белоголовые, длинноногие, молча наблюдают. Увидев это, Саша Озолин невольно отделяется от товарищей, стремительным шагом идет к ресторану. Володя Якунин бросается за Сашей, Юра Чешуйкин и Вадим — за ними.

Друзья не добегают до ресторана — первым останавливается Саша, потом Володя Якунин, затем Юра Чешуйкин.

— Там милиция! — говорит Саша. — Два милиционера!

Вадим же медленно продолжает идти. Он напряжен, скован, вытянув шею, поднимаясь на цыпочки, смотрит на шумную толпу у ресторана.

— Шведов... Степан Шведов! — шепчет Вадим.

Друзья моментально подбегают к Вадиму, становятся рядом, напряженно смотрят в сторону Шведова. Володя Якунин, усмехнувшись, говорит:

— А ведь и правда — Степка Шведов! Давайте, братцы, отзовем его в переулок и почистим морду. Давно я собираюсь сделать это...

— Спокойно! — говорит Вадим. — Спокойно!

Теперь Степан Шведов тоже видит четверых, заранее презрительно улыбаясь, неторопливо идет к ним. Он не слишком пьян, но очень бледен — кажется, что лицо бумажное. На Степане хороший костюм, яркий галстук, поскрипывающие блестящие туфли. Шагах в пяти от ребят он останавливается, прислонившись спиной к старому тополю.

— Вью! — свистит Шведов. — Борцы за справедливость. Всей честной компанией. Ого! И еврейчик тут... Смотри, тоже меня не боится... Вот чудеса в решет! — как бы удивляется он и нарочито медленно разнимает руки, правой лезет в карман и пошевеливает там пальцами, словно нащупывает что-то.

Вадим Табачников чувствует непреодолимое желание броситься на Шведова, но все же находит силы, чтобы сдержаться самому и одновременно с этим схватить за руки Сашу и Володю, которые уже стремительно бросаются к Шведову. Он хватает их за руки, трясущийся от гнева, тянет назад:

— Он же нарочно встал меж нами и милицией... Драка на глазах милицейского наряда...

Шведов громко хохочет:

— Еврейчик прав... Милиция все видит... Попробуйте задеть меня, все сядете в КПЗ! — говорит он.

— Пошли в переулочек! — вдруг кричит Володя. — Пошли, сволочь, в переулочек.

— А чего мне делать в переулочке? — спрашивает Шведов. — Мне и здесь хорошо. Зачем мне идти в переулочек? Вас четверо, я — один! Вы же не ходите по одному. Бойтесь Степана Шведова! Трусите, что я вас по одиночке уделаю, как бог черепахе! А чего вы молчите? От страха языки съели... Ну ладно, поговорили, — хохочет Шведов. — Мы еще с вами встретимся...

— Хорошо, мы встретимся! — тихо говорит Саша. — Берегись, Шведов, этой встречи...

— Я из тебя сосульку сделаю! — сквозь зубы цедит Володя.

— Ой, как страшно! — комично восклицает Шведов. — Ночь не буду спать! Прощайте, борцы за справедливость! Мне надо к девочкам. Вон к тем... Видите, ждут. Это вы все ходите по улицам, а мне надо к девочкам... Прощайте, борцы!

Блатной согбенной походкой, волоча ноги, он уходит к трем девушкам, которые действительно ждут его. А ресторан уже совсем закрывается — гремят болты, на широкие окна опускаются металлические шторы. Милицionеры уже разогнали толпу, два такси отъехали от ресторана, и со своей старинной двухстволкой выходит на тротуар сторож. В тишине милицionеры идут к друзьям, один из них, поднося руку к фуражке, говорит:

— Спасибо, товарищи! На сегодня все -- идите домой!

Громко стуча каблуками по асфальту, милицionеры уходят. Четверо смотрят им вслед.

— Милиция охраняет Степана Шведова, — говорит Вадим, усмехаясь, — вот как бывает в жизни. Советская милиция бережет Степана Шведова...

4

Четверо идут домой. Третий час ночи, и потому ребята торопятся; шаги гулко раздаются в тишине, улица, освещенная фонарями дневного света, похожа на тоннель: сбоку ее — дома, сверху — темное небо.

Четверо уже отошли с полкилометра от ресторана, миновали городскую площадь, а за ними все шагает тоненькая девушка в юбке колоколом. Увидев на их руках повязки дружинников, девушка пошла за ними следом и вот идет до сих пор. Слушая постукивание ее каблучков, ребята изредка переглядываются, улыбаются и шагают так, чтобы девушка не отставала на своих каблучках-шпильках. Четверо не оборачиваются к ней нарочно, чтобы шла вольно и не подозревала, что они слышат ее шаги.

Идут ребята так же, как раньше: Вадим и Саша впереди, Володя и Юра позади. Каждый из них думает о том, что произошло у ресторана, и каждый думает по-своему. Гордый своей силой и смелостью, Володя Якунин злится на то, что нельзя было «начистить морду Степке Шведову»; Саша Озолин чего-то от дум о Шведове переходит к размышлениям о Иване Николаевиче; Юра Чешуйкин страдает оттого, что на земле есть еще такие люди, как Степан Шведов.

Позади Вадима дробно постукивают каблучки-шпильки. Он слушает и улыбается — пять минут назад девушка боялась ночной тишины, пьяных мужчин. Теперь она ничего не боится и шагает быстро, легко постуки-

вая каблучками. Интересно, кто она и куда идет? Может быть, телефонистка, может быть, работает на швейной фабрике... Неважно, где она работает, важно, что ей хорошо идти за дружинниками. И она, наверное, думает о них хорошо. Вот, дескать, идут смелые, сильные парни, они охраняют тишину ночного города, потому что ненавидят все темное и грязное. Вот, наверное, думает она, идет высокий черноволосый парень Вадим Табачников, и он тоже охраняет спокойствие ночного города. Девушке невдомек, что Вадим Табачников все время думает о Степане Шведове и совсем мало думает о своих обязанностях дружинника.

Вообще почему люди добровольно идут в народные дружины? Вадим часто думает об этом. Недавно в молодежной комсомольской газете о них, четверых, было написано: «Патриотизм, самоотверженность, комсомольский долг...» Вадим тогда подумал о Володе Якунине. Ну, о каком комсомольском долге может идти речь, если Володя думает только о том, как бы ему похвалиться своей силой и храбростью? Потом он подумал и о себе: при чем тут комсомольский долг, если он, Вадим, полон ненависти к Степану Шведову? Вот о Саше Озолине действительно можно сказать, что его привел в дружину комсомольский долг.

Цокот тоненьких каблучков об асфальт прерывается: это девушка сошла с тротуара на мягкий песок темной улицы. Вадим оглядывается: девушка остановилась. Плечи ее нерешительно развернуты в сторону пересекающей улицы, а смотрит она на четверых парней, которые все еще идут прямо. Вадим сжимает руку Саши, шепчет: «Пошли направо!» — и они поворачивают в проулок.

Теперь Вадим изредка оборачивается и при луне, не закрытой фонарем дневного света, видит, что у девушки стройная фигура, ловкие движения. Интересно все-таки, куда идет она и зачем? Внезапно стук каблучков учащается, словно девушка бежит за ними. Вадим снова оборачивается к ней — девушка догоняет их, приблизившись, улыбается:

— Спасибо, ребята! Я знаю, вы ради меня пошли этой улицей. Я работаю на телеграфе...

Она входит на своих высоких каблучках в двери телеграфа. Вадим смотрит ей вслед, и его охватывает такое чувство, словно что-то связало их, четверых, с этой девушкой. Наверное, то, что они шли вместе, что ей было не страшно с ними и что она верила им. И ему кажется, что он уже давно знает эту девушку, где-то встречал ее — на улице, или в кино, или в школе.

— Ничего девочка! — говорит Володя Якунин. — Фигурка, как в кино!

— Славная! — говорит Юра Чешуйкин. — Знаете, ребята, она похожа на Таню Венгеровскую...

И как только он говорит это, ребята понимают, что девушка действительно похожа на Таню Венгеровскую: такая же тоненькая и стройная, такая же большеглазая.

— Танька опять вчера каталась на автомобиле с Николаевым! — вдруг говорит Володя Якунин. — В той «волге», что ему недавно купил отец. Как ты это терпишь, Сашка! Я бы ей давно вместо ног спички вставил!

Вадим и Юра торопливо переглядываются. Ох, этот Володька Якунин! Он не признает никаких тонкостей и психологий, никаких дипломатий; режет все с плеча и доволен собой донельзя. Вот и сейчас так.

— Смотри, Сашка, — продолжает Володя, — уведет у тебя профессорский сынок девочку. Нарочно, сволочь, ездит по центральному улицам, чтобы все видели...

Вадим болезненно морщится. Он не может перебить Володю, прицкнуть на него — Юрий Николаев на самом деле возит Таню по центральным улицам города, и Саше надо знать об этом.

5

Михаил Михайлович Шведов ходит на работу вместе с соседями.

Этим утром Ирина Августовна, Иван Николаевич и Саша тоже выходят из дома в тот момент, когда из соседней ограды появляется Михаил Михайлович Шведов, который идет на молочный завод, где работает директором. На Шведове белый просторный китель с отложным воротником, серые брюки заправлены в легкие хромовые сапоги. Одним словом, одет он так, как одевалось лет десять назад большинство руководителей, начиная от председателей артелей и кончая секретарями обкома. Пристроившись к соседям, Михаил Михайлович густым басом прокашливается, торопливо заходит немного вперед и говорит:

— Собственно говоря, по утрам я могу вызывать машину, но не делаю этого. Теперь не модно брать машину для поездки на работу.

Точно так же он говорил вчера, позавчера, неделю назад, и точно такое лицо у него было при этом — напыщенно-важное, но и грустное оттого, что вынужден по утрам ходить на работу пешком. И точно так же, как вчера, позавчера, месяц назад, он умеряет шаг, больше не забегает вперед и удовлетворенно молчит с таким видом, словно честно выполнил первейший долг. Дескать, объяснил, почему хожу пешком, и теперь могу идти спокойно. И точно так же, как вчера, позавчера, неделю назад, реагирует на слова Шведова Иван Николаевич — он не смеется, на лице нет даже обычной для него иронической улыбки.

Саша недовольно и сердито косится на отчима. Саша не может понять, как можно спокойно относиться к тем глупостям, которые говорит Шведов. Саша гневно сводит брови, вспоминая, что с тех пор, как Иван Николаевич женился на матери, он, Саша, еще ни разу не схватывался со Шведовым, с которым ругался всю жизнь, лет с десяти. И все потому, что Иван Николаевич ходит к Шведову «поточить зубы», спокойно разговаривает с ним и считает Михаила Михайловича «прелюбопытнейшим экземпляром». Вспомнив об этом, Саша зло смотрит на Шведова.

— Товарищ Шведов,— говорит он,— товарищ Шведов, какого черта вы каждый день болтаете об автомобиле? Противно!

Шведов приостанавливается, надув щеки, краснеет до бордовости.

— Хорошо! Хорошо! — задыхаясь, отвечает он.— Хорошо! Очень даже хорошо... Я больше не затрудню вашу компанию своим присутствием. Хорошо! Очень хорошо!

Саша замечает, что у Шведова от обиды дрожат руки и губы, что он жалобно моргает глазами. Но у Саши нет ни капельки жалости к Шведову, и он спокойно, холодно говорит:

— И бросьте это ваше — «хорошо», «хорошо»! Никто не боится! Я даже мальчишкой вас не боялся!

Шведов круто заворачивает в первый попавшийся переулок и скрывается. Страшно и смешно смотреть на него — толстого, важного, напыщенного — в тот момент, когда он просто убегает от Саши.

Саша, Ирина Августовна и Иван Николаевич несколько минут идут молча. Они подходят к улице машиностроительного завода. Здесь уже повсюду хозяйничает солнце: переворачивает нагретым воздухом листья подстриженных тополей, плавится в окнах домов, на крышах, на политом асфальте. И город, залитый солнцем, кажется новеньким, словно построен вчера.

— Ого-го! — после минутного молчания наконец произносит Иван Николаевич. — Вот ты какой, Саша! Таким я тебя еще не видел!

Не замедляя шага, не меняя выражения лица, Саша говорит:

— Странно, Иван Николаевич, что вы спокойно относитесь к Шведову! Он ведь гадок!

— Ого-го! — еще раз восклицает Иван Николаевич. — Ого-го, какой ты, Саша!

Иван Николаевич невольно любит Сашей и вдруг думает о том, что этот юноша всего добьется: он один из лучших токарей завода, обязательно поступит в институт, закончит его и будет хорошим, может быть, выдающимся инженером. Сашу любит одна из красивейших девушек города, дочь знаменитого профессора, и она, наверно, станет его женой. Да, да, этот Саша всего добьется, будет большим человеком.

— У тебя есть воля, Саша, это очень хорошо! Поздравляю тебя...

— Спасибо! — шуточно кланяется Саша. — Большое вам мерси!

«Вот, товарищи, один Озолин... — смешливо думает Иван Николаевич и переводит взгляд на жену. — А вот, товарищи, вторая Озолина!»

Вторая Озолина — Ирина Августовна — всю дорогу идет молча. Как только вышли из дома, она стала строгой и непроницаемой; высоко подняла красивую голову, а руки так согнула и прижала к туловищу, словно боялась в чем-то испачкать их. Лицо у нее сделалось чужим, далеким, начальственным. Иван Николаевич всю дорогу незаметно наблюдает за ней, и ему вспоминается их недавний разговор. Они лежали утром в постели, и она вдруг весело рассмеялась:

— Иван, помнишь, ты как-то спросил, неужели за мной никто не ухаживал раньше?.. Ну так вот — мужчины совсем не ухаживали за мной... Ну вот ни капельки не ухаживали...

— Почему, Иришка, ведь ты такая красивая и умная!

— Они не ухаживали за мной потому, — затаенно-лукавым голосом продолжала она, — что всегда видели меня в роли хирурга. Это ведь ты увидел меня в первый раз дома, а все остальные мужчины всегда видели меня или в больнице, или после больницы, когда я оставалась хирургом. А ты знаешь, какой я строгий и важный хирург! Мужчины боятся меня. Я только недавно вспомнила, как один офицер — у него была больная мать — сказал мне: «К вам страшно подойти, доктор, вы словно начинены динамитом!» Понимаешь теперь, почему мужчины не ухаживали за мной?

И вот сейчас он смотрит на жену и думает: «Да, за такой женщиной не каждый рискнет ухаживать. Можно нарваться на серьезную неприятность».

— Ирина! — ласково, весело обращается к ней Иван Николаевич. — Ты, кажется, не замечаешь, что мы с Сашей существуем. А мы не только существуем, но и прописали ижицу гражданину Шведову!

— Я все слышала, — неожиданно быстро отвечает жена. — Саша прав — давно пора дать этому пошляку по физиономии. Саша молодец. Ты знаешь, Иван, — продолжает она, — тот старик, о котором я тебе рассказывала, умрет...

«Вот вам, товарищи, вторая Озолина, — думает Иван Николаевич. — Она вся уже в больнице, у постели больного! Такие уж люди эти Озолины...»

Меж тем они уже подходят к автобусной остановке, на которой Ирина Августовна садится в машину. Они подходят вовремя, так как очередной автобус тормозит, шурша шинами на холостом ходу. Ирина Августовна вскакивает на подножку, повертывается к сыну и мужу и первый раз за всю дорогу улыбается. Саша смотрит на мать и поражается тому, как она красива в этот миг.

— До свидания, мамочка! — машет рукой Саша.

Иван Николаевич повертывается к Саше, чтобы пошутить насчет его сосредоточенности, и вдруг натывается на его пронзительный, требовательный и испытующий взгляд. И как только Иван Николаевич видит Сашины глаза такими, его всего пронзает понимание того, что происходит с Сашей. От удивления Ивану Николаевичу хочется присвистнуть, но он, конечно, не свистит, а отвертывается от Саши.

Только сейчас, увидев изучающий взгляд Саши, Иван Николаевич отчетливо понимает, что почти два месяца живет под прицелом этих глубоких и горячих глаз. Они следят за его движениями, за выражением лица, за всем, что делает и что говорит он, Иван Николаевич Черепнин. Он вспоминает все эти месяцы, все вечера, все разговоры с Сашей. Тью-тью! Оказывается, Саша следит за ним, изучает его, прислушивается к каждому слову. Иван Николаевич невольно ежится.

6

Все еще находясь под впечатлением своего утреннего открытия, Иван Николаевич стоит возле того окошка, что выходит на две сопки. Стоит и посмеивается про себя, что главный технолог Борис Васильевич Скрябин с подозрительным видом бродит меж чертежных досок других технологов, хотя имеет только одну цель — заглянуть в чертежи Ивана Николаевича, который в эти дни работает лениво и мало. Главный технолог выходит из себя, но сделать ничего не может, так как Иван Николаевич, пользуясь деликатностью Бориса Васильевича, не допускает его к чертежной доске. Вот и сейчас, когда Борис Васильевич в результате хитрых переходов от доски к доске оказывается на таком расстоянии от Ивана Николаевича, на каком может рассмотреть его чертежи, Иван Николаевич, тихонько насвистывая из «Паяцев», подходит к своей доске и закрывает ее спиной.

— Доброе утро, Борис Васильевич! — рассеянно здоровается он с главным технологом и, отвернув голову, напряженно смотрит в стенку, словно по-прежнему мучительно ищет решения своей сложной технологической идеи.

— Доброе утро! — отвечает Борис Васильевич и, досадливо поморщившись, удаляется в свой фанерный закуток.

Одержав эту маленькую победу над главным технологом, Иван Николаевич приходит в совершенно отличное настроение, возвращается к окошку, упирается лбом в стекло и глядит на две высокие сопки, покрытые синей дымкой. Эта дымка по утрам движется, и потому кажется, что сопки плывут, а если долго смотреть на них, плывущих, то постепенно может показаться, что плывут не сопки, а плывет комната отдела главного технолога. Куда плывет, кто ее знает, но плывет и Иван Николаевич, все еще тихонько насвистывающий из «Паяцев».

Иван Николаевич и предполагать не мог, что его семейная жизнь будет такой счастливой и необременительной. Женясь на Ирине Августовне, Иван Николаевич все-таки побаивался новых обязанностей, усложнения жизни. Он заранее обдумывал способы защиты своей личной свободы, но защиты не понадобилось. Уже на пятый день после женитьбы Иван Николаевич, нарочно придя домой в первом часу ночи, до чрезвычайности был поражен тем, что жена ни о чем не спросила его, быстро накрыла стол и отлично накормила. Пока он ел, она сидела рядом и смотрела любящими, нежными глазами. Приятно удивленный этим, Иван Николаевич все-таки продолжал свои эксперименты — еще через неделю, в день зарплаты, он ни копейки не дал жене, и хотя она знала о зарплате — в этот же день деньги получил Саша, — ничего не сказала

ему. Тогда еще через неделю Иван Николаевич принес домой маленькую чертежную доску и сразу после ужина занялся черчением, старательно делая вид, что не замечает жену. Он упрямо проработал до часу ночи и был опять приятно поражен тем, что Ирина Августовна не потревожила его — молчаливая и тихая, она так незаметно улеглась спать, что он и не услышал когда.

На следующий день Иван Николаевич отдал Ирине Августовне всю зарплату, спрятал доску в кладовку, пришел с работы сразу после пяти и даже вызвался купить для семьи дефицитный сорт колбасы. Он понял, что в семье Озолиных безгранично доверяли друг другу, что Елена Федоровна, Ирина Августовна и Саша почли бы себя самих оскорбленными, если бы у кого-нибудь из них возникло недоверие к словам и поступкам другого. Потому Ирина Августовна и была спокойна, когда Иван Николаевич пришел домой в первом часу ночи, — значит, надо; потому она не удивлялась, что он не отдал зарплату, — есть, значит, необходимость не отдавать; потому она и не подумала тревожить его, когда сидел за чертежной доской, — надо, значит, работать!

Одним словом, в семье Озолиных ничто не грозило свободе, самостоятельности Ивана Николаевича, ничто не могло усложнить его жизнь, и он бросил свои хитрости, перестал защищать свои маленькие, но важные для него привилегии. А потом пришло и такое чувство, осознание которого не могло не порадовать: пожалуй, впервые в жизни именно в семье Озолиных он почувствовал себя по-настоящему свободным. С другими женщинами он всегда хитрил. Красивые, умные, не слишком влюбленные в него требовали ума, комфорта, преувеличенного выражения любви; красивые и влюбленные в него вызывали опасение, что дело пойдет слишком далеко; не очень красивые, не очень влюбленные в него требовали тоже дипломатии, чтобы отношения не были обременительными и долгими. Ирина Августовна была красива, умна, любила его, но с ней не надо было хитрить и разводить дипломатию.

— Иван Николаевич! — слышит он позади себя робкий, тонкий голос. — Иван Николаевич, все стандарты перерыл, а не могу найти нужный мне по размеру вентиль... Будьте добры, Иван Николаевич, подскажите, где можно найти нужный мне вентиль...

Это говорит технолог Вася, у которого вечно что-нибудь не сопрягается. Жалобно помаргивая светлыми ресницами, он держит тонкими пальцами чертеж. Иван Николаевич отрывается от своего окна с голубыми сопками, шутливо-грустно вздохнув, подходит к Васе, мельком заглядывая в чертеж, сразу понимает, что надо невезучему технологю, и лениво говорит:

— Возьмите шестнадцатый вентиль, Вася! Он как раз, и у вас все сопряжется...

Торопливо убежав на свое место, Вася роется в книгах и через несколько мгновений с сияющим лицом бежит к Ивану Николаевичу с возгласом:

— Правильно! Верно! Теперь все хорошо! — И добавляет восторженно: — Ой, какой вы хороший технолог, Иван Николаевич! Просто завидно! — И печалится: — Когда уж я буду так хорошо разбираться во всем...

Иван Николаевич пожимает плечами. Горько и смешно все-таки наблюдать за этим невезучим, нелепым Васей, тяжелехонько смотреть на то, как он мучится за своей чертежной доской, когда у него «не сопрягается». Блажен тот, кто верует, но Иван Николаевич глубоко уверен в том, что из Васи никогда не будет дельного технолога, — нет у него ни инженерской хватки, ни воображения, ни чутья. Есть у Васи только одно: горячее желание стать хорошим технологом, но этого — увы! — мало в двадцатом веке.

Наблюдая за Васей, Иван Николаевич думает о том, что главный технолог поступает глупо, когда держит в отделе этого нелепого и смешного парня. Со своей старательностью, настойчивостью Вася был бы полезен в любом цехе, где от инженера требуется меньше конструкторской хватки, воображения и инженерского чутья; именно в цехе пригодилась бы огромная работоспособность Васи. Хорошо настроенный Иван Николаевич неожиданно для самого себя чувствует страстное желание узнать, что думает о бедном Васе Борис Васильевич Скрыбин, почему держит его в отделе.

Еще немного подумав, Иван Николаевич идет к фанерному закутку главного технолога, не стуча открывает легкую дверь, сделал шутивым лицом, просовывает голову в кабинетик:

— Могу ли я ворваться, Борис Васильевич?

— Вполне! — громко отвечает главный технолог, немного удивленный тем, что Черепнин с утра приходит к нему. — Чем могу служить, Иван Николаевич?

— Сейчас объясню!

Садясь, Иван Николаевич косится на стол главного технолога — здесь, как всегда, грудой навалены детали, бумаги и отдельной аккуратной стопкой лежат в разноцветных коробочках какие-то пилюли и порошки. Главный технолог глотает их через равные промежутки времени. Эtiquетки с коробочек и порошков сорваны, и можно только догадываться по форме некоторых из них, что это витамины. Борис Васильевич Скрыбин глотает их потому, что хочет возможно дольше продлить свою жизнь. Он такой сухой, тощий, что приходится удивляться, как в нем держится жизнь.

Сегодня желтое, мумиеобразное лицо Бориса Васильевича бледно, взволнованно: он всегда бывает таким, когда работает, а сегодня он особенно углублен в чертежи — это видно по беспорядку на столе, по карандашу, судорожно зажатому в руке, по тому, как он другой рукой переставляет с места на место детали.

— Я помешал вам, Борис Васильевич, — говорит Иван Николаевич, — но я отниму минутку... Скажите откровенно, Борис Васильевич, вы верите в то, что Вася станет хорошим технологом? Считаете ли вы, что у него есть задатки?

Борис Васильевич только секунду мучительно морщит желтый, пергаментный лоб, только секунду глядит на Ивана Николаевича невидящими глазами, а затем решительно произносит:

— У Богомолова нет задатков, и я мало верю в то, что он станет дельным технологом!

— Почему же вы тогда не отпустите его в цех?

Положив на стол карандаш и детали, Борис Васильевич тихонько покачивает головой.

— У меня не хватает сил сказать Богомолову, что из него не выйдет хорошего технолога, — откровенно сознается он. — Я, знаете ли, не нахожу в себе сил быть откровенным! Знаете ли, я с большим уважением отношусь к фанатичным людям. И потом — в жизни бывают чудеса! Кто знает, кто знает! Вдруг упорство этого человека приведет к такому чуду...

— Все понятно! — весело отвечает Иван Николаевич. — Простите, что оторвал вас. Сам знаю, как плохо, когда перебивают на середочке плодотворной дебютной идеи, как говаривал Остап Бендер...

— Ничего, Иван Николаевич, — тоже весело отвечает Борис Васильевич. — Я сейчас иду в цех... Есть, знаете ли, действительно одна плодотворная дебютная идея...

Они вместе выходят из фанерного закутка главного технолога, вместе идут некоторое расстояние, а потом расходятся: Иван Николаевич идет к своему веселому окошку, а Борис Васильевич — в цех. Иван Николаевич опять смотрит на две синие сопки и думает о главном технологе: «Этот человек деликатен! Он даже не упрекнул меня за то, что я бездельничаю». Потом Иван Николаевич неторопливо переходит к тому окну, за которым виден заводской двор. Когда у негѳ хорошее настроение, он никогда не стоит у окошка с заводским двором, а сейчас переходит к нему потому, что хочет посмотреть на главного технолога, идущего в цех.

Борис Васильевич шагает так, точно за ним гонится стая собак. Он буквально бежит по двору и сгибается, как будто навстречу ему дует сильный ветер. «Ну, брат, и дела! — усмехается Иван Николаевич. — Вокруг меня сплошь фанатики! Вася — фанатик, Скрябин — фанатик, жена — фанатик, теща — фанатик, Саша — фанатик! Все сплошь неистовые, до чертиков увлеченные люди!» Он легко вздыхает и нерешительно подходит к своей чертежной доске, заточив карандаш, проводит несколько небрежных линий, берет лекало, чтобы провести следующую, но опускает руки. Черт знает, как не хочется работать!

Ивану Николаевичу Черепнину всегда не хочется работать, когда у него хорошее настроение.

7

Человека, побывавшего в тюрьме, уголовника, Борис Васильевич Скрябин узнает сразу и при этом болезненно морщится, закусывает нижнюю губу. Вот и сейчас, увидев в цеху нового токаря, он заглядывает ему в лицо и сразу же закусывает нижнюю губу.

— Так! — сухо произносит Борис Васильевич. — Ваша фамилия? Когда приняты в цех?

Прозрачные глаза токаря медленно уходят в сторону, на бледной, синеватой коже появляются два небольших красных пятнышка — возле скул, — и мелкие-мелкие морщины покрывают все лицо густой сеточкой.

Борис Васильевич почти вплотную подступает к Шведову, ему кажется, что от токаря пахнет кислым тюремным запахом.

— Шведов Степан Михайлович. Принят на работу в конце апреля. В механический цех переведен вчера...

Борис Васильевич усмехается — этот тип словно стоит перед «папашеном», страшным главой тюремных уголовников.

— Судимостей сколько? — спрашивает Борис Васильевич.

— Две...

Глаза у Шведова вдруг перестают бегать, становятся осмысленными, с лица исчезают мелкие морщины. По губам его пробегает понимающая, тонкая улыбка.

— Что-то не узнаю! — говорит Шведов. — Не припомню, в какой тюрьме вместе сидели...

— Продолжайте работу! — говорит Борис Васильевич. — Потом разберемся, где встречались.

Шведов повертывается к станку, кладет руки на рычаги, а Борис Васильевич незаметно для самого себя облегченно вздыхает и тревожно оглядывается. Мелкой дрожью дрожит бетонный пол, визжат и скрежещут станки, катится по рельсам мостовой кран. Никто, конечно, в цехе не слышал их разговора, никто, конечно, не обратил внимания на то, что главный технолог завода остановился возле станка токаря Шведова, и когда Борис Васильевич бросает взгляд на часы, то ему кажется — они остановились. Он вошел в цех в десять часов, а сейчас на часах три минуты одиннадцатого.

Всего три минуты. За эти три минуты в его жизнь вернулся мир прошлого... Жадно вдыхая душный, пропитанный мазутом и гарью воздух, Борис Васильевич осматривает цех: находит взглядом станок у окна, потом еще один станок, потом третий... За одним из них — широкая спина токаря Володи Якунина, за другим — черная голова Вадима Табачникова, за третьим — тоненькая фигурка Юры Чешуйкина. А если Борис Васильевич обернется, то увидит самый лучший станок в цехе, за которым работает Петр Алексеевич Гомозов, а рядом с ним — Саша Озолин. Борис Васильевич смотрит на них и успокаивается.

— Так-с! — звучно произносит Борис Васильевич. — Так-с!

Проходит еще одна секунда, и в нем окончательно пробуждается главный технолог завода, человек, который не может отойти от станка дважды судимого Шведова, не посмотрев на его работу, не поняв, за какие такие заслуги этого типа перевели в самый сложный цех завода, где работают самые лучшие токари, фрезеровщики, расточники, строгальщики и слесари.

— Не медлите! Включайте станок! — командует он. — Включайте же!

Первое движение Шведов делает не очень уверенно, но плавно и точно. «Ничего, ничего!» — думает Борис Васильевич, наклоняясь к станку. Наметанным глазом он видит и оригинальную оправку, которую применяет токарь, и точность его движений, и то, что деталь, еще не ободранная, зажата в патроне точно по центру. Она не бьет, когда резец вгрызается в кромку, — значит, Шведов точен и старателен, значит, бережет станок, если хорошо центрует деталь, — работа нудная и кропотливая.

— Угу! — мычит Борис Васильевич. — Угу!

Нравится ему и то, как Шведов смело идет на глубокую стружку, — она завивается толстой лентой, и это значит, что резец у него заточен отлично, может быть, он даже применил дополнительную режущую кромку. «Понятно, почему его перевели в ремонтно-механический цех! — думает Борис Васильевич. — Молодец начальник цеха — дельного токаря получил!»

— Дополнительную режущую кромку делаете по Колесову? — спрашивает Борис Васильевич.

— Никакого Колесова я не знаю... — отвечает Шведов.

У Бориса Васильевича от удивления поднимаются брови: не знает Колесова, а резец заточил именно по его методу?

— Не верите? Зря! Знай, инженер, что Степан Шведов никогда не врет!

Борис Васильевич недоверчиво хмыкает, решительно отстраняет токаря и, остановив станок, нагибается, чтобы разглядеть резец, и снова хмыкает. Этот парень действительно не врет: резец заточен вроде бы и по-колесовски, но и не по-колесовски, а как-то по-своему, очень, впрочем, оригинально.

— Гм! — произносит главный технолог. — Удивительно! А ведь вы, знаете ли, отличный токарь!

Шведов беззвучно, но весело смеется.

— Стараюсь, — говорит он, — стараюсь работать на благо человечества!

— Минуточку! — поражается Борис Васильевич. — Минуточку! При чем тут человечество?

Но Шведов не отвечает — поворачивается к станку и, все еще бесшумно смеясь, включает станок. Борис Васильевич еще мгновение стоит над ним, думает: «Шведов — отличный токарь! Это просто талантливый токарь...» — затем тихо идет к станку Саши Озолина, останавливается возле него и улыбается: ему радостно стоять возле этого юноши. Инженер, математик, Борис Васильевич думает, что Саша Озолин похож на

сильный, ладный по конструкции мотор. «Этот юноша задуман и выполнен хорошо!» — иногда с улыбкой думает Борис Васильевич.

Заметив главного технолога, Саша выключает станок, улыбаясь, выходит в пролет навстречу Борису Васильевичу, вслед за Сашей останавливаются станки Вадим Табачников, Володя Якунин и Юра Чешуйкин, тоже подходят к главному технологу и тоже улыбаются. Так смотрят студенты на своего любимого преподавателя.

— Добрый день, товарищи! — несколько смущенно здоровается Борис Васильевич. — Решили сделать небольшой перекур? — спрашивает он. — Тогда выйдем на лавочку!

Ребята радостно соглашаются и всей компанией идут к той деревянной лавочке, что стоит в тихом месте и где можно курить. Они уже выходят из цеха, когда за ними своей важной гусиной походкой отправляется Петр Алексеевич Гомозов. Первым замечает его Борис Васильевич и досадливо поводит кустистыми бровями. «Ах, безобразник!» — сердито думает он, так как знает, что Петр Великий дико ревнив. Он терпеть не может, когда в цех приходят инженеры и разговаривают с молодыми токарями, фрезеровщиками и строгальщиками. Гомозову тогда кажется, что его авторитет в глазах ребят падает.

Петра Алексеевича Гомозова зовут Петром Великим потому, что однажды, придя на работу поутру, он во всеуслышание заявил: «Оказывается, меня зовут так же, как царя Петра Первого... Петр Алексеевич... А что --- в своем деле я не хуже любого императора... Я такой!» Сейчас Гомозов бесцеремонно втискивается меж Сашей Озолиным и главным технологом и победно смотрит на Бориса Васильевича: «Знай наших!»

Сначала ребята молчат, выжидательно переглядываются, и Борис Васильевич тоже молчит и думает о том, что вот опять сидит в кругу своих молодых друзей, которых мало знает, но очень любит. Что представляют из себя эти молодые люди?

Вот сидит с праздничным видом замечательный токарь и человек Саша Озолин; вот сосредоточенно улыбается умница Вадим Табачников; вот стоит в боксерской позе атлетически сложенный, не очень умный, но честный и прямой человек Володя Якунин; вот по-девчоночьи улыбается самый милый, добрый и нежный парень на заводе — Юра Чешуйкин. А что знает о них Борис Васильевич Скрябин? То, что они хорошие токари и честные ребята, и все. А он, Скрябин, должен знать, для кого он хочет жить сто лет.

— А этот, знаете ли, — говорит Борис Васильевич, — этот, знаете ли, Шведов — неплохой токарь. Совершенно случайно обнаружил, что он сам открыл заточку реза по Колесову...

Сказав это, Борис Васильевич оживленно поворачивается, ждет, что скажут его молодые друзья, но они не успевают сказать и слова, как Гомозов выкатывает свои светлые глаза и ефрейторским басом произносит:

— Сволочь ваш Шведов... Уголовник! Антисоветская личность!

— То есть? — удивляется Борис Васильевич. — Это в каком же смысле?

— Во всех смыслах! — безапелляционно режет Гомозов и победоносно ухмыляется.

— Шведов — неплохой токарь! — с веселой улыбкой говорит Саша. — Вы, Петр Алексеевич, несправедливы к нему...

— Отличный токарь! — с ударением произносит Вадим.

Гомозов, как ужаленный, поворачивается к Вадиму, секунду смотрит на него испепеляющим взглядом, а потом сквозь зубы выдавливает:

— Вот уж от тебя не ожидал! Думал, что вы-то меня поддержите. Ты не косись на меня. Я всегда режу правду в глаза... Я такой!

— Вы несправедливы! — повторяет Вадим.

Гомозов вдруг снисходительно улыбается — ему, видимо, самому странно, что он схватился с Вадимом, хотя с ним ему схватываться не надо: у него же враг — главный технолог! Сообразив это, Гомозов пренебрежительно машет рукой в сторону Вадима и опять повертывается к главному технологю.

— Вот так! — говорит он. — Я такой!

— Вы излишне категоричны, Гомозов! Это плохо... — говорит Борис Васильевич.

— Чего? — презрительно передергивает плечами Гомозов. — Чего ты сказал? Ты меня инженерскими словами не глуши. Мы инженерских слов не понимаем — мы народ неграмотный, простой. А если я сказал, что Шведов — антисоветская личность, значит, так и есть.

— Слушайте, Гомозов...

— И слушать не желаю...

Борису Васильевичу досадно: опять не получится разговора с ребятами, опять этот несносный Гомозов и рта не дает открыть. Борис Васильевич, конечно, мог бы отчитать Гомозова, в конце концов мог бы отослать его в цех, но беда в том, что он сам очень уважает Петра Алексеевича Гомозова, так как еще никогда не видел такого блестящего токаря. Он и не предполагал, что токарное искусство можно довести до такой высоты, до какой его довел этот Петр Великий.

— Мне пора, — поднимаясь, говорит Борис Васильевич. — Дела, знаете ли...

8

Соскочив с автобуса, стремительно прошагав оживленный квартал центральной части города, Саша выходит к четырехэтажному дому, поставленному вдоль тополиной аллеи. Он останавливается, чтобы перевести дыхание, причесать растрепанные волосы, поправить галстук.

В четырехэтажном доме современной архитектуры на втором этаже живет семья профессора Венгеровского — отца Тани. Четыре окна их огромной квартиры выходят в сквер, еще четыре окна — на противоположную сторону, а два окна — во двор. Саша находит взглядом знакомые окна, несколько мгновений смотрит на затейливые — с кувшинами и тарелочками — шторы и хмуро сдвигает брови. «Боже мой, что творится! — думает Саша. — Просто не верится, что в двадцатом веке может происходить такое!»

Саше на самом деле не верится, что в этом современном доме, раскрашенном в три цвета, с крестовинами телеантенн на крыше может жить семья, в которой существуют буржуазные порядки. Да, да, буржуазные порядки, Саша не может называть иначе то, о чем недавно со слезами на глазах рассказала ему Таня.

Саша сначала не поверил, но это было так: в двадцатом веке, в советской стране родители нашли дочери жениха, когда ей было всего десять лет. Все решала давняя дружба отца Тани Венгеровской, Роберта Матвеевича, профессора-терапевта, с Сергеем Платоновичем Николаевым, профессором-психиатром. Венгеровские и Николаевы часто бывают друг у друга, играют в преферанс, выезжают на «волгах» за город, где у них обих дачи под общей крышей. Да и в городе обе семьи живут в одном доме, на одной лестничной клетке — домашние кабинеты профессоров разделены только стенкой.

Когда их дети Таня и Юра поженятся, квартиры и дачи можно будет соединить. Татьяну с Юрием хотят поженить и потому еще, что оба они учатся в медицинском институте и, кажется, подают надежду стать уче-

ными. Профессор Венгеровский, например, хочет, чтобы его дочь стала терапевтом, а профессор Николаев собирается сделать из сына психиатра.

Отдышавшись, причесав волосы и поправив галстук, Саша решительным шагом направляется в подъезд. Перескакивая сразу через три ступеньки, он поднимается на второй этаж, где на двух дверях висят таблички с именами профессоров Николаева и Венгеровского.

Дверь открывает мать Тани, полная дама с холеным лицом, в шелковом халате на китайский манер. Увидев Сашу, она расплывается в улыбке, всплескивает молочными руками:

— Ах, это Александр Ванович! Ах, Александр Ванович! Скажите, правильно я произношу ваше отчество? Если ваш отец был Ваню, то ведь вы Александр Ванович? Да?

— Таня дома? — резко спрашивает Саша, обходя взглядом хозяйку.

— Дома! Дома! — радостно поет она. — Татьяна Робертовна дома! Проходите, Александр Ванович!

Саша спокойно входит в прихожую, хотя знает, что мать Тани смотрит ему в спину злыми глазами. Мало того, он даже знает, почему мать Тани сегодня встречает его особенно ласково. Это значит, что Таня еще раз каталась с профессорским сыном на его новой двухцветной «волге» и в доме затеплилась надежда на то, что Таня скоро порвет с Сашей. «Я не отдам вам Таню!» — решительно думает Саша, шагая по просторному коридору. Он минует закрытую дверь профессорского кабинета и собирается уже постучать в комнату Тани, но хозяйка опережает его, подбежав к двери, стучит и поет тем же счастливым голосом:

— Танечка! К тебе Александр Ванович!

Таня выбегает из комнаты. На ней новое платье, волосы уложены высокой башенкой; тоненькая, стройная, бледная, она так красива, что у Саши перехватывает дух.

— Здравствуй, Сашенька! — восклицает Таня и тащит его за руку в свою комнату.

— Таня! — окликает ее мать.

— Ах, мама, оставь, пожалуйста, — с досадой говорит Таня, захлопывая дверь.

В комнате Таня легонько прилегает щекой к Сашиной груди, смотрит на него снизу вверх, охватывает его плечи.

— Где ты пропал неделю? — жалобно спрашивает Таня. — Тебя так долго не было...

Саша гладит ее по волосам. Ему больно, что она так беззащитна. Она тоскливо смотрит Саше в лицо.

— Ты опять каталась с ним на автомобиле? — с болью спрашивает он. — Два раза?

— Каталась... два раза... — отвечает Таня. — Он зовет, а я не могу отказать.

Саша вздыхает. Ну что он может сказать ей, если она действительно такая бесхарактерная? Она не боится только одного человека — свою мать. Перед другими людьми Таня робеет, но больше всех она боится своего отца Роберта Матвеевича. Она робеет перед ним так, как робела в школе, когда ее вызывали к доске, — руки у нее дрожали, мел падал из пальцев, и она не могла решить самую простую задачу.

Что Саша может сказать ей сейчас? Он может только бережно прижать к себе и пожалеть ее — такую слабую, беззащитную, робкую. «Никому ее не отдам!» — думает он, глядя ее по голове.

— Нельзя быть такой, Таня! — говорит Саша. — Нужно быть сильной, Таня... Ты же не любишь Юрку, считаешь его пустым и глупым...

Таня тихонько отодвигается от него, опустив голову, садится на стул, вздыхает и молчит.

— Садись, Саша! — наконец просит она. — Посидим...

Саша садится на кушетку, покрытую эластичным матом из пенопласта. Ему все знакомо в Таниной комнате: блестящая полированная мебель, цветной линолеум со сложной мозаикой на полу, стены, окрашенные в разные цвета, стеклянный стеллаж посреди комнаты. Саше все это нравится, но сегодня ему не хочется оставаться здесь.

— Пошли гулять, Таня! — предлагает он.

— Идем! — восклицает Таня таким тоном, словно ей на самом деле будет радостно вырваться из своей комнаты, уйти от мебели и линолеума с мозаикой. — Ой, как хорошо, Саша! Пойдем бродить по городу... Пешком! Весь город обойдем пешком.

Вскочив, Таня вталкивает ноги в туфли, мельком заглянув в зеркало, накидывает на голову прозрачную косынку. Ей невольно передается Сашино оживание. Он следит за нею, ласково улыбается и думает, что она всегда может быть такой. Для этого ее надо вырвать из огромной четырехкомнатной квартиры, увести от матери и отца, заставить ходить по городу пешком, а не ездить с Юркой Николаевым на двухцветной «волге».

— Пошли, Саша! — весело торопится Таня. — Почему мы сидим дома, когда на улице так хорошо?..

Она бросается к двери, открывает ее и останавливается — за дверью стоит ее отец Роберт Матвеевич.

— Так как вы спешите, — говорит он, — то я задержу вас только на минуточку. Добрый вечер, Саша!

Роберт Матвеевич входит в комнату, крепко пожимает руку Саше.

— Только на одну минуточку, молодые люди! — продолжает он. — Я вам скажу пару слов...

Роберт Матвеевич Венгеровский — запоминающийся, необычный человек. Все у него крупное: большая голова, большие черные глаза, большой рот, большой нос, большая осанистая фигура; он отлично скроен и шит, здоров и крепок, энергичен и смел; он весь такой, что с него можно писать портрет ученого — в глазах мысль, лоб просторный, покатый, подбородок волевой, мужской. Роберт Матвеевич не просто ученый, а известный ученый: автор многочисленных научных работ, статей и брошюр, его имя есть в энциклопедии.

— Я рад, — садясь в кресло, говорит Роберт Матвеевич, — что застал вас вместе... Лучшего помощника, чем Саша, мне не надо. И потому я обращаюсь больше к вам, Саша, чем к Татьяне... Скажите, Саша, считаете ли вы человеческим достоинством упорство и трудолюбие?

— Да! Считаю! — подумав, сдержанно отвечает Саша. — Но я не понимаю, почему вы об этом спрашиваете?

— Сейчас поймете!

Роберт Матвеевич говорит спокойно, бархатным, звучным голосом, которым он читает лекции.

— Татьяна перешла на третий курс. Я вполне резонно считал, что ей уже пора привыкать к научной работе, ибо она подает некоторые надежды. Так или нет, Татьяна?

— Я не знаю, папа! — отвечает она. — Я не знаю... Я...

— Вот видите, Саша, она не знает! — укоризненно качает головой Роберт Матвеевич. — Она, наверное, не знает и того, что сегодня, с трех до пяти дня, она должна была быть в клинике. Ты знала об этом, Таня?

— Знала, папа!

— Почему не пришла?

Таня молча теревит пальцами оборку платья, лицо у нее бледное. Саше жалко Таню, и в то же время он согласен с тем, что говорит Роберт Матвеевич.

— Роберт Матвеевич прав! — твердо говорит Саша. — Человек должен быть настойчивым и упорным.

— Я профессор, доктор наук, — продолжает Роберт Матвеевич, — но я не позволяю себе каникул и теперь, знойным летом, ежедневно торчу на кафедре...

Роберт Матвеевич поворачивается в кресле, он как бы переносит точку опоры крупного тела с одного подлокотника на другой и теперь весь обращен к Саше. Выражение лица у него такое, словно Роберту Матвеевичу надосло, опротивело смотреть на свою робкую, безвольную дочь, и он, не выдержав, отвернулся от нее.

— Вот полюбуйтесь, Саша! — говорит Роберт Матвеевич. — К чему приводит безволие и инертность. Полюбуйтесь, полюбуйтесь. Вы ведь, Саша, не такой. Я смотрю на вас и вижу, что вы не такой.

Роберт Матвеевич действительно смотрит на Сашу, и видно, что он им любитесь.

— Да, вы совсем другой, Саша, — задумчиво говорит он. — Совсем другой...

Теперь Роберт Матвеевич смотрит на Сашу уже невидящими глазами — он думает, он весь ушел в свои мысли. Затем Роберт Матвеевич поднимается с кресла, заложив руки за спину, несколько раз проходит по комнате, опять начинает разглядывать Сашу. Нет, этот молодой человек ему определенно нравится.

— Саша! — спрашивает вдруг Роберт Матвеевич. — Почему вы не идете в медицинский? Ваша же мама хирург... Почему бы вам не пойти в медицинский?

— Я люблю технику, Роберт Матвеевич...

— Саша, я очень прошу вас повлиять на Таню! — вздыхает Роберт Матвеевич. — Я лестного мнения о вашей воле и характере. Вы, кажется, собрались на прогулку? Желаю приятно провести время.

— Пошли, Таня! — зовет Саша, когда Роберт Матвеевич уходит. — У нас мало времени, чтобы обойти весь город пешком.

В коридоре на них налетает Танина мама, всплеснув руками, поет:

— Вы уже уходите, Александр Ванович! Как жаль — я хотела напоить вас чаем. Как жаль! Как жаль!

Саша молча проходит мимо нее, пропускает Таню вперед, но чувствует, что позади него что-то происходит; он невольно оборачивается и видит, что Роберт Матвеевич морщится и грозит жене пальцем. Заметив его жесты, Танина мама затихает и быстро шмыгает в открытую дверь спальни. «Вот это да!» — смеется про себя Саша. Повеселев, он с силой закрывает за собой дверь, догнав Таню, крепко сжимает ее руку. «Я буду бороться за тебя, Таня!» — думает он.

Взявшись за руки, они выбегают по гулкой лестничной клетке на двор и оба жмурятся: закатываясь, солнце обливает город серебряными яркими лучами. Все блестит, горит, все нестерпимо ярко для глаз — высокие дома, Центральный парк, длинное здание медицинского института, купол старинного собора, расположенные на возвышенности корпуса машиностроительного завода. Расплавленные, все серебряные, царят над городом высокие, стройные сонки.

— Танюшка! — взволнованно говорит Саша. — Твой отец прав — ты должна много работать! Нужно взять себя в руки, быть настойчивой, смелой, энергичной. Нельзя так жить, Таня! Нельзя!

Глава третья

1

Четырнадцатого августа у Ивана Николаевича Черепнина испортилось настроение.

Сколько он ни рылся в себе, причину этого найти не мог — испортилось настроение, и все. До этого он стоял у окна с двумя голубыми сопками, посматривал, как над ними плывет тонкая пелена дымки, и ни о чем особенном не думал, и настроение было хорошее. Но вот вдруг в груди что-то беспокойно шевельнулось, и он почувствовал терпкое зудящее беспокойство. Прошло несколько секунд, и показалось, что сопки потемнели, словно легла на них тень от низкой и плотной тучи. Он торопливо посмотрел: никакой тучи не было. В груди появилась щемящая пустота. Иван Николаевич закрыл глаза, а когда открыл их, у него уже было плохое настроение.

Опять к нему пришла мысль, что он неудачник, что вот жизнь, собственно, прожита, а ни черта не сделано: как был рядовым технологом, так и остался им, в то время как его сверстники по институту далеко продвинулись. Один из них стал главным инженером крупного завода, второй пошел на руководство отделом главного конструктора, третий перевелся в Москву, в научно-исследовательский институт, четвертый — еще куда-то, и только Иван Николаевич сидит на месте...

Впрочем, не на месте! Три года назад он перетащил свою чертежную доску из центра комнаты в этот тихий угол с двумя окошками. А перетащил он доску потому, что владелец места у двух окошек — технолог Павел Павлович Синицкий — умер. Подобное случится и с Иваном Николаевичем — будет сидеть у своих двух окошек до тех пор, пока в один прекрасный день не помрет, и тогда на его место перейдет другой технолог, а на его похоронах будут говорить то же самое, что и на похоронах Синицкого.

Иван Николаевич бросает еще один взгляд в окно и поворачивается к своей чертежной доске, чтобы работать, так как при плохом настроении это самое лучшее. Надо с головой уйти в работу, чтобы не думать о своей неудачной жизни, чтобы тоска не сосала под ложечкой. Он смотрит на свою чертежную доску, сердито усмехается — плохо же работал он эти три длинных радостных месяца! Валял, собственно, дурака, отводил глаза главному технологу разными фокусами, а сам ни черта не делал. Когда у Ивана Николаевича плохое настроение, он любит чертыхаться. И он чертыхается сейчас, когда видит свою пустую доску, на краешке которой нарисована смешная рожица, как две капли воды похожая на главного технолога. Это и есть главный технолог, нарисованный Иваном Николаевичем в минуты особенно хорошего настроения.

«Черт знает что делается!» — зло думает Иван Николаевич. Он сердится на себя за то, что валял дурака целых три месяца, что рисовал карикатуры на главного технолога, когда надо было бы рисовать на себя. Чего это он рисует Бориса Васильевича? Главный технолог работает как проклятый, делает изобретение за изобретением, а он, Черепнин, валяет дурака. Вот почему он и сидит все на стуле рядового технолога. Зимой у него чегыре месяца подряд тоже было хорошее настроение, и он тоже в то время мало работал. «Черт возьми, а он еще чего-то хочет от жизни! — ругается Иван Николаевич, думая о себе как о постороннем. — Да он слабый, неустойчивый человек! У него мало упорства, настойчивости в достижении цели; вот потому его все и обходят».

Иван Николаевич прислушивается. В фанерном закутке главного технолога раздаются тяжелые шаги, басовитое покашливание, брэнчит металл — Борис Васильевич переставляет с места на место детали. Все

это — покашливание, шаги, позванивание металла — означает, что главный технолог напряженно работает. В эти дни он с раннего утра до поздней ночи сидит в своем фанерном закутке и работает, работает, работает. «Главный технолог — настойчивый, волевой человек», — думает Иван Николаевич и презрительно по отношению к самому себе усмежается. И тысячу раз прав директор завода, который пригласил Скрябина, выписав его из другого города. Он понимает, директор завода, что Черепнин слишком любит удовольствия, ленив и не собран. «Да, ничего не выходит из тебя, милый Иван Николаевич Черепнин, — усмежается он и качает головой. — Ты слишком любишь тихие лунные вечера, холодную окрешку, спокойствие».

Нет, нет — надо работать! Хотя бы для того, чтобы стало легче на душе. Иван Николаевич берет карандаш, ловко и быстро затачивает, нацеливается острием на лист ватмана, проводит линию, но позади слышны вкрадчивые шаги, робкое покашливание, тонкий голос:

— Иван Николаевич, можно вас оторвать на минуточку?.. Тут, Иван Николаевич, маленькое недоразумение — хочется поставить втулку из бронзы, а по стандартам полагается чугунную...

Не оборачиваясь, Иван Николаевич мысленным взором видит унылое лицо технолога Васи. Глупый, смешной, нелепый человек!

— Иван Николаевич, если можно поставить бронзовую втулку, то мне удастся создать более прочную и технологичную конструкцию... Будьте любезны, взгляните!

А может, этот Вася не такой уж глупый, смешной и нелепый человек? Пять раз на день привязывается со своими дурацкими вопросами, жалко стоит возле доски, а все задания главного технолога выполняет в срок, грубых ошибок не допускает, с помощью других технологов, с бесчисленными консультациями он все-таки прилично работает, а вот Черепнин опоздал со сдачей двух деталей. Вот тебе и смешной, нелепый дурачок!

— Иван Николаевич! Хорошо бы поставить бронзовую втулку вместо чугунной... — бормочет Вася. — Конструкция стала бы прочнее и технологичней.

Каков нахал! Ему еще надо, чтобы конструкция стала прочнее и технологичней. Еще бы! Главный технолог похвалит Васю за смекалку и, может быть, подумает, что то чудо, на которое он надеялся по отношению к Васе, начинает совершаться.

Иван Николаевич проводит еще одну линию на чертеже, засовывает карандаш за ухо и немного отходит от чертежной доски, чтобы посмотреть на нее издали. Он делает так, как делает художник, — прищурившись, рассматривает чертеж, нагибает голову так и этак, огорченно чмокает губами, словно не все на чертеже ему нравится. Пожалуй, кое-что можно сделать лучше, проще, интереснее.

— Ля-ля, тра-ля! — тихонько напевает Иван Николаевич. — Тру-тру-тру!

Затем он медленно поворачивается к Васе, глядит на него невидящими глазами, протяжно говорит:

— Слушайте, милый, я занят!.. Я очень занят! Разве вы не видите, что я очень занят... Я просто по горло занят... Вам придется обратиться к главному технологу... Кстати, главный технолог для того и существует в отделе, чтобы консультировать и руководить работой начинающих, неопытных инженеров...

Отвернувшись от Васи, Иван Николаевич бросает еще один взгляд на чертеж, укоризненно покачивает головой и увлеченно подсаживается к чертежу. Одновременно с этим Иван Николаевич боковым взглядом внимательно следит за Васей, который смущенно отступает от доски, густо покраснев, бережно прижимает к груди злополучный чертеж и не

знает, что делать: то ли идти на свое место, то ли действительно попросить консультацию у Бориса Васильевича. Вася делает шаг в сторону фанерного закутка главного технолога. «Решился!» — насмешливо думает Иван Николаевич, но осекается: у самых дверей кабинета главного технолога Вася останавливается и поворачивает обратно.

«Черт возьми! — морщится Иван Николаевич.— Этот идиот Вася не хочет беспокоить занятого Скрябина! Ах, черт возьми!» А вот Ивана Николаевича Черепнина он тревожить может и не стесняется делать это по нескольку раз в день. Иван Николаевич провожает Васю сердитым взглядом и вдруг думает о том, что когда-нибудь скажет этому недотепе Васе правду. Скажет ему, что он никуда не годный технолог, что никогда не станет хорошим инженером, так как у него нет ни грамма способностей, таланта, хватки.

После этого Иван Николаевич больше не думает о Васе. «Надо работать! Надо много работать! — думает он.— Надо быть решительным, настойчивым, страстным». Потом Иван Николаевич вдруг вспоминает, что пасынок Саша смотрит на него пронизывающими, изучающими глазами, следит за каждым его движением. «С этим надо покончить! — говорит про себя Иван Николаевич.— До каких пор Саша будет смотреть на меня такими глазами? И до каких пор он будет регламентировать меня?»

Иван Николаевич никогда не поступался своей личной свободой и не поступится ею теперь. И для этого... Для этого...

«Сегодня же приглашу Шведова в гости!» — решает Иван Николаевич и улыбается.

Затем он выдергивает из-за уха карандаш, поморщившись, погружается в работу. Он работает старательно, сосредоточенно. Иван Николаевич Черепнин всегда хорошо работает, когда у него плохое настроение.

2

Борис Васильевич Скрябин вот уже целую неделю совсем не уходит из отдела. У Бориса Васильевича нет семьи, и он нередко ночует в фанерном закутке. Только в проходной завода старая вахтерша обратила внимание на то, что главный технолог неделю не ходит мимо нее, и с горечью говорит своей сменщице: «А Скрябин болеет. Да и как не будешь болеть, раз семнадцать лет в тюрьмище просидел! Как посмотрю на него... Худущий, желтый, в чем только душа держится...»

А главный технолог, оказывается, не болеет. Он неделю ночует в своем фанерном кабинете, так как работает по восемнадцать часов в сутки. За неделю он побледнел, глаза совсем запали, и он действительно похож на мумию, так что молодые инженеры с полным основанием называют его «мощами святого Бориса». Сам же главный технолог в эти дни чувствует себя особенно здоровым, бодрым, счастливым и с гордостью думает о том, что он удивительно здоровый и крепкий человек.

Сегодня в двенадцать часов пополудни Борис Васильевич заканчивает многосуточную работу — проводит последние линии на чертеже, проставляет окончательные размеры, решает, из какого металла будут изготовлены детали. От возбуждения у него пылает лицо, глаза лихорадочно блестят и руки с длинными и нервными пальцами вздрагивают. Волосы у него всклокочены, пиджак валяется на подоконнике, рубашка распахнута на волосатой груди, а брюки сползают с отощавшего живота, и он досадливо поддергивает их, забыв, что нужно просто затянуть ремень.

Он немного смешон, всклокоченный Борис Васильевич,— смешон потому, что такой растерзанный и нервный, потому, что без всякой причины перекладывает с места на место детали, потому, что на столе лежит

бумага, на которой написано ровным инженерским почерком: «Надо уважать людей, которые создают машины, но не надо уважать машины, которые создали эти люди!» Это пришло ему в голову сегодня утром во время работы, он записал это на бумаге и время от времени в упоении повторяет это вслух.

Борис Васильевич Скрябин доволен собой. Десять дней назад он дерзко поднял руку на современный уникальный станок, он простоял возле него два часа кряду и почувствовал, как по спине пробежал холодок. «На этом станке можно обрабатывать не один картер в смену, а целых три!» Он совсем похолодел от восторга — три картера, три! Если изменить систему оправок, то три картера можно делать за смену вместо одного... Он побледнел и рысцой побежал в свой фанерный закуток...

Пришло десять дней, и вот Борис Васильевич Скрябин заканчивает чертежи двух оправок, которыми можно будет втрое увеличить производительность станка. Он поднял руку на авторитет научно-исследовательского института, создавшего этот станок, и очень доволен своим афоризмом, без конца повторяет его про себя. Заканчивая чертежи, Борис Васильевич весь дрожит от возбуждения и счастья.

Со стороны он кажется чуточку сумасшедшим — нормальный человек не может аплодировать самому себе, а вот Борис Васильевич делает это.

Ставя на чертеже последнюю точку, он громко аплодирует самому себе и говорит: «Ты молодец, Скрябин, умница», а потом взбудораженно бегаёт по своему фанерному закутку, перекладывает с места на место металлические детали. Бегаёт он, наверно, минут пять, затем, встав напротив чертежа, пристально разглядывает его и медленно, машинальным движением закладывает руки за спину.

— Обидно! Горько! Обидно! — вслух произносит Борис Васильевич. — Горько!

Он смотрит на чертежи двух оправок, которые в три раза увеличат производительность уникального станка, и думает о том, что целых семнадцать лет, самая лучшая часть его жизни, прошли в лагерях, семнадцать лет валил он дрянной лес, возил на тачке землю, вместо того чтобы изобретать машины.

Сотни машин он дал бы людям, если бы не валил лес, не возил бы тачкой землю, а сидел бы за чертежной доской. Теперь он уже стар, уже дрожат руки, от долгого напряжения слезятся глаза. Они вычеркнуты из жизни, их просто не было, этих семнадцати лет — самых зрелых и умных. Единственное, чему он научился за семнадцать лет — так это не сутулиться, не гнуться, когда закладывает руки за спину.

Бросившись к столу, Борис Васильевич ищет и не может найти пилюли, которые по наущению врачей глотает по нескольку раз в день.

— Вот так всегда! — испуганно всплескивает он руками. — Вот так всегда! Куда же они делась? Опять забыл! Ах, леший побери!

Борис Васильевич торопливо роется на столе, перекладывает с места на место металлические детали и наконец радостно охает — пилюли все на месте. Он их, оказывается, забросал деталями.

— Надо, надо! — решительно говорит он и сразу принимает три пилюли: витамин, стимулятор и сосудорасширяющее. Затем с довольным видом прячет оставшиеся пилюли в нагрудный карман и сам себе грозит пальцем: — Настойчивость, настойчивость и настойчивость! Принимать пилюли регулярно... Слышишь, Скрябин! Тебе надо прожить минимум девяносто лет!

Затем Борис Васильевич из графина смачивает водой носовой платок, вытирает им лицо, так как утром не умывался, после этого достает из стола осколок зеркала, причесывает перед ним волосы и приглаживает

свои пышные брови. Немного подумав, он снимает рубашку и достает из стола вторую — чистую и выглаженную, — надевает ее и, еще подумав, достает из стола галстук.

— Ничего! — самодовольно улыбается он зеркалу. — Еще ничего!

После этого Борис Васильевич подходит к подоконнику и включает электрический чайник, решив напиться чая после того, как вернется из цеха. «Заварю покрепче», — думает он.

Сегодня он может позволить себе даже крепкий чай, который вреден сердцу!

От всего этого — переодевания, вытирания лица мокрым и холодным платком, от того, что у него все есть в кабинете (чайник, свежая рубашка, осколок зеркала), — он совсем успокаивается.

Аккуратно свернув в тонкую трубочку чертеж, Борис Васильевич, высокий, прямой, костистый, выходит из кабинета.

Петр Алексеевич Гомозов, заметив, что в цеху появился главный технолог, присанивается, напускает на лицо важность.

— Добрый день, Петр Алексеевич! — здоровается Скрябин. — Взгляните, пожалуйста, на чертежик, который я набросал... Знаете ли, хочу модернизировать уникальный станок. Вот извольте взглянуть!

— Взглянуть можно, — ворчливо отвечает Петр Великий. — Взглянуть мы можем... Почему бы нам не взглянуть. Я такой! Я могу и взглянуть! А вот сделать детали — это еще надо подумать. Завод большой, инженеров много, а я один. — Продолжая ворчать, Гомозов разворачивает чертеж, глядя на лист искоса, презрительно. — Я, брат-инженер, один, а вас много... Ишь, для станка шепе шесть! Я этот станок знаю... Я, брат-инженер, все станки на заводе знаю. Я каждый станок сквозь свои руки пропустил. Ишь ты, какие оправки! Важные, брат-инженер, оправки... — Он ворчит все тише и тише, все медленнее, не отрывая взгляда от чертежа: — Ишь ты, какие важные оправки...

Борису Васильевичу хочется обнять и расцеловать этого вздорного, но талантливого человека. Ах, как хочется сделать это Борису Васильевичу, но об этом даже и думать нельзя.

— Вот что, брат-инженер! — наконец говорит Гомозов. — Я эти оправки быстро сделаю... Может, даже недели за две... Я, брат-инженер, все брошу, а эти оправки сделаю... Я такой!

— Спасибо! — тихо говорит Борис Васильевич. — Большое спасибо, Петр Алексеевич.

3

Саша понимает, что с Иваном Николаевичем произошла какая-то перемена. Нет ничего явного, открытого, но Саша чувствует странную перемену в отчине. Сейчас Иван Николаевич сидит в той же качалке, в той же позе, что сидит обычно, но он не такой, как раньше, хотя спокоен и даже оживлен.

Вечер сегодня теплый и тихий. Луна краешком показывается из тонких облаков, посяяв немного, скрывается, чтобы скоро опять весело выглянуть на свет божий. Ветра нет, но тополя и дикие яблони тихонечко шумят, и шум их не нарушает тишину. Слышно, как шелестит страницами книги Иван Николаевич, как на машиностроительном заводе гудят вентиляторы, на далеком вокзале перекликаются сирены тепловозов, как по дому ходит, скрипя половицами, бабушка.

Проходит, наверное, полчаса, когда Иван Николаевич, с шумом залопнув книгу, бросает ее на стол, крепко потерев пальцами свой высокий лоб, резко говорит:

— Это, пожалуй, самое худшее из всего, что я читал! Автор выдумывает так называемого героя современности.

Потянувшись, расправив плечи, Иван Николаевич весело подмигивает жене и резко поворачивается к Саше. Он так быстро поворачивается к нему, что Саша не успевает опустить взгляд, и Иван Николаевич видит Сашины пронизывающие, изучающие и напряженные глаза.

— Да, плохая книжонка! — медленно произносит Иван Николаевич и так же медленно отводит глаза от Саши. Он слушает, как шелестят тополя и яблони, как на вокзале перекликаются тепловозы, гудит машиностроительный завод, потом резко поднимается с качалки.

Поднявшись, Иван Николаевич думает о том, что больше не может терпеть Сашины испытующих глаз. Какая же это свобода, когда в семье Озолиных он может ходить, куда угодно, возвращаться, когда угодно, делать, что ему угодно, но мыслить и чувствовать должен под прицелом Сашиных глаз. Если разобраться, то этот Саша самый неистовый из Озолиных. Одним словом, ему, Ивану Николаевичу, надо отстаивать личную свободу.

— Вы, конечно, не будете возражать, — весело обращается он к жене и Саше, — если я приглашу почесать зубы нашего соседа. Этот человек мне забавен, а сегодня что-то скучно. — Едва проговорив эти слова, он сразу же кивает головой и сам себе отвечает: — Значит, вы не против! Зову...

Круто повернувшись, он идет по песчаной дорожке к забору Шведова, приподнявшись на носки, заглядывает к соседям и видит Михаила Михайловича, который ходит из угла в угол двора.

— Михаил Михайлович! — окликает Иван Николаевич. — Перебейтесь ко мне. Посидим поболтаем, выпьем по рюмочке коньяку — есть прелестнейший!

— Благодарствую! — останавливаясь, говорит Шведов. — Я рад, Иван Николаевич, посетить вас, но вы знаете мои отношения с вашим, так сказать, приемным сыном. И будет ли столь удобно мне идти к вам, когда сын Ирины Августовны настроен против меня?

— Боже, какие пустяки! — восклицает Иван Николаевич. — Саша молод, горяч... Будьте выше, Михаил Михайлович, ссоры с мальчишкой...

— В таком случае через пять минут я навещу вас.

— Ирина, милая! — возвращаясь к столику, обращается Иван Николаевич к жене. — Там есть бутылка коньяку, лимон, конфеты... Если не трудно!

— Конечно! — отвечает Ирина Августовна. — Если ты хочешь поболтать со Шведовым, я сейчас...

Она убегает в дом, а Иван Николаевич, удивленно пожав плечами, поворачивается к Саше и видит, что он тоже спокоен: читает себе учебник, покусывает зубами нижнюю губу и хоть бы хны. «Черт знает что делается!» — ничего не понимая, смешливо думает Иван Николаевич. А Ирина Августовна уже несет коньяк, лимон, конфеты; мало того, с папирсой в зубах грузно шагает за ней Елена Федоровна и несет накрахмаленную скатерть. Они мгновенно накрывают стол, Елена Федоровна, критически оглядев его, уходит, Ирина Августовна садится на свое место и опять открывает книгу.

«Я ничего не понимаю в этих Озолиных!» — думает Иван Николаевич, и как раз в это время Михаил Михайлович открывает калитку их дома. Он, как всегда, в кителе с отложным воротником, в хромовых сапогах.

— Здравствуйте, молодой человек! — произносит Шведов, обращаясь к Саше. — Мое появление здесь объясняется приглашением Ивана Николаевича.

— Добрый вечер! — спокойно говорит Саша и пересаживается со стула на стул, чтобы Шведов сел рядом с Иваном Николаевичем.

— Благодарствую! — басит Шведов. — Благодарствую!

— Я не буду пить, — говорит Саша, когда Иван Николаевич вопросительно смотрит на него, держа в руках бутылку. — Мне нельзя.

— Саша сегодня идет в патруль, — отрываясь от книги, говорит Ирина Августовна. — Не наливай ему, Иван!

Иван Николаевич и Шведов выпивают по рюмке коньяку, закусывают ломтиками лимона, и оба шумно отдуваются. Затем смотрят друг на друга, улыбаются.

— Добрый коньяк! — говорит Шведов.

— Что новенького, Михаил Михайлович? — спрашивает отчим.

— А ничего новенького! — машет рукой Шведов. — Все старенькое! Час тому назад читал газету... Многого не понимаю, не приветствую, не поддерживаю!

Шведов важно надувается и — с места в карьер — начинает высказывать то, что уже не раз говорил Ивану Николаевичу, что каждодневно говорит жене и что никогда не говорит на своем молокозаводе. Он так охотно начинает высказываться, что всем видно — на душе у Шведова накипело и он рад возможности облегчить душу.

— Нет, многое не приветствую, не одобряю! — энергично говорит он. — В газете, которую я просмотрел, корреспондент критикует директора асфальтового завода. Бюрократ, чинуша и не знает производства... К чему это? В каком авторитете будет теперь директор у рабочего?.. Ни в каком! Но ведь это не все! Шут с ним, с асфальтовым заводом, — директор там уже кончился, скочурился. А вот какое действие произведет на рабочих других заводов эта статья? Возьмем мой завод — рабочие прочитают эту статью, посмеются, а потом как станут глядеть на меня? Подозрительно! — выкрикивает Михаил Михайлович, взмахивая толстым пальцем. — Подумают рабочие: может быть, наш директор тоже бюрократ, чинуша и не знает дела! Вот я и спрашиваю: кому это надо?

— А если директор действительно плохо знает дело, бюрократ и чинуша — как быть тогда? — заинтересованно спрашивает Иван Николаевич. — Что тогда делать, Михаил Михайлович?

— Если директор бюрократ, чинуша и не знает дела, — говорит Шведов, — то его надо незаметно снять с работы, продрать с песочком и в наказание бросить на низовку в другой город или район. Рабочим же надо сказать, что директор снят по болезни или по причине необходимости укрепления другого руководящего звена.

Саша смотрит на него во все глаза, а потом делает то единственное, что он может сделать сейчас — прыснув, он начинает хохотать.

Он пытается удержать себя, но, увидев красное лицо Шведова, хохочет еще пуще. Ирина Августовна кусает губы, чтобы не захохотать вместе с Сашей. Иван Николаевич наблюдает за ними с веселым любопытством.

— Непонятен ваш хохот, молодой человек, — строго говорит Михаил Михайлович. — Я ничего смешного не говорил, а то, что было мною сказано, имеет большое значение для высокопроизводительной работы промышленности. Вы сами работаете на заводе и знаете, как плохо, если директор не в авторитете у рабочего класса.

Ох, зачем он это говорит! Молчал бы, дурак набитый, но он говорит, и Саша прямо-таки валится от смеха. Теперь и у Ирины Августовны нет уже сил сдерживаться.

Шведов еще больше краснеет. Он грозно поднимается и потрясает обеими руками, кричит:

— Товарищ Черепнин! Я вижу, что вы специально приглашаете меня для издевательств. Это вы все затеваете, товарищ Черепнин! Интересно, зачем вам это надо?

— Слушайте, Михаил Михайлович! — удивленно разводит руками Иван Николаевич. — Вот это уже действительно глупость...

— Прошу быть вежливым! — кричит Шведов. — Не извольте упрекать меня в глупости — я не глупее вас! — Он потрясает руками, дрожит от негодования; он не может говорить членораздельно и потому выкрикивает: — Провокация... Насмешка... Вам это так не пройдет... Я найду на вас управу... — Бежит к калитке, рывком открывает ее, но останавливается, обернувшись, опять потрясает руками. — Ноги моей больше не будет в этом доме... Не будет! Шведова все знают... Шведов за партию крови своей не жалел и жизни не пожалеет... Шведова все знают!

Он с громом захопывает калитку и скрывается в темноте; несколько мгновений слышно, как гремят его сапоги, подкованные стальными подковками, потом наступает тишина. В саду появляется Елена Федоровна. Она подходит к столику, тяжело опирается на него руками, говорит:

— Понимаете, почему от него ушел Степан и почему стал уголовником... Страшный человек!

И опять долго стоит тишина.

— Я иду в больницу, — наконец решительно объявляет Ирина Августовна. — Саша, мы можем пойти вместе! Тебе в патруль.

— Конечно, мама! — радуется Саша. — Пойдем вместе...

Они уходят в дом, чтобы переодеться. Елена Федоровна закуривает и тихим, задумчивым шагом уходит по дорожке, скрывается за деревьями. Иван Николаевич остается один. Немного постояв на месте, он усмеяется, подходит к столу, наливает рюмку коньяку, вслух произносит:

— Будьте здоровы, Иван Николаевич!

Выпив коньяк, он садится в качалку. «Вот это отстоял свободу! — думает он. — Вот это проучил Сашу! Кажется, это называется пирровой победой!» Все еще улыбаясь, он думает о том, что, пригласив Шведова, сделал для самого себя три неприятные вещи: поссорился с соседом, разлил Ирину и заставил ее в двенадцатом часу ночи идти в свою городскую больницу.

— Вот чего я добился, пригласив Шведова! — вслух смеется Иван Николаевич, а сам тоскливо думает, что Ирина приедет домой на машине скорой помощи часа в два ночи.

4

Михаил Михайлович Шведов понемногу успокаивается, он уже не бегит, а идет, не дрожит, а только вздрагивает, не размахивает руками, а лишь помахивает ими. Придя к себе в кабинет — так называется самая большая комната дома, — он садится на старую тахту и, отдуваясь, закуривает.

Михаил Михайлович вообще не курит, но вот сейчас закуривает. Жадно затянувшись дымом, он внимательно осматривает свой кабинет, так как знает, что привычный вид письменного стола, газет на нем, настольной лампы с зеленым абажуром, высокого фикуса и книжных полок — все это успокаивает его.

В кабинете образцовый порядок — одна газета на столе раскрыта, два абзаца в ней очерчены красным карандашом, вторая газета лежит вверх портретом передовика производства молокозавода, которым руководит Михаил Михайлович, третья газета еще не читана и потому, как очередная, лежит слева; в пластмассовом стаканчике видны остро заточенные карандаши — красный, синий, черный, возле стаканчика — мраморная подставка с торчащими, как хвосты, двумя авторучками. Позади них располагается массивный чернильный прибор из мрамора и меди; в двух застекленных шкафах стоят книги: полное собрание сочинений

Ленина, разрозненные издания Маркса и Энгельса. Сочинений Сталина, его краткой биографии не видно — они стоят за другими книгами. Это точно такой кабинет, какой был у Шведова, когда он руководил крупным заводом. Даже письменный прибор точно такой, где-то ухитрился купить.

Окончательно успокоившись, Михаил Михайлович пересаживается с дивана в обитое кожей кресло и звучно произносит: «Тэк-с!» Теперь он, пожалуй, уже способен обдумать происшедшее, все разложить по полочкам и прийти к определенному выводу. Михаил Михайлович берет в руки карандаш, вертит его, думает; низкий лоб покрывается морщинами, глаза устремляются в одну точку. Проходит минуты три, и Михаил Михайлович вслух произносит:

— Ничего страшного! Но все-таки... Ольга Павловна! — начальственно кричит он. — Прошу тебя на минуточку ко мне, Ольга Павловна!

Жена входит в комнату. Она высокая, тонкая, худая, молчаливая; медленно опускается на диван, внимательно оглядывает мужа умными, холодноватыми глазами — они у нее точно такие, как у Степана Шведова. Степан вообще очень похож на мать — и фигурой, и лицом, и этим холодным взглядом.

— Хочу посоветоваться с тобой, — солидно, уважительно говорит Михаил Михайлович... — Вопрос серьезный.

Она пожимает плечами:

— Пожалуйста!

Прежде чем советоваться с женой, Михаил Михайлович несколько раз проходит по комнате — задумчивый, важный, сосредоточенный.

— Так-с... Одну минуточку... — просит он. — Один момент...

— Пожалуйста. Я жду, — отвечает Ольга Павловна.

Она действительно спокойно ждет, так как привыкла к тому, что муж постоянно советуется с ней по хозяйству или по своей работе. Он не делает самого маленького дела, не поговорив с женой.

Это, конечно, странно, так как она, Ольга Павловна, давно, лет двадцать пять, не любит своего мужа, и он тоже давно, лет двадцать, не любит Ольгу Павловну, но он чуть не каждый день советуется с ней и всегда в таких случаях приглашает к себе в кабинет, просит сесть на диван и начинает ходить по комнате, думает, с чего начать. Ольга Павловна в ожидании думает о нем привычно-желчно.

Она думает, что ее муж дурак, плохой коммунист, дрянной руководитель, трус и подлец, что жить с ним может только такой слабовольный человек, как она, что ее сын Степан стал уголовником из-за отца и что Степан никогда не вернется домой. «Дурак, негодяй и сволочь!» — совершенно спокойно думает она о муже.

Давно привыкшая ко всему, Ольга Павловна с усмешкой думает, что Шведов потому и живет с ней, что члену партии не полагается разводиться с женой. Шведов так и сказал ей, когда она в первый раз ушла от него к матери. «Я не допущу, чтобы распалась советская семья! — сказал он тогда. — Я приму решительные меры. Ты член партии, и я добьюсь, чтобы райком помог мне урегулировать семейные отношения. У тебя нет ни одного аргумента против проживания со мной!» Да, это было так! У нее действительно не было ни одного довода против мужа: он не пил, не изменял, не оскорблял ее. И Шведов так истово бился за семью, что она должна была или лишиться партийного билета, или возвратиться к мужу. Она до сих пор помнит слова первого секретаря райкома: «Впервые вижу, чтобы райком уговаривал женщину-коммунистку не бросать семью».

В те трагические дни, когда Степан первый раз попал в тюрьму, тот же секретарь райкома страшно удивлялся: «Отличная семья, культурная, передовая, дружная, работающая, а сын — бандит. Слушайте, Шве-

дова, может быть, вы с мужем ругались каждый день, может быть, грызлись?»—«Мы никогда не ссоримся с мужем... Мы с ним не ссоримся с тех пор, как вы не позволили разрушить семью...»—ответила Ольга Павловна.

«Дурак, подлец и сволочь!»—спокойно думает Ольга Павловна, вспоминая все это и посматривая на мужа, который уже надевает очки.

— Партия,— наконец говорит он,— в настоящий момент ориентирует коммунистов на свободное развязывание инициативы и самостоятельности, мыслить самостоятельно. Верно я говорю, Ольга Павловна? Исходя из этого, я у Озолиных высказал несколько необоснованных критических замечаний. Например, я не согласился с линией на то, чтобы критиковать в газетах руководящее звено...

Шведов гладко, не заинаясь, словно читает по бумажке, излагает суть дела.

— Таким образом,— продолжает он,— можно сказать, что я неodobрительно отозвался по поводу выступления нашей партийной печати в части критики руководящего звена.— Сделав паузу, он вдруг спрашивает обычным, человеческим голосом: — Как ты думаешь, зря я это или нет? — И встревоженными глазами, увеличенными стеклами очков, заглядывает в лицо жены.— Зря или нет, Ольга Павловна?

Ольга Павловна опускает голову. «Струсил, струсил!»— думает она и тут же, пересиливая себя, поднимает на мужа фальшиво тревожные глаза.

— Кто был при разговоре? — спрашивает она.

— Иван Николаевич, Ирина Августовна, Саша.

— Не ожидала я от тебя, Шведов, такого! — со страшно удрученным видом говорит Ольга Павловна.— Всегда ты был такой осторожный, а вот тут разболтался... Ах, Шведов, Шведов! Как же ты так...

— Но ведь партия ориентирует на самостоятельность! — по-настоящему испуганно восклицает он.— Неужели ты думаешь, что они могут сообщить в райком?

— Все может быть, все! — торопливо говорит она.— Ведь ты сам не раз предупреждал, что надо быть осторожным даже со знакомыми людьми.

От радости, что она видит испуг на лице Шведова, что он уже встревоженно бегаёт по комнате, радостно думает про себя: «Вот же тебе за все, за все!»

— Что ты наделал, Шведов! Надо же быть таким дураком! — подливает она масла в огонь.

Шведов снимает очки, бросает их на стол и опять бегаёт, бормочет:

— Ты излишне... Переборщаешь... В темном цвете... Это не так страшно, как ты думаешь...

Наконец Шведов останавливается. Так он стоит с минуту, потом выпрямляется, поднимает голову. громко цокает языком.

— Ты всегда поддаешься панике,— говорит он.— А оснований для паники мало. Я уверен, что ни Ирина Августовна, ни Саша не станут жаловаться на меня... Это не такие люди, чтобы наушничать и раздувать из критики историю... Что касается Ивана Николаевича, то тут вопрос сложнее. Он какой-то такой... Непонятный и странный. Вот он, пожалуй, может доложить, но ему веры не будет. Не член партии. Таким образом, нет никаких оснований подвергаться панике... Нужно обдумать, какие меры следует предпринять...

«Ах, дурак! Ах, сволочь! Ах, подлец! — думает Ольга Павловна.— Пусть поворочается в кровати, пусть не поспит хоть одну ночь». Все с той же тайной радостью Ольга Павловна думает с том, что Шведов катится все ниже и ниже: был директором весового завода — сняли, был началь-

ником строительства — сняли, теперь работает директором карликового молокозавода, но ведь тоже снимут, так как теперь ее единственный аргумент против мужа — его глупость — имеет вес.

— Нужно обдумать предупреждающие меры! — говорит Шведов, энергично потирая руки. — Если опасность представляет только Иван Николаевич, то надо решить, как быть с ним. Ты что посоветуешь, Ольга Павловна?

— Помиришься с Иваном Николаевичем. Завтра же помирись с ним... Попроси прощения, скажи, что говорил глупости, — и все уладится, — говорит она, мстительно думая: «Пусть поунижается, пусть подрожит от страха». И чтобы Шведов сразу не успокоился, после небольшой паузы добавляет: — Боюсь, что Иван Николаевич не пойдет на примирение. Уж очень принципиальный вопрос, да и Озолины... Кто их знает... — Затем она делает еще одну паузу, спрашивает: — Я больше тебе не нужна для совета?

— Да, спасибо... — рассеянно отвечает он.

Она медленно выходит из комнаты на кухню и прикидает лбом к оконному стеклу. Сквозь него видны темные кусты малины, огород, забор, за которым громоздится город, освещенный рассыпчатыми огнями; доносится шум машиностроительного завода, сиплые голоса тепловозов, вой автомобильных моторов.

За окном — ночной город, в котором живет ее сын Степан: где-то спит, где-то ходит, где-то сидит. Чужой, далекий человек, который когда-то сосал ее грудь, обвивал ручонками шею, называл «мамой». Степан никогда не приходит на переулочек Татарский... Ее сын! О господи! Ее сын — такой человек, о котором другие говорят: «Ему нечего терять!»

5

Пока Ольга Павловна стоит у кухонного окошка, Михаил Михайлович, принявший окончательное решение, согнувшись, тихонько перебегает от своей калитки к калитке Озолиных. Он без скрипа открывает ее, так же бесшумно пробирается по песчаной дорожке к крыльцу. Зачем он так делает, Михаил Михайлович сам не понимает, но он воровски крадется к дому соседей. Поднявшись на крыльцо, Михаил Михайлович так деликатненько стучится в дверь, что сначала его не слышат. Тогда Михаил Михайлович стучится сильнее.

— Входите! — слышится голос Елены Федоровны.

— Это я, Елена Федоровна, Шведов, — вкрадчиво говорит он. — Входить я не буду. Разрешите вызвать на минуточку Ивана Николаевича... Только на одну минуточку...

— Пожалуйста!

Ожидая выхода Ивана Николаевича, Шведов беспокойно переступает с ноги на ногу, приглушенно кашляет в кулак, ежится, как от холода. Он чутко прислушивается к звукам в доме, а когда улавливает шаги Черепнина, то беспокойно вздрагивает.

— Это вы, Михаил Михайлович? — весело говорит Иван Николаевич, появляясь в освещенном проеме двери. — Ну, не думал, что вы вернетесь... Вы так развоевались, что я подумал: не вернетесь.

— Нервы! Нервы! — сокрушенно взмахивает руками Шведов. — Нервы поизносились, Иван Николаевич! Война, строительство, международная обстановка... Можно вас на секундочку пригласить к столу... Здесь не очень удобно.

Заинтересованный Иван Николаевич охотно спускается с крыльца, проходит к столу и зажигает лампочку, висящую на дереве. Теперь он хорошо видит бледное, застывшее лицо Шведова.

— Что с вами, Михаил Михайлович?

— Ничего! — опять восклицает Шведов. — Но мне надо сказать вам пару слов... Я был не прав, Иван Николаевич, когда критически отзывался о выступлении центральной газеты «Правда». Я погорячился и теперь вижу, что не прав...

Черепнин смотрит на соседа непонимающими глазами, а потом вдруг хохочет, падает на качалку, и качалка сама собой начинает раскачиваться.

— Ох, умру! — стонет Иван Николаевич. — Ох, умру... И это все, что вы мне хотели сказать... Ох, умру... Слушайте, Михаил Михайлович, уж не думаете ли вы, что я могу наклепать на вас...

— Я не делаю никаких предположений, — важно говорит Шведов. — Я просто заявляю вам, что был не прав... Позвольте пожелать вам спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Михаил Михайлович уходит. Спинай он чувствует, что Иван Николаевич смотрит на него, но обернуться не хватает мужества. Ему кажется, что если он обернется, то Иван Николаевич окончательно утвердится в мысли, что он, Шведов, боится его. Поэтому Михаил Михайлович, не оборачиваясь, выходит из калитки, но, закрыв ее за собой, останавливается и долго стоит. Его мучит подозрение, что Черепнин вложил какой-то тайный смысл в свои слова: «Ну, не думал, что вы вернетесь!» И почему он так смеялся?

Шведов готов вернуться, чтобы еще раз увидеть Черепнина. Может быть, на этот раз он прочтет на его лице правду. «Зачем я поторопился уйти? — с тоской думает он. — Зачем я так быстро ушел?»

6

Гомозов, который говорит, что Степан Шведов — антисоветская личность, и те люди, которые утверждают, что Степану Шведову нечего терять, ошибаются. Степан Шведов не антисоветская личность и ему есть что терять. Вообще люди глубоко ошибаются, когда думают, что уголовным преступникам нечего терять, что тюрьма им — дом родной.

Степану Шведову есть что терять — работу. Он любит свой токарный станок, место в цехе, блестящие детали, которые делают его руки. Степан Шведов ненавидит тюрьму точно так же, как ненавидит многих людей. Он ненавидит жадных, глупых и трусливых уголовников, чувствует тошноту от особенного — кислого — тюремного запаха. Степан многое бы дал, чтобы больше никогда не оказаться в тюрьме.

Степан Шведов не вор, не налетчик, не грабитель, не спекулянт и не валютчик, он даже не хулиган — он ненавистник. Не думайте, что до этого его довело тяжелое детство, неумелое преподавание в школе, равнодушные классных руководителей, пионерских и комсомольских организаций. И не потому Степан Шведов дважды сидел в тюрьме, что милицейские и судебные власти совершили ошибку. Ничего подобного не было.

На формирование характера Степана Шведова большое влияние оказал сосед по тюремной камере Венедикт Венедиктович Березин.

Сегодня Степан Шведов в первом часу ночи шагает по темному узкому переулку, курит и думает. Степан выпил несколько рюмок водки, в голове немножечко мутится, но он не пьян. Степан вообще редко бывает сильно пьяным: он умеет пить в меру. Идет он домой — в каморку об одном окне, которую снимает у тихой старушки. Шагает он неторопливо, а думает о Венедикте Венедиктовиче Березине...

Они встретились, когда совсем молодой Степан отбывал свою первую судимость за избивание старосты класса, в котором он учился. Степан

одинок сидел в камере предварительного заключения, когда охранник впустил черноволосого человека с ослепительной улыбкой и тонкими, нежными руками.

— По миру скорбит человек или по папиросе? — весело спросил он. — Если по миру — ничем помочь не могу, если по папиросе — то пожалуйста! — И жестом фокусника выхватил из какого-то тайного кармана пачку «казбека».

— Вас не обыскивали, что ли? — угрюмо спросил Степан.

— Еще как... Но это самый простой фокус, — успокоил его Венедикт Венедиктович. — На воле я показываю фокусы посложнее... Я манипулятор. Теперь позвольте узнать, с кем имею честь...

— Степан... Шведов...

Через полчаса Венедикт Венедиктович знал уже о Степане все. У него была подкупающая жадность к людям, и он умел вызвать человека на откровенность. А Степану нужно было выговориться. Когда он выговорился, Венедикт Венедиктович сказал:

— Звонкая история! Но слушайте, Степан, зачем вам надо было бить старосту? Вы презираете все человечество, так били бы рядового ученика... Я удивляюсь, как вам не состряпали дельце посложнее... Ах, да — вы сын этого Шведова!

— Сволочь! — выругался Степан. — Отец — сволочь! Я ненавижу его!

— Отец ваш, может быть, и сволочь, но зачем же ломать стулья! Зачем, молодой друг, бить старосту, который олицетворяет в вашем классе советскую власть! — невозмутимо ответил Венедикт Венедиктович. — Видите ли, мой дорогой друг, советская власть — это не худшая власть в мире. Нет, пожалуйста, не говорите мне ничего плохого о ней! Беда только в том, что жизнь — это смешная и глупая штука! А как же...

Веселый Венедикт Венедиктович понравился Степану. Он смеялся над людьми. Смеялся и над собой: «Я тоже ленивый и глупый человек!»; смеялся над Степаном: «Думаете, что староста после ваших кулаков станет умнее? Шиш на постном масле! Он просто станет осторожнее!»; смеялся над отцом Степана: «Слушайте, Шведов, я могу сказать, что ваш папаша не более глуп, чем все люди» — и часто повторял: «Жизнь — смешная и глупая штука».

К вечеру Степану казалось, что жизнь действительно смешная и глупая штука, и когда охранник принес ужин, Степан посмотрел на него и сказал тоном Венедикта Венедиктовича:

— Милиция — лучшая часть человечества! Она по крайней мере знает, что хочет!

— Из вас выйдет толк, — серьезно заметил Венедикт Венедиктович. — На вас стоит тратить время.

И он многому научил Степана: цинизму, неуважению к людям, презрению к благам и деньгам, к правилам человеческого общежития. Одному не мог научить Венедикт Венедиктович Степана — своей веселой легкости в жизни. Неуважение к людям у Степана превратилось в человеконенавистничество. Когда Венедикт Венедиктович заметил это, он удивился и сказал:

— Зачем так зло, молодой друг? Нельзя ненавидеть весь мир!

— Я вас тоже ненавижу! — сказал Степан, хотя ненависти к учителю не чувствовал — просто он очень хорошо усвоил его уроки.

Многому научившись от Березина, Степан Шведов остался самим собой. Он до сих пор любит повторять слова Венедикта Венедиктовича о том, что жизнь — смешная и глупая штука, но они у него звучат невесело. И сейчас, шагая ночью по переулку, Степан мрачен и зол.

«Все люди гады! — думает Степан. — А уголовники — самые гады из гадов! Эх, люди, люди!»

7

Четверо из темного переулка выходят на главную улицу города — ровный асфальт освещают горбатые фонари дневного света, бегут редкие ночные автобусы, идут одиночки-пешеходы. Шаги гулко раздаются в тишине. Идут они мерно, почти солдатским шагом, на рукавах ярко выделяются красные повязки.

Они проходят мимо ресторана — здесь сегодня нет никого, — шагают в тени многоэтажных домов, а когда проходят мимо одного из них, из подъезда выпархивает тоненькая девушка на каблуках-шпильках. Друзья переглядываются — девушка опять идет на телеграф за их спинами.

Парням неловко остановиться и подождать девушку — они боятся, что она подумает: «Эти тоже — ухажеры!» Поэтому они не оглядываются на нее, стараются не показывать вида, что знают о ней.

Вадиму Табачникову девушка нравится. Это, наверное, очень самостоятельная и независимая девушка. Она красива, но вот ее никто не провожает на работу, и, значит, она еще не собирается выходить замуж. Если бы она думала сделать это, у нее был бы провожатый. Девушка же одна ходит на работу. Она, наверное, работает и учится, так как только у очень занятых красивых девушек не бывает провожатых.

Володя Якунин думает о том, что он бы обязательно познакомился с девушкой, если бы не мешали эти черти-друзья. Он бы пригласил ее в кино, если бы не видел грозных глаз Саши и понимающей усмешки Вадима.

Юра Чешуйкин печально думает о том, что его девушки не принимают всерьез — они называют его Юрчонком и не боятся ходить с ним в самый темный лес, что лежит за двумя синими сопками. Еще он думает о том, что ему долго не придется жениться. У Юры умер отец, и он — кормилец огромной семьи, в которой есть трехлетняя сестренка. Нельзя же ему жениться до тех пор, пока не вырастет сестренка и пока он не получит высшее образование. Без высшего образования ему будет трудно поднять на ноги всех своих братьев и сестер.

Саша Озолин думает о Тане, потому что идущая позади девушка чем-то похожа на нее. Таня теперь много работает в клинике. После разговора с ее отцом Саша убедил ее, что она должна заниматься научной работой. Таня теперь через день ходит в клинику. Профессор Венгеровский на днях сам позвонил Саше и горячо поблагодарил его за помощь. Потом Саша думает о том, что во вторник он договорился встретиться с Таней и они пойдут в городской сад на танцы.

У телеграфа девушка останавливается.

— Спасибо, мальчики! Хорошо я придумала за вами ходить...

— Умно! — смеется Вадим.

— Спокойной ночи, ребята!

Она скрывается за стеклянной дверью, и видно, как — тоненькая, красивая, веселая — идет меж телеграфными аппаратами, столами: телеграф весь в стекле, а окна открыты от жары и видно, как девушка садится за телетайп.

— Хорошая девушка! — говорит Саша.

— Милая! — говорит Юра.

Володя тоже что-то хочет сказать, но вдруг раздается шелестящий звук мотора, ударяет в лицо свет сильных фар, и мимо них проносится единственная в городе двухцветная «волга» за номером 30—10. Из окон телеграфа падает на нее яркий свет, и видно, что рядом с водителем — девушка. Саша Озолин сразу узнает ее.

— Сынок профессора Николаева везет Таньку с дачи, — зло говорит Володя Якунин. — Он теперь ее, подлец, по ночам катает!

Глава четвертая

1

Иван Николаевич Черепнин стоит перед уникальным станком и наблюдает, как Петр Алексеевич Гомозов вставляет в оправку новую деталь. Это те самые оправки, которые недавно изобрел главный технолог, и это тот самый уникальный станок, который стоит в цехе пять лет. Иван Николаевич наизусть знает его, сто раз стоял возле, но ему и в голову не приходило, что путем двух оправок производительность станка можно увеличить в три раза.

Опытный технолог Иван Николаевич понимает, что для изготовления чертежей оправок Борису Васильевичу Скрябину надо было иметь не только большой опыт. Надо было быть человеком большого масштаба и таланта, чтобы уникальному станку задать дерзостный вопрос: «А почему ты так работаешь?»; надо было перешагнуть через десятки авторитетных умов того завода, который изготовил этот уникальный станок, чтобы задать им тот же вопрос: «А почему вы так сделали станок?»; надо было быть блестящим инженером, чтобы из сотни возможных решений выбрать вот эти оправки — самые простые и надежные в работе; надо было быть вдохновенным и удивительно работоспособным человеком, чтобы из всех линий выбрать эти плавные, точные и изящные линии.

То, что видит Иван Николаевич, подобно тому, как в многочисленном хоре вдруг начинает звучать голос поразительной красоты. Голос не может, конечно, заглушить весь хор, но он слышен всякому.

Иван Николаевич возле станка один, но ему кажется, что главный технолог стоит обочь: в конструкции оправок, в дерзновенности замысла он узнает характер и темперамент Скрябина. Его костистая фигура, его неустовость, отрешенная от мира сосредоточенность, сдерживаемая на людях страстность — все в двух оправках. И потому Иван Николаевич чувствует, как в груди поднимается тихая, но тоскливая буря. Его, черепнинская, работа летит к черту, в тартарары, когда глаза видят две оправки главного технолога. Грош цена его работе, его усилиям и бессонным ночам, когда Скрябин за месяц решил задачу, которую Иван Николаевич не был способен поставить перед собой в течение пяти лет.

Сняв докуренную папиросу, Иван Николаевич бросает ее в ящик с песком и не попадает — очертив неровную дугу, папироса падает в метре от ящика. «Черт!» — ругается он. Затем досадливо морщится и опять с отрешенной ясностью думает о том, что его жизнь не удалась. Ничегошеньки-то он за свои сорок лет не сделал и ничегошеньки-то не сделает. «И никогда я не буду главным технологом!» — думает он о себе как о постороннем.

А ведь Иван Николаевич уже мог быть главным технологом завода: когда ушел на пенсию бывший главный технолог, на заводе была только одна кандидатура Ивана Николаевича Черепнина. Он был более опытен, более знающий, чем другие технологи, и все уже думали, что пост за Черепниным, и он тоже думал так и мысленно уже готовился к тому, чтобы перенести свою доску за фанерную перегородку, сесть в просторное кресло и взять в свои руки бразды правления. Но директор завода, недавно приехавший из Москвы, привез с собой Бориса Васильевича Скрябина.

И вот теперь Иван Николаевич стоит возле уникального станка, видит две оправки и думает о том, что директор завода был прав, когда привез с собой Бориса Васильевича. Став главным технологом, он, Иван Николаевич, никогда бы не изобрел таких оправок и уникальный станок не стал бы давать в три раза больше картеров, чем давал раньше. «Я обыкновенный, средний человек!» — говорит он. И точка! И хватит! И не

надо больше истязать себя, ибо ничего не переменишь. Надо жить средним, обыкновенным человеком. В жизни есть еще небольшие островки радости, и хоть мало надежды на то, что небо перед тобой предстанет усыпанным алмазами, на земле есть еще радости, за которые можно цепляться.

«Как живет средний, обыкновенный человек? — мысленно спрашивает себя Иван Николаевич и мысленно же отвечает: — Ест, пьет, любит женщин и не задумывается над великими проблемами». Вот он так и будет жить. Ведь есть у него еще в жизни островки радости. Ну, хотя бы Ирина... Она страстно любит его, она души в нем не чаает. Есть у него и другая радость — тихий дом в переулке Татарском, тенистый сад с тополями и дикими яблонями, луна над садом и ласковые вечера; есть холдная окрошка, которую мастерски готовит Елена Федоровна. Есть в конце концов у Ивана Николаевича самая большая радость — личная свобода. Он может пойти, куда хочет, делать, что хочет, возвращаться домой, когда хочет... Но...

Но и в жизни обыкновенного человека не одни радости, есть и печальное. А самое печальное то, что Саша по-прежнему держит Ивана Николаевича под прицелом своих пронизывающих, изучающих глаз, не пропускает ни одного слова, ни одного жеста, ни одного поступка отчима без того, чтобы не оценить их. Саша всегда готов к схватке, всегда начеку.

Вот это и есть — во-вторых... Иван Николаевич сдержанно улыбается и, не поднимая рук, загибает на левой два пальца. «Значит, я имею две радости,— думает он.— Ирина и тихий покойный дом. А сколько же я имею печальных вещей... Тоже две! — усмехается он, загибая два пальца на правой руке.— Я плохой технолог и отсутствие духовной свободы!» Он немного стоит неподвижно и вдруг открыто улыбается, так как ему приходит мысль: «А ведь можно жить. Плюсов ровно столько, сколько минусов, и, значит, минусы уничтожают плюсы. И получается ноль!»

Нет, и дома Ивану Николаевичу не дают покоя. Плохи, очень плохи у него дела. Поэтому ему сейчас совсем не хочется встречаться с главным технологом, а тот уже несет к своему уникальному станку с развевающимися волосами. Поэтому Иван Николаевич быстро скрывается за станиной и выходит из цеха запасным ходом.

2

Посторонний человек, едва пройдя проходную машиностроительного завода, теряется: навстречу с грохотом движется автопогрузчик, позади — второй автопогрузчик, меж ними пробирается юркий автокар, справа и слева из открытых дверей цехов несет лязг и стон, видны искры, пламя, пышет волна горячего воздуха. Все это наваливается на человека, как бы сминая его; человек ничего не видит, не слышит, бросается из стороны в сторону, помочь ему может только спокойствие. Человеку нужно остановиться, оглядеться, и тогда он увидит, что автокары и автопогрузчики идут в десяти метрах, а рядом с жарким пламенем литейного цеха ходят рабочие в одних майках.

Ольга Павловна, мать Степана Шведова, испытывает все те чувства, которые переживает посторонний человек на машиностроительном заводе — сначала пугается, перебегает с места на место, затем немного успокаивается и тихонько шагает по заводскому двору: идет по заводской площади, минует узенький проулочек, где стоит одинокая скамейка, повертывает налево, где асфальт упирается в высокие ворота — иначе не назовешь дверь ремонтно-механического цеха. Ворота широко распахнуты, из цеха несет оглушительный треск и звон, что-то мелькает,

вспыхивает, движется. Остановившись, Ольга Павловна ощущает, как под ногами дрожит теплый асфальт.

Еще один шаг — и она войдет в цех, встретит сына, которого не видела и о котором ничего не знает целых два месяца.

Ей трудно сделать этот шаг. Ей надо забыть о том, что Степану под тридцать, что от него часто пахнет водкой и голос у него прокуренный, хриплый; она хочет видеть его таким, каким он был в десять лет, нет, не в десять, а в пять, потому что в десять лет он уже ругался с отцом, уже бегал из дома, уже смотрел волчонком...

Наконец она делает этот шаг и останавливается в дверях, осматривается, чтобы найти сына, и слышит голос:

— Выйдем на улицу!

Она сразу узнает его — прокуренный, хриплый. Медленно, точно боясь увидеть страшное, она поворачивается и не сразу видит сына — она, оказывается, закрыла глаза, когда услышала его голос, и вот теперь медленно открывает их. Ей со страхом вспоминается, как в одну из встреч она увидела на виске Степы глубокий шрам, и ей почему-то кажется, что сейчас на его лице она увидит еще что-то страшное.

— Выйдем на улицу, — торопливо говорит сын и, повернувшись, выходит, и она так и не успевает посмотреть на его лицо.

Ольга Павловна бежит за сыном, стиснув руками на горле легкий шелковый платок. Она жадно смотрит на его сутулую спину.

— Здравствуй, Степа! — еле слышно произносит она.

— Здравствуй, мама! — тоже тихо отвечает он.

Она жадно смотрит на его лицо и думает, что Степе можно дать много больше тридцати и никак нельзя представить его пятилетним.

— Как ты живешь, Степушка? Я ведь ничего не знаю, — робко спрашивает она.

— Один живу, — смотря в землю, тихо отвечает сын.

— А как ты живешь, Степушка? — ласково повторяет она. Может быть, оттого, что она называет его Степушкой, что говорит тем ранешним голосом, когда сын был пятилетним, она сможет представить его маленьким и ей сразу станет легче. — Я же твоя мать, Степушка. Скажи, как ты живешь?

— Обыкновенно живу... — со вздохом отвечает он. — Работаю, ем, пью... Недавно меня перевели в ремонтный цех... Теперь хорошо зарабатываю... Вот так и живу!

А сам по-прежнему смотрит в землю, курит папиросу и так далеко от матери, так незнаком ей, что у нее замирает сердце. Такого сына нельзя обнять, прижать к груди, тихо поплакать на его плече, пожаловаться ему на то, что ее жизнь разбита гоже и она не знает, что делать, как быть. Она, может быть, знала бы, что делать, если бы могла прижать к себе Степу, но как прижмешь его? Холодный, чужой. Оттолкнет, нагрубит.

Два года назад, когда она пришла к нему в тюрьму во время второй судимости, заплакала, заголосила во всю бабью мочь, он вдруг упал на лавку, забился в истерике. Кто знает — может быть, забьется и сейчас, так как тюрьма сделала его больным. И эти мешки под глазами, и бледность, и тоска в глазах, и сутулая спина — все от тюрьмы.

Она придвигается к сыну, кладет ему руки на плечи, смотрит на его усталое лицо.

— Не надо, мама... — отодвигаясь от нее, хмуро говорит Степан. — Не надо жалеть меня... Прошлого не вернешь, а жалеть не надо. Обидно это, когда жалеют...

— Но, Степушка, сынок мой, маленький мой! Ведь я твоя мама... Мама, Степушка!

— И не надо называть меня Степушкой! Какой я Степушка? Я Степан Шведов, по тюремной кличке Бледный... Не надо, мама, называть меня Степушкой!

— Почему, сынок?

— Так... Не надо! — Степан бросает недокуренную папиросу, сминает ее большим кирзовым сапогом и неожиданно усмехается. — Ты прости меня, мама, но я всегда говорил правду. Я тебя люблю, мама. Ты мне самый близкий человек на земле, но я всегда говорю правду... Ты только не обижайся, мама, но я и тебе скажу правду...

— Говори, Степа... — одним дыханием произносит она.

— Сейчас, мама, только закурю...

Степан вынимает вторую папиросу, но не закуривает, а держит ее в руке и нерешительно смотрит на мать. Его большой сердитый рот вдруг начинает жалобно кривиться. Она смотрит на него и чувствует, что в сыне появляется что-то такое, что было в маленьком мальчике, когда она ей, матери, говорил правду. На отца Степа кричал, а ей, матери, говорил правду всегда с жалобным, удрученным видом. Она страстно подается к сыну, протягивает к нему руки, чувствуя, что вот наступит долгожданное — сын становится таким, каким был маленьким, и его теперь можно прижать к груди.

— Степа, — шепчет она, — Степа!

— Погоди, мама, — просит он. — Погоди, мама, я должен сказать... Я должен сказать все...

— Я погожу, я погожу, — торопливо говорит она.

— Ты научилась врать, мама, — жалобно морщась, говорит Степан. — Прости меня, мама, но ты научилась врать у отца. Ты называешь меня Степушкой потому, что тебе трудно со мной. А ведь ты меня даже маленьким не называла Степушкой... Помнишь, ты говорила, что не любишь сюсюканья. Ты ругала отца, когда он меня так называл... Мама, только не сердись, но ты жалеешь меня потому, что тебе тяжело видеть меня таким... Вот я и сказал всю правду, мама... Нельзя всю жизнь прожить со Шведовым и не научиться врать. Вот ты и научилась... Ты только не сердись на меня, мама, — повторяет он и кладет руку ей на плечо. — Я не могу, когда люди врут... Вот так, мама, — уже спокойно говорит Степан. — Ты прости меня, но я пойду... Мне дали срочную работу. До свидания, мама!

Он поднимается, но не уходит. Стоит. Смотрит на нее... В пальцах у него папироса, которую он так и не закурив.

— Мне можно прийти к тебе еще раз? — спрашивает Ольга Павловна. — На работу, — добавляет она торопливо, так как знает, что сын не хочет говорить, где он живет.

— Конечно, мама! Я всегда рад видеть тебя... Ты только зайдешь в цех, я сразу увижу и выйду... Как сегодня... До свидания, мама!

— До свидания, Степан!

Когда Ольга Павловна идет по заводскому двору, она не слышит и не замечает ничего — ни опасных автопогрузчиков, ни грома металла, ни жаркого пламени литейного цеха. Она шагает тихо-тихо, глядя в землю. Она шагает и думает о том, что ее сын совершенно прав: она научилась врать, притворяться, изворачиваться. Все ее позедение с сыном было сплошной фальшью — и то, что она заставляла себя видеть его пятилетним, и то, что не решалась его обнять. Если бы она не фальшивила, она бы сразу обняла сына, прижалась бы к нему заплаканным лицом и ни о чем бы не думала: ни о том, что он чужой, ни о том, что может упасть в истерике. Ей было бы все безразлично, и она не заставляла бы себя представлять сына пятилетним. «Так что же? — со страхом думает она. — Так что же — я не люблю Степана? Я не люблю сына? Но ведь

это же не так! Это не так!» Похолодев, вся сжавшись в комочек, она останавливается и закрывает глаза.

«Я ничего не понимаю! — с ужасом думает Ольга Павловна. — Ничего не понимаю!»

3

В середине августа в Забайкалье воздух сухой и прозрачный, солнце поднимается высоко, и две сопки делаются нежно-голубыми. Если в июне и июле над сопками часто плыли сквозные, тонкие облака, то в августе над ними никаких облаков нет: август в Забайкалье месяц почти осенний, а осенью здесь редко бывают дожди. Осень в Забайкалье такая теплая и длинная, что случается порой — на сопках и в падах вторично цветет багульник. Этот замечательный кустарник способен цвести дважды, и на веку Елены Федоровны не раз случалось такое: в сентябре багульник расцветал вторично.

Удивительное это явление — забайкальская осень, ибо только в Забайкалье осень похожа на весну, а весна — на осень. В сентябре на забайкальских пляжах можно ожечь кожу, в чаще среди пожелтевших листьев можно увидеть молодой, только что родившийся, веселый лист.

Когда багульник зацветает вторично, две сопки становятся лиловыми, а на зорьке или на закате солнца — красными, и тогда представляется, что над городом поднято два огромных знамени. На веку Елены Федоровны багульник цвел дважды много раз, она знает приметы второго цветения багульника и думает, что нынче он, пожалуй, будет цвести вторично, так как осень обещает быть теплой.

Елена Федоровна ходит по саду, курит, поглядывает на сопки и думает о разном — об осени, о цветах багульника, о том, что в школах начинается скоро учебный год, о том, что у Ирины чуть ли не каждый день сейчас операции — но через все это, как бы наслаиваясь, проходит тревожная, печальная мысль о последних событиях в ее доме. Ругая себя, мучаясь и споря сама с собой, Елена Федоровна никак не может отделаться от предчувствия того, что брак дочери и Ивана Николаевича кончится печально. Она об этом думает с утра до вечера, пилит себя за подозрительность и нетерпимость, но ничего с собой поделать не может.

Трудно так жить! Просто невозможно так жить... Она думает о том, что к обеду надо купить докторскую колбасу, а где-то за пределами этой четкой мысли сверлит: «Что-то будет, что-то случится!»; она думает о втором цветении багульника, а мысль о дочери тут как тут: «Не кончится все это добром!»; она готовит обед, а беспокойство здесь, в груди: «Не может этот брак кончиться хорошим!»; и даже ночью, во сне, она думает об этом и, просыпаясь, холодеет: «Что-то случится!»

За последние три недели ее тревога возросла. Если раньше у нее только было предчувствие, что брак Ирины с Черепниним кончится плохо, то теперь растет уверенность в том, что это так и будет. Наблюдая за зятем, она видит, что он переменялся — исчезла веселая насмешливость, приятная, в общем-то, легкость. Все это заменилось какой-то внутренней тревогой, беспокойством, напряженностью. Зять так же, как и раньше, сидит по вечерам в Ириной качалке, читает книги, забрасывает их в кусты, «чешет язык», но он другой. Трудно выразить, что нового появилось в нем, но она порой усмехается: «У него лицо, как у голодного человека, хотя ежедневно кормлю его окрошкой!» Ей кажется, что зятю чего-то не хватает, он что-то ищет, да не может найти.

Расхаживая по саду, Елена Федоровна хмурится и прислушивается к тому, что делается в доме, — ни дочери, ни зятя еще нет, но Саша уже сидит за столиком, читает учебник, и ей слышно, как он иногда шумно

выдыхает воздух: внук всегда отдувается, когда ему встречается трудное место в книге. Порою Саша встает, тоже ходит по саду и про себя, шевеля губами, решает тригонометрические уравнения. Немного подумав, Елена Федоровна выходит к Саше, затаившись, смотрит на него ласковыми глазами. У внука широкая, крепкая спина, сильная шея, широкий затылок, но волосы на шее у него до сих пор вьются, как вились в детстве. Ее охватывает нежность. Этого здоровенного парня она вынырнула, поставила на ноги, и вот он уже большой, уже такой человек, каким она и хотела его видеть, но для нее он все мальчишка. Елена Федоровна неслышно подходит к внуку, обнимает его за плечи и целует в голову.

— Эх, Сашка, Сашка! — говорит она. — Сашка, букарашка!

Он рывком поворачивается к ней, обнимает ее и тоже целует в щеку.

— Ходишь все, куришь, — говорит Саша. — Посиди со мной!

Она садится рядом с ним, руку оставляет на Сашином плече и вздыхает.

— Ох, Сашка, Сашка! Любишь же ты целоваться. Этаким маменькин сыночек! Ну, не надувай губы! Теперь уж тебя никто не называет маменькиным сынком, — смеется она. — А ведь знаешь, Саша, я раньше тоже беспокоилась. Растешь меж двух женщин, вечных поцелуев, ахов да охов... Боялась, что будешь неженка... Ан нет — ты не неженка. Значит, человеку не может повредить ласка... Вот что я думаю, Сашка!

— А чего ты мне говоришь комплименты? — озабоченно спрашивает он. — Воду я тебе наносил, дрова наколот, за солью сбежал... Чего тебе еще надобно, старче?..

— Хочу быть столбовой дворянкой...

— А ты и так дворянка! — шутит он. — Персональная пенсионерка, член ста каких-то обществ, заслуженная учительница, сидишь вечно в президиуме и вообще общественница... С тебя пионеры берут пример... А все-таки отвечай, чего тебе от меня надобно. Не верю я, что ты так просто подъезжаешь ко мне...

— Ничего мне от тебя не надобно! Ходила-ходила, да к тебе пришла... Экий ты утилитарный! Теперь что — можно быть утилитарным?

Потом они молчат, и каждый знает, о чем думает другой, так как в семье Озолиных понимают друг друга без слов. Сейчас Саша, например, точно знает, что бабушка думает об Иване Николаевиче, а бабушка знает, что он догадывается, о чем она думает. Понимая друг друга, они переглядываются и разом смотрят на будильник, стоящий на столе. Это значит, что они оба ждут прихода Ивана Николаевича.

— Не надо, бабуся! — просит Саша. — Сколько можно курить и ходить по саду... Он и мне не нравится, но что делать! — Они никогда не называют меж собой Черепнина иначе как «он».

— Видишь ли, Саша, — вздыхает бабушка. — Неприятно оказаться такой неумной и сварливой старухой, какими бывают тещи из анекдотов. Матери всегда ревнивы к мужьям дочерей, и я боюсь, что во мне тоже играет это собственническое, материнское... Потом... Потом, ты знаешь, Саша, я иногда думаю о том, что, может быть, теперь модно быть таким бесстрастным и непроницаемым человеком, как он... Пойми, Саша, я боюсь оказаться глупой, подозрительной старухой.

Саша слушает бабушку и любит ее. Для него было наслаждением наблюдать за своими друзьями, когда они знакомились с ней. Сначала они смотрели на его бабушку тем невидящим взглядом, которым нередко смотрят юноши на старых людей. Но вот начинался разговор, бабушка слушала молча, ходила по комнате, будто думала о чем-то своем. Но стоило кому-нибудь занестись, сморозить какую-нибудь глупость, как она сейчас же делала замечание, от которого его друзей вгоняло в краску. Теперь они смотрят на нее совсем другими глазами.

— Вот, Саша, в каком я смешном и глупом положении! — продолжает Елена Федоровна. — Как любят говорить ораторы: с одной стороны и с другой стороны... Но я уверена лишь в одном — он человек иного склада и духа, чем мы... Хочешь понятнее? Изволь, хотя я сама не очень отчетлива в понимании. Но когда я думаю об этом, я представляю твоего деда Августа Яновича сидящим вот в этой качалке... Если бы твой дедушка сидел вот здесь, ты бы чувствовал, Саша, что на всей земле большой, торжественный праздник. Когда же сидит в качалке он — это не праздник, а ликование по поводу хорошего вечера и моей холодной окрошки... Ты понимаешь меня?

— Конечно, бабуся!

— Потом, Саша, я думаю о том, что мы, Озолины, не легкие люди. Мы, пожалуй, слишком требовательны, непримиримы. Не слишком ли?

— Ну уж знаешь, бабушка, я что-то тебя не понимаю...

— Да, да, Саша, мы, Озолины, очень строги к людям, — повторяет Елена Федоровна...

Саша уже понимает, о чем будет идти речь. Он хмурится, недовольно сжимает губы, хочет показать, что ему неприятен предстоящий разговор, но уклониться от него он не волен.

— Таня опять ездила на машине с Николаевым, — тихо говорит он. — Я ее не видел уже три недели. То она в клинике, то на даче, то домашний телефон не отвечает... Это мать ее прячет... От меня... — совсем тихо добавляет он, и губы у него вздрагивают от обиды. — Я не знаю, что делать? Я люблю Таню! Я хочу жениться на ней, бабушка!

Елена Федоровна закуривает, молча смотрит на верхушки сопков, которые только что были ярко освещены солнцем, а теперь уже тухнут, кто-то постепенно убавляет силу солнечного света. И о чем-то думает.

— Август женился на мне, когда ему было двадцать лет, — наконец говорит Елена Августовна. — Мне тогда и не было девятнадцати. Ох, уж эти Озолины! Почему они стараются так рано жениться и выходить замуж?..

Голос у бабушки веселый, глаза — тоже веселые, но Саша видит, что она не так весела, как хочет казаться, и опять понимает, о чем она думает. О том, что ее муж погиб молодым и что отец Саши тоже погиб на войне совсем молодым. Понимает Саша и самое главное: бабушка, видимо, не против того, чтобы он женился на Тане Венгерской. Поняв это, Саша вскакивает, обнимает бабушку и вопит:

— Бабушка — ты чудо! Ты — настоящее чудо, бабуся!

4

Иван Николаевич возвращается домой во втором часу ночи — усталый и раздраженный. Именно раздраженный, так как недоволен собой и всем миром. Поэтому калитку он открывает резким и злым движением, морщится от ее скрипа, словно у него ноют зубы. Войдя во двор, на несколько секунд останавливается и снова морщится — на этот раз не от скрипа калитки, а от мысли, что Ирина не спит, ожидая его возвращения. Он представляет, как она лежит в постели, как читает, как на столе, накрытый теплыми салфетками, ждет его ужин, и досадливо думает: «Чего она ждет меня, черт возьми!»

Это первый случай, когда Иван Николаевич не хочет видеть Ирину, раздраженно думает о ней. Он даже не хочет видеть ее, и все это потому, что утром стоял возле уникального станка с оправками главного технолога, думал о том, что он, Черепнин, средний, унылый технолог. Иван Николаевич весь день носил в себе ощущение неполноценности, неудач-

ливости в жизни. Он так дрянно чувствует себя, что ему не хочется идти домой.

Но домой идти надо. Иван Николаевич проходит в свою комнату и видит все таким, как представлял: горит неяркий ночник, стоит на столе ужин, Ирина, правда, уже не читает, но не спит и смотрит на него.

— Добрый вечер, Иван! — улыбается Ирина. — На столе ужин!

— Добрый вечер! — отвечает он, стараясь сдерживать раздражение. — Ты не спишь?

— Я жду тебя, Иван! Ужинай...

Что и говорить, его жена удивительно хороша, но сегодня он хочет от нее только одного — чтобы она дала ему покой. Он молча садится за стол, срывает салфетку, начинает жадно есть холодные котлеты, запивая их горячим кофе.

— Ты сегодня хорошо ешь, — говорит Ирина. — У тебя сегодня отличный аппетит!

— Аппетит у меня хороший, — отвечает Иван Николаевич, закрывая салфетками остатки еды. Он смахивает крошки с брюк, закуривает, молча выкурив папиросу, говорит: — Ну-с, надо спать. Мне завтра рано вставать.

Потушив свет, он ложится рядом с Ириной, быстро поцеловав ее в щеку, переворачивается на спину и затаивается в тишине. Она сначала лежит тоже неподвижно, потом поворачивается к нему, обнимает горячими руками за шею.

— Иван, мне надо поговорить с тобой. Ты устал, но я займу всего минуточку... Не возражаешь. Иван?

— Не возражаю...

— Знаешь, Иван, не приглашай больше к нам Шведова... Подожди, Иван! — торопливо говорит она, так как он делает досадливое движение. — Подожди, я вовсе не хочу регламентировать тебя, но Шведова приглашать не следует... Видишь ли, получается, что ты нарочно дразнишь Сашу... Вот я потому и говорю, что его не надо приглашать, если это раздражает Сашу...

Наступает длинная пауза. Иван Николаевич поворачивается к жене лицом, устроившись поудобнее, тихо спрашивает:

— Значит, ты заметила, что между мной и Сашей не те отношения, какие могли бы быть? Вернее, должны бы быть...

— Заметила, — тоже после паузы отвечает она. — Но ты должен понять, Иван, что молодость имеет свои права. Саша слишком горяч, нетерпим, страстен иногда чрезмерно. Ну, ты пойми, что это от молодости. Ты сам, наверное, был в молодости такой же горячий и страстный...

— Почему наверное? Ты так произнесла это слово...

Вздыхнув, Ирина Августовна нежно прижимается к нему, утыкается лицом в его грудь, и потому ее голос звучит приглушенно, когда она медленно и печально произносит:

— Сейчас ты слишком спокойный человек... Тобой владеет холодное безразличие ко многим вещам.

— Из чего ты это заключила? — тихо спрашивает он. — Нужны же какие-то основания...

— Иван, не обижайся, я очень люблю тебя, но мне больно, когда ты спокойно слушаешь Шведова и даже одобрительно качаешь головой. Только не обижайся, ради бога, Иван... Что с тобой, Иван, ты улыбаешься?

— Нет, я не улыбаюсь! — отвечает он. — Где уж тут улыбаться!

И действительно, где уж тут до улыбок: второй час ночи, весь город спит, он лежит рядом с женой, но вместо того, чтобы спать, говорит с ней черт знает о чем. Такое бывает только в современных романах.

— Ирина, — усмехается он, — тебе не приходит на ум, что об этом смешно говорить сейчас?

— Почему? — удивленно спрашивает она.

— Да потому, что я хочу спать! — неожиданно для самого себя грубо отвечает он, но сразу же чувствует, как вздрагивают плечи жены, как она резко отшатывается от него, и тоже бессознательно он привлекает ее обратно к себе и шепчет: — Прости, Ирина, я был груб... Прости, родная!

Все это происходит в какую-то секунду, и, когда она проходит, остается прежнее положение — жена ждет ответа на свой вопрос. Иван Николаевич говорит:

— Шведов интересен мне. Разве нельзя допустить такого, что я изучаю этого человека?..

— Шведова не надо изучать, Иван, с ним надо бороться! Он ведь не только глуп, но и опасен. Посмотри, что стало с его сыном...

Улыбнувшись в темноте, Иван Николаевич весело спрашивает:

— Мы будем спать сегодня, жена, или нет? Ведь второй час ночи.

— Сейчас, родной... Еще одно слово... Я давно хотела тебя спросить... Ты стремишься к чему-нибудь, Иван?

О черт возьми! Нет, это просто невозможно! Осторожно сняв с себя руки Ирины, Иван Николаевич соскакивает в темноту и шелкает выключателем. Бьет в глаза яркий свет, он жмурится и на ошупь берет со стола пачку папирос. Закурив, Иван Николаевич присаживается на край постели и второй рукой — свободной от папиросы — поднимает голову Ирины и смотрит в ее большие блестящие глаза.

— Ирина, я буду говорить откровенно! — твердо произносит он, не опуская ее голову и продолжая смотреть в глаза. — Мне сейчас надо говорить с тобой откровенно...

— Иван, мы всегда говорим откровенно. Мы — муж и жена!

— Ирина, — тем же тоном продолжает он. — Ты должна понять, что я — средний, обыкновенный человек. Именно сегодня я с особой четкостью понял, что я — средний, обыкновенный человек. Я средний технолог, средний технический руководитель... Я хочу есть, пить, спать, работать, любить, читать и не слишком задумываться о тайнах мира и общества. Понимаешь, я хочу и в этом быть средним... И я хочу, Ирина, чтобы ты предъявляла ко мне средние требования. Обрати на это внимание, Ирина, — средние требования! Средние... Пойми, что я — средний человек, и нам обоим станет легче. Я делаю все те ошибки, что делают люди, ибо я — средний человек. Если ты поймешь это, ты будешь смотреть на меня проще. Знай еще одно — я люблю тебя, но мне не всегда легко с тобой именно потому, что ты не умеешь смотреть на меня как на среднего человека и требуешь от меня того, чего нет и в пяти гениях... Знай, я люблю тебя, Ирина!

Он приближает ее губы к своим и целует долгим поцелуем.

— Я очень люблю тебя, Ирина! И давай сегодня больше ни о чем не будем говорить... Хорошо, милая?

5

В пятницу после работы Саша идет к Тане Венгеровской. Он еще не знает слов, которые скажет Тане, но уверен, что найдет нужные слова и все решится. Саша ворвется — именно ворвется — в Танину комнату, скажет, что им надо пожениться, и сразу все станет на свои места.

Две высокие сопки щедро политы солнцем: серебряные, они скоро покроются лиловым цветом багульника. Нынче такая длинная осень, такой прозрачный воздух, такое солнце, что багульник непременно за-

цветет вторично. Наверное, через неделю-две на взлобках и в солнечных распадах на фиолетовых ветках багульника набухнут твердые почки, залюбуев, раскроются. Нежный живой цветок сверкнет на солнце, и совершится чудо — осенью, в сентябре, в Забайкалье начнется весеннее цветение. За три-четыре дня сопки и пади, берега рек, обочины шоссе-ных дорог станут лиловыми, а две высокие сопки над городом на восходе и закате солнца покажутся двумя огромными флагами.

Сашино сердце радостно стучит. Он смотрит на две сопки, родные с детства, думает о втором цветении багульника, о словах бабушки: «Люблю, когда осенью цветет багульник! Жить хочется долго!» — и уже не идет по солнечной улице, а бежит, подняв голову и улыбаясь. Он влетает в подъезд дома Венгеровских, перепрыгивая сразу через четыре ступени, взлетает на второй этаж, переводит дыхание и звонит в квартиру.

Дверь открывает сам Роберт Матвеевич, одетый в отороченную алым бархатом пижаму. Увидев Сашу, он улыбается, закрыв за ним дверь, крепко пожимает руку, полуобнимает за плечи, провожает его по коридору к Таниной комнате. В открытых дверях спальни стоит мать Тани.

— Ах, Саша! — радостно восклицает она. — Почему вы так долго не приходили к нам? Я все спрашиваю Таню, где Саша, а она говорит: «Не знаю!»

Саша не может понять, в чем дело, — почему родители Тани так ласковы с ним, почему Танина мама впервые в жизни называет его Саша, а не Александр Ванович, почему Роберт Матвеевич, тоже впервые, обнимает его. Постучав в дверь Таниной комнаты, Роберт Матвеевич торопливо уходит в свой кабинет с таким видом, словно и секунды не хочет мешать встрече Саши с Таней.

— Можно! Войдите! — говорит Таня за дверью.

Все еще не понимая, что произошло, Саша секунду медлит, но дверь в Танину комнату открывается.

— Кто там? — тихо спрашивает Таня.

Дверь она открывает робко, как и все, что делает: она сначала выглядывает в дверь одним глазом, а потом уж показывается все лицо.

Саше кажется, что оно стало еще красивее и милей, чем было. Впрочем, это кажется ему каждый раз, когда он ее видит.

Саша врывается в комнату и сгоряча объявляет Тане, что они должны немедленно пожсниться.

У него кружится голова, комната плывет в глазах — яркие обои, цветные корешки книг, полировка мебели, соломенные коврики; ничего этого он не видит, кроме Таниного лица — оно заполняет весь мир.

— Таня, я люблю тебя! Мы поженимся, Таня! Мне скоро дадут квартиру. Ты уйдешь из этого дома, станешь моей женой... Таня, ты понимаешь — станешь моей женой...

Но вдруг что-то происходит с Таней: она бессильно повисает на его руках. Она бы упала, если бы он не подхватил ее.

— Что с тобой, Таня? — пугается Саша.

Но она ничего не отвечает — глаза у Тани закрыты. Совсем перепугавшись, он кладет Таню на тахту и хочет позвать на помощь Роберта Матвеевича, но Таня, очнувшись, хватается его за руки, тянет к себе и молит:

— Не надо, Саша... Не надо... Мне уже хорошо!

Слабыми руками отстранив от себя Сашу, Таня поднимается, встав на ноги, покачивается, потом, болезненно охнув, внезапно бросается к двери и выбегает из комнаты. Саша бежит за ней, хочет задержать, но не успевает и слышит грозный рокошующий голос Роберта Матвеевича:

— Я же говорил!.. Я же говорил!..

Клокочущий гневом, свалив на ходу стул, Роберт Матвеевич врывается в Танину комнату, несколько раз проходит по диагонали, опять звучно восклицает:

— Я же говорил!.. Вот видите!

— Что с Таней? — взволнованно спрашивает Саша. — Что с ней? Обморок?

— Никакого обморока! — гневно восклицает Роберт Матвеевич. — Моя дочь — безликий, безвольный человек... Вы плохо разбираетесь в людях, Саша, если вам нравится эта девчонка.

Когда Роберт Матвеевич заканчивает и гневно взмахивает рукой, в тишине слышен громкий и горький плач Тани. Она, верно, плачет в комнате матери, так как вместе с плачем доносится визгливый голос ее матери. Тогда Саша бросается к Роберту Матвеевичу, хватая его за руку.

— Скажите, что случилось?

Роберт Матвеевич взмахивает руками.

— Не понимаю, Саша, что вы могли найти в этой паршивой девчонке... Это же такая дрянь! Хотел бы я знать, как она будет жить...

— Я хочу знать, что случилось!.. — кричит Саша и, преградив путь, хватая Роберта Матвеевича за обе руки. — Отвечайте!

Схваченный за руки, Роберт Матвеевич мгновенно приходит в себя.

— О, Саша! — неожиданно улыбается он. — Не так сильно — вы поломаете мне руки... Давайте сядем! Я вам сейчас все объясню...

Роберт Матвеевич садится в низкое кресло возле полированного газетного столика, кладет ногу на ногу, кивком головы приглашает Сашу сесть в кресло напротив. Саша смотрит на лицо Роберта Матвеевича и внутренне холодеет...

— Эти три недели, Саша, Таня очень много работала в клинике, — издаликает начинает Роберт Матвеевич. — Вы очень помогли мне в этом отношении, и она хорошо потрудилась... Бывая в клинике, Таня очень сблизилась с сыном профессора Николаева, который занимался в соседней клинике отца... Одним словом, так сказать короче, три дня назад Таня зарегистрировала брак с Юрой Николаевым... Мы надеялись на то, что она сама скажет вам об этом, но у девчонки не хватило характера...

Роберт Матвеевич Венгеровский все это говорит ровным лекторским голосом, со звучными интонациями, а кончает так, словно ищет у Саши сочувствия в том, что его дочь — такой слабохарактерный человек. Когда Роберт Матвеевич заканчивает, Саша сидит в кресле прямо, сжав губы, весь затвердев, и со стороны легко себе представить, как напряживается сейчас его тело.

— Так, — тихо произносит Саша, — так...

Он поднимается с кресла. Лицо у него бесстрастное. И голос у Саши бесстрастный, он говорит:

— Вы, конечно, не ждете... Но я хочу слышать все это от Тани... Неужели она не наберется мужества, чтобы сказать мне правду?.. Позовите Таню — пусть она все сама скажет мне...

— Хорошо! Я позову ее.

Роберт Матвеевич идет к двери, но возле нее оборачивается к Саше и печально усмехается: «Ах, какой этот Саша!» Ему чрезвычайно нравится этот юноша: и то, что он говорит, и как стоит, и как смотрит на него. Этот юноша не только силен и крепок, не только обладает железной волей, но он умен, тонок и, наверно, талантлив. Роберт Матвеевич огорченно вздыхает и, уже не останавливаясь, идет за дочерью.

Когда Таня появляется в дверях, Саша стоит в той же позе. Отец подталкивает ее, мать Тани идет тоже — на ее лице написано торжество.

Они буквально вталкивают Таню в комнату. Она пошатывается, бледная и жалкая, смотрит в пол, зябко подрагивая плечами.

— Это правда, Таня? — спрашивает Саша.

— Правда... — еле слышно отвечает она. — Правда.

— Тысяча девятьсот шестьдесят второй год! — говорит Саша и усмеяется. — Кто поверит, что сейчас тысяча девятьсот шестьдесят второй год... Хороши же вы, Венгеровские.

— Вы не имеете права! — визгливо кричит мать Тани. — Вы не имеете права оскорблять нас...

— Замолчи! — кричит на нее Роберт Матвеевич. — Этот юноша прав... Прощайте, Саша! Мне очень жаль, что все это так окончилось!

— Прощайте! — не глядя на Таню, говорит Саша. — Прощайте!

Он мерным шагом выходит из комнаты, минует переднюю, и ему кажется, что позади он слышит огорченный голос Венгеровского:

— Ах, почему этот Саша не медик!

6

— Иван! — громко зовет Ирина Августовна. — Ты не спишь, Иван? Она стоит посреди комнаты в той самой одежде, что шла из больницы, она даже не сняла перчаток, не скинула шляпку.

— Я не сплю! — отвечает Иван Николаевич.

В рабочей одежде, перчатках и шляпке Ирина Августовна садится и берет мужа за руку.

— А теперь слушай меня, Иван, я буду говорить горькие вещи...

— О господи! — шутливо восклицает он. — Она станет говорить горькие вещи в первом часу ночи... А я ведь тебе приготовил ужин. Неужто для того, чтобы ты мне говорила горькие вещи!

— Иван, я должна это сказать... Это очень важно, Иван! Я долго думала над твоими словами и теперь понимаю, что ты не прав. Ты хочешь жить неправильно и живешь неправильно... Слушай, что я скажу...

Иван Николаевич морщится. Черт возьми, начинается опять... Сегодня он пришел раньше обычного, не так устал, как накануне, и с нетерпением ждал возвращения жены. Весь этот длинный вечер он ждал, когда скрипнет дверь, и до чертиков обрадовался, когда она вошла в комнату — стремительная, красивая, стройная.

— Ирина, — вздыхает Иван Николаевич. — Ирина, во-первых, мне надо вспомнить те слова, которые я говорил... Во-вторых...

— Боже! — поражается она. — Неужели ты мог забыть...

— Ирина, мы так много говорим с тобой... по ночам... что не мудрено забыть, о чем...

— Иван, не надо шутить! — умоляет Ирина Августовна. — Это очень серьезно... Я имею в виду тот разговор, когда ты создал целую платформу. Ты говорил, что ты — средний, обыкновенный человек и к тебе надо предъявлять средние, обыкновенные требования. Ты хотел, чтобы люди не требовали от тебя подвигов и необычного, так как ты средний человек...

— Я и на самом деле средний, обыкновенный человек! — подтверждает Иван Николаевич. — Самый средний и самый обыкновенный человек...

— Таких людей нет! — страстно перебивает Ирина Августовна. — Это твоя выдумка, Иван! Нет средних, обыкновенных людей. Есть обыватели, но ведь не их ты имел в виду...

Иван Николаевич на самом деле смотрит на жену необычными глазами: в них тоска и настороженность человека, который боится попасться в западню. Будто он в словах жены ждет подвоха и всеми силами старается не попасть на удочку.

— Нельзя так, Иван,— мучаясь за него, продолжает Ирина Августовна,— нельзя так жить... Когда ты говоришь, что ты средний, обыкновенный человек, ты хочешь легкой жизни. Сам сказал: есть, пить, любить, работать, читать книги... Это мало, Иван! Нельзя запрещать людям ждать от тебя необыкновенного. А самое страшное в том, что когда ты запрещаешь ждать людям от тебя необыкновенного — значит, ты сам от себя этого не ждешь. Боже, Иван, это же не жизнь, а прозябание!

Ирина Августовна хватается руками за щеки и только тут замечает, что на ней перчатки.

— Боже,— улыбается она,— я даже не сняла перчаток. Но я так переживаю, Иван, тот наш разговор. Ты должен понять, что ошибаешься и сам себя обрекаешь на прозябание... Что из того, что ты не выдающийся технолог! Я, видимо, тоже средний хирург, но ведь не теряю от этого бодрость и стремление быть полезной людям...

— Тебе надо переодеться, Ирина,— тихо говорит Иван Николаевич.— Ты переодевайся, а я подумаю над твоими словами. Хорошо, родная?

— Боже мой, конечно! — радуется она.— Я скоренько переоденусь... Потом я съем твой ужин...

«О, черт возьми!» — мысленно ругается Иван Николаевич. Злость и раздражение охватывают его, и он внезапно улыбается сам себе: «Скажу, что согласен с ней! Скажу все, что угодно, лишь бы не было этого длинного, мучительного разговора!»

Торопливо надев халат и поужинав, Ирина Августовна так же торопливо присаживается опять на край кровати, обняв и поцеловав мужа. нежно спрашивает:

— Ты уже обдумал, Иван?

— Кажется, ты права! — медленно произносит Иван Николаевич.— Так сразу я не могу переварить все, но думается, что ты права...

— Родной! — шепчет Ирина Августовна.— Ты ведь все понимаешь! Ты умный, чуткий и сердечный... Я знала, что ты поймешь меня...

— Милая! — тоже шепчет он.— Я, конечно, понимаю тебя, но ведь ты... Понимаешь, я хотел бы во всем быть правдивым с тобой... — Он говорит это, а сам уже думает: «Что это со мной? Зачем это?» Но начатое надо продолжать, и он очертя голову продолжает: — Боюсь, что мне будет трудно быть необыкновенным человеком. Я слишком люблю личную свободу.

«Черт возьми, зачем я говорю все это? Что со мной происходит?»

— Ты слишком любишь личную свободу? — тихо спрашивает Ирина Августовна.

«Дурак, что я наделал!» — все кричит в Иване Николаевиче. Он чувствует, как слабеют руки жены.

— Боже мой, Иван! — медленно продолжает Ирина Августовна.— Что ты такое говоришь?.. Зачем ты это говоришь, Иван?

У нее в голосе не то слезы, не то досада — не поймешь.

— Боже мой, зачем ты это говоришь Иван?

«Что я наделал! — со злостью думает Иван Николаевич.— Черт возьми, что я наделал, дурак!»

7

Свобода, свобода... всю жизнь Иван Николаевич Черепнин стремился к такой свободе, которая давала бы ему право распоряжаться самим собой, как он хочет. Свобода, свобода... Ради нее Иван Николаевич шел на всяческие лишения, много терпел плохого... И вот теперь у него нет свободы!

Иван Николаевич Черепнин стоит у того окошка, что ведет на заводской двор, глядит на автопогрузчик, везущий кипу железных листов, и думает о том, что он попался как кур во ши. Образно Иван Николаевич представляет себе это так: стремясь скорее сесть в поезд, он прыгнул в первый попавшийся вагон, а вагон оказался для некурящих. Вагон — это семья Озолиных, и в нем запрещено курить, и Ивану Николаевичу приходится курить на площадке, так как проводники — жена, теща и па-сынок.

Что же остается Ивану Николаевичу? Два выхода перед ним: или до конца дней своих выходить послушно курить на площадку, или взбунтоваться и потребовать, чтобы некурящий вагон стал курящим.

За спиной Ивана Николаевича живет своей жизнью отдел главного технолога. Скрипят противовесы на чертежных досках, скрипит пол под тихими шагами инженеров, ходящих возле своих досок.

«Да,— думает Иван Николаевич,— попал как кур во ши». Он слышит позади себя тихие шаги, бумажное шебарчанье и деликатное покашливание. «О, черт возьми — это опять несносный Вася!» Иван Николаевич обертывается, строго глядит на Васю и брезгливо пожевывает губами.

— Иван Николаевич,— робко говорит Вася.— Все утро бьюсь, и ничего... Помогите, Иван Николаевич!

Иван Николаевич пустоглазо смотрит на Васю и думает о том, что он сейчас скажет Васе все, что о нем думает. Если главный технолог не решается сказать этому Васе правду, надеется на чудо, которое превратит эту бездарь в талантливую технолога, то Ивану Николаевичу наплевать на это.

— Что там у вас? Показывайте, что там у вас заело...

Вася развертывает лист и тычет пальцем в две изометрические про-екции:

— Раструб не технологичен!

Раструб действительно не технологичен. Это Иван Николаевич ви-дит сразу, как и то, что Вася сам изобретает раструб. Упрямый просто-филя, вместо того чтобы взять раструб из стандартов, готовеньким пере-нести его на чертеж, изобретает новый. Иван Николаевич тихонько при-свистывает.

— Милый юноша, если все технологи начнут изобретать свои растру-бы, то техника получит миллион раструбов и ни одного стандарта. А бу-де вам известно, что двадцатый век стоит на стандартах.

Иван Николаевич берет красный карандаш и крепкой рукой не моргнув глазом перечеркивает раструб.

— Вот так, юноша!

Вася отшатывается от чертежа с таким видом, словно Черепнин уда-рил его по голове.

— Что вы делаете! — восклицает он.

— Зачеркиваю ненужную работу...

— Но ведь главный технолог учит нас думать самостоятельно. Он считает, что надо уважать людей, создающих машины, но не надо ува-жать машины, которые создали эти люди...

— Милый юноша,— устало произносит Иван Николаевич,— человек обязан создавать новые машины, а не изобретать уже изобретенные рас-трубы... Если вы мне не верите, можете обратиться к главному техноло-гу... Борис Васильевич! — кричит Иван Николаевич.— Извольте прибыть сюда на минутку, Борис Васильевич...

— Что случилось, Иван Николаевич? — спрашивает Борис Василье-вич, выйдя из фанерной будки.

— Сей юноша считает, что я совершил кощунство, когда изничто-жил его раструб. Посему выставляю инцидент на ваш суд...

Одного взгляда — еще более короткого, чем взгляд Ивана Николаевича, — главному технологу достаточно для того, чтобы он все понял.

— Иван Николаевич прав... — говорит главный технолог. — Раструб не надо изобретать! Он давно изобретен, и, знаете ли, неплохо изобретен... Будьте любезны поставить стандартный, и тогда конструкция сразу завяжется. Вот так, знаете ли!

— Спасибо... понимаю... — тихо говорит Вася и, осторожно свернув чертеж трубочкой, хочет удалиться в свой угол, но Иван Николаевич преграждает ему дорогу.

Серьезный, спокойный, крепкий, он берет Васю за руку, потом отпускает и говорит:

— Слушайте, Вася! Мне кажется, что вам пора понять — технолога из вас не получится! У вас нет никаких задатков к тому, чтобы стать хоть средним технологом... — Иван Николаевич смотрит прямо в лицо Васи, одновременно с этим боковым взглядом видит лицо главного технолога и продолжает: — Вам лучше перейти в цех, Вася! Там вы будете на месте... Вот там-то пригодится ваше упорство, настойчивость, фанатизм.

Вася втягивает голову в плечи и так часто моргает глазами, словно в них попало по соринке; он боится смотреть на Черепнина и главного технолога.

— Вот так-то, Вася! — спокойно заканчивает Иван Николаевич. — Думаю, что Борис Васильевич подтвердит мои слова... Вы ведь согласны со мной, Борис Васильевич? — обращается он к главному технологу. — Вы ведь тоже считаете, что из Богомолова не выйдет порядочного технолога?

Главный технолог сутулится, сжимается, морщится, отводит взгляд от Васи и Черепнина. Вся его костистая фигура выражает страдание.

«Ишь, какой деликатный! — насмешливо думает Иван Николаевич о главном технологе. — Ишь, как его корежит!»

Борис Васильевича действительно корежит.

— Да, знаете ли, вот как, знаете ли... — бормочет он, краснея. — Впрочем, знаете ли, рекомендую всем вернуться к работе... Мы, знаете ли, потом поговорим... Работайте, работайте...

Борис Васильевич семенящей походкой направляется в свой фанерный закуток, но у дверей задерживается, жестом приглашает Ивана Николаевича.

— Сию минуту, — отвечает Иван Николаевич, — только уберу кое-что.

Иван Николаевич неторопливо и тщательно прикрывает доску чистым листом ватмана, еще более медленно наводит порядок в чертежных принадлежностях и только тогда идет к главному технологу. У него независимая, вольная походка, веселая улыбка, иронически поджатые губы. Войдя в закуток главного технолога, он подмигивает сам себе; главный технолог ожесточенно переставляет с места на место детали.

— Я слушаю вас, Борис Васильевич! Зачем изволили звать?

Главный технолог громко кашляет и басом говорит:

— Я недоволен вами, Иван Николаевич! Вы, знаете ли, облекли не в ту форму разговор с Богомоловым... Вы, знаете ли, вели себя неправильно!

Главный технолог не умеет ни приказывать, ни распоряжаться, ни ругаться. Когда ему предстоит делать это, он теряется и становится беспомощным, как ребенок. Таков он и сейчас, когда хочет сказать Черепнину о том, что недоволен им.

— Вы, знаете ли, поступили как-то не так... Знаете ли, не та формула, не тот подход... — мнется он, не смея поднять глаз на Ивана Николае-

вича.— Не так, знаете ли, надо было, знаете ли...— Совсем запутавшись в своих «знаете ли», он машет рукой, садится и как-то искоса, жалобно и растерянно глядит на Ивана Николаевича.

— Борис Васильевич,— спокойно говорит Иван Николаевич,— вы же не считаете, что я не прав. Согласитесь, я сказал правду. Горькую, но правду, которую давно надо было сказать Богомолу... Ну, согласитесь, что того чуда, которое ждете вы, нет и не будет...

— Нет, знаете ли...— печально говорит главный технолог.— Чуда, знаете ли, не произошло...

— Значит, я во всем прав! — восклицает Иван Николаевич и поднимается, чтобы уйти.— Я вам больше не нужен, Борис Васильевич?..

— Нет, нет! — вдруг пугается Борис Васильевич.— Вы мне еще нужны... Я вам должен еще кое-что сказать... Знаете ли, Иван Николаевич, вы не совсем правы!

Главный технолог уже немного справился со смущением. У него твердеет взгляд, упрямо сжимаются губы.

— Вы не во всем правы, Иван Николаевич,— громко повторяет он.— Поэтому извольте присесть.

— В чем же я не прав?

— Собственно говоря, вы во всем не правы! — совсем твердо отвечает Борис Васильевич.— Видите ли, имея формальное право сказать Богомолу правду, вы проявили очень любопытное качество характера... Одну минуточку, прошу не перебивать меня... Я попытаюсь объяснить элементарно... Я, Борис Васильевич Скрябин, верю в чудеса! Даже с Богомолу может произойти чудо, человеческий труд способен делать чудеса. Вы в это не верите! Для вас чудес не бывает, а это плохо, Иван Николаевич.

За всю эту длинную речь главный технолог ни разу не произносит свое надоедливое «знаете ли», ни разу не отрывает взгляда от лица Ивана Николаевича. Он пристально, изучающе глядит на него, и Ивану Николаевичу приходит в голову мысль о том, что главный технолог смотрит на него такими же глазами, как Саша. Да, что-то есть общее в их взгляде — такой же прищур, такое же желание понять, что делается в его, черепнинской, голове.

— А дальше? — сухо спрашивает Иван Николаевич.— Что же дальше?

— Дальше совсем плохо, Иван Николаевич,— медленно говорит главный технолог.— Я, извините, давно наблюдаю за вами и теперь окончательно убежден в том, что вы работаете не для людей, а для одного себя.

— Слушайте, Борис Васильевич!

— Нет, уж вы слушайте, Иван Николаевич! Я не имею в виду того, что вы работаете для денег. Этого еще не хватало! Но вы работаете и не для общества. Вы в работе убегаете от самого себя. Это для вас убежище от чего-то в самом себе... И сегодня мне кажется, что я понимаю, от чего вы убегаете...

Борис Васильевич садится, кладет руки на стол и выжидательно, строго и серьезно смотрит на Ивана Николаевича. Его пергаментное, высохшее лицо действительно похоже на лицо мумии. Оно бы казалось совсем неживым, если бы не было больших умных глаз и твердо поджатых губ.

— В обязанности главного технолога не входит копание в душах подчиненных,— холодно произносит Иван Николаевич.— Вы перешли все границы дозволенного, и я не могу больше разговаривать с вами! Кроме того, я официально заявляю, что впредь буду разговаривать с вами только на сугубо производственные темы.

Плотно притворив за собой дверь, Иван Николаевич возвращается на свое рабочее место. «Плохо! Все плохо! — думает он.— Нет у тебя свободы, дорогой Иван Николаевич!»

Только одна свобода есть у него, та самая, которая, выражаясь инженерным языком, позволяет ему держать свое тело в любой точке пространства и времени. Он может куда угодно пойти, когда угодно вернуться домой и откуда ему угодно, и никто не спросит его, где был и чем занимался. В доме Озолиных так верят друг другу, что никому и не придет в голову спросить, где был. Иван Николаевич думает об этом и вдруг изумленно округляет глаза.

— Ого! — шепчет он.— Ого!

Ему приходит мысль о том, что он может запросто воспользоваться свободой в пространстве и времени. Он может куда угодно идти, что угодно делать и, значит...

— Забавно! — шепчет он.— Презабавно!

И совершенно спокойно думает о том, что уже сегодня может пойти в маленький домик на окраине города, где живет его последняя перед женитьбой любовница Анна Свиридова. Она работает на заводе чертежницей, при каждой встрече с Иваном Николаевичем смотрит на него тоскующими глазами. У Анны маленькая фигурка, уютная квартира, легкий характер.

«Есть, оказывается, третий путь,— весело думает он,— можно не выходить курить на площадку и не объявлять войну проводникам. Можно курить в вагоне тайно. Вот вам!»

Глава пятая

1

Саша Озолин идет через весь ремонтно-механический цех к станку Степана Шведова. Он никогда не пошел бы к нему, но дело в том, что сегодня Саша и Степан точат две сложные детали по чертежам главного технолога. Борис Васильевич опять разработал интересную конструкцию и, чтобы ее скорее выполнили в металле, дал чертежи сразу пяти станочникам. Таким образом, Саша не может обойтись без Шведова, а Шведов — без Саши: внешний диаметр одной детали должен точно соответствовать внутреннему диаметру второй. Потому токарям приходится подгонять детали друг к другу. Вот поэтому Саша через весь цех шагает к Степану Шведову.

Рабочий день в разгаре. Солнце пыльно пробивается сквозь клетчатые окна, пол дрожит, весь цех обегает веселые и прохладные сквозняки. Скрежет и вой, лязг и треск, дребезжанье и гул... Звуки сливаются в один привычный, знакомый шум. Идя по цеху, Саша поочередно кивает своим друзьям, которые, зная, куда и зачем идет он, провожают его глазами. Отрывается от станка Вадим, спокойно кивает головой: «Держи себя, Саша, в струне!»; ласково смотрит Юра Чешуйкин: «Спокойно, Саша!»; грозно насупливается Володя Якунин: «Ты не бей ему сейчас в морду, Сашка! Мы потом вместе дадим!»; суровым, начальственным взглядом окидывает Сашу Петр Алексеевич Гомозов: «Чего это так тихо вышагиваешь? А ну, давай бегом! Я раз сказал бегом — значит, бегом. Я такой!»

Саша знает, что, как только он подойдет к станку Шведова, тот обязательно скажет ему какую-нибудь гадость, но он не боится этого, так как дал себе слово, что будет держать себя в руках.

В грохоте и лязге цеха Степан, конечно, не слышит шагов Саши. Наклонившись к станине, повернув ухо к коробке станка, Шведов прищу-

ренным глазом следит за вращающейся деталью. Саша понимает, что Степан сейчас обрабатывает самую ответственную поверхность детали, наверное, ту самую, что нужна Саше. «Ему нельзя мешать», — думает он и затаивается.

Степан Шведов ничего не видит, кроме детали, ничего не слышит, кроме гула своего станка; увлеченный, он стоит за станком, двигается, прищуривает глаза точно так, как бы сделал в таком случае Саша. Саша так же бы приник грудью к краешку станины, так же бы прищурил левый глаз и так же бы слушал станок, работая не самоходом, а ручной подачей супорта. Как бы Саша ни относился к Степану Шведову, как бы ни ненавидел его, он чувствует уважение к Степану. «Молодец, — думает Саша, — какой токарь!»

Саша не шевелясь стоит за спиной Шведова до тех пор, пока резец не срывается с блестящей поверхности детали. Гул сразу же прерывается — это Степан Шведов молниеносно отключает станок. Он выпрямляется, вытирает рукавом спецовки ясный пот с бледного лба, затем медленно, словно уже знает, что Саша стоит позади, повертывается к нему. Повернувшись, улыбается, обнажая белые и ровные зубы. Сейчас его улыбка проста, безыскусна, в ней нет еще той циничной ухмылки, которая выводит Сашу из себя. Это еще улыбка человека, который только что выточил поверхность сложной детали, и в ней, улыбки, видна обыкновенная человеческая радость.

— Те-те! — произносит Шведов. — Они пришли ко мне...

И сразу все меняется — улыбка становится злобной. И вот уже Степан такой, какой бывает при Саше и его товарищах, но Саше кажется, что Шведову пришлось приложить сейчас усилие, чтобы стать таким. Эта мысль требует продолжения, но у Саши нет времени додумать ее до конца, так как Степан с насмешкой говорит:

— Как это люди армянского происхождения решились приблизиться к нашему брату?.. Вот чего я не понимаю!

Саша стискивает зубы: теперь надо держаться!

— Сними деталь, — тихо требует Саша.

— Это мы можем! — беззвучно хохочет Шведов. — Это мы можем... Для любимого дружка не жалко сережку из ушка!.. А хочешь, я тебе расскажу армянский анекдот. Не хочешь! Вон ты какой принципиальный! Наверное, любишь своего отца. Герой был, наверное, а...

— Снимай деталь! — еще тише повторяет Саша.

Похохатывая, Степан снимает со станка деталь, но не сразу протягивает ее Саше, а издевательски долго рассматривает ее на свет и бормочет:

— Ишь, какие дружные... Один ко мне пошел, а другие с него глаз не спускают! Вижу ведь, как твои дружки сюда глазами зыркают! Боятся, наверно, Степана Шведова! Потому и ходят по городу всегда вчетвером... По одному не ходят — боятся... Да, брат, жизнь — смешная и глупая штука... — Он бормочет словно про себя, а сам при этом вертит в руках деталь, рассматривает ее на свет, поворачивает так и этак. — Вот какие дела...

— Давай деталь!

Саша выхватывает у Шведова из рук деталь, вставляет ее в свою, быстро прикидывает кронциркулем размеры, кладет деталь на станину и поворачивается, чтобы уйти, но Шведов удерживает его за спецовку. У Шведова лицо неожиданно делается ласковым, мягким.

— Слушай, Озолин! — ласково произносит Шведов. — Верно говорят, что Юрочка Чешуйкин потому дружит с вами, что вы его кормите?.. Вот хитрый малец! Семья у него большая, жрать нечего, так он к вам пристроился...

У Саши темнеет в глазах. На мгновение он теряет власть над собой, а когда приходит в себя, то оказывается, что он обеими руками держит Шведова за отвороты спецовки.

— Ой, как страшно! — криво смеется Степан. — До смерти боюсь. Саше вдруг становится противно, он отпускает Шведова.

— Сволочь ты, Шведов! — говорит Саша. — Все, к чему прикасаются твои руки, становится грязным и темным...

— Да что ты говоришь! — как бы удивляется Степан. — Грязным и темным... Да, ведь ты чистюля! Вот твой отчим не такой... Твой отчим — совсем другой человек...

— Что мой отчим? — тихо спрашивает Саша, невольно заглядывая в глаза Шведова и вдруг холодея. — Что мой отчим? — еле слышно спрашивает Саша и чувствует, как жар бросается ему в лицо.

— Да, твой отчим не такой чистюля... — как бы издали слышит он Шведова. — Он спит с Анькой Свиридовой... Ничего устроился — бабеч что надо!.. Да, твой отчим не такой чистюля, как ты...

Саша мучительно-медленно открывает глаза. Все знакомое, прежнее перед ним — цех с клетчатыми запыленными окнами, гудящие станки, мостовой кран, бетонный пол, но ему кажется, что за секунду все изменилось.

— Ты думаешь, я вру! — усмехается Шведов. — Но ты же знаешь, что я никогда не вру...

Это так. Степан Шведов никогда не врет, и если он сказал, что Сашин отчим еженедельно бывает от шести вечера до двух ночи в доме чертежницы Анны Свиридовой, то значит так и есть.

Саша тихонько идет на свое рабочее место, а навстречу уже бегут Вадим, Володя, Юра, быстро обступают, тревожно заглядывают в лицо.

— Что случилось, Саша, что он тебе сказал? — спрашивает Вадим.

— Ничего он мне не сказал. Ровным счетом ничего...

2

Степан Шведов никогда не врет. Он просто не способен врать, так как в доме отца на всю жизнь почувствовал отвращение к лжи и фальши. Уже при первой судимости шестнадцатилетний Степан поразил следователя тем, что ничего не утаивал.

— Я Витьку Головина нарочно ждал у школы, чтобы подвесить ему, — сказал он.

— За что? — спросил следователь.

— За то, что шибко активный... Не люблю людей, которые шибко активные...

Это он говорил о Витьке Головине — старосте их класса, который на самом деле был шибко активным парнем: он любил принимать участие в парадах и торжественных шествиях, умел говорить длинные зажигательные речи, носил на груди целую кучу значков. Витька лез всегда в компании взрослых, устраивал так, что нередко шел в школу рядом с директором и на виду у всех здоровался с ним за руку. Он чем-то походил на отца Степана Михаила Михайловича, а изводил его еще больше, чем отец. Витька постоянно прорабатывал Степана за поведение, за учебу, не раз ставил вопрос об исключении его из школы. Поэтому Степан и сказал, что он не любит шибко активных парней.

— Что значит «не люблю шибко активных»? — еще больше удивился следователь. — Что ты хочешь этим сказать? Нельзя ли тебя понимать так, что ты не любишь общественников?

— Не люблю! — ответил Степан, не понимая, что говорит, хотя по тем временам говорил страшное.

И молодой следователь перепугался за шестнадцатилетнего Степана. Он был хорошим человеком, этот следователь, и потому разъяренно закричал на него:

— Ты понимаешь, что говоришь, дурак? Замолчи сейчас же, подонок...

— А чего я такого говорю? — в свою очередь поразился Степан. — Не запираюсь же, а всю правду выкладываю!

Следователь только покачал головой: подумать только, какой сын был у Михаила Михайловича Шведова (тот тогда работал инструктором промышленного отдела горкома партии)! Следователь только что окончил юридический факультет, любил свою профессию. Он еще раз прикрикнул на Степана и уж было собрался дальше писать протокол, как открылась дверь и вошел начальник следственного отдела городской прокуратуры.

— По какому поводу крик? — строго спросил он. — О, кого я вижу... Ну, миляга, удружил ты отцу... Он тебя век будет помнить! Удружил! — отчего-то радостно кричал начальник следственного отдела. — Ты так ему удружил, что у твоего родителя чуб трещит... Ну, брат, удружил!

Потом начальник отдела вдруг успокоился, напустил на себя строгость и с коротким придыханием спросил Степана:

— Чего ты тут такое сказал следователю, что он на тебя кричит?.. Ну, отвечай! Отвечай, сволочь!

— Я сказал, что не люблю общественников, — испуганно ответил Степан, не заметив предостерегающего жеста молодого следователя.

— Не любишь общественников? — переспросил начальник следственного отдела, замер, думая над словами Степана, и вдруг опять обрадованно закричал: — Ну, брат, совсем ты здорово удружил своему отцу! Ты, брат, что его, закопать хочешь?.. Ты что, нарочно его топишь?

Степан тогда так и не понял, почему вокруг него заварилось политическое дело, не понял, что его не осудили по самой страшной статье только потому, что кто-то «наверху» не захотел раздувать историю с шестнадцатилетним мальчишкой. Так сказал ему отец в тот день, когда официально отказался быть отцом Степана. Он кричал, что не хочет больше никогда видеть Степана в своем доме, и опять врал — у отца были тоскующие, обреченные и испуганные глаза. Степан подумал тогда, что если бы не было при их разговоре посторонних, то отец обнял бы его и заплакал бы.

Одним словом, Степан Шведов никогда не врет. Не соврал он и сейчас, когда сказал Саше Озолину о том, что Черепнин изменяет Сашиной матери. Не врет Степан и себе. Глядя на то, как Саша Озолин тяжелым, трудным шагом идет к своему станку, он думает о том, что жесток и несправедлив к Саше. Он, Степан Шведов, сволочь и подлец! Он дрянной, мелкий и завистливый человек. Честный сам с собой, Степан понимает, что его ненависть к Саше и его друзьям объясняется жгучей завистью. Он завидует тому, что Саша счастлив, весел, имеет хороших друзей, прекрасную семью. Выросший по соседству с Озолиными, Степан знает, что в семье Саши было как раз то, чего не было в семье Шведовых. Там не врали друг другу, там была настоящая дружба и любовь. Там жили настоящие люди.

Когда Саша Озолин тяжелой, вязнувшей походкой идет к своему станку, Степан испытывает противоречивые чувства: он по-прежнему ненавидит Сашу и одновременно злится на себя за то, что наговорил Саше кучу гадостей.словно бы два самостоятельных человека живут в Степане.

Непослушными, как бы застывшими руками он берет деталь, вяло вставляет ее в оправку, несколько секунд медлит перед тем, как запу-

стить станок. Зачем? Для чего? Саша и без этого ненавидит Степана, Сашины друзья и без этого готовятся к схватке с ним. Так для чего он сделал Сашу несчастным? Для того, чтобы удовлетворить свою ненависть к нему, или для того, чтобы Саша был такой же несчастный, как он, Степан Шведов?.. Эхе-хе! Степан запускает станок, приближает резец к детали, но позади раздается голос:

— Добрый день, Шведов!

Перед ним стоит Иван Николаевич Черепнин — высокий лоб, всепонимающие глаза, насмешливая улыбка, отличный костюм. Он держит в руках небольшой чертежник, покусывает острыми зубами папиросу и улыбается так радушно, словно видит хорошего знакомого.

— Когда кончите заказ главного технолога,— говорит Черепнин,— будьте добры заняться этой деталькой... Очень прошу вас, Шведов! — Он так улыбается, будто Степан Шведов—его лучший друг.— Если сделаете завтра, буду весьма благодарен!

Все Степану не нравится в этом инженере — и улыбка, и голос, и даже отличный костюм.

— Чего вы молчите, Шведов? — вопросительно поднимает брови Черепнин.

«Сволочь! — думает Степан.— Ох, какая сволочь!» Ну что еще надо этому человеку! Инженер, красивый, умница, женился на прекрасной женщине, попал в отличную семью, а ходит к развратной девке, крадется, падло, ночью вдоль темного переуллка, как пакостливый кот, ворует, падло, кусок радости от чужой доли. Все ему мало, падле, все ему еще чего-то надо.

— Почему вы молчите, Шведов?

Ах падло, падло!.. Уж в чем, в чем, а в человеческой низости Степан понимает толк. Он, Степан Шведов, хоть сам себе противен и у него хоть есть за что ненавидеть людей. А за что эта сямка в чистеньком костюме презирает людей? О падло, падло!

— Что с вами, Шведов? — поражается Иван Николаевич.

— Пошел ты...! — грязно ругается Степан, весь дрожа от ярости.— Пошел, а не то тресну по голове ключом!

Степан Шведов матерится и угрожает шепотом, гаечный ключ в руку не берет, но Черепнин все равно отскакивает от него, испуганно прикрывается руками. Отскочив на порядочное расстояние, Иван Николаевич торопливо осматривается, поняв, что никто в цехе ничего не заметил, улыбается и делает вид, что действительно ничего не произошло.

Потом Черепнин торопливо уходит, а Степан стоит, косясь в ту сторону, где работает за станком Саша Озолин. Степану очень хочется подойти к нему, встать рядом, что-то сказать... «Нет, не сегодня,— думает он.— Не сегодня... Потом!»

3

Интересно наблюдать за взрослыми людьми, когда они становятся детьми — бывают в жизни взрослых людей такие моменты.

Елена Федоровна Озолина такой человек, который чаще других видит, как взрослые люди превращаются в детей. С ними это происходит тогда, когда они встречаются на улице с ней, их бывшей учительницей. Всякий раз шагая по городу, Елена Федоровна то и дело встречает своих бывших учеников. Вот и сейчас навстречу идет бывший ее ученик — под мышкой у него пузатый портфель, вид занятой, велюровая шляпа хмуро надвинута на лоб. Он идет, видимо, по каким-то важным делам. Он, видимо, очень занят этими делами, так как не сразу замечает Елену Федоровну. Она даже пугается, что он так и не заметит ее, но

бывший ученик все-таки замечает. Увидев Елену Федоровну, он сбивается со своего шага и расцветает мальчишеской улыбкой.

Бывший ученик сдергивает шляпу, портфель отчего-то берет за уголок. Он теперь уже не важный, а робкий. Он уже не тридцатипятилетний мужчина, а просто пятиклассник. Пока он идет к Елене Федоровне, она быстро вспоминает о нем. Зовут бывшего ученика Гриша, фамилия Иконников, сейчас он работает в редакции, мальчишкой любил слушать, когда она читала вслух, терпеть не мог арифметики, дрался с девчонками, выдумывал, что его дядя лично знаком с Папаниным.

— Здравствуйте, Елена Федоровна! — радуется он.

— Здравствуй, Гриша! Куда ты грядешь с озабоченным видом?

— Дела, Елена Федоровна! — отвечает Иконников. — Журналиста ноги кормят... А вы все бегаєте по хозяйству?

— Я все бегаю по хозяйству, — отвечает Елена Федоровна и показывает пальцем на витрину магазина, возле которой они стоят. — Это что такое, Григорий?

В зеркальном стекле витрины Иконников отражается во весь рост, а Елена Федоровна видит его в профиль.

— Что это такое, Григорий?

— Консервы и компоты, Елена Федоровна.

— Нет, милый мой, это не консервы и компоты! Это животик! Когда успел отпустить?

Поняв, что живот виден в витрине, Гриша торопливо прикрывает его портфелем, густо краснеет, и тогда сразу же на его широком добродушном лице проступают веснушки.

Елена Федоровна берет его за руку.

— Пойдем-ка, милый, сядем на скамейку. Я тебе скажу что-то... Ты только не говори мне зряшные комплименты, а отвечай по совести, — предупреждает она, садясь и усаживая Иконникова.

— Я, Елена Федоровна, ведь и обидеться могу. Я, Елена Федоровна... — хмурится Гриша, но она со смехом перебивает его:

— Хорошо! Хорошо! Обижаться будешь потом... Теперь же отвечай! Дело это прошлое, и я имею право спросить... Очень трудно вам, ребятам, было со мной? Не чувствовали ли вы давления, жестокости, не была ли я с вами нетерпимой? И главное, Гриша, — не бывала ли я подозрительной, не казалось ли вам, что я недоверчива к людям? Отвечай, Гриша! — неожиданно серьезно просит она.

— Ну и ну! — пораженно произносит Иконников. — Ну и ну!.. Это что же делается, Елена Федоровна? Это что за вопросы, Елена Федоровна? Вы, Елена Федоровна, тоже будьте правдивы со мной... Может быть, вас кто-нибудь обидел, кто-нибудь сказал, что вы тяжелый человек?

— Никто меня не обидел... — тихо говорит Елена Федоровна. — Никто меня не обидел, Гриша. Мне самой показалось, что я тяжелый, недоверчивый человек... Есть два человека, которые заставили меня так подумать... Первого я тебе не назову, а второго назову. Ты весь город знаешь, Гриша... Кто таков профессор Венгеровский?

— Большой ученый! — не задумываясь, отвечает Гриша. — Увлеченный наукой человек и умница! — Сказав это, Гриша по лицу Елены Федоровны понимает, что ей мало сказанного. Нахмурившись, он думает и неуверенно продолжает: — Я его мало знаю, но окружающие отзываются о нем как о справедливом, честном человеке.

— Так... Хорошо! — соглашается она. — Я тебя задержала, Гриша... Беги по своим важным делам, а я еще немного посижу...

— До свидания, Елена Федоровна, — послушно прощается Гриша. — Если я вам понадобится, то у меня и дома есть телефон...

— Нет, нет, спасибо, милый!

Шумит, движется, живет город; несутся мимо сквера автомобили, блестя витрины, желтые листья тополей с шушанием перекатываются по гладкому асфальту. Две высокие веселые сопки возносятся над молодым городом. Елена Федоровна смотрит на них и замечает, что сквозь голубизну уже пробивается мягкий лиловый цвет. Это значит, что в Забайкалье второй раз расцветает багульник.

Елена Федоровна еще минут десять сидит на скамейке, потом медленно поднимается, идет домой, помахивает свободной от сумочки рукой. Она входит в Татарский переулочек и слышит мальчишек, два грузовых автомобиля и взбудораженные взрослые. Приглядевшись, Елена Федоровна понимает, что это переезжает в новую квартиру семейство Лыковых.

Из Татарского переулка вообще люди время от времени переезжают в большой город. Этим людей за месяц до переезда можно узнать по торопливой походке, по блеску в глазах. Переезжающие не ругаются в очереди за водой возле колонки, не бросаются каждый вечер поливать огороды, не бегут торопливо домой с работы. Переезжающие глядят на Татарский переулок глазами чужестранцев.

Семейство Лыковых грузит вещи на машину с таким видом, точно штурмует ее, — вещи валят кучей, как попало, перину кладут под комод, а картошку запикивают в тумбы стола.

— Успеете! — торопливо уговаривают Лыковых шоферы. — Никто не займет вашу квартиру... Успеете!

Но Лыковы торопяся, а старуха Лыкова, увидев Елену Федоровну, рысцой подбегает к ней, схватив за рукав, говорит:

— Ванна, уборная, три комнаты, балкон... Я, главное, балкону и ванне обрадовалась.

Елена Федоровна тепло смеется и поглаживает старуху по плечу. Ей радостно за нее. Иная жизнь начинается у Лыковых — старуха не будет десятками таскать ведра на коромысле для огорода, руки у нее станут мягче оттого, что в новой квартире сын обязательно купит стиральную машину, она, старуха, повеселеет оттого, что с балкона открывается просторный вид на родной город. И по крайней мере еще одно иностранное слово узнает старуха Лыкова, так как станет кричать в телефон: «Алле! Квартира Лыковых!»

— Счастья вам! — ласково говорит Елена Федоровна. — Желаю счастья на новом месте...

— А мы тебя, Федоровна, позовем на новоселье! — кричит глуховатая Лыкова. — Как же, позовем... Кого и звать, как не тебя, Федоровна...

— Приходите на новоселье, Елена Федоровна! — кричат молодые Лыковы.

— Спасибо!

Елена Федоровна прощается с Лыковыми, бодрая, довольная, веселая, широко открывает калитку своего дома и слышит громкий, точно испуганный голос Саши:

— Бабушка, наконец-то...

Саша бросается к Елене Федоровне, зачем-то хватая сумку, и она замечает, что Саша дрожит. Елена Федоровна пугается:

— Что случилось, Саша?

Саша шепчет, хотя в саду, кроме него и бабушки, нигде никого нет:

— Он изменяет маме!

— Как это изменяет? — непонимающе спрашивает Елена Федоровна.

— Он ходит по вечерам к чертежнице Анне Свиридовой.

Теперь Елена Федоровна понимает Сашу. Ей никогда в жизни не приходилось иметь дело с такими вещами, и потому она не сразу пони-

мает, что значит: «Он изменяет маме!» Но сейчас она уже понимает это и по-прежнему испуганно думает: «Вот оно! Вот оно...» Случилось то тяжелое и страшное, чего она все время ждала от брака дочери с Иваном Николаевичем. Елена Федоровна тяжело опускается на стул, достает из кармана большой носовой платок, вытирает им лицо, руки, шею. Еще немного помолчав, легонько вздохнув, Елена Федоровна печально, но спокойно говорит:

— Этого надо было ждать от человека, который ничего не защищает и ничего не проклиняет... Этого надо было ждать... Боже великий, боже... Что будет с Ириной?

— Я все скажу этому подлецу! — говорит Саша. — Я все скажу ему! Сегодня же...

Но Елена Федоровна как будто не слышит его: ушедшая в себя, она что-то шепчет, потом восклицает:

— Саша, ты понимаешь, что же он за человек?

В ее голосе звучит настоящий испуг: вдруг Саша не понимает, кто такой этот Черепнин, вдруг он только просто гневен на него, не отдавая себе отчета в том, кто такой этот Черепнин. Елена Федоровна вскакивает, хватая Сашу за плечи, глядит ему в широкие зрачки.

— Понимаю! — с ненавистью кричит Саша. — Понимаю, бабушка! Он хуже Михаила Михайловича!

Саша тяжело садится на скамейку, на секунду закрыв глаза, с болью думает о том, что за последние месяцы мать стала ему чужой, далекой. Он не целовал ее вечером, перед тем, как ложиться в кровать, по-прежнему боялся смотреть ей в глаза. «Мама, мамочка!» — горько думает Саша. Сегодня, когда мама вернется домой, он бросится к ней, обнимет, заглянет в глаза. «Мама, мамочка! — скажет он. — Моя хорошая мамочка!»

4

Иван Николаевич Черепнин, конечно, не знает, что над ним собираются грозные тучи.

Иван Николаевич сегодня домой возвращается немного раньше обычного. Шагая по Татарскому переулку, он посвистывает. В отличном костюме, ярком галстуке, блестящих туфлях, он кажется не жильцом, а гостем переулка Татарского. Сюда редко заглядывают такие нарядные мужчины, а сами жители переулка — слесари, продавцы, токари, шоферы — носят немодные широкие брюки, короткие пиджаки, галстуки с толстым узлом, туфли с широкими носами. У Ивана Николаевича не плохое настроение. Оно, конечно, не совсем хорошее, но и не плохое, и он подумывает о том, что, верно, близится пора, когда вернется по-настоящему хорошее настроение.

Если плохое настроение к Ивану Николаевичу приходит мгновенно, непонятно откуда, то плохое настроение на хорошее у него меняется медленно, и он всегда знает почему. Теперь Иван Николаевич как раз переживает такой период смены плохого настроения на хорошее. Еще у ворот завода он поднял с земли тоненький прутик и теперь помахивает им.

Насвистывая, помахивая прутиком, Иван Николаевич доходит до середины переулка и видит два автомобиля, до отказа набитых домашним скарбом. Он перестает насвистывать и помахивать палочкой. Иван Николаевич даже приостанавливается.

Лица переезжающих взволнованы и счастливы. Сейчас у автомобилей только шоферы да старуха с мальчуганом лет двенадцати. У старухи от волнения растрепались волосы, ситцевая блузка вылезла из юбки, морщинистые щеки горят; мальчуган метеором носится от машин к дому, запыхался. Наблюдая за ними, Иван Николаевич прячет руки с прути-

ком за спину, усмехается и думает: «Чему радуются эти люди! Переезду в новый, коммунальный дом!..» Он укоризненно и насмешливо покачивает головой...

Эх, люди, люди! Чему радуются! А старуха-то, старуха! Ей лет двести, а бегаёт, как девчонка, разлохматилась, трясётся от радости... Не понимает, черт возьми, что ничего хорошего не будет у неё в коммунальном доме: ни тишины, ни собственного садика, ни открытого неба над головой, ни запаха черемухи под окнами. В коммунальном доме будет пахнуть кошками общая лестница, за тонкой стенкой станет с утра до поздней ночи петь дурацкая радиола; зимой от балкона будет нести холодом, а в совмещённом санитарном узле ежемесячно портиться стульчак; телефон вдруг будет звонить поздней ночью и невинный голос станет спрашивать: «Здесь живёт Света?»

— Здравствуйте, Иван Николаевич! — вдруг раздаётся радостный голос.

— Здравствуйте, — машинально отвечает он. — Здравствуйте.

С ним здороваются двенадцатилетний мальчуган, а двухсотлетняя старуха тоже смотрит на Черепнина и ласково кивает ему головой.

— Ты уж, Николаевич, тоже приходи к нам на новоселье! — весело поёт старуха. — Мы все ваше семейство зовём, потому как столько лет жили рядом и ваше семейство до того хорошее, что и слов нету...

— Мы скажем, когда приходит! — кричит мальчуган.

— Придём приглашать специально! — подтверждает из ограды мужчина — видимо, сын старухи — и тоже радушно здоровается: — Здравствуйте, Иван Николаевич... Милости просим к нам на новоселье!

— Здравствуйте! Спасибо! — отвечает Иван Николаевич, стараясь не показывать удивления. — Спасибо, приду.

Удивляться есть чему — эти люди называют его по имени-отчеству, а он и не знает, кто это такие. «Вот что значит быть членом семьи Озолиных! — думает он. — Они меня по имени-отчеству, а я их впервой вижу... Нет, так не годится! Они меня приглашают на новоселье, а я их не узнаю...»

Вежливо раскланявшись с переезжающими, Иван Николаевич вынимает прутик из-за спины, снова помахивая им, идёт дальше.

Иван Николаевич слышит, что во дворе Шведовых кто-то ходит тяжёлыми, медленными шагами. Это, конечно, сам Шведов. Только у этого жирного борова такая грузная, величественная походка.

Иван Николаевич, подумав, заглядывает в щелочку — действительно по двору ходит сам Шведов. Носит своё важное пузо, что-то высматривает в ограде, словно наводит инспекцию. «А что, если... А что, если...» — думает Иван Николаевич. Он улыбается сам себе, подмигивает сам себе... Черт возьми, он так и сделает! «Решено!» — чуть ли не хохочет он. Не входя в свой двор, Иван Николаевич открывает калитку Шведова и весело кричит:

— Здравствуйте, Михаил Михайлович... Знаете что, приходите ко мне через часок. Посидим, поболтаем, поточим зубы...

— Спасибо, приду! — быстро соглашается Шведов.

— Значит, через часок жду вас, Михаил Михайлович!

«Вот так!» — говорит себе Иван Николаевич, потирая руку об руку. Он пригласит Шведова, поначалу будет говорить с ним ласково, добродушно, а потом придерется к чему-нибудь и покажет ему кузькину мать... В порошок превратит он Шведова... Он его будет бить смертельно...

Да, да, смертельно! Он скажет так: «Вы, Шведов, кичитесь тем, что настоящий коммунист, а как же так получается, Шведов, вы против политики партии... Я, гражданин Шведов, беспартийный, но я поддержи-

ваю политику партии. И знаете, гражданин Шведов, мне придется сообщить о вашей точке зрения в партийные инстанции».

Черт возьми, что будет со Шведовым! Думая об этом, Иван Николаевич чувствует непреодолимое желание расхохотаться, но не хохочет только потому, что Михаил Михайлович может услышать его. Сдержавшись, он только весело улыбается, открывая калитку своего дома, и тут ему вдруг приходит мысль о том, как примет его разговор со Шведовым жена, которая, конечно, будет при нем. Не подумает ли Ирина, что он решил последовать ее совету?

«Ну и что! — после недолгого раздумья поражается Иван Николаевич. — Ну и что... Пусть она думает, что я послушался ее совета и схватился со Шведовым на идейной почве... То есть как что? Это же нечестно... А почему нечестно? Какое кому дело до того, по какой причине я схватываюсь со Шведовым? Ведь важен в конце-то концов результат! Я превращу Шведова в мочалку, и это главное... И все-таки... Ну и черт с ним. Зато как будет рада Ирина! Как она станет глядеть на меня! Какими глазами...» Иван Николаевич приглушенно улыбается. «А я умею договариваться сам с собой,— смешливо думает он и наконец открывает калитку.— Еще не было случая, чтобы я не договорился сам с собой... Цинично? Конечно, цинично, но жизнь — смешная и глупая штука!»

Это последнее угрызение совести, которое испытывает Иван Николаевич Черепнин, открывая калитку в свой дом. После этого он уж ни о чем своем не думает, так как видит Сашу, стремительно приближающегося к нему. Вид у Саши такой, словно в доме произошло непоправимое несчастье.

— Что случилось, Саша? — тревожно спрашивает Иван Николаевич.

5

— Что случилось, Саша? — второй раз спрашивает Иван Николаевич, так как Саша молчит.

— Что случилось? — спрашивает он в третий раз.

Саша молчит потому, что мучительно борется с желанием ударить отчима по гладкому, благополучному лицу с высоким и широким лбом.

— Вы подлец! — громко произносит Саша. — Вы подлец, Черепнин!

«Я сейчас его ударю! — думает Иван Николаевич и тяжело, как зарожженный, поднимает руку. — Я сейчас ударю его! — снова думает Иван Николаевич и вместе с этой мыслью, где-то рядом с ней, не пугаясь, проходит вторая мысль: — Бить пасынка? Что же это такое...» Он чувствует, что происходит что-то кошмарное, невероятное, точно страшный сон, и он так и не понимает, ударил Сашу или нет, а только ощущает, как сильная рука перехватывает его руку и больно сгибает ее. Иван Николаевич вскрикивает и приходит в себя.

Огромные, серые, блестящие, как у матери, смотрят на него глаза Саши, а над ними слышен голос:

— Вы подлец, Черепнин! Я знаю, что вы изменяете маме! Вы ходите к чертежнице Свиридовой...

Сразу все меняется — Иван Николаевич съеживается и тихонько охает. Его глаза стекленеют, мозг напряженно работает: «Он знает... Кто-то проследил... Знает ли Ирина?.. Знает ли теща? Кто же проследил? Черт возьми, ведь погибнет все... Знает ли Ирина... Теща наверняка знает... Кто же проследил?..»

— Не делайте невинный вид! — кричит Саша. — Я знаю точно, что вы ходите к Свиридовой...

«Какой невинный вид! — удивленно думает Иван Николаевич. — Неужели я принимаю невинный вид, когда все гибнет! Когда все гибнет... Кто же выследил меня? Ирины нет дома, значит, еще не знает... А может быть, и не узнает никогда... Что же делать, что же делать?.. Как сделать так, чтобы Ирина не узнала никогда?.. Черт возьми, что он наделал... Ведь погибнет все... Что делать? Что делать?»

— Саша, Саша! — вдруг торопливо и жалобно говорит Иван Николаевич. — Саша, выслушай меня... Я очень долго был холост, у меня было много женщин, а Свиридова — последняя...

«Что я говорю! — холодеет он. — Я прошу у него прощения, я унижаюсь, я просто гибну!» — но остановиться не может и бормочет, заикается:

— Я сразу не мог порвать со Свиридовой. Она одинокая, несчастная женщина... Пойми, Саша... Я порву с ней, я все сделаю, чтобы порвать с ней... Я люблю твою мать, Саша... Ты не должен говорить матери о Свиридовой, если любишь ее... Ты это понимаешь, Саша... Пойми, Саша, что твоя мать станет несчастной... А ты ведь не хочешь, чтобы она была несчастной...

Он бормочет, заикается, дрожит, а сам видит, как на лице Саши появляется брезгливость, страх, оторопь. Саша тоже отшатывается от Ивана Николаевича.

Иван Николаевич безнадежно смотрит на замершего Сашу. По его застывшему, мертвому лицу, холодным, как металл, глазам Иван Николаевич понимает, что в этом доме ему не будет прощения. Если бы Саша даже захотел солгать, он бы не смог сделать этого — Ирина бы по Саше увидела, что случилось страшное. Они без слов понимают друг друга, эти Озолины, и через несколько часов Ирина узнает об измене. Она придет домой, увидит Сашу, мать и все поймет. Что будет? Любит ли она его настолько, чтобы простить измену? Кто знает! Эти Озолины такие люди, что не умеют прощать... Это такие люди, которые простую измену жене возведут в степень крушения целого мира...

Иван Николаевич уже спокоен и спокойно думает о том, что Ирина не простит его. А он, Иван Черепнин, любит Ирину... Он не знает, как будет жить без нее... А Саша все неподвижен, он словно окаменел, этот Саша. Вот они какие, эти Озолины! Вот в какую семью он попал... Нет, Ирина не простит его... Не простит, хотя он сделает все, чтобы она простила...

Иван Николаевич тихонько идет к дому, поднимается на крыльцо, проходит в гостиную и опасливо шагает по ней, боясь встречи с тещей.

«Почему я такой? — вдруг думает Иван Николаевич. — Главный технолог говорит, что я ни во что не верю. Может быть, я действительно ни во что не верю? А в самом деле, во что я верю? — Он усмехается своей иронической, насмешливой улыбкой. — Дело не в вере, — продолжает он. — Дело в том, что мне не везет... Многие мужчины изменяют женам, но не попадают, многие считают, что я хороший технолог, но рядом со мной случайно работает Скрябин — и я кажусь бездарью...»

Он тихо, осторожно идет в свою комнату, стараясь не скрипнуть, садится за стол и шепотом произносит:

— Нуте-с, во что же мы верим, дорогой Иван Николаевич?

Он так держит руки, словно хочет загибать пальцы, считая в уме то, во что верит. «Так во что же мы верим, дорогой Иван Николаевич?»

Чита.



С. МАРШАК

★

ЛИРИЧЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ

О слове

Как ни цветиста ваша речь,
Цветник словесный быстро вянет.
А правда голая, как меч,
Вовек сверкать не перестанет.

О моде

Ты старомоден. Вот расплата
За то, что в моде был когда-то.

О рифме и прочем

Нужна ли рифма, например?
Ведь нет же рифмы у Гомера.
А для чего стихам размер?
Пожалуй, можно без размера.

Стихам не нужно запятых,
Им ни к чему тире и точки...
Не упразднить ли самый стих?
Но как считать мы будем строчки?



Генерал армии А. В. ГОРБАТОВ



ГОДЫ И ВОЙНЫ

(Страницы воспоминаний)

Предлагаемые вниманию читателя страницы воспоминаний генерала армии Александра Васильевича Горбатова составляют часть его большой книги мемуаров, подготовляемой к печати Воениздатом. Выходец из бедной крестьянской семьи, солдат в первую мировую войну, А. В. Горбатов после Октябрьской революции встал в ряды защитников советской власти. Строительству Вооруженных Сил родины он посвятил и посвящает всю свою энергию и незаурядное дарование военачальника. В тридцатых годах он, как и многие другие заслуженные командиры Советской Армии, был оклеветан и репрессирован. В период Великой Отечественной войны А. В. Горбатов командовал дивизией, армией. Рукозодимые им соединения прошли путь от Волги до Берлина, и А. В. Горбатов был одним из комендантов столицы Германии.

1. ДЕТСТВО

Наша крестьянская семья к 1902 году состояла из отца, матери, пяти сыновей и пяти дочерей.

Отец был набожный, трудолюбивый, не пил, не курил и не сквернословил. Роста он был среднего, болезненный и худощавый, но нам, детям, казался обладателем большой силы, ибо тяжесть его руки мы часто ощущали, когда он нас хотел «поучить» — учил он нас на совесть...

Мать, тоже набожная, была добрая женщина и великая труженица. вечно озабоченная, чем накормить, во что обуть и одеть свое многочисленное семейство. Новая одежда покупалась только старшим брату и сестре, а вся старая переходила к младшим. Но мы всегда были одеты чисто, без дыр и прорех, а на заплатки не обращали внимания. Мать смотрела за коровой и лошадей, успевала работать не только по дому, а еще и в поле и в огороде — правда, с нашей посильной помощью. Даже семилетняя Аня считалась уже работницей, присматривала за тремя малышами.

К хлебу в нашей семье относились крайне бережливо. потому что своего хватало только до нового года. Мать, когда резала хлеб, тщательно соразмеряла куски: не оказалось бы чей кусочек больше и толще; в нашей, в общем, дружной семье иногда по такому поводу вспыхивала ссора, порой и потасовка. Впрочем, вмешательство отца быстро наводило порядок.

Работали мы все, но жили впроголодь. Молоко, сметана, масло — все продавали на базаре; ежегодно выпивался теляенок, но и его тоже вели на базар.

Лошади как-то «не приживались» у нас, к великому нашему горю. О хорошей рабочей лошади отец и мечтать не смел — она в те годы стоила рублей шестьдесят — семьдесят. Поэтому лошадь покупалась рублей за пятнадцать — десять, а то и за семь. Понятно, это уже была старая, изработавшаяся лошадь, находившая у нас в скором времени свой естественный конец. Это горе наша семья пережила

четырежды за десять лет. Большого труда стоило отцу и мне, его главному помощнику, содрать шкуру с худой павшей лошади, нигде не порезав; каждый порез считался изъяном и понижал стоимость. Продавалась шкура за три рубля, иногда даже за четыре рубля, и так выручалась часть стоимости живой лошади.

В нашей и окрестных деревнях существовал обычай: уходить на зиму в отхожий промысел на выделку овчин. Все мужское население, достигшее двенадцати лет, покидало свои дома до масленицы, а порой задерживалось и на первые недели великого поста, и этому все радовались: чем дольше работа, тем больше заработка, да, кроме того, и начесанной с овчин шерсти привозили больше. Женщины и девушки — те, что не работали на фабриках в городе Шуе, — всю осень и зиму пряли шерсть, вязали на продажу варежки.

Но вот наступали весна, лето. К западу от нашей деревни Пахотино находились большие леса, порубки и болота. Начиналась своеобразная «страда» — хождение по грибы, по ягоды. Однако лучшая, самая красивая ягодка отправлялась не в рот, а на базар, и грибы оставлялись для собственного потребления только с червоточинкой. Осенью брали клюкву, а после первых морозов и калину.

И мал и стар — все стремились заработать для хозяйства лишнюю копейку. Для лошади и коровы требовался объемистый фураж, да нужно было заготовить сено в запас, чтобы продать излишки на базаре — ведь за каждый воз мы получали по три-четыре рубля, — а потому косили траву везде, где она только была: в лесу, на полянах и просеках, и осоку в болоте. Выкошенное в болоте вытаскивали целую версту, идучи по поясу в воде.

В 1899 году осенью я пошел в трехгодичную церковноприходскую школу в пяти верстах от нашей деревни. Путь наш проходил через два леса и две деревни. По преданию, когда-то в одном лесу кто-то повесился; через этот лес мы пробежали. Зато через деревни проходили шумной и беззаботной толпой.

Между деревнями Овсяница и Черняткино тянулась пологая возвышенность; говорили, будто в ней зарыта лодка с золотом (почему-то именно лодка). Проходя это место, мы все мечтали о том, что когда-нибудь найдем эту лодку с золотом и чего-то несли бы накупим тогда. Осенью больше всего хотелось иметь крепкие сапоги, зимой мечтали о теплой шубе, шапке и особенно о валенках по ноге. Иногда же на это золото решали сообща выстроить дом с множеством закоулков, чтобы можно было играть в прятки.

Летом 1901 года, когда я уже умел читать, мне в руки попала книжонка о папоротнике. Узнав из нее, как цветет папоротник, я возгорелся желанием самому завладеть этим загадочным цветком. В соседних лесах было много папоротников. За три дня до Ивана Купалы я сходил в лес, осмотрел заросли, заметил подходящую кочку для сидения, а уходя, заломил кусты, чтобы в темноте безошибочно выйти к этому месту. В самый канун Иванова дня потихоньку, никем не замеченный, взял с божницы небольшой медный крест, запрятал за пазуху и в сумерки отправился в путь. Не доходя до намеченной кочки, я уже изнемогал от страха. Но вдруг меня осенила мысль: если нечистая сила так хочет заставить меня вернуться — значит, папоротник будет цвести! Дойдя до моей кочки, я концом креста очертил три раза круг (так было указано в книжке), зашел в него, трижды перекрестился, поклонился на все четыре стороны с коленопреклонением, сел на кочку и стал ждать. В левой руке зажал крест, а правую держал навывтяжку, чтобы сразу схватить цветок, который будет цвести одно мгновение. Задремал ли я, или так померещилось уставшим глазам, но вдруг что-то засветилось. Я не смел оглянуться, боясь, не уловка ли это нечистой силы, чтобы отвлечь меня от цветка, когда он появится. Но это занялась заря. Я понял, что ночь прошла и ждать больше нечего, надо возвращаться домой. Перешагнул через спасительный круг и бросился бежать без оглядки. Лишь очутившись на лугу, возле речки, я отдохнул и немножко пришел в себя, спокойно огляделся.

Солнышко вставало, поблескивала роса. Неведомая радость охватила мою измученную ночным напряжением душу. Я почувствовал такое облегчение оттого, что теперь нечистая сила не властна надо мной, что повалился на траву и заснул.

Дома никто не заметил моего отсутствия. Но вдруг до меня долетел удивленный возглас отца: «Да где же крест-то? Он ведь стоял на божнице». У меня, что называется, душа в пятки ушла: креста у меня не было! Неужели я потерял его? Если бы дознались, кто взял крест, да, главное, на какое «бесовское» дело, — мне бы крепко досталось. Я сбегал в лес и нашел крест. Вечером крест снова был на своем месте. Вновь начали удивляться: где же он был? Я молчал.

Вопрос о цветке так и остался мною нерешенным: не цвел папоротник или я заснул и прозевал его? На книжечку я почему-то рассердился и ее порвал.

Кажется, это была последняя детская фантазия о внезапном богатстве, рожденная вечной нуждой.

Весной 1902 года заканчивалась моя учеба. После экзамена я, сияющий, принес домой похвальный лист. Мать заплакала от радости, вся семья радовалась вместе со мной и хвалила меня. Но окончание школы накладывало на меня совсем уже другие обязанности по хозяйству, так как два старших брата, Николай и Иван, а также старшая сестра Татьяна работали в городе: мальчик, окончивший школу, становился помощником родителям и работал вместе с ними. Осенью отец уехал искать работу по выделке овчин, и в октябре пришло от него письмо, что он подыскал место в селе Ольшанка, Хвалынского уезда, Саратовской губернии. Он приказывал, чтобы Николай бросал работу в Шуге, забирал бы с собой Саньку и приезжал на пароходе к нему работать.

Мать провожала нас на лошади до пристани, там мы сели на пароход и поплыли по Клязьме, Оке и Волге. Помню, на рассвете мы причалили в Хвалынске; на берегу возвышались горы арбузов; долго выбирали и купили два самых крупных за три копейки. До Ольшанки нам предстояло пройти двадцать верст по размытой дождем дороге, а мы были навьючены сумками и котомками с необходимым для выработки овчин инструментом: крючьями, косами, чесалками и т. д. На наше счастье, нас нагнал крестьянин на лошади. Разговорились, он оказался жителем села Ольшанка, разрешил мне сесть на подводу, а когда выехали с крутого подъема на ровную местность, позволил положить и все вещи.

В Ольшанке дела оказалось немного, так как там было уже до нас два овчинника, работу мы закончили к половине зимы и заработали там мало; продав начесанную шерсть на месте, где она стоит гроши, мы после уплаты двадцати пяти рублей за квартиру (деньги по тому времени большие) могли бы купить билеты и вернуться домой с пустыми руками. Как быть? Даже наш твердый по характеру отец настолько был этим смущен, что посоветовался с нами.

Брат Николай тотчас предложил уехать ночью, тайком, благо паспорта были у нас на руках, а не у хозяйина: в таком случае мы сохранили бы шерсть и денег хватило бы на билеты. Я осмелился добавить, что иного выхода нет. Отец, привыкший за всю жизнь к честным поступкам, был склонен к тому, чтобы расплатиться с хозяином, продав шерсть здесь. Но брат ему доказывал свою правоту: «Хозяин — человек богатый, и он видел нашу бедность и нужду». Безвыходность положения и наша настойчивость принудили отца согласиться. Наняли мы подводу, ночью погрузились и уехали втихомолку. В Сызрани на пристани получилась непредвиденная задержка: отец хотел купить два полных билета и один четвертной, но мне уже полагался половинный. Пришлось отцу упросить соседа, чтобы он за три булки одолжил для показа своего шестилетнего мальчика. Так удалось сэкономить и на билетах. Мы с братом развеселились, когда пароход тронулся: могло ведь случиться, что хозяин пошлет за нами погоню... Отец же был по-прежнему молчалив. Он считал свой поступок дурным, и это его терзало.

Впрочем, некоторые «преступления» против имущественных прав богатых настолько вошли в крестьянский быт, что нравственная их оценка начисто отмерла, и когда мы их совершали, нас заботила лишь удача и безнаказанность.

Недалеко от нашей деревни начинались большие леса. Мы, да и все наши соседи ездили туда за хворостом. Иной раз удавалось срубить и сухое дерево и, разрубив или распилив его, тщательно замаскировать на телеге хворостом; иначе

встреча с лесником сулила неприятности. Особенно страшно было проезжать мимо его сторожки на берегу реки, как раз у моста.

Однажды, после окончания весенних работ в поле и на огороде, выдалось свободное время, и мы с отцом поехали в лес. Нам повезло: три сухих бревна лежали у нас под хворостом. Отец приказал мне ехать с возом домой, пообедать и возвратиться к нему; сам он оставался продолжать работу. Из леса можно было ехать по дороге или через луг. Через луг ехать было ближе, но надо было переезжать канаву. Провожая меня, отец строго приказал ехать по дороге. Я, конечно, обещал выполнить все так, как он приказал, но в душе решил сэкономить полторы версты и, выехав из леса по дороге, свернул на луг. Подъехав к канаве, остановился прикинуть, в каком месте лучше ее переехать, и тронул лошадь. Вдруг — о ужас! — застряв в канаве, сломалось колесо, и воз сел. Меня обуял такой страх, я так растерялся что не мог сообразить, что же делать: сваливать хворост страшно — на дне заложены три бревна, а сторожка лесника в каких-нибудь трехстах шагах; вернуться к отцу — еще страшнее. Решил отпрячь лошадь и ехать в деревню верхом. Но отец, по-видимому не очень поверив мне, вышел на опушку поглядеть и, увидев, что я поехал по лугу, стал наблюдать, как я переберусь через канаву. Только я начал отпрягать лошадь, как увидел отца, идущего ко мне. Дрожая от страха и обливаясь слезами, я ждал — что теперь со мной будет? Когда же отец был уже недалеко от меня, я бросился что было сил в лес. С опушки увидел, что отец действует по моему замыслу: выпряг лошадь и верхом поехал в деревню. Я продолжал стоять на опушке и глядеть, не появится ли лесник около воза, чтобы осмотреть его. Но лесник не появлялся. Долго я ждал возвращения отца и, не дождавшись, удрученный, вернулся в лес.

В лесу, горько плача, я упал на колени, страстно призывая бога и всех известных мне святых смягчить сердце отца. Страх перед побоями заставлял меня дрожать. Но этот же страх гнал меня посмотреть, где отец и что делает. Выйдя снова на опушку, я увидел, что отец возвращается верхом, держа в руке новое колесо, — вероятно, занял где-то. С помощью ваги отец поднял телегу и надел колесо. Мне хотелось подбежать к отцу, помочь ему, попросить прощения, но страх перебил, и я остался стоять за кустами. Сняв половину хвороста, отец запряг лошадь, и оба они, напрягая силы, старались выехать из канавы. Я уже решил: «Ну, будь что будет, выбегу к отцу». — но в это время, преодолев препятствие, отец снова наложил хворост на воз и тронулся к мосту.

Я дождался темноты и только тогда рискнул вернуться в деревню. Ночевал в клуне и почти всю ночь молился. Проснулся я, когда солнце стояло уже высоко. Подходя к дому, увидел отца. Он тоже заметил меня и направился в мою сторону. Я остановился в ожидании расправы. Но в это время поблизости послышался голос, протяжно тянувший: «Косы-серпы, косы-серпы, косы-серпы!» — и появилась обтянутая брезентом повозка. Отец круто повернул к ней.

Я уже был в избе, когда отец вернулся с двумя косами и двумя серпами и, любуясь, внимательно рассматривал покупку. «Взял в долг, — сказал он матери и довольным тоном добавил: — А ведь не обманул, правду сказал, косы-то австрийские, на них и написано не по-нашему».

Как я удивился, что отец только строго посмотрел на меня и даже пальцем не тронул! Позднее мать рассказала, как они с отцом тревожились в ту ночь, когда я не ночевал дома. Не бог со святыми угодниками, а моя мать смягчила сердце отца.

Следующей осенью отец подыскивал работу поближе к нашей деревне, чтобы не платить за дальний переезд. Устроился он неподалеку от Рязани. На этот раз Николай, наученный горьким опытом прошлого года, наотрез отказался бросать работу в Шуге. Мне пришлось ехать к отцу одному до Рязани, а дальше идти пешком. Мы приступили к работе.

Трудная, неблагоприятная и, главное, грязная это работа по выделке кож! Для начала надо было набрать у крестьян партию овчин, штук полтора. Они замачивались в речке, чтобы лучше очищались с них грязь и навоз. Вымоченные и

вымытые овчины переносились в дом, острой косою счищались с мездры остатки мяса. Потом в большие чаны с водой засыпалось пуда полтора муки, закладывались туда овчины и квасились там, а потом поступали в окончательную обработку. Запах в помещении стоял убийственный, он пропитывал всю одежду, всего человека, дышалось с таким трудом, что с непривычки в овчинной нельзя было пробыть больше десяти минут — надо было выскакивать, чтобы подышать свежим воздухом. Как неразлучная тень, тянулся этот запах кислятины за человеком и долго не выветривался. «Овчинника» можно было безошибочно узнать, вернее — «унюхать», издалека.

После сбора очередной партии овчин отец прихворнул и послал меня одного на речку. Было очень морозно: сколько градусов — не знаю, о градуснике в то время и понятия не имели в деревне. Надо было прорубить прорубь и в ней мыть овчины. Приходилось очень часто останавливаться, чтобы отогреть коченеющие руки. Работа подходила к концу, когда мои пальцы, совсем обессилевшие от холода, выпустили овчину, и ее унесло течением под лед. Я отлично понимал, какая это огромная потеря: каждая сырая овчина стоила пятьдесят—шестьдесят копеек, за выделку одной штуки в белый цвет получали тринадцать копеек, за дубленую — семнадцать, а за выделку в черный цвет — двадцать пять копеек... Я и про мороз забыл, сразу стало жарко от мысли: как сказать отцу о беде? Вернулся и ничего не сказал. Но отец несколько раз пересчитывал овчины, и одной все недоставало. Пришлось признаться, что упустил. Больно избил меня отец, да и не один раз. Сначала я терпеливо переносил наказание, чувствуя себя виноватым, но после третьей взбучки заявил, что уйду. За эту дерзость отец избил меня еще сильнее. Пересчитывая зачем-то на другой день вчерашние овчины, отец снова разгневался и опять меня избил. Тогда я окончательно решил уйти от него домой. Взяв ведро, будто иду за водой, я оставил его в сенях и отправился в Рязань, наметив свой путь вдоль узкоколейки до Владимира, оттуда на Шую и в деревню, к матери. В моем кармане не было ни гроша, одежонка «ветром подбита», но всему этому я не придавал значения. А до дома было триста верст. По узкоколейке идти оказалось очень трудно, она местами была занесена снежными перекатами. Пришлось свернуть на большую дорогу, а это значительно удлиняло путь. Проходить в день я мог бы по двадцать пять верст, но дни были очень короткие, а ночью идти было боязно: опасался волков. Я старался к ночи попасть в какую-нибудь деревню, но на ночевку пускали везде с большой неохотой, так как от меня несло кислой овчиной.

Был морозный крещенский сочельник, когда я пришел в какую-то деревню. Светила яркая луна, на улице было много молодежи. Долго ходил я от дома к дому, но все напрасно — ни одной хозяйке не хотелось, чтобы ее вымытая к празднику хата пропахла кислятиной. Горькая обида охватила меня, вдобавок я был голоден и озяб. Пройдя всю деревню, я даже заплакал от своего одиночества: куда же мне деваться? В отдалении увидел какие-то дома и побрел к ним. Оказалось, это были бани. На дверях висели замки, но струившийся из дверей пар говорил, что бани вытоплены. На одной двери замка не было. Робко толкнул я дверь и очутился в предбаннике. Там не было ни души. Тогда я открыл дверь в баню — там тоже не было никого, и я решил, что лучшего места для ночлега не найти. На счастье, в кармане оказался замерзший кусочек хлеба, а сгрыз его, ощупью нашел лавку, не раздеваясь улегся на нее, подложил под голову шапку и в полном блаженстве заснул. Сколько времени спал — не знаю, но разбудил меня какой-то грохот: что-то тяжелое упало с полка. «Домовой», — мелькнуло у меня. Вдруг, к своему ужасу, я увидел в слабом свете луны человека: голова и руки его лежали на полу у двери, а одна нога зацепилась за полочку. Я затрясся от страха. Единственная мысль — бежать. Но как? Оконце было маленькое — значит, спасение только через дверь, а там поперек лежал человек! Не помня себя, я перепрыгнул через него, распахнул дверь и, плача и крича о помощи, полетел в деревню. Там еще гуляла молодежь. Услышав мои вопли, побежали мне навстречу, начали расспрашивать, что со мной. Сквозь слезы я рассказал, как

очутился в бане и что там произошло. Дружный хохот был мне ответом. Оказываешь, вечером подобрали замерзавшего прохожего и, чтобы оттаял, положили его в баню... Наконец кто-то сжалился надо мной и пустил ночевать.

Когда я добрел в свою деревню и открыл дверь, мать замерла на месте от испуга, потом бросилась ко мне, рыдая, и все твердила: «Санька, да ты ли это, сынок? Ты живой?» Отец сообщил ей, что я исчез и никто не знает, куда я пропал. Меня оплакивали как погибшего. Даже отец, когда вернулся, не ругал меня, а подошел, ласково погладил по голове и только сказал с упреком: «Зачем ты, Санька, так сделал?» Он никогда больше не упоминал об этом случае.

В эту зиму я уже не возвратился к отцу под Рязань, но все подумывал: как бы подработать, чтобы внести свою долю в семью?

В нашей деревне в длинные зимние вечера девушки, собираясь на посиделки, пряли шерсть и вязали варежки и перчатки для продажи. Однажды подошла очередь собраться в нашей избе. Моей обязанностью было щепать лучину, вставлять ее в каганец, следить, чтобы горела хорошо и чтобы падающий нагар попадал в таз с водой. Девушки удовлетворялись таким освещением: большие мастерицы, они вязали иногда даже впотьмах, и это не ухудшало качества их работы. В тот вечер и зародилась у меня мысль, как заработать для семьи. Все эти вязаные изделия продавались в Шуе по двенадцать—тринадцать копеек за пару. «А что,— думалось мне,— если продавать эти варежки и перчатки не в Шуе, а повезти на санках туда, где вязанием не занимаются? Наверняка можно будет продать хорошо». Утром рассказал про то, что надумал, матери. Она согласилась, что так было бы выгоднее, но считала, что возить придется верст за семьдесят, а это не по силам маленькому мальчику. В детстве, лет до шестнадцати, я рос медленно и был очень маленького роста, в двенадцать лет выглядел девятилетним; поэтому мать долго считала меня «маленьким» вообще.

Гонять лошадь с малым количеством товара, имевшимся у нас, не имело смысла: все равно никакой прибыли не получилось бы. Но возможность кое-что заработать пленяла меня, да и самое путешествие казалось увлекательным. Я принялся уговаривать мать: убеждал ее, что везти легкие варежки на санках семьдесят верст для меня, прошедшего триста, совсем нипочем. Наконец с великими охами мать согласилась. Подсчитали мы, сколько пар я возьму с собой, за какую цену буду продавать. По моим вычислениям (а в арифметике я был силен) выходило, что я получу больше на три рубля по сравнению с выручкой в Шуе. Почти столько, сколько зарабатывает брат Николай за неделю. Начались сборы, чинилась моя одежда, приводились в порядок санки, взяли в долг у соседей еще семьдесят пар варежек вдобавок к тем, что имелись у нас. И вот мы с матерью выехали из дома — она провезла меня на лошади верст пятнадцать. Хорошо помню последние минуты перед расставанием. Вдвоем сняли мы санки с поклажей — два больших мешка, — по глубокому снегу завернули лошадь в обратный путь. Мать плакала, крестила меня и все повторяла: «Санька, может, вернешься? Бог с ними, с деньгами, а, Санька?» А мне и самому было жалко покидать ее. Когда она скрылась из глаз, я заревел — уж очень я любил свою мать. Потом подтянул кушак, оправил груз, впрягся в санки и отправился в путь.

Идти было нетрудно. От нашей деревни до первого торгового села было тридцать верст, я там заночевал: наутро должен был быть базар. На базаре спрос на мои варежки был большой, и я, немножко труся в душе, надбавил на каждую пару три копейки. Один мешок убавился наполовину. Обрадованный успехом, я направился в следующее большое торговое село. Проходя деревнями, лежащими на моем пути, я бодрым голосом, как настоящий коробейник, выкрикивал: «Варежки, варежки, продаю хорошие варежки!», останавливался, показывал, похваливал товар и, осмелев, продавал... уже с надбавкой в четыре копейки. Так же успешно шло дело и в следующем торговом селе, в шестидесяти пяти верстах от нашей деревни. Конечно, оставшиеся восемьдесят пар можно было бы продать и на обратном пути, но мне казалось более верным пройти еще несколько верст и продать их в каком-нибудь большом селе. Я не ошибся в своем расчете и успешно

распродал еще шестьдесят пар, надбавляя уже пять копеек. Оставалось всего двадцать пар, я решил возвращаться домой. На обратном пути расторгнулся совсем. Через несколько дней я в самом бодром настроении вернулся домой к великой радости матери и родных. «Подумать только, — говорили соседи, — такой малец, а оказался молодец!» За семь суток я заработал семь рублей десять копеек!

Ободренный успехом, я дня через три снова принялся снаряжаться в путь. Своих варежек было очень мало, пришлось покупать у соседей. Путь был знакомый, и расставание с матерью на том же месте было не столь тяжелым, как в первый раз: хотя мать и смахивала порой слезы, но иногда появлялась у нее даже улыбка.

В тот день был крепкий мороз с сильным ветром и метелью, идти было трудно, а сбиться легко. Проходя лесом, я вдруг заметил двух волков, пересекавших дорогу. Я остановился один, беспомощный, со своими варежками. Волки оглядывались в мою сторону, раз даже остановились, словно для совещания, что со мной делать, но потом скрылись в лесу. Долго стоял я в нерешительности: идти дальше или вернуться в соседнее село? Самолюбие заставило продолжать путь, но долго еще я боязливо озирался по сторонам. Вскоре меня догнала подвода и подвезла до ближайшего села.

Поскольку я приобрел уже уверенность, а также умение предлагать свой товар, дела мои шли так успешно, что за те же семь дней я заработал уже девять рублей сорок копеек. Когда я с пустыми санками возвратился домой, во всей округе заговорили о моих удачных поездках; родственники и соседи приходили смотреть на «умельца». Мать с гордостью смотрела на своего Саньку. В глазах братьев и сестер я читал уважение. А я? Я чувствовал себя героем!

Началась русско-японская война. Она требовала все новых и новых солдат. Летом это горе пришло в нашу семью: моя старшая сестра Таня, год назад вышедшая замуж за очень хорошего человека в своей же деревне, проводила на фронт мужа. Вся семья была удручена свалившейся на нее бедой. Моей матери захотелось поставить в известность своих братьев, работающих в Иванове и в Кохме. Было решено роль «вестника» возложить на меня. Адреса моих дядей записали на бумагу, а бумагу спрятали под подкладку фуражки.

Ранним летним утром я выбежал из дома босоногий. Мой путь проходил через Шую. Заночевать я решил сперва в Иванове, но там моя весть была принята довольно равнодушно. Я даже услышал в ответ. «Стоило из-за этого бежать пятьдесят верст. Других-то уж давно призвали на войну». Я посчитал это большой обидой для нашей семьи, ночевать у дяди отказался и, несмотря на усталость, ушел на ночевку в Кохму, сделав еще дополнительно двенадцать верст.

В Кохме дядя Павел встретил меня приветливо, пожалел сестру Таню, пожалел благополучного возвращения ее мужу. Очень удивился моей выносливости за один день пробежать шестьдесят две версты такому мальчугану — не шутка! Радовался, что я пришел ночевать к нему.

Утром, прощаясь с дядей Павлом и его женой, я получил в подарок серебряный гривенник — по тому времени и это были деньги! Поблагодарив их за все, я крепко жаждал гривенник в руке и тронулся в обратный путь.

Между Кохмой и Шуей было село, в середине которого стояла церковь, а рядом — дом священника с большим вишневым садом. Чтобы сократить себе дорогу, я шел по задворкам тропинкой. За изгородью сада священника я увидел изрядную кучу прошлогодних вишен. Я присел на траву, попробовал вишни — они были блестящие и сладкие, только отдавали каким-то резким запахом. Съел я этих ягод порядочно и вдруг устал, очень захотелось спать. Сколько я проспал, сказать трудно... Когда проснулся, голова была тяжелой. «Как же это? — подумал я. — Прошел всего десять верст и уснул. Наверно, заболел», — и решил идти скорее домой. Но отойдя верст восемь, вспомнил: а где же мой гривенник? Побежал назад. Поискал гривенник в траве, где спал, и, найдя, отправился дальше.

Возвратясь домой, я подробно рассказал отцу и матери, как оповестил всех

родных не только в Иванове. Кохме, но и в Шуе, как встречали меня родные, как на обратном пути наелся за поповским садом вишен, заснул и потерял было свой гривенник — словом, рассказал обо всех дорожных событиях. Монету отдал матери. Поблагодарив меня за подарок мать сказала: «Эх ты! Вишня-то была пьяная, ее и бросили за забор, чтобы домашняя птица не клевала. А ты, дурачок, ее наелся! Вот тебя и потянуло ко сну, вот и голова у тебя была тяжелая».

После неудачной поездки в Саратовскую губернию отец теперь всегда искал работу на зиму поближе к дому. Так было и в этот раз. Он сообщил письмом, что нашел работу в ста пятидесяти верстах от дома. Точно указал маршрут, которого я должен был держаться, назвал те деревни, через которые я должен был пройти, и упомянул, что в середине пути будет большой лес и в нем часовня, около которой протекает ручей с целебной водой, — мне велено было умыться из него и напиться.

Мать, как всегда, поехала на лошади проводить меня: «Все поменьше верст будешь шагать, Санька». Путь был рассчитан на шесть дней. Шел я и ночевал там, где указал отец. Наконец дошел до большого леса. Вдоль дороги вилась тропинка, и она меня привела прямо к часовне с родником, откуда вытекал ручеек светлой холодной воды. Точно выполнив отцовский наказ, умывшись в ручье, выпив воды, я помолился на часовню и обошел ее кругом. Часовня была большая, срубленная из крупных бревен, дверь заперта на огромный замок. Я знал, что у часовни всегда висят кружки для сбора даяний; я подумал, что хорошо бы и мне бросить в кружку монету — авось бог обратил бы внимание на мой дар и послал исполнение желаний. Но денег у меня не было, да и кружки у часовни не было. Я заинтересовался: почему нет кружки? Эх, какой же я дурак, подумал я, разве можно повесить кружку в таком большом лесу? Сколько ходит разных людей, они могут ее сорвать и унести. Я подошел к одному из окон часовни. Рамы в нем были забраны железной решеткой. Приглядевшись, я заметил, что в одной шипке нет стеклышка. Взглянул внутрь — и велико же было мое удивление: на полу валялось много медяков, виднелись и серебряные гривенники... С самых ранних лет я привык слышать в семье, что «деньги на полу не валяются», а тут деньги валялись на полу!

Я снял с себя груз, отдохнул, заправился куском хлеба, данным мне хозяйкой на последней ночевке, выпил еще целебной водички. Можно было идти дальше, но меня неудержимо тянуло к часовне. Обошел ее еще раз, еще раз взглянул на валявшиеся деньги и только тогда, вздохнув, тронулся в путь.

Мысль о деньгах, валяющихся на полу, лезла мне в голову. А что, если бы я попользовался ими? Разве бог не знает, как мы нуждаемся? Неужели не простит меня, если я подберу немного? Я помолюсь и пообещаю поставить ему свечку на обратном пути... Но как взять эти деньги?

Незаметно я очутился на опушке леса, недалеко виднелась деревня. Темнело, пора было останавливаться на ночевку. Горький опыт моих прежних хождений заставил искать дом не богатый и не бедный: в богатый не пустят, а в бедном не накормят — нечем. Один дом показался подходящим. Около него стояла женщина средних лет, приветливого вида. На мою просьбу пустить переночевать она спросила, откуда я, куда иду. Ответил, что я из деревни рядом с Палехом (рассчитывая, что Палех знают многие), а иду в село Лопатино, в семидесяти верстах отсюда, на помощь к отцу, который там работает по выделке овчин. Хозяйка посочувствовала мне, что прошел уже столько, а еще впереди много верст, и разрешила переночевать. Войдя в избу, она сказала хозяину, подшивавшему валенки, что привела ночлежника. Ничего не ответил хозяин, мельком взглянул на меня и что-то пробурчал под нос. Собрав на стол, хозяйка сытно накормила меня и отправила спать на лавку у двери. Но, несмотря на усталость, заснуть я никак не мог. Неотступно стояли перед глазами деньги, валяющиеся на полу.

У хозяина кончилась лавка, он стал смолить взором новый конец. Что-то толкнуло меня: вот что мне пригодится! Притворясь спящим, я внимательно следил,

куда хозяин положит вар. Утром чуть свет хозяйка зажгла лампу и пошла доить корову. Я тоже потихоньку собрался, взял кусочек вара, но не ушел в надежде, что хозяйка меня чем-нибудь покормит. Я не ошибся: она дала мне большую кружку молока, а на дорогу завернула кусок пирога с картошкой.

Горячо поблагодарив хозяйку за ее доброту, я ушел из дома. Миновал несколько дворов, свернул на задворки и повернул к часовне. В огороде лежала телега без колес, на ее деревянных осях было много застывшего липкого дегтя; наскреб я и его, завернул в тряпку и зашагал к часовне. Подойдя к ней, я испытал сильную тревогу: ведь это грех! Может, нечистая сила искушает? Но так нужны были сейчас деньги, когда отец еще ничего не заработал и сидит на чужой стороне! Как отдохнула бы мать от забот, если б у нее был хоть рубль, чтобы кое-что купить для обихода!

Долго я молился, стоя на коленях, попил из родника, потом выбрал длинную, тонкую березку, с трудом скрутил ее у корня, замазал нижний конец варом и дегтем и приступил к делу.

В отверстие разбитого окна просунул свою березку, нацелился на пятак. Он прилип, будто только того и дожидался. Работа пошла быстро. Сперва я нацеливался на пятаки, потом дошла очередь до мелких монет, изредка прилипали гривенник. Лысина на полу все увеличивалась, березка до денег доставала все труднее, да и мысль беспокоила: не разгневался бы бог. Забросив березку подальше в кусты, я подсчитал деньги и ахнул — два рубля и восемь копеек! Быстро оттер монеты от дегтя и вара, еще раз усердно помолился богу и еще раз подтвердил данное уже обещание поставить свечку. Перед хозяином дома, где я ночевал, мне было не так совестно: ведь целый фунт вара стоил одну копейку, а я взял совсем маленький кусочек. Все-таки, вернувшись на ночевку в то же село, я пошел задворками в другой конец. Еще другая тревога не оставляла в покое мою бедную голову: как спрятать деньги от отца? Все деньги ведь я хотел отдать матери.

Моему приходу отец был очень рад, но, как я ни перепрыгивал свое богатство, он в конце концов его обнаружил. Начались допросы: откуда? Пришлось выложить все начистоту. Отец отлупил, приговаривая: «Ах ты негодный! Как посмел у бога деньги взять?» Велел немедленно отнести деньги в часовню. Тут уж и я вскипел. «Ведь это три дня туда да три обратно, а помогать тебе кто будет? А я, может, и не брошу деньги в часовню, а только скажу, что бросил? Пойдем обратно, тогда и бросим». Отец просто затрясся от гнева и уже занес руку, чтобы проучить за дерзость, но я закричал: «Тронешь — уйду сейчас же». Вероятно, отец вспомнил прошлогодний случай, и все сошло мне сравнительно благополучно. Только когда мы собрали полторы сотни овчин и пора была их квасить, рубля на муку не было и бакалейщик не давал больше в долг, а я предложил взять рубль из «моих» денег, — отец снова разбушевался: «Это из каких таких твоих? Они божьи». Опять поднялась было на меня его рука. Да, видимо, отец помнил мое обещание уйти. Кроме того, как он ни ругался, все же пришлось ему взять из «моих» денег рубль... А потом нужда все более давила нас, она заставляла отца взять и остальные деньги, поворчав, что это грех и что на обратном пути мы должны положить их обратно в часовню. Он также обещал, как раньше я, поставить богу свечку. Себя я ругал ужасно, но только за то, что не догадался обменять серебро и медяки на две рублевые бумажки: спрятать их было бы легче и они попали бы к матери. Как я теперь понимаю, чувство вины перед богом у меня тогда уже почти исчезло.

Работу скоро кончили, заработали чистыми деньгами тридцать три рубля и четыре пуда шерсти. Шерсть отправили по железной дороге, а сами пошли пешком. Мне хотелось тропинками увести отца подальше от часовни, но все тропинки были занесены снегом, приходилось идти по дороге. Чтобы отвлечь внимание отца от часовни, я с ним заводил самые интересные разговоры: какую он нашел хорошую работу — заработали и денег и шерсти порядочно; как хорошо он придумал не тратить денег на билеты, а идти пешком... Когда часовня наконец мелькнула сквозь деревья, веселых разговоров я больше не мог придумать. Пришлось

затронуть горькие воспоминания: как сломалось колесо у телеги с хворостом, как пала лошадь. На последнее воспоминание отец отозвался: «Что же поделаешь, это все от бога. Хоть и заплатили за лошадь восемь рублей, но она честно отработала и за шкуру мы взяли три рубля». Я все продолжал свою болтовню. Вдруг отец вспомнил: «А где же часовня?» С самым невинным видом я сказал, что, вероятно, мы ее прошли, не заметив; но не возвращаться же туда за десять верст, уже вечереет... Если нужно, завтра утром схожу туда. А может, и не надо: бог-то везде один, придем домой и бросим в кружку в нашей церкви. «Ладно,— проворчал отец,— схожу... брошу... Одному только и верю из всего, что ты тут наговорил. — что бог везде один. А тебя-то я уж знаю, как ты деньги в кружку бросишь!»

Больше об этом разговоров не было. Так я и не узнал, ставил ли отец свечку, чтобы замолить мой грех, и опустил ли деньги в церковную кружку.

2. ЮНОСТЬ

Жизнь впроголодь стала мне наконец казаться не в жизнь. Заветным желанием было «выйти в люди». Моим старшим братьям, работавшим в городе и получавшим всего рублей по десять, надо было платить за квартиру и «харч» и всегда быть под угрозой увольнения и новых поисков работы; и все-таки братьям не хотелось возвращаться в деревню, они предпочитали жить в городе. А вот дядя Василий, брат моей матери, так тот заведовал большим мануфактурным магазином в Верхне-Уральске и получал шестьдесят рублей в месяц, иногда дарил моей матери то ситца на платье, то платки — это уже положение завидное! Может быть, в городе мне удастся достичь и большего? Такие мысли неясно бродили в моей голове.

Лето 1905 года выдалось теплое, с хорошими дождями. В лесах становилось просто тесно от грибов. Знать грибные места — всегдашняя забота грибников. Одно такое место было хорошо известно мне. Там в изобилии росли грузди и белые. Место это, конечно, держалось мною в секрете: набрать там две большие корзины самых маленьких грибов было нетрудным делом. Меня посылали часто на базар в город продавать грибы, ягоды, молочные продукты, ибо находили, что я продаю все гораздо удачнее отца или матери. Однажды, направляясь на базар, я подумал, что надо воспользоваться этим случаем и подыскать себе место в Шуе. Вскоре все грибы были распроданы. Два ведра грибов у меня купил священник Спасской церкви и договорился со мной, что я донесу их ему до дома. Дорогой он расспрашивал меня, откуда я, сколько мне лет и почему мне доверяют ездить в город самостоятельно. Мои ответы, видимо, его удовлетворили. Я же, ободренный его вниманием, в свою очередь спросил, не знает ли он подходящего для меня места в городе? Немного подумав, он сказал, что есть хозяин, которому нужен «мальчик», и отвел меня к нему. Это был торговец обувью, звали его Арсений Никанорович Бобков. Кроме лавки, он имел мастерскую и еще отдавал товар для пошивки обуви на дому. Критически оглядев меня с ног до головы, он с подозрением спросил, почему я в городе без родителей. Я без утайки рассказал, что родители послали меня продавать грибы, потому что я продаю дороже, чем они. Хозяин и священник рассмеялись, а хозяин прибавил: «Вот такого нам как раз и нужно». Совсем деловым тоном я спросил об условиях работы, но хозяин ответил: «Примерно так: четыре года бесплатно, за харч и одежду. А вообще приходи с родителями, потолкуем».

Отец не хотел меня отпускать. «Я часто болею,— говорил он,— нужен помощник». Это меня очень расстроило, и однажды, откровенно все сказав матери, я рано утром, как был — в рубашке, штанах и босиком, — ушел в Шую и явился к хозяину.

Дня через три приехали родители, долго уговаривали меня вернуться в деревню, но я наотрез отказался, и им пришлось согласиться.

Хозяин мой запомнился мне больше всего своим носом — луковницей сизо-крас-

ного цвета от постоянного пьянства — и безудержной руганью, которая сопровождала каждое его слово. Скуп он был до невероятности. Не помню дня, чтобы он не был пьян, но никогда не тратил своих денег: всегда пил за счет работавших на него мастеровых и называл это «распить магарыч». Семья у него была большая: жена, невестка с внуком и еще четверо детей. Из них старший, Александр, лет двадцати, никогда меня не обижал и по воскресеньям давал пятак за чистку его обуви. Другой сын, восемнадцатилетний Николай, был слишком похож на отца: любил вышить, играть в карты на деньги и был скуп. Двухэтажный деревянный дом заселен был до отказа: семья Бобковых вся помещалась во втором этаже; внизу, в кухне за перегородкой, жили сам хозяин с хозяйкой, а передняя половина сдавалась квартирантам.

Мне было отведено на зиму место на полатах в кухне, а летом — в сарае. Там я и прожил семь лет, до призыва на военную службу. Мои обязанности были многообразны: я был и дворником, и истопником, доставлял из города кожи в кладовую, а обувь из кладовой в магазин, во всем помогал хозяйке по дому и ухаживал за коровой, носил хозяину обед и водку. С начала второго года я стал продавать в магазине. Несмотря на свой маленький рост, я был мускулист и всю работу выполнял бегом. Казалось, хозяин был доволен мной, хотя частенько ругал.

Одевали меня отвратительно даже тогда, когда я превратился в юношу. Вся одежда шла ко мне с хозяйских плеч без малейшей переделки и в самом жалком состоянии. Но все невзгоды и колотушки (их было немало!) я переносил как будто без труда, ибо верил, что все это ступеньки к моей заветной мечте «выйти в люди». Но как хотелось человеческого к себе отношения! Спасибо Александру: с его стороны, а также и некоторых приходивших к нему товарищей я всегда встречал сочувственное отношение. Неприглядная обстановка скрашивалась добротой этих людей.

К Александру часто приходил приезжавший каждое лето на каникулы студент Рубачев. Сын бедного чиновника, он учился на стипендию и жил с матерью-вдовой бедно. Он обратил внимание на то, что я часто приношу хозяину водку. «Ох, Санька, — говорил он мне, — не пройдет и трех лет, как выучишься пить, курить и так же безобразно ругаться». На это я всегда горячо отвечал: «Никогда этого не будет». Очевидно, он не придавал серьезного значения моему ответу и, проходя в магазин, настойчиво возвращался к тому же разговору. Он заботился о моем развитии, давал решать задачи, которые в школе нам никогда не задавали, — а арифметику я любил. Однажды он как-то по-особому, не как прежде, сказал: «Я вижу, Санька, ты хорошо относишься к Александру и ко мне. Дай нам твердое слово, что никогда не начнешь пить спиртного, не будешь курить и ругаться». Не задумываясь, я ответил искренне, от всего сердца: «Клянусь, что никогда, никогда не буду пить, не буду ругаться и курить!»

Эта мальчишеская клятва сыграла большую роль в моей дальнейшей жизни. Сколько встречалось людей, насмехавшихся над моим воздержанием от водки и табака! Называли меня и больным и старообрядцем — насмешки не действовали. Встречалось и начальство, которое приказывало пить, но я и тут оставался твердым. Больше того, сколько ни было тяжелых переживаний в моей жизни — никогда мне не приходило желание забыться в водке.

Пришла, однако, пора и мне отступить от строгого исполнения обета. Во второй половине Отечественной войны, когда наметились и уже отчасти осуществились наши успехи, я как-то сказал, что в День победы нарушу свою клятву, данную в 1907 году, — тогда выпью при всем честном народе. Действительно, в День победы, в день слез и торжества, я выпил четыре рюмки красного вина под аплодисменты и возгласы моих боевых товарищей и их жен. С этого дня меня можно считать пьющим, хотя и поныне минеральную или фруктовую воду я предпочитаю алкоголю. Курить же и сквернословить не научился и до сих пор...

Но обещания не играть в карты Рубачев с меня не брал. В длинные зимние вечера мы с хозяйкой, большой любительницей карт, играли в «дурака» — я был ее безотказным партнером. Хозяину наше занятие не нравилось, он всегда ворчал,

что сжигает много керосина, хотя лампа была маленькая. Направляясь к себе за перегородку, он строго приказывал поскорее ложиться спать, а сам он засыпал мгновенно. Как-то, проснувшись, он вышел на кухню, увидел, часы показывают час ночи, а мы продолжаем сражаться в карты, и разозлился ужасно. По привычке поплевав в кулак, он размахнулся, но я нырнул под стол, а хозяин с размаху ударился о табуретку. Я выскочил в холодные сени раздетый и разутый и готчас услышал, как хозяин запер дверь на крючок. Стоя босиком на холодном полу, я страшно продрог. Но вот в кухне все стихло, моя партнерша беззвучно сняла крючок, и я прошмыгнул к себе на полати. Хозяин все стонал за перегородкой и наконец позвал: «Мать, а мать, где у нас липок?» Это был настой липовых почех на водке — растирание, любимое лекарство хозяйна от всех болей. Хозяйка ответила сонным голосом: «Там, возьми под зеркалом».

Проснулся я, как обычно, до рассвета, пошел работать во дворе; с большой охапкой нарубленных дров вернулся в кухню. Одновременно из-за перегородки вышел хозяин. Все его лицо было черным-черное и на седой бороде черные пятна. От неожиданности я выронил дрова и бросился во двор: никогда раньше не знал, что от ушиба бока чернеют лицо и борода! Оказалось, в темноте хозяин взял вместо «липка» бутылку с чернилами. Два дня он отмывался в бане, к большому развлечению соседей.

Вовлекли меня карты и в другое приключение.

В мои обязанности входила чистка сапог хозяину и его обоим сыновьям. Александр давал мне за это по воскресеньям пятак, а Николай никогда не давал ни копейки. Наоборот, узнав как-то, что у меня скопилось шесть пятаков, он загорелся желанием отобрать их у меня и, ничего не придумав другого, предложил мне сыграть с ним в карты на деньги. Я ответил, что с ним мне играть невыгодно — у меня только тридцать копеек, он забьет меня деньгами; да и карт у меня нет. Но Николай стал уверять: «Темнить больше, чем на твои деньги, не буду, а карты возьмем те, которыми ты играешь с матерью». Карты были старые и хорошо известные мне. Прикинув, что это во всяком случае уравнивает наши шансы, я согласился. «Ты полезай на сеновал, — сказал я, — а я сбегая за картами».

Прежде чем идти к Николаю, я зашел за поленницу, помолился богу, как всегда, испрашивая его помощи, чтобы обыграть Кольку, и обещал поставить свечку — подороже или подешевле, в зависимости от выигрыша. Играли в «три листика». За час я выиграл двадцать восемь копеек. В следующее воскресенье он опять позвал меня играть, и опять я выиграл — на этот раз уже шестьдесят копеек. Играл я спокойно, ибо приобрел уже некоторый опыт в денежной игре и лучше прежнего изучил карты. Колька же оказался очень азартным игроком, его горячила жадность, и вскоре он перестал удовлетворяться игрой по воскресеньям, а потребовал игры и на неделе.

Конечно, случалось и мне проигрывать, но сравнительно редко. Когда у меня скопилось больше рубля, я поторопился отдать деньги матери. В первый раз я принес ей полтора рубля. Она не хотела их брать и все допытывалась, откуда они. «Такие деньги!» — повторяла она. Когда я сказал, что деньги выиграл у Кольки, она взяла их со вздохом и очень просила больше не играть.

Кольке очень хотелось отыграться, и проигрыши его доходили уже до двух рублей. Я опасался, что Колька принесет как-нибудь новые карты, но он сам вовсе этого не хотел, так как тоже изучил нашу колоду и иногда с торжеством называл некоторые карты, желая поразить меня. Таким образом, свои удачи я имел право приписывать не моему знанию карт, а, главное, выполнению моих обещаний богу: выиграл пятьдесят копеек — свечку ставил за две копейки; выиграл рубль — за три копейки, а если случался выигрыш больший, то ставилась свечка за пятак. Колька об этом не догадывался...

Шальные деньги рождают шальные желания.

Шуя была богатым уездным городом со многими фабриками. Один из богатейших его обитателей был фабрикант Щеколдин, о котором шла молва, что имеет

он до четырех миллионов, так как к старости продал все свои фабрики и жил на проценты в роскошном, по нашим местам, особняке.

Было в Шуе большое одноэтажное здание из красного кирпича — дворянское собрание, с большим залом. Часто приезжими артистами давались в дворянском собрании спектакли; мне дважды удавалось проскользнуть туда без билета. Было всем известно, что восьмое кресло во втором ряду неизменно занимал Щеколдин — даже в его отсутствие оно оставалось свободным. Как-то мне взбрело в голову: вот бы выиграть у Кольки три рубля двадцать копеек! Я бы купил себе билет на восьмое место в первом ряду и сидел бы впереди Щеколдина! Как всегда дал обет: случится так — поставлю свечку богу.

В город приехала украинская труппа. Чтобы не опоздать купить билет именно в первом ряду на восьмое место, я прибежал к кассе задолго до открытия и за полчаса до начала спектакля был в театре.

Раздался первый звонок, публика попроще поспешила занять свои места; после второго звонка в зал потянулась публика более нарядная. Я все еще не решался войти. Но вот и третий звонок. Набравшись храбрости, я чинно направился к двери. У двери в зал стоял высокий худощавый капельдинер. Он схватил меня бесцеремонно за шиворот и потащил назад. Но я достал из кармана билет и предъявил его своему гонителю. Надо было видеть его лицо! Вероятно, это был самый трудный случай в его билетерской деятельности. Что делать? По билету надо пропустить, а по одежде — удалить. Он что-то сказал человеку, пробежавшему на сцену. Через минуту выглянул из-за двери наполовину загримированный артист и спросил, в чем дело. Указывая на меня рукой, капельдинер сказал: этот мальчишка имеет билет первого ряда, но как одет! Выглянувший человек ответил: «Если вы вернете ему три рубля двадцать копеек, можете не пускать» — и захлопнул дверь. Тогда безжалостная рука отпустила мой воротник. Я направился к своему месту.

Публика с интересом следила за маленьким скандалом, и смех в зале все усиливался. Заняв место, я оглянулся на Щеколдина: вот-де я каков! После первой оглядки послышался смех, а когда я оглянулся вторично, хохотали почти все. Многие вставали, чтобы лучше рассмотреть, почему впереди смеются. В антракте я прохаживался по коридору, ко мне подходили и неизменно спрашивали одно и то же: «Кто же купил тебе билет?» — очевидно, считая, что кто-то из людей состоятельных захотел так подшутить над Щеколдиным. Смеясь, трепали за ухо и весело приговаривали: «Ну и ухары!» Вдруг меня увидел Александр, хозяйский сын. Он был с барышней. Быстро подошел ко мне и с тревогой спросил, где я взял деньги. Совершенно спокойно, глядя ему прямо в глаза, я ответил: «Выиграл у Кольки». Успокоенный, он засмеялся, взял под руку свою барышню и отошел. Во втором и третьем действиях, к моему большому огорчению, кресло сзади было пусто. Щеколдин предпочел уйти.

На другой день в городе было много разговоров о происшествии в дворянском собрании. Слух дошел и до моего хозяина. Он сидел в трактире, когда один горговец ему сказал: «Арсений Никанорович, твой мальчишка тебя обворовывает». — «Ну, нет, этого не может быть, он малый честный». — «А знаешь ли ты, что он в субботу был в дворянском собрании и сидел в первом ряду, а билет-то стоит дороже трех рублей? Да еще сидел впереди Щеколдина». Разъяренный хозяин бросился в магазин. Закрыв своей тушей выход, хозяин зарычал: «Где, сукин сын, взял деньги на билет?» Не задумываясь, я ответил, что выиграл в карты у Кольки. Хозяин, засучив рукава, поплевал на ладонь, как настоящий кулачник, и дважды больно ударил меня кулаком. Я не стал, конечно, дожидаться следующей порции, прошмыгнул между хозяином и стенкой — и был таков. Кольку он бил три дня подряд, несмотря на то, что сын был уже одного с ним роста.

Вероятно, покажется странным, что я вспоминаю мелкие бытовые случаи, рассказывая о своей жизни в те годы, когда происходило огромной важности собы-

тие — первая русская революция, да еще в Шуе, в городе, где было мощное рабочее движение и действовал «товарищ Арсений» — Михаил Васильевич Фрунзе.

Но ничего не поделаешь — я жил в такой обстановке, так был привязан к лавке и дому хозяина, что круг моих впечатлений и интересов почти всецело ими замыкался — тем более что привычная жизнь моей собственной семьи, патриархальной и набожной, тоже меня приучила жить только повседневными мыслями о своем труде, зарплатке, о поддержании мало-мальски сносного быта. Старшие братья, работавшие на фабрике, были в моих глазах, да и в глазах наших родителей просто-напросто людьми, нашедшими себе другой, не крестьянский, способ как-то перебиться в жизни; о том, что принадлежность к рабочему классу изменила их мысли, их отношение к миру, вряд ли догадывались даже отец и мать, не говоря уже обо мне, все-таки еще мальчишке. Не считая возможным изображать себя иным, чем я был, я и пишу лишь о том, что действительно заполняло в те годы мою жизнь.

Должен сказать, что о «товарище Арсенин» я впервые услышал лишь в 1907 году — мне хорошо запомнилось возмущение рабочих в связи с его арестом. Власти считали его организатором всех забастовок в районе Иванова—Шуи и обещали, как говорили, награду в десять тысяч рублей тому, кто его доставит живым или мертвым. Как ни оберегали рабочие Арсенин, одному провокатору удалось узнать и сообщить полиции место его ночевки. Арсенин был арестован и заключен в шуйскую тюрьму. Весть об этом быстро распространилась не только по Шуе, но и по ближним к ней городам и фабрикам, и рабочие ринулись в Шую, добраясь, кто как мог. На второй день город был наводнен рабочими. В городе появился батальон пехоты, вызванный из Владимира, тюрьму оцепили войсками. Фабрики бастовали, лавки закрылись, обычная жизнь замерла. Потом разнесся слух, что Арсенин написал обращение ко всем собравшимся рабочим, вручил его делегации от них, призывая не предпринимать никаких действий во избежание бесполезного кровопролития, и тепло поблагодарил за товарищескую солидарность. На следующий день под усиленным конвоем Арсенин увезли во Владимирскую тюрьму, а в Шуе начались повальные обыски и аресты. Они продолжались недели три.

Однажды я увидел у окна магазина, где работал, своего брата Николая и вышел к нему. Николай мне сообщил, что он вынужден бежать, чтобы избежать ареста. Жену и ребенка он оставит пока в деревне, но при первой возможности заберет их к себе. Просил передать поклон родителям, всем родным. На мой вопрос, сколько у него денег, он ответил, что двадцать копеек. К несчастью, и у меня тоже было всего шестьдесят копеек. Я хотел занять у Александра, но брат не разрешил. Крепко обнялись мы с ним и попрощались. Я не знал, что в последний раз вижу брата. Только через два года его жена с ребенком уехала к нему в Сибирь, где брат устроился работать на станции Оловянная. В 1915 году он был мобилизован в армию и расстрелян в Бресте за то, что призывал солдат, ехавших с ним в одном эшелоне на войну, к неповиновению. Об этом родителям сообщил в письме солдат, не назвавший своего имени.

Через три года службы у хозяина я знал обувное дело и торговлю не хуже пожилых служащих. Покупатели охотней обращались ко мне, чем к другим продавцам, — возможно, из расчета купить у мальчишки дешевле, чем у взрослых; но приобретенные мною в разъездах с варежками навыки помогли мне и тут любую пару обуви продавать дороже, чем сам хозяин. За последние полгода я заметно подрос и, сознавая себя взрослым, решил на год раньше назначенного срока заявить хозяину, чтобы он мне платил за работу. Хозяин не удивился, только спросил: «А чего же ты хочешь?» — «Сто рублей в год, — ответил я твердо, — и по-прежнему с хозяйской одеждой и харчами». Кроме того, я поставил условие, чтобы мне белье на речку через весь город не носить и чтобы хозяин меня не бил. Договорились так: за наступающий 1908 год я получу шестьдесят рублей, а за следующий — сто рублей. Остальные условия были приняты.

3. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Шел пятый год моей службы. Я был уже заправским приказчиком. Однажды к нам в магазин вошла невысокая девушка, очень миловидная и застенчивая. Она выбрала себе туфли, тихо сказала «до свидания» и ушла. С тех пор мне очень хотелось увидеть ее, хотя бы издали. Мое желание исполнилось: она пришла купить резинки на каблуки к туфлям. Завертывая покупку, я набрался храбрости и предложил, чтобы она принесла туфли, а я привинчу резинки к туфлям. Она поблагодарила, но отказалась. Вскоре она пришла опять, уже с туфлями, и попросила привинтить резинки. Стараясь продлить ее пребывание, я привертывал как можно медленнее, а она сидела и внимательно следила за моей работой. Мы не обмолвились ни одним словом.

В лавке напротив нашего магазина служил мой приятель Ленька. Он был на год моложе меня, но гораздо бойчее с девушками. В будни мы с ним ходили гулять вдвоем. По воскресеньям Ленька отправлялся на прогулку в обществе девушек, я же бродил в одиночестве. Как-то в один из летних дней я встретил в городском саду Леньку с двумя девушками, в одной из которых я узнал так понравившуюся мне покупательницу. Как ругал я себя за глупую застенчивость, которая помешала мне подойти и присоединиться к их компании! Вероятно, мы так и не познакомились бы, если бы в другое воскресенье я опять не встретил Леньку с теми же девушками. Подойдя ко мне, он сказал, что одна из девушек хочет познакомиться со мной. Я стал отказываться, но от Леньки не так легко было отделаться. Он уговаривал меня, упрекал в невежливости и доказывал, что это знакомство меня ни к чему не обязывает. «Ну, не понравится,— сказал он,— при встречах будешь только раскланиваться».

Две девушки шли нам навстречу, Ленька сказал: «Вот она!» Оказалось, что это она, моя покупательница. Ее звали Оля, а ее подругу Вера. Ленька с Верой скоро ушли, а мы остались вдвоем с Олей. Сели на скамейку и... молчали. Ее первые слова были: «Уже поздно, пора идти домой...» Мы тихими шагами направились к ее дому, продолжая молчать. Не доходя до дома, Оля протянула руку, и мы расстались. Она, конечно, заметила, какими счастливыми глазами я смотрел на нее.

Прошло четыре месяца со дня нашего знакомства. Каждое воскресенье я встречал ее в городском саду, но всегда она была в обществе своих подружек, мы здоровались издали, а подойти я не решался.

Ленька как-то рассказал, что Оля учится «на портниху», у нее есть родители и два брата. Тот же Ленька через некоторое время доложил, что Оля удивляется моим всегдашним прогулкам в одиночестве и не понимает, почему я не захожу к ней. Я откровенно признался, что причина лишь в том, что она всегда с подругами. В следующее же воскресенье я встретил Олю одну, быстро подошел к ней, мы ходили вдвоем, сидели на скамейке часа три и... не проронили ни слова. Разошлись счастливые и печальные.

Прошло более двух лет наших молчаливых свиданий, которые одними взглядами углубляли взаимную привязанность. В сентябре 1912 года мы встретились на главной улице. Оля была чем-то взволнована. Когда стемнело, она тихо сказала: «Шура, мне надо с тобой поговорить, пойдем в переулок». Мое сердце замерло от счастья: вдруг Оля решится первой сказать о том, что чувствуем мы оба? Но она через силу прошептала: «Меня сватают за Петра». Сам не знаю, как у меня вырвалось: «Я его знаю и думаю, он будет хорошим мужем и отцом. Выходи за него». Оля заплакала и с укором сказала: «Что ты мне его расхваливаешь? Ты же знаешь, я люблю тебя». Тут я тоже заплакал и сказал, что я люблю ее так сильно, что нет у меня слов это высказать. Сквозь слезы Оля воскликнула тогда: «Шура, чего же нам ждать? Если мы любим друг друга, почему же ты советуешь?...» Не сдерживая уже своего горя, я сказал ей, что через три недели меня «забредут» в солдаты, я уйду в армию на три-четыре года; могу ли я на ней

жениться, чтобы она осталась ни жена, ни вдова? Кроме того, серьезно поговаривают о близкой войне. «Вот я и говорю тебе: выходи замуж...» Оля снова горько заплакала. Мы долго ходили по темным переулкам и впервые без всякого стеснения говорили о том, что накопилось за два с половиной года. Оля благодарила меня за верную и чистую любовь. Не стыдясь своих слез, мы плакали оба.

Через три недели меня действительно «забрили» в солдаты — в тот самый день, когда у Оли была свадьба, на которую она меня приглашала, чтобы увидеться в последний раз, но я не пошел.

4. СЛУЖБА В ЦАРСКОЙ АРМИИ. РЕВОЛЮЦИЯ

В октябре 1912 года я рассчитался со своим хозяином и поехал в деревню проститься с родителями. Потом вместе с другими призванными прибыл в Орел и был назначен в 17-й гусарский Черниговский полк. Мне приходилось слышать, что самая тяжелая служба в пехоте, а самая длинная — во флоте, поэтому я был очень доволен, что попал в кавалерию. Но кавалеристы говорили, что самая тяжелая служба именно в кавалерии: у пехотинца только винтовка, а у кавалериста и шашка, и пика, и лошадь, и седло, все требуется изучить, за всем ухаживать, особенно за лошадью — на уход за ней требуется не меньше пяти часов в день, а там еще учеба... Единственно, в чем кавалеристу легче — это то, что в походе не идешь пешком, да и то какая лошадь попадет, иная все кишки вытрясет, лучше пешком идти.

Но служба в кавалерии не показалась мне тяжелой, военная наука давалась легко, я считался исправным солдатом. Вначале мне попала одна из тех строптивых лошадей, которые не ходят шагом, а только трусят рысью, обносят препятствия и станки при рубке лозы, — лошадь, от которой вообще можно ожидать всяких неприятностей в любую минуту. Однако вскоре мне заменили ее другой лошадью, уверенно шедшей на препятствия, спокойной при рубке лозы. Лошадь эта, по кличке Амулет, в значительной степени помогла мне в усвоении конного дела.

В каждом эскадроне были свои песенники, но в нашем шестом они считались лучшими, поэтому их часто вызывали в офицерское собрание ночью, чтобы развлечь подвыпивших офицеров. Я тоже был в числе песенников. Нередко в награду мы получали двухкопеечные булki (львиная доля приходилась нашему вахмистру Щербаку).

Наш полк имел богатую боевую историю, начавшуюся с восемнадцатого века. В 1910 году он находился под командованием брата царя, великого князя Михаила Александровича. Шла молва о его большой физической силе. Как память о ней в офицерском собрании хранилась под стеклом свернутая в трубку серебряная тарелка и разорванная вся сразу колода карт. Отдельной кавалерийской бригадой командовал генерал-майор Драгомиров Абрам, сын известного генерала Драгомирова.

Молодых солдат в нашем эскадроне обучал штабс-ротмистр Свицерский. Высокий ростом, широкий в плечах, он обладал страшной силой. Службу он знал хорошо, никогда не опаздывал на занятия, но придирчив и суров был невероятно: за малейшую неточность, за оплошность бил зверски, изо всех сил. Меня он ударил один раз — плашмя обнаженным клинком по ноге выше колена, и долго у меня оставался длинный след... (В 1915 году в чине подполковника Свицерский ушел от нас, а в 1925 году мне пришлось встретиться с ним в совершенно другой обстановке. Но эту встречу я опишу позднее.)

Несмотря на то, что свободного от занятий времени было мало, мы, солдаты, все же находили возможность дружески поговорить между собой, поделиться воспоминаниями, порассуждать об офицерах; при этом судили об офицерах, как я помню, очень верно, хотя половина солдат была совсем неграмотной.

От офицеров солдаты были далеки, но с денщиками общались и от них частенько узнавали, о чем разговаривают начальники. Так мы узнали о вероятности скорого вступления России в войну. Все ожидали ее со страхом.

И вот война была объявлена.

Наш полк под командованием полковника Блохина сосредоточился в районе города Холм (теперь Хелм, в Польше). К нам присоединились уланский и драгунский полки, и таким образом была сформирована 17-я кавалерийская дивизия. Командование ею принял генерал Драгомиров. Дивизии пришлось действовать в Карпатах.

После первых успешных боев командир нашего полка полковник Блохин, произведенный в генералы, принял командование бригадой, а на его место был назначен полковник Дессино. Рослый мужчина лет пятидесяти пяти, сутуловатый, с седеющими висками, он нравился нам, солдатам, а офицеры его недолюбливали. Кто был из нас прав, солдаты или офицеры? Приведу несколько характерных для него фактов.

1. Разорвавшимся снарядом в нашем эскадроне были убиты четыре лошади. Их закопали. Когда полк продвинулся еще верст на пятьдесят, командир эскадрона рапортом командиру полка просил разрешения исключить этих лошадей из списков. На рапорте была наложена резолюция: «Лошадей откопать, шкуры содрать, по представлении квитанции о сдаче шкур лошадей из списка исключить». Три солдата (я за старшего) были посланы выполнять этот приказ. Мы отрыли лошадей, закопанных за семь дней до того, содрали шкуры и сдали под квитанцию. После этого лошади были исключены из списков.

2. Командир полка получил сведения от ветеринарного врача, что многие лошади под офицерскими вьюками оказались с набитыми спинами. Тотчас последовал приказ, чтобы вес вьюков не превышал три пуда (два чемодана по бокам, наверху постель): не выполняющие этот приказ будут строго наказаны, а излишек веса будет сниматься и уничтожаться. Примерно через неделю после одной из ночевек полк выстроили за селом. всех вьючных лошадей вывели вперед и развьючили. Появились весы, началось взвешивание. Допускалась разница в десять фунтов против приказа. Все, что превышало означенный вес, по выбору денщиков складывалось в кучу, обливалось керосином и сжигалось.

3. Однажды после ночевки полк был построен, и командир полка, обращаясь к солдатам, сказал: «Братцы, до меня дошел слух, что вас плохо кормят, короче говоря — обкрадывают. В вашем присутствии обращаю внимание всех господ офицеров на то, что они должны лучше смотреть за питанием и за своими вахмистрами, а вам, братцы-солдаты, приказываю: если будет давать порцию мяса меньше двадцати четырех золотников, приносить эту порцию непосредственно мне, минуя своих прямых командиров». После этого приказа наше питание заметно улучшилось.

4. Поскольку в горах кормить лошадей было нечем, их отправили в долину верст за двести, мы же, спешенные, остались для обороны Дуклинского перевала. Но правее нас, у города Тарнов, немцы прорвали оборону и отпустили наших на восток. Поступил приказ сниматься с обороны и нам. Рано утром командир полка собрал полк в местечке и обратился к нам со словами: «Братцы, немцы прорвали фронт правее нас, нам угрожает окружение, плен и гибель. Нам нужно в пешем строю за трое суток пройти около двухсот верст. Сумеем это сделать — сохраним наше знамя, штандарт, который наш полк с честью носит более ста лет, и мы спасем свои жизни. У господ офицеров имеются лошади, но я не позволю им сесть на них, сам я тоже не сяду, а буду идти все время впереди полка, хотя я старше вас на много лет. Для нашей славной пехоты переход в пятьдесят — шестьдесят верст не редкость — неужели мы хуже ее? Так что же вы ответите мне, братцы?» Как один, весь полк ответил дружным: «Пройдем!» Командир прося: от столь дружного ответа. Мы тронулись в путь. Действительно, командир полка все время шел впереди, опираясь на длинную, как посох, палку. После

каждого привала эскадроны менялись местами, задние переходили вперед, так как передним легче идти. К концу первого перехода некоторые офицеры, в том числе оба брата Андреевских, сыновья орловского губернатора, вышли из строя и под смех и шутки солдат разместились в повозках. К концу третьего дня половина офицеров перебралась на повозки и двуколки, так как в санитарных линиях места не хватало. Но у солдат, несмотря на сильную усталость, настроение держалось бодрое, а когда мы увидели ожидавших нас в долине лошадей, оно поднялось еще больше.

Скажу попутно несколько слов о генерале Драгомирове, командовавшем в начале войны нашей дивизией. На войне мы его видели чаще, чем в мирное время. Несмотря на свой небольшой рост, он был всадником заметным, потому что, как клещ, вливался в свою лошадь и ездил только галопом. С солдатами он общения не имел и хотя слыл храбрым полководцем, они его не любили. Со мной он заговорил только один раз. Однажды я находился в головном дозоре, завязавшем перестрелку с врагом. Минут через пятнадцать к нам подскочил генерал Драгомиров в сопровождении адъютанта и двух всадников. Выслушав мой доклад, он в бинокль внимательно осмотрел местность, приказал наблюдать и ускакал со своей свитой обратно. Через час наши эскадроны начали атаку. Говорят, генерал Драгомиров был вообще командиром решительным и часто сам находился в самых опасных местах. В конце войны он командовал уже Северо-Западным фронтом.

В дивизии наш полк считался наиболее боевым, особенно в начале войны. Помню случай, когда конница противника приняла нашу атаку. С пики наперевес помчался я навстречу приближающемуся врагу, и моя пика с такой силой пронзила его, что я сам едва удержался в седле. Думать о том, чтобы освободить пика, не было времени, и вообще не я им владел, а оно летело вихрем, захватывая меня. Выхватив саблю, зарубил еще двух врагов...

Хорошо дрались черниговцы и в пешем строю. Но помнится мне случай, позорный для полка. При общем отступлении из Галиции конница прикрывала отход наших войск, часто спешиваясь. Однажды спешенный полк отбил четыре атаки. В пятый раз враг предпринял «психическую» атаку густыми цепями, за которыми в колоннах шли роты. Полк не выдержал, отступил, а в окопах остались только два пулемета «максим» с расчетами во главе со старшими унтер-офицерами, и они одни отбили атаку. Полк вернулся на удержанную позицию со стыдом.

Два героя унтер-офицера получили по кресту первой степени и были произведены в первый офицерский чин — пралорщика. Но, к общему удивлению, их неожиданно перевели в уланский полк: господа офицеры нашего полка заявили, что они не желают подавать руку бывшим «нижним чинам»... Не все офицеры в нашем полку были настроены так, но у большинства кастовые и сословные привилегии стояли на первом плане, и такие офицеры, разумеется, не могли обеспечить моральную устойчивость солдат, подвергающуюся сильному воздействию превратностей войны.

Наступая в 1914 году, мы одерживали победу за победой, и тогда даже большие потери не оказывали удручающего действия на солдат. Но когда началось общее отступление, когда без боя оставляли кровью завоеванные территории, тогда чувство подавленности резко проявилось и часто слышались злые замечания солдат в адрес командования. Прибывающее из глубины страны пополнение еще увеличивало такое настроение своими рассказами о близком голоде, о бездарности правителей. Болезненно воспринимали солдаты и небрежное отношение офицеров к их насущным нуждам. Бывало, приближаешься к населенному пункту для ночевки — ничего не приготовлено; стоишь-стоишь, дожидаясь, когда же разместят по квартирам нас, смертельно уставших. Бывали и такие случаи: лошади уже расседланы, солдаты набрали в котелки ужин, как вдруг раздается: «Седлать!» Оказывается, надо перейти на другую улицу или в другую деревню, так как занятое нами место отведено другим. Тут уж в адрес начальников отпускается полная мера едких замечаний и ругательных слов.

Конечно, все это способствовало упадку дисциплины, наиболее заметному в обороне после длительного отступления. Солдаты падали духом, стали приписывать противнику непобедимость, не верили в прочность обороны и считали ее только отсрочкой дальнейшего отступления. Все это я видел, все это откладывалось в моей памяти и заставляло думать.

Вспоминая прошлое, я убеждаюсь, что, несмотря на все трудности, испытанные мною в юные годы, во мне еще оставалось много детских черт почти до самого ухода в солдаты. Первым своим мужским поступком я считаю добровольный отказ от любимой девушки, чтобы не сделать ее несчастной. Пусть это не покажется преувеличением. Именно этот поступок помог мне внутренне «повзрослеть» и вступить в военную жизнь достаточно зрелым, чтобы моя всегдашняя готовность ввязаться в рискованное дело превратилась в разумный риск солдата-фронтовика. Пригодилась на фронте и присущая мне с детства разумная расчетливость.

Многие мои товарищи по полку, впервые попадая на войну, боялись, думали о том, что их ранят и оставят на поле боя или убьют и похоронят в чужой земле. Поэтому они со страхом ожидали встречи с противником. Таких переживаний, сколько помню, у меня не было. (Между прочим, на фронте я обнаружил, что от бывлой религиозности, привитой с детства и сохранявшейся — впрочем, уже формально, только по привычке — в первую пору юности, теперь не осталось и следа. Там, где многие, прежде равнодушные к религии, стали частенько «уповать на бога», я уверился, что вся сила в человеке, в его разуме и воле.) Поэтому, не встречая противника, я испытывал даже разочарование и всегда предпочитал быть в разведке или дозоре, чем глотать пыль, двигаясь в общей колонне. Начальники ценили мою безотказную готовность идти в любую разведку, но, надо правду сказать, никогда не злоупотребляли этим — наоборот, очень часто удерживали меня.

Я уже сказал, что война учила меня серьезно думать о виденном и пережитом. Однако размышления о политических вопросах появились у меня позднее, под прямым влиянием революции; до того я почти целиком был занят мыслями, относящимися к повседневному военному труду. А труд этот был нелегок.

За 1914—1917 годы случалось со мною немало интересного, всего не перечесть. Расскажу хоть что-нибудь.

Однажды я был назначен начальником разезда и должен был произвести разведку. Мы двигались по шоссе, обсаженному высокими липами, держа направление к большому селу. Подходили к нему со всеми предосторожностями. Два наших дозорных кавалериста осмотрели дом, стоящий отдельно, и дали знак, что противника в нем нет. Условным сигналом я приказал им направиться в село, обследовать крайние дома, сам же с остальными солдатами поспешил к осмотренному дому. Оставил их снаружи, приказал вести внимательное наблюдение по сторонам и за дозором, сам спешил, забросил поводья на забор и только вошел в дом, как услышал два выстрела и доносящиеся снаружи крики. Выскочив из дома, я увидел, что ядро моего разезда и дозорные удирают по шоссе, преследуемые выстрелами противника. Я быстро вскочил в седло и поспежал вслед за своими. Не успел отъехать от дома и трехсот шагов, как засвистели пули. Одной из них ранило мою лошадь, она споткнулась и упала. Жалко было оставлять врагам седло, но я уже видел спешащих ко мне пехотинцев противника. Пришлось немедленно бежать к находившейся неподалеку канаве и по ней уходить.

Добежав до упавшей лошади, враги преследовать меня почему-то не стали. наших кавалеристов и след простыл.

Мой путь пересекала небольшая речка, через нее был перекинут мостик. Я было направился к нему, но увидел разезд противника, идущий к этому мосту с другой стороны, и главной заботой у меня стало, чтобы противник меня не заметил. Осмотрелся. Недалеко от моста увидел большой куст ивняка, нависший над водой, и решил, что под ним мне будет безопасней, чем под мостом, ибо сквозь ветки я хорошо смогу видеть приближающегося противника, а сам буду

от него скрыт. Я пополз по крутому берегу к кусту и засел там, держа винтовку наготове. Вскоре послышалось приближение вражеского разъезда. Вот уже он поравнялся с кустом и прошел мимо. Когда он удалился от меня шагов на пятьдесят, я выпустил ему вслед пять выстрелов, быстро перезарядил винтовку новой обоймой и начал вновь стрелять. Двое раненых остались лежать на дороге, а остальной разъезд ускорился.

Вспомнил я тогда, что на стрельбище из сорока выстрелов у меня ложились в мишень гридцать восемь; а здесь, на близком расстоянии, при наличии большой цели, было только сорок процентов попадания... Все же пленные немцы вознаградили меня за это разочарование.

Когда мы прибыли в одно местечко около Дуклинского перевала, вторая половина дня оказалась свободной — на оборонительную позицию наш эскадрон заступал лишь на следующий день. Высокие горы окружали местечко, и мне захотелось взобраться на одну из них, чтобы осмотреть окрестность. Но раньше мне не приходилось взбираться на подобные горы, и я не рассчитал времени. Гора оказалась густо поросшей лесом, я не скоро достиг вершины.

Осмотревшись по сторонам, я был поражен невиданной красотой. Внизу, у подножья, лежало местечко с уходящей за гору дорогой, по которой мы пришли сюда; вокруг высились еще более могучие горы — особенно в сторону противника, где слышались выстрелы; передо мною простиралось большое плато. «Надо его осмотреть», — решил я. Пройдя около версты, я очутился в окопах, которые не так давно занимали русские. Окопы были неглубокие и обвалившиеся. Особенно поразило меня большое количество гильз, разбросанных по окопам, и огромные их кучи там, где, по-видимому, стояли пулеметы. Вокруг валялись лопаты, вещевые порожние мешки и окровавленное обмундирование. Много увидел я здесь также могил, и ни одна не была отмечена ни надписью, ни вешкой. Удручающе действовал вид небрежно засыпанных трупов: то тут, то там выглядывало плечо, торчали ступни босых ног, руки, иногда виднелось лицо... Мне захотелось пройти в окопы противника, откуда он во время прошлых боев вел огонь по нашим. Когда я очутился в немецких окопах, они меня тоже поразили, но только совсем по-иному: окопы были глубокие, оплетенные ветками, чистота в них была абсолютная и предметов военного обихода, даже гильз, не было и в помине. На большом немецком кладбище в долине, куда я спустился, каждая могила была аккуратно оформлена, на каждой — крест с надписью о захороненном.

Я был поглощен своими мыслями и совершенно не заметил, что солнце скрылось. В быстро наступившей темноте мне вдруг стало так необъяснимо жутко, что я прибавил шаг, потом громко запел, стараясь преодолеть заползавшую в сердце тоску, и в конце концов, выйдя на тропинку, побежал и бежал без остановки, как когда-то мальчиком, когда ходил на поиски папоротникова цвета и очутился в лесу один на один с непонятной ночной жизнью.

Мы держали оборону севернее Луцка, за рекой Стырь. Нас с противником разделяло болото около двух верст шириной. Сена для кавалерийской дивизии требуется всегда много. Оно закупалось и доставлялось всегда с трудом, и это было крайне выгодно вахмистру и некоторым офицерам, немало «нагревавшим руки» на этой коммерции. Только наш друг лошадь не понимала, почему у нее изменяется норма дневного рациона, и смотрела на своего хозяина с упреком. А на болоте стояло много стогов сена; хотя оно было и плохого качества, но югда и осока считалась хорошим кормом. Сначала мы брали сено из ближних стогов, потом перешли на середину болота и стали таскать из дальних стогов, прекращая эту работу даже под пулеметным огнем. Во второй половине зимы сено приходилось таскать уже из стогов, которые находились совсем близко от противника, и, несмотря на все предосторожности, один наш товарищ попал в плен. Эти вылазки, крайне рискованные, были необходимы: невыносимо было смотреть на голод-

ных лошадей, которые съели уже даже всю побуревшую солому с крыш. Но во время вылазок за сеном мы видели на кочках еще и прошлогоднюю клюкву. Обобрали все ближние кочки, стали добираться до средних. Противник пулеметным огнем заставлял нас ползать, но все-таки мы продолжали собирать клюкву.

На сбор сена, связанный с риском, офицеры смотрели сквозь пальцы — им было выгодно, отчитываясь, собранное сено выдавать за купленное; сбор клюквы они строго запрещали. Но вылазки за ягодой продолжались. Солдат — лакомка! А вернее, всем надоедает есть из казенного котла и хочется чего-нибудь свежего и вкусного. Желание это иногда оказывается достаточно сильным, чтобы толкнуть на риск, не оправданный ничем более серьезным.

В 1915 году, когда мы уходили от Карпат, патронов у нас было по пять—десять штук на человека, снарядов же почти совсем не было. Немцы, преследовавшие нас, остановились на опушке леса, нас разделяло около тысячи шагов. На опушке виднелся небольшой домик лесника под соломенной крышей; одно его окно было обращено к нам, другое в сторону, а дверь не была видна. Все были уверены, что этот домик используется немцами. Наши офицеры, жаждущие сильных ощущений, объявили: «Кто спичкой подожжет крышу этого домика, получит Георгиевский крест». Мы с другом Сергеем изъявили желание поджечь дом; мы хотели проделать это ночью, но офицеры поставили условие: подходить можно ночью, а поджигать на рассвете. Они хотели видеть это без ущерба для своего ночного отдыха.

За час до рассвета мы залегли у проволоки противника. Когда начало светать, из окопчика за кустом, шагах в ста от нас, поднялись два немца и скрылись в лесу. По нашему мнению, это был секрет, который выставлялся на ночь к проволоке; днем, по всей вероятности, наблюдение велось где-то с опушки леса, и это заставляло нас быть очень осторожными, ибо малейшая наша оплошность была бы замечена противником. Поэтому мы продвигались к нашей цели ползком, используя высокую траву и неровности местности. Подрезав нижний ряд проволоки, поползли к той стороне дома, где не было окна. Шагах в пятидесяти остановились. Сергей остался наблюдать на месте с оружием наготове, чтобы отразить внезапную опасность, а я подполз к дому. Но только я хотел поднести к крыше зажженную спичку, как дверь отворилась и из нее вышел немец. Сергей тотчас дал выстрел по нему. Немец с криком прыгнул обратно в дом и захлопнул за собой дверь, а в это время спичка погасла и я не успел поджечь крышу. Не выполнив задания, мы пустились бегом по кустам, потом снова поползли к проходу в проволоке. Нас обстреливали с опушки, потом несколько человек бежали, крича, из дома и открыли в нашу сторону беспорядочную стрельбу. Но мы уже были за проволокой и, применяясь к местности, уходили к своим.

Офицеры и все солдаты эскадрона внимательно следили за нашей вылазкой. Многие видели, как я подходил к дому, как мы оба бросились бежать, потом упали в кусты, слышали, конечно, стрельбу и считали нас погибшими. Солдаты ругали офицеров за их затею — поджигать на рассвете, а не ночью. Все очень удивились и обрадовались нашему благополучному возвращению.

Вместо обещанных георгиевских крестов нам дали медали.

После очередного сидения в окопах нас сменили, и мы отдыхали в лесу, в пятидесяти верстах от Стохода. Однажды, получая порции мяса на обед, я взвесил их, и оказалось, что на круг в них по восемнадцати золотников вместо законных двадцати четырех. Памятуя приказ командира полка — в подобных случаях непосредственно обращаться к нему, — я так и поступил. Когда я доложил полковнику, он спросил меня, из какого я эскадрона и точно ли взвесил порции. После моего ответа он приказал идти и обещал принять меры.

Уходя от полковника, я уже раскаивался в сделанном и думал, что было бы лучше эти порции снести командиру своего эскадрона. Угрызения совести усиливались еще потому, что я знал, виноват в этом не командир, а вахмистр.

На другой день меня вызвал командир эскадрона. Мне уже было стыдно идти к нему. Командир сидел за столиком, сделанным нашими руками, и курил. Пригласил меня сесть и после паузы сказал с укором: «Зачем ты, Горбатов, обратился к командиру полка? Почему не принес эти порции мне? Неужели солдаты думают, что я мог воспользоваться вашими золотниками?» — «Нет, мы так не думаем, но таков был приказ командира полка», — ответил я. Пристально смотря на меня, он предложил папиросу, но тут же спохватился: «Да, ведь ты не куришь и не пьешь. Но в карты ты часто играешь на деньги и не проигрываешь — значит, и не голодаешь! Ты, Горбатов, хороший солдат, но мог бы быть еще лучше, если бы меньше всех учил, как жить по правде, а побольше думал бы о себе. Ведь ты имел бы уже четыре креста! Брось ты эту привычку, она тебя до добра не доведет. Но я вижу, ты раскаиваешься в своем поступке. Правда?»

Я вышел красный как рак. Ведь строгий ротмистр Сабуров был справедливее других командиров эскадронов.

Февральская революция застала нас на Стоходе. Мы, солдаты, еще ничего не знали, видели только, что офицеры почему-то растеряны: они ходили один к другому, собирались группами, что-то горячо обсуждали. Что же случилось?

Денщикам удавалось иногда услышать отдельные фразы, вроде: «все прогнило, все продажно, этого нужно было ожидать», «бездарные правители», «на краю пропасти» и т. п. Все это немедленно доводилось до нашего сведения. Начальство молчало, а «солдатский вестник» работал. Скоро мы узнали об отречении царя.

Нас интересовало отношение офицеров к этому событию, через денщиков мы старались узнать их настроение. В солдатской же среде большинство считало так: «Раз покончено с царем — значит, скоро будет покончено и с войной». Лишь немногие тревожились: как же мы будем жить без царя?

Отыскались вдруг среди нас и такие люди, которые разбирались в политике, понимали, что к чему, и старались разъяснить события солдатам. Раньше я не догадывался, что у нас в полку есть революционеры. Возможно, они со мной не заговаривали, потому что видели, как я целиком захвачен солдатским фронтовым трудом, и не считывали меня заинтересовать политикой.

Официально об отречении царя Николая II от престола нам объявили лишь через несколько дней — вероятно, ждали инструкций «сверху». Ввиду того, что мы были на передовой, нам объявляли манифест полка. Командир нашего эскадрона Сабуров — теперь уже подполковник — каким-то несвойственным ему ласковым голосом после чтения объявил нам, что наши задачи остаются прежние, что армия должна подчиняться правительству, а солдаты — своим начальникам. Будем вести войну до победного конца.

Так до поры до времени и продолжалось, воевали по-прежнему. Но «победный конец» отодвигался куда-то все дальше, и его было не видно. А вскоре после Февральской революции произошла трагедия на Стоходе.

Наша кавалерийская дивизия стояла в обороне на восточном берегу этой реки. Называлась она Стоходом, говорят, потому, что, протекая по широкой заболоченной долине, имела множество протоков — «ходов».

Осенью 1916 года непосредственно левее нас была проведена операция по захвату плацдарма на западном берегу. Ценой больших потерь плацдарм небольшой глубины был захвачен. Оборонялся он стрелковым корпусом в составе трех дивизий, из которых две находились на плацдарме, а третья — на восточном берегу. Артиллерия также почти вся находилась на плацдарме. Через долину реки были проложены три дороги с большим количеством мостов.

Немецкое командование боялось, что весной 1917 года мы перейдем в наступление с этого плацдарма, и решило ликвидировать его при первой возможности. Нашему командованию было известно, что немцы готовят такую операцию, но намеченного ими срока не знали.

Начался паводок, вся долина реки была затоплена. Наши войска стояли в тревожном ожидании.

Однажды темной мартовской ночью (кажется, это было 24 марта) к войскам, расположенным на плацдарме, перебежал немецкий солдат, по происхождению француз из Эльзас-Лотарингии. Он сообщил, что утром немецкие войска перейдут в наступление; сосредоточено большое количество артиллерии и доставлено много баллонов с отравляющими веществами. Позднее нам стало известно, что ночью наши командиры долго колебались: верить ли сведениям, полученным от перебежчика, и что делать — вводить ли третью дивизию на плацдарм для его удержания или выводить с него две дивизии? Было решено ввести третью дивизию на плацдарм и удерживать его всеми средствами.

Еще до рассвета третья дивизия корпуса была переведена на плацдарм, а с рассветом началась неслыханная нами до сих пор канонада. Огонь велся одновременно по окопам, по мостам, по артиллерии, включая стоящую на восточном берегу Стохода. За короткое время все мосты были разрушены, так как большая часть их была хорошо видна противнику. К концу артподготовки были пущены отравляющие вещества тремя волнами, одна за другой: ветер благоприятствовал противнику. Вслед за волнами газа пошли в наступление плотные цепи немецкой пехоты.

Поскольку наши войска были предупреждены о наступлении заранее, они укрылись от артогня, вовремя использовали противогазы и полностью отбили атаку противника, сами понеся сравнительно мало потерь. Но после небольшого перерыва последовало повторение артиллерийской и газовой подготовки, а затем атака пехотой. На этот раз противнику удалось частично вклиниться в нашу оборону и занять первую линию окопов. Немцы снова понесли большие потери, но еще большие потери были от огня у наших дивизий, так как укрытия были в значительной части разрушены. Когда, после третьей артподготовки, немцы ввели свежие силы, наша пехота, находящаяся на плацдарме, не могла уже оказать сопротивления, а отвести войска через залитую водой долину было невозможно. Мы потеряли и плацдарм, и три дивизии.

Не надо было быть военнообразованным, чтобы понять, какое неверное решение было принято нашим командованием. Солдаты это понимали и возмущались. Для меня же лично эта трагедия на реке Стоход стала в последующие годы, когда мне самому пришлось принимать решения, великим уроком.

Если раньше лишь самому тесному кругу солдат было известно, что солдат Муравьев — член партии большевиков, то теперь он этого не скрывал. Мы часто обращались к нему, чтобы он разъяснил, кто такие большевики, почему они так называются. Я узнал от него впервые о Ленине.

Сославшись на болезнь матери и тяжелое положение в семье, Муравьев отпросился у командира эскадрона в отпуск на неделю. На самом же деле ему надо было попасть в Петроград для ознакомления с обстановкой. Вернувшись, Муравьев рассказал, что в Петрограде творится что-то невероятное, что там фактически две власти — временное буржуазное правительство и власть рабочих Советов, где все большее влияние имеют ленинцы; долго так быть не может, и, наоборот, буржуазия власть потеряет.

Не буду рассказывать о событиях, пережитых в эти месяцы, потому что мне нечего добавить к тому, что известно читателям из множества источников.

В конце октября, по неизвестным для солдат причинам, наша дивизия перекочевала в район Нарвы. Ходили разные слухи по поводу нашего прибытия в этот район: одни говорили, что нас привезли для борьбы с «большевистской крамолью» в Петрограде, другие — для того, чтобы прикрывать Петроград от возможного наступления немецкой армии из Эстонии.

Здесь в нашей дивизии было впервые осуществлено выборное начало: вместо полковника командиром полка был избран поручик, а вместо командира эскадрона подполковника — корнет. В полковой комитет выбрали и меня — больше, вероятно, из-за хорошей боевой и товарищеской репутации, потому что в смысле

политической сознательности я вряд ли был выше среднего уровня, хотя, конечно, общественные интересы во мне уже пробудились.

Случилось так, что наша дивизия осталась в стороне от первых боев за власть Советов и от боев с германской армией, пытавшейся уничтожить Красную гвардию.

Наш полк передислоцировался в район станции Волосово и был расквартирован по близлежащим деревням. Мы знали, что с созданием армии нового типа старая армия будет демобилизована. Знали также, что кое-где солдаты, уставшие от войны и обеспокоенные тяжелым материальным положением своих семей, уходят домой, не ожидая демобилизации.

(Продолжение следует)



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. ТЕРЕНТЬЕВ

★

НА ВОТКИНСКОЙ ГЭС

Записки рабочего-монтажника

Плывем сутки, плывем вторые, а подпор Куйбышевской плотины все еще сказывается. Так и не заметили, когда распрощались с Волгой и свернули в Каму. Все та же в крупной волне водная ширь с неровной полоской лесов на далеких берегах. Минуют еще сутки, и окрестные картины стремительно меняются. Глубоководная раздольная ширь все чаще чередуется с песчаными отмелями, разбивающими речное русло на тесные извилистые протоки.

Крупные суда осторожно проходят затаившиеся перекаты-ловушки. Хуже всех приходится тут плотоведам. Караваны плотов движутся на ощупь, промеривая и просвечивая каждый метр. Но ничего — вот построим Воткинскую, а потом и за Нижне-Камскую примемся, и тогда все перекаты уйдут глубоко под воду. В последний день с восхода солнца торчим на палубе. Знакомый зуд нетерпения: да скоро ли? Но вот и последний изгиб реки. Не сбавляя хода, теплоход еще издали прицеливается к дебаркадеру. Волна за кормой разваливается крутыми пластинами. Гремит мегафон капитана. Низкий бас теплохода ударяется в близкий берег. Швартуемся с шиком.

Вещей у нас немного — по чемоданчику и рюкзаку. Налегке-то лучше — лишняя торба хуже камня на шее. Пока пассажиры потеют в бестолковой давке, с верхней палубы придирчиво осматриваем новые места, где предстоит жить и работать три-четыре года. Как будто бы ничего: лес, крутохолмье, поля на взлобках... Для уральцев это свое, привычное, родное.

Колоколов, не жалея глотки, кричит загорающим на песке парням:

— Как, братва, у вас насчет житья-бытья?

— Надо бы лучше, да лучше некуда!

— Ясно. А есть ли тут симпатичные девчата и соломенные вдовушки?

— Тех и других навалом!

— А не чинят ли здешние власти препятствий при реализации порожней посуды?

На берегу хохот.

— Ты как в воду смотрел: чинят, и весьма. Если рассчитываешь прожить на пустых бутылках — горя хлебнешь.

Колоколов в шелковой тенниске, распираемой сильной грудью. Открытое твердоскулое лицо, мускулистые, красивые руки в бронзовом загаре. Несколько ми прыжками слетает на нижнюю палубу. Пора и нам. День полный солнца. Пахнет лесом. Здравствуй, земля уральская! Вот мы и снова вернулись к тебе.

Мы — это группа спецгидроэнерго-монтажников. В обиходе нас чаще всего зовут просто «спецмонтажниками». В свое время многие из нас участвовали в сооружении Пермской ГЭС. Потом Пермский участок «Спецгидроэнерго-монтаж» перебазировался на Волгоградскую ГЭС, и мы там работали несколько лет.

Сейчас из своего состава Волгоградский участок выделяет отдельно прорабство, которому предстоит смонтировать гидросиловое оборудование Воткинской ГЭС. Наш штаб и наша опорная база будут по-прежнему находиться на Волге.

Уже через час ходим по котловану ГЭС. Смотрим, шупаем, сравниваем с тем, что видели на других стройках. На свежий взгляд хорошо все замечается. Вид у котлована строго-деловой. Нет тут обычной суетни людей и автотранспорта. Все прибрано под метелку. Впервые видим такую чистоту. «Идем министра». — сообщают нам... Ага, тогда все понятно. А мы уж подумали было, что это в честь нас так прибрано. Ну, ничего, все равно хорошо. Кругом много сборного железобетона, и это нам нравится. Кроме мощных машин, в котловане работают малые, но высокоманевренные экскаваторы и краны. Это тоже хорошо. А то затащат в котлован пару «сверхслонов», и все танцы волей-неволей придется начинать от них. Копнет раз такой «сверхслон», а после него полсотни людей зачищают вручную. А при подведении баланса сами же любители «сверхслонов» начинают энергично взъерошивать свою обычно негустую шевелюру:

— Как же так, товарищи?! Мощность машинного парка почти удвоили, а средняя выработка на каждого рабочего даже упала?!

Не нами сказано: всякий механизм хорош на своем месте. Задираем головы, стараясь определить высоту бетоновозной эстакады. Пожалуй, выше волгоградской, а потоньше, поажкуратней.

В размещении подъездных путей, в расстановке подсобных мастерских и насосных, в складировании материалов — всюду чувствуется экономный подход. С конечными выводами, однако, подождем. Котлованы крупных ГЭС — удобные места для парадов. Как же! Творческая мысль, гигантское сооружение, могучая техника, саженные буквы на лозунгах...

Для проверки первого впечатления заглядываем на подсобные предприятия и в жилые поселки. С Пермской ГЭС, на которой в свое время пришлось побывать, многое даже и сравнить нельзя, хотя обе гидростанции расположены на одной реке, в пределах одной области и условия строительства в целом-то одинаковы.

Там — бараки, дороги «пронеси господи», шершавые стены бесконечных деревянных заборов, баня на подпорках, крохотные котельные... Здесь, на таком же этапе строительства, — добротные бетонные дороги; общая, похожая на солидную ТЭЦ, котельная; компактное гравийное хозяйство; полигоны сборного железобетона, границы жилых поселков четко обозначены; в многолюдных местах — капитальные общественные уборные... И право же, иной раз такая уборная вернее отражает истинное положение дел, чем целый квартал многоэтажных домов с устрашающими колоннадами при парадных входах.

Обход укрепляет первое впечатление: на стройке есть тенденция к расчетливой, инженерной — позволим себе такое выражение — экономии.

Есть тенденция строить сразу капитально. Что ж, дай-то бог!

В конце дня прораб Виктор Миленцевич Филатов — за глаза просто Витька Филатов — вручает ключи от квартир. Это уж совсем, так сказать, приятное из приятного. Приехать — и сразу квартиры! Такого еще не бывало. На Усть-Наменогорской нашим приходилось жить и в землянках. На Пермской ГЭС многие наши монтажники довольствовались бараками. На Волгоградской ГЭС, как правило, сначала семьи получали по одной комнате в благоустроенной квартире. А здесь на каждую семью — по квартире. Колоколов заверяет:

— На следующей ГЭС каждый получит по коттеджу с ванной, газом и забегающей напрогнв.

В складчину справляем новоселье. Чемоданы вместо столов. Сидим на голом полу по-турецки. Ведем умные разговоры. Как-то здесь сработаемся? А почему бы и не сработаться? Да и первая встреча обнадеживает. Взять хотя бы эти же квартиры. По жилью можно о многом судить. Вспоминаем начальство, с которым приходилось иметь дела на ухабистых житейских дорогах. Как наш брат говорит

о начальстве? Известное дело как—уважительно, снисходительно, добродушно, со злостью, с хреном, с перцем и уже обязательно с подковырфом, даже будь начальник суший ангел. Подковырнуть своего кореша Ваньку-слесаря — тоже, конечно, удовольствие, но если подковырнешь начальника, то неделю ходишь именинником. Словно неожиданно-негаданно тебе разряд повысили.

Один из начальников строительства особенно всем запомнился. Громкое имя, широкие связи. Умел показать товар лицом. Умел бить в колокола. Но при встрече рабочий не спешил поздороваться с ним, а норовил загнать крюк в сторону.

С начальства переключаемся на вечный вопрос монтажников: эту построим, а дальше на какую? Одних по-прежнему привлекают Волга—Кама, другие соображают насчет Средней Азии. Там разворачивается очень интересная стройка — Нурекская ГЭС на реке Вахш. Плотина триста метров высоты, мощность больше Волгоградской. Да к той поре может еще выйти на повестку дня вопрос соединения Камы с Печорой. Туда тоже захочется. А Енисей? А Ангара? Вообще-то за нашим участком давно забронирована Саратовская ГЭС, но там что-то уж который год все проекты переделывают.

Самылин верен себе:

— Мне один черт, куда ехать. Лишь бы на работе поменьше разной публики стояло у меня над душой. Да пореже мне на мозги капали.

Ребята хохочут:

— Ты, Афанасевич, эти флотские замашки брось: бляха, клеш, мичманка набекрень и сам черт не брат. Все. Отгулялся.

Потом поем песни. Начинаем с «Ермака». За «Ермаком» пошел «Стенька Разин». За «Стенькой» — «Ямщик». В тот вечер сумели, кажется, добраться до «Бродяги». Кстати вспомнить: сибирская эпопея Ермака началась именно на территории Пермской области. Орел-городок, вниз по Каме до устья Чусовой и дальше по Чусовой на восток съездов толщю Каменного пояса, к истокам сибирских рек... А уж Сибирь-матушка во всяком случае заслуживает того, чтобы Тимофеевичу где-то был поставлен не сиротский, а настоящий памятник. Лет восемь тому назад на Пермской ГЭС велись такие разговоры. Якобы предусмотрено поставить памятник Ермаку при входе в водохранилище. О тех проектах что-то больше не слышать.

Встречаем много старых — по Пермской ГЭС — знакомых. Сухопарые успели совсем ссохнуть, а которые были «в геле» — стали еще глаже. Одни полысели, а другие поседели. Времечко летит, его не удержишь. У спецмонтажников свой календарь. Они не подсчитывают года, а говорят: «Это произошло, когда я был на Туломе... На Иртыше... На Волго-Доне...» А скоро, наверно, прибавится еще одна веха: «Вот когда мы загорали на Ниле». Египет последнее время часто вспоминаем. Как-то зашел разговор о храме, высеченном в скале на берегу Нила. Этот храм хотят целиком поднять над зоной затопления. С храма переключились на фараонов: что они в старину ели и пили и зачем приказали отгрохать себе такие пирамидищи?

Наш такелажник дядя Коля — он старше всех, но кряж добрый — почесал себя за ухом и изрек:

— Оно, конечно, так. Житуха тем фараонам была — сыр в масле. А вот перед смертью они паниковали. Фараон, так он фараон и есть. Пока живой, так разная кодла вокруг него роем вьется. А только умрет, то все блюдолизы сразу к друтому господину бегут. Так что по сути-то — фараон всегда один. А одному всегда страшно. Вот они заранее и приготавливали себе могилы под каменными горами, чтобы до них не добрались и не выбросили на помойку. А если люди добрым словом не вспомнят, то взглянут на эту пирамиду и матюком хотя обложат. И то память. В общем, дохлым делом от смерти отгораживались.

Такое толкование египетской истории ни у кого возражений не вызвало. Только бензорезчик Гапшин, подмигнув другим, сказал:

— Ох и ушлый ты, дядя Коля. Расписал все как по маслу. Только я ни лешего не понял.

Вскоре после нашего приезда в котлован налетел Гергерт — начальник управления основных сооружений.

— Приехали? Здравствуйте!

— Здравствуйте, Вильям Эммануилович. Приехали.

Гергерт подвижен, коренаст, словоохотлив. Ему каждую минуту надо что-нибудь делать или куда-нибудь бежать. В спокойном состоянии он не может пребывать. Дома, наверно, засыпает с газетой в руках или ложкой во рту. Закидываем «крючок»:

— Что-то вы, товарищ начальник управления, многовато тычете железа. Наверное, считаете проектировщиков за врагов внутренних, и они платят вам той же монетой. Железо подсовывают потолще, а бетон потоньше. Вот если бы блоки кубиков на тысячу. Тогда да! План в ажуре, в президиуме рядом с большим начальством, победные реляции и прочая и прочая...

Вильяма Эммануиловича встряхнуло. Температура сразу подскочила до точки кипения. В минуту от проектировщиков оставил одно мокрое место.

Почувствовав, что хвагил лишку, примирительно добавил:

— Правды ради сказать: и сам-то я не святой угодник.

Смеемся. Наш Вильям Эммануилович остался все таким же. Он из той породы людей, без которых гидростроительство, пожалуй, и немислимо. Можно быть опытным и продуктивным работником, но если кочевой, подчас почти что взбалмошной жизни предпочитаешь оседлость, то гидростроитель из тебя не выйдет. Если вместо вечных поисков новых, часто очень рискованных решений, на которых можешь погореть дважды два, предпочитаешь иметь пусть даже более напряженную, но зато заранее отмерянную и очерченную определенными рамками работу, то с таким характером в гидростроителях тоже долго не засидишься.

Профессия приучает гидростроителя прежде всего доверять фактам, потом самому себе, а уж потом всем остальным.

Понемногу обзаводимся инструментом и материалами. Основная масса рабочих участка продолжает оставаться на Волгоградской ГЭС. Там еще надо смонтировать четыре машины, в том числе одну экспериментальную.

Здесь мы, спецмонтажники, сами себе и слесаря и плотники, снабженцы и дипломаты. С металлом туго. Начальник снабжения долго вертит в руках наше «требование», ворочается на стуле, консультируется со своими помощниками и вновь перечитывает бумажку. Наконец запрошенный вес срезает наполовину — так и знали! — меняет марку проката и подписывает. Мы не прочь бы с ним поспорить, но снабженец удивительно вежливый человек, и невольно подстраиваешься под его тон. Слабо протестуем и раскланиваемся. Вдогонку он советует «самим съездить и посмотреть». Какова природа его вежливости — качество или средство? — так и остается невыясненным.

Едем и смотрим. Собственно говоря, смотреть-то нечего. Правда, вот наш вожденный двугавр № 18, но его — убогая кучка. Да и привезена она только прошлым вечером. Она даже еще не оприходована и лежит тут на правах контрабанды. Вчера весь запас № 18 заключался в... одной балке, случайно уцелевшей под кучей труб.

Расточительство, оказывается, бывает не только с жиру, но и от недостатка. Двугавр № 30 ровно вдвое тяжелее № 18, а приходится брать. Подобная история может случиться с любым материалом. Не возьмешь — погоришь с планом. А дальше можешь и с должности загреметь.

Хотя наши слесаря и намертво застрахованы от служебного понижения, шум, однако, поднимать не стали. Нагрузились № 30 и тихонько убрались восвояси. Зачем искушать судьбу? Возьмут да отберут двугавр обратно, тогда и пляши без работы. И опять прорехи в семейном бюджете.

Впрочем, здешние кумушки поговаривают, что спецмонтажники деньги гребут лопатами.

— Куда вы, милые мои, их только и тратите?

— Найдём место. Что-то не слышать, чтобы кто-нибудь пожаловался на финансовый избыток. Видишь, зеленым горошком питаемся.— И слесарь Самылин увлекает горсть стручков из оттопырившегося кармана.

Последнее время дневной рацион нашей вольницы действительно состоял наполовину из зеленого горошка. Семьи из Волгограда еще не приехали, и ветерок холостяцкой свободы преждевременно выдул все личные финансы. Вечерами ходим пастись на колхозном поле, где на силос горох посеян вместе с овсом. Овсу пока что не нашли применения, а горох ничего. Дует с него здорово, но калории есть.

С артистической ловкостью Колоколов расшелушивает стручки.

— Такое добро — да буренушкам. С ума сойти. Лопай, лопай, Афанасьич, от гастрита это первое лекарство. Только зимой от коров молока не спрашивай.

Когда из двутавра № 30 смастерили нужную конструкцию, Самылин потрогал ее носком сапога и лаконично аттестовал:

— Сила!

За Афанасьевичем потрогали и все остальные.

— Сила не сила, а при таких харчах с места ее, анафему, не сдвинешь.

Металла и так не хватает, а ежемесячно на стройке его перерасходуют. Причина одна: под рукой нет резерва. Вместо тонкого ставят толстое. Если не брать лиц, непосредственно отвечающих за перерасход, здесь существует две точки зрения.

Одни говорят:

— Все утрясется. Из толстого еще крепче получится. А перерасход спишут. А начальник монтажного отдела строительства Ильиных говорит:

— Из толстого и дурак может построить. Только зачем тогда мы, инженеры, существуем? Пока металл в дело пускается прямо с колес — перерасход его неизбежен. Где-то надо иметь резерв. Резерв даст возможность маневрировать, и любой материал будет использоваться строго по назначению.

— Министерская голова у тебя, Ильич.

— Моя голова тут ни при чем. Резервы не я придумал. Это азы любого производства. Не мертвый запас, а именно резерв, который все время находится в движении.

— Металла в стране не хватает. Сколько строим!

— Резонно. Но резервы создавать все-таки надо. Где и как — это другой вопрос, но надо. Бараки без оправданной надобности, к примеру, тоже только недавно перестали строить. Также находились люди, которые все сваливали на нехватку ресурсов. А в конечном счете на эти бараки гробили средств, как на мраморные хоромы.

Ильиных я знаю уже десяток лет. Как у многих незаурядных специалистов, у него не очень-то покладистый характер. Шипек он огребает изрядно. Не всегда у него все гладко получается, но за свое дело он всегда дерется и спуска никому не дает. Его вряд ли засадят за работу, которая не требует ни инженерных знаний, ни темперамента. А если все же засадят, то в самом нудном занятии он наверняка найдет что-нибудь новое, до сих пор от внимания других ускользавшее. В моем представлении таким и должен быть инженер.

Осень совпала с установкой статоров первых турбин. Статор турбины — это страница летописи стройки. Шахты агрегатов уже начинают на что-то походить. Во всяком случае экскурсанты не будут задавать больше таких потешных вопросов, вроде: «Дяденьки, а зачем здесь оставили такие большие дыры?» Сейчас каждому ясно: здесь быть агрегатам.

Летние перебои с металлом строителей все-таки крепко подвели. Как они ни нажимали, а с подготовкой фронта работ для спецмонтажников стали отставать.

Особенно застряли с опалубкой. Еще бы! Блоков надо готовить вдвое больше, чем летом. Гергерт громит своих: «В руках опалубщиков и арматурщиков сейчас находится судьба гидростанции».

По существу так и есть. Блоки — это бетон, а бетон — сама ГЭС.

Краем уха слышим: «У спецмонтажников время терпит».

Выжидаем. И слова полунамеком, скороговоркой: «До пуска первых агрегатов еще больше года. Надо жать на те объекты, куда можно уложить больше бетона». Сказано в обоих случаях рядовыми инженерами, но, поскольку такое мнение существует, принимаем контрмеры через партийный комитет строительства. Воспользовавшись случаем, заодно поругались насчет кранов. Когда по разнарядке кран попадает нашим, то мы выжимаем из него все, что он может дать. Машинисты отдуваются: «Уф, с вами только и работать...» Поэтому кранов нам стали давать меньше: «И так справляетесь». Вот тебе и на: кто выжимает из механизмов все, тому их выделяют меньше, а кто тянет резину, то получай, пожалуйста, кран на всю смену. Как тут не ругаться? Куликов, главный инженер управления основных сооружений (УОСа), смотрит на нас невинными глазами.

— Ваш коллектив, ребята, с другими сравнить трудно. При разнарядке кранов это приходится учитывать.

Лесья голая, ничем не прикрытая. Ох, Степан Ильич, Степан Ильич!..

Куликов хохочет:

— Как-то я должен отбиваться?! Все на меня, а краны я не рожаю. Где нужней — тому и выделяю. А вы, как старые гидростроители, должны мне сочувствовать и помогать.

Чешем затылки: вывернулся ведь!

Секретарь парткома Назаров, поставив ногу на обрезок бруса и облокотившись на колено, негромко говорит:

— Вы не теряйтесь. Требуйте свое. Хорошо работаете, и претензий к вам пока не слышать. И в будущем вы должны идти впереди. Иначе нельзя.

Оно и правда: иначе нельзя.

Здесьняя стройка идет с большим опережением сроков. Коллектив строителей сложился еще на Пермской ГЭС. Кроме того, последние зимы необычно теплые для Западного Урала. А это тоже очень и очень немаловажное обстоятельство, особенно когда вместо деревянной опалубки широко применяются железобетонные плиты-оболочки. Попробуй-ка при тридцати-сорокаградусных морозах обогреть такие блоки.

Кочевая жизнь выработала у спецмонтажников обостренное восприятие всего — как хорошего, так и плохого. Были мы на стройках более горячих, более громких и просто более знаменитых, но Воткинская ГЭС как-то сразу пришлась по душе. Здесь о своей работе говорят поскромнее, ведут себя попроще. Здесь все более буднично, но за этой будничностью стоит методическое, деловое упорство. Вотчана хорошо начали. Уже сейчас есть все данные ожидать, что на один киловатт мощностей Воткинской ГЭС потребуется значительно меньших капиталовложений, чем на любой другой крупной гидростанции, построенной в Волжско-Камском бассейне.

У любого рачительного хозяина такое течение дел не только обрадует, но и вызовет повышенный самоконтроль: а все ли ладно он делает? Но уже во всяком случае не будет сигналом начинать нервную скачку.

Памятуют о том, что на производстве действуют несколько другие законы, чем на стадионе для конноспортивных состязаний. Этот хозяин не позволит и другим сбить себя с панталыку и до конца будет держаться за трех вечных для руководителя-инженера китов: расчет, расчет и расчет. Последние время уж слишком часто к месту и не к месту стали говорить о сокращении уже сокращенных сроков, так что это вызывает настороженность. Как-то легкость веет в воздухе. Вообще, поживем — увидим...

С очередным стариком чуть-чуть было не вылетели из графика. В самые последние дни строители сумели выправиться. Спецмонтажникам вне очереди выде-

лили краны. Установку сразу повели в накальном темпе. Грузоподъемность кранов мала, и каждую «восьмушку» статора приходится брать двумя кранами. Тут нужен глаз да глаз.

Верховодит дядя Коля.

Он как дирижер: обе руки воздеты. Добродушное, крупных черт лицо его затвердевает. Резкие морщины становятся не так заметны. Эстакада вздрагивает. Здесь, на полсотни метров выше реки, порывистый ветер и секущий лицо редкий снег.

— Правый вира!

— Левый вира!

— Правому поворот, левому майна стрелой!

— Обоим ход вперед. Стоп!

— Правому поворот, левому еще майна стрелой. Стоп!

— Обоим, гаками, плавно: майна!

Двадцатитонная «восьмушка» повисает над котлованом. Внизу люди напряженно следят за спуском. Груз снижается. Командование переходит к Александру Дзюндзику. Он напоследок снова предупреждает:

— Времени, ребята, у нас кот наплакал. Быстро, но не по-дурному.

Ребята, ляскающие зубами от холода, наваливаются на железную махину. Разворачивают ее и подводят к нужному месту. Дзюндзик отшвыривает рукавицы. Показывает машинистам на мизинце:

— Вот столечко... Чуть-чуть майна... Молодцом, молодцом... Еще половинку, чуть-чуть... Ай, сапожник!.. Опять хорошо... Еще, еще... Не дрейфь, смелей!

Таких команд в инструкциях нет. Но в инструкциях также не говорится и о том, как мощными спаренными портално-стреловыми кранами «поймать» один-два миллиметра. Тут приходится изобретать что-то свое. Вот дядя Коля и настропалил машинистов соответствующим образом, и они с высоты, даже не различая толком мизинца бригадира, хорошо понимают, когда надо «столечко», а когда «полстолечка».

Звенит металл о металл. «Восьмушка» упрямо съезжает с намеченной оси. Самылин с досадой отбрасывает выломавший ему руки лом.

— Саша, она нас не трогает, давай и мы ее больше трогать не будем. Ну ее! Раз не хочет вставать, как положено, пусть так и остается. Раскрепим, а потом подтолкнем домкратами, — говорит он.

С Дзюндзиком легко работается. Он хоть и близкий земляк Тараса Бульбы, но ради одного упрямства не будет настаивать: «Як сказав, так и було». Дельный совет Саша умеет принять.

— Ладно. Нехай так и остается. Заводите анкерные болты. Вы втроем на тот конец, а остальные сюда.

Багровея, Самылин подтягивает шестидесятикилограммовый болт, сопит:

— Все железное, да все тяжелое. Лови, Петро, на гайку.

— Скоро — не споро. Туго идет. Ты резьбу зачищал? По рукам бы тебя. Забоину не спилил. Вот теперь и держи, так тебя и растак.

Колоколов ухмыляется:

— Ты, Петро, Афанасьевича-то по всякому адресу не посылай. У него сердце слабое.

Кто-то, а Афанасьевич отродясь за словом в карман не лазил, но сейчас, противоборствуя с болтом, он даже язык прикусил и промолчал. Потом ключом с саженой надставкой, одному только-только поднять, впятером затягивают болты.

Дзюндзик смотрит на часы.

— Неплохо Толя, лезь наверх. Растапливай.

Дядя Коля на эстакаде тоже не спит. Пока закрепляли первую «восьмушку», он успел подготовить вторую. С этой хлопот побольше. Ее надо не только подогнать по месту, но и спарить с первой. Ватники давно сброшены. «Восьмушка» быстро приближается, покачиваясь на тросах. Самылин залезает в нишу под ста-

тор и, согнувшись там в три погибели, караулит момент, когда отверстия в обеих «восьмушках» совместятся и можно будет просунуть в них болт. Дзюндзик нетерпеливо переступает.

— Поймал, Афанасьевич?

— Поймал ворону в зубы. Отводите дальний конец. Да полегче! Обрадовались, дуrolомы. Перекос большой, ломиком попробую.

«Восьмушка» заупрявилась всерьез. Проходит с полчаса, прежде чем удается смирить ее. Тридцать минут — срок небольшой, да и ребята крепкие, однако грудные клетки ходят ходуном. Не до разговоров. Только бригадир изредка бросает односложную фразу, и опять слышно натруженное дыхание да глухой звон металла.

Вставлен последний болт. Дальше проще. Колоколов с придыханием обрушивает первый удар кувалды на ключ. Девушка-сигналистка со страхом смотрит, как полупудовая кувалда со свистом описывает дугу у самого плеча присевшего Гапшина, направляющего ключ под удар. Но у Анатолия глаз верный и рука крепкая. Сам он слесарь-электрик, но, пока еще не начались работы по генератору, он «на подхвате», куда пошлют... Каждый кадровый спецмонтажник владеет несколькими профессиями. Полная взаимозаменяемость на сборке всех узлов сложнейшего гидроагрегата — один из главных козырей спецмонтажников. Такие коллективы складываются и цементируются в течение многих лет. Любая работа не вывалится из рук Анатолия. Особенно нравится ему там, где можно размахнуться во всю ширь. Толчея и замкнутые пространства не в его характере. В споре он такой же: одно из двух — черное или белое. Оттенков не признает. Для него пусть уж лучше черное будет белым, а белое черным — лишь бы не серым.

Таки кранов снова уплывают в морозную вышину. Часто сменяясь, монтажники продолжают стягивать оба стыка — верхний и нижний. Уже три кувалды мелькают в воздухе. Монолитная отливка гудит под ударами. Но вот, пожалуй, и хватит. Щуп уже не закусывается в местах соединения. Можно перевести дух. Самылин вылезает из-под статора, хрустит затекшими суставами, накидывает на плечи заолодевший ватник.

— Смешная бывает на свете работенка: ни встать, ни сесть...

— Еще бы не смешная. Полсмены пролежал, даже с боку на бок не повернулся.

— На следующем стыке ты полезешь.

— Зачем я у тебя буду хлеб отбивать?

Прокаленное морозом солнце повисло над Камой. Над прогреваемыми блоками висят белые облака пара. Повиснувший на арматуре сварщик, не переставая варить, бьет нога об ногу. За перемычкой потрескивает лед. К концу смены еще больше холодает. Это первые настоящие морозы в нынешнюю зиму.

— Завтра еще подбросит градусов с пяток, — говорит Самылин.

— Ничего. Подберем работенку потеплей, — обнадёживает Дзюндзик.

Немного в стороне работает бригада Югова. Павел Степанович сегодня тоже обзавелся кранами и тоже жмет. Он ведет установку закладных частей нижних ярусов. О чем-то энергично пикируется с геодезистами. Слова не доносятся, они только обозначаются вырывающимися изо рта облачками пара. Степаныч — сбитень грудь колесом, шея борца, хватка медвежья. На морозе наливается, как помидор, да глаза становятся еще уже.

Морозы нагрянули не вдруг: «С северо-востока надвинулся антициклон. Следует ожидать дальнейшего похолодания...» И сегодня никто не подозревает, что послезавтра погода круто сломается. По земле разольется необычная для декабря оттепель. Оттепель так оттепель. Нашим это на руку. Только газетчикам нельзя будет писать: «Несмотря на сорокаградусный мороз, бригады дали 150 процентов к плану, проявив при этом подлинный трудовой героизм».

Нет уж пусть не будет героизма, лишь бы было потеплей.

...Этот год запомнится надолго. Пока добираемся машиной до места работы, успеваем поговорить и о том и о сем. Дядя Коля подымается раньше всех, чтобы

прослушать радио. Мир бурлит: ассамблея, Фидель Кастро, Конго... Без споров, конечно, не обходится. Времени мало, и спорщики начинают искать арбитра. Кто им может быть? Да хоть бы Сергей Кудряшов. Сергей, ты здесь? Растолкуй-ка нам насчет Конго.

И коммунист Кудряшов, бывший офицер-фронтовик, начинает растолковывать. С международного положения переключаемся на отечественные новости: спутники, новые деньги, пуск волгоградских агрегатов...

О Воткинской ГЭС тоже начинают поговаривать. На сессии Верховного Совета ее назвали пусковой стройкой. Так что в шестьдесят первом году два агрегата вынь да положь.

Все намеченное на шестьдесят первый год спецмонтажники сделали. На совещаниях «избитые» завистливо говорят:

— Как у вас все к одному складно прилаживается? Поглядеть — как будто не очень и спешите, а угнаться за вами трудновато. Народ у вас подобран.

И впрямь все идет одно к одному. Опыт. За плечами у каждого по четыре-пять гидростанций, а дядя Коля даже помнит времена, когда на одной ГЭС детали турбин возили на волах.

«Цоб! Цоб-цоби!» А гололедица. Он: муу! — копыта врозь и мордой в землю. Весь монтаж бросает работу. Бежим вола поднимать.

Опыт опытом, но в одном ли профессиональном опыте секрет успеха?

В последнее время все чаще слышишь, что с развитием науки и техники количество инженеров все будет возрастать. Как это будет в других отраслях хозяйства — судить не берусь, но в строительном деле бесконечное увеличение числа инженеров и даже техников кажется вещь весьма сомнительной пользы. Кто радуется безграничному увеличению числа техников и инженеров, тот, видимо, исходит из предпосылки, что наш рабочий остановился на уровне тридцатых годов и с тех пор ничего толкового самостоятельно осмыслить не в состоянии.

А не будет ли верней утверждать, что современный наш рабочий в своем интеллектуальном развитии ушел от рабочего тридцатых годов гораздо дальше, чем современный инженер ушел от инженера тех лет. У нас около десятка рабочих имеют среднее образование, остальные — семь-восемь-девять классов и лишь одиночки имеют меньше семи классов. Прибавьте к этому, что многие рабочие владеют несколькими, часто совершенно не смежными профессиями; прибавьте к этому знакомство с новейшей военной техникой во время службы в армии и прибавьте к этому еще различные курсы, а также навыки в административной, комсомольской, партийной и других общественных организациях. При таком положении посторонний человек порой не сразу и разберет, кто кого учит: мастер рабочего или рабочий мастера?

Взглянем и на вторую сторону медали. Количество не должно отражаться на качестве. Вузовский уровень подготовки инженеров постоянно повышается, а между тем на производстве все чаще приходится сталкиваться с примерами полного обезличивания инженера. Он занят чем угодно, но только не тем, к чему его готовят. Он полон желания честно зарабатывать свой хлеб, но ему для этого не представляется соответствующее поле деятельности. Должность есть, а поля уже все поделены.

— Присматривайся. Встревай, — советуют ему.

А многим ли нравится, когда другие «встревают» в круг их обязанностей? Поэтому очень скоро, поглаживая свежие синяки, молодой специалист недоуменно спрашивает:

— А за что это меня так?

Его же коллегу, которого в науку привела мода или что-то подобное, такое положение вполне устраивает. Он старается никуда не «встревать», а руководствуется заповедью: «Не утруждай себя и за спинами товарищей своих проживешь многие лета».

Нынешняя зима и впрямь какая-то потешная. День Конституции проводили, а снег взял да весь стаял. Снаряжаемся на охоту. Километров двадцать — на

попутных, около того — пешака. На полях еле ноги выдираем. Лес издали кажется совсем неприветливым. Он стоит черный и поникший. Но вот уклоняешься от первой низко нависшей, роняющей холодные капли ветки, делаешь шаг в просвет между ближайшими деревьями — и сразу наступает совсем иная жизнь. Ноги легко несут вперед. Куда? А это и не так важно. Лес понимает охотничье племя и дает дышать полной грудью. Где-то не туда свернули и затесались в болото. Стемнело. Вслепую бредем за Кудряшовым. Замыкает Пономарев. Он изредка поднимает крик: «Эй ты, олень, потише ходули переставляй!»

Когда уже начали склоняться к ночевке на этом болоте, вдруг попадаем в узкую, но глубокую лощину. В крошечной тьме на четвереньках выбираемся наверх и глазам своим не верим: вот она, деревня!

Дед Василь, как всегда, сплошное радушие. Он бобыль. В деревне есть близкие, но дед предпочитает вести самостоятельную жизнь. К ним не идет. Держит корову и козу. «Если молоко пить не буду — долго не проживу». Живи, дед Василь, живи. Места на земле пока что хватает.

Плюхаемся на лавки. Не только раздеваться, даже шевелиться неохота. Дед в неизменном, похожем на киргизский халат полупальто. Перепоясан по-солдатски. Одна пола полуотгорвана.

— С кем это ты подрался, дед Василь?

— В лесу рассадил. Ходил сѣдни дрова готовить. Веза два поставил. Вот только трудно одному с пилой управляться. Потеть последнее время стал, а с чего, сам не пойму.

— А сколько же тебе лет, дед Василь?

— Да вот уж восемьдесят четыре стукнуло. — Тут дед возводит глаза к матице, мнет острый подбородок пальцами и долго подсчитывает, потом говорит: — Да нет, пожалуй, восемьдесят пять стукнуло.

Переглядываемся и, словно по команде рассмеявшись, начинаем раздеваться. Дед Василь проспать не даст.

На место пришли как раз вовремя. Проходит час, проходит второй... То в той, то в другой стороне раздаются выстрелы, а эта просека — как заколдована. Одна сорока в отдаленности перелетает с дерева на дерево и нахально верещит... Глухари показываются с левой стороны. Грузные птицы плотной стайкой летят прямо сюда. Заскакиваю за дерево. «Тройкой» не взять. Надо «нулевку». Обычно безотказная «тулка» не хочет выбросить патроны. Ломаю ногти. Пропади все пропадом! Бью дуплетом. Птицы даже направления не сменили и, прошумев крыльями, скрылись за лесом. Конечно, разве на такой высоте достанешь их «тройкой»?

Руки-ноги трясутся. Сажусь на пень. Подбегает Пономарев.

— Это, наверно, летний выводок все еще вместе держится.

— Летний или зимний — от этого не легче. Не досаждай под руку. Иди с глаз долой.

Саша смеется и направляется наперерез просеки. Ему можно смеяться. Косого и тетерку уже взял. В той стороне, куда скрылась стайка, единой очередью гремят три дуплета. Значит, тоже мазанули. Немного полегчало.

Как впоследствии оказалось, глухарей все же выследили.

Кудряшов далеко в стороне обходил гречаное поле. Он как раз остановился на опушке и решал, в какую еще сторону попытать счастья. Откуда появились глухари, он даже и не заметил. Птицы низко прошли над землей и сели у этой же опушки, метрах в двухстах от охотника. Мысль еще не успела сработать, а Сергей уже сползал ногами вперед в овражек. Мгновенно скинут рюкзак, патронташ, ватник, отстегнут ремень с ножом. Несколько патронов в карман — и вперед.

Овражек постепенно сходил на нет, приближаясь к опушке. Давно уже промок весь живот, локти, колени, потеряна где-то шапка, а Сергей все полз, отклоняя головой оголенные ветки редких кустов. Он не раз пробовал подняться из овражка, но все наталкивался на плотные заросли и, боясь спугнуть птиц, возвращался назад...

Когда охотник с великими предосторожностями поднял голову, ближний петух бежал от него метрах в сорока.

«Как лошадь, бежит», — успел подумать охотник.

Высгредив и еще не зная, достал или нет, Сергей сразу вскочил на ноги и бросился на поле. Краснобровый петух последний раз скребнул землю коваными когтями и затих. Тугие перья птицы отливали сизым блеском.

...На обратном пути еще ноги волочим. Двое из нас совсем «без поля». Счастливые делятся с ними частью добычи. Вот сейчас можно и плечи расправить. Мы тоже не лыком шиты, а охотники. Кто не верит, может в рюкзак заглянуть.

Летние и осенние передряги с материалами не обескуражили строителей. Зимой они даже сумели повысить темпы укладки бетона. Но в воздухе все сильнее начинает разноситься запах знакомой беды.

Успехи начали кое-кого сбивать с правильной ориентации, той ориентации, ради которой сами же строители на протяжении целого ряда лет не жалели усилий. По-видимому, сказывается давление извне.

Неуклонное следование генеральной схеме ведения работ, критическое отношение к всяким внешне эффективным, но экономически невыгодным методам и вариантам, трезвое осмысление опыта родственныхстроек — все вдруг оказалось под хмельком шапкозакидательства. «Мы можем пустить досрочно не два, а три и даже больше агрегатов! Сократить строительство гидроузла на год — это не предел. можно сократить еще больше!»

От инакодумающих просто отмахивались: «Не паникуйте. Вы что, не верите в силу нашего славного коллектива?»

Какие же все-таки существуют мнения насчет идеи досрочного пуска агрегатов? Серьезный это вопрос для гидростроителей или второсепенный? Попробуем оглянуться назад.

Экономисты подсчитали: сокращение сроков строительства мощных ГЭС на один год экономит десятки миллионов рублей в новом масштабе цен. Для примера возьмем Кременчугскую ГЭС. Сокращение сроков строительства этой ГЭС на один год сэкономило государству более тридцати миллионов рублей. Если же взять такие гидростанции, как Волгоградская и Воткинская, которые по своим масштабам далеко превосходят Кременчугскую, то надо думать, что выигрыш еще возрастет.

Чтобы правильно сориентироваться, надо прежде всего уяснить: а из каких статей складывается экономия?

Что значит на год раньше срока закончить строительство гидроузла?

История строительства Волгоградской и Воткинской ГЭС, имеющих однотипное гидросиловое оборудование, говорит, что если первые два-три агрегата пускаются на год раньше запланированного срока, то суммарная цифра досрочно выработанной электроэнергии составила на первой немного больше миллиарда киловатт, а на второй 850 миллионов киловатт-часов.

Поскольку средняя стоимость одного киловатт-часа в СССР в новом масштабе цен не превышает 0,8 копейки, то в денежном выражении это на обеих ГЭС не превышает и десяти миллионов рублей.

Становится очевидным, что львиную долю выигрыша приносит не досрочная эксплуатация агрегатов, а сокращение сроков строительства всего гидроузла.

На год раньше освободится многотысячный коллектив строителей и мощный парк строительной техники, как-то: краны, экскаваторы, тракторы, земснаряды, автомашины, бетонные заводы, вагоны и т. д. и т. п. За год эти люди и техника на новом месте успеют горы свернуть.

Значит, если нет чрезвычайных обстоятельств, требующих быстрее получения электроэнергии, стремление к досрочному пуску агрегатов не должно заслонять главную цель: быстрее завершение строительства гидроузла, не превышая при этом в целом плановой себестоимости работ.

Чтобы еще ясней была отправная точка рассуждений, приведу один уж совсем «любовой» пример.

К началу 1959 года на Новосибирской ГЭС было смонтировано пять агрегатов. Кто-то бросил клич: «В январе—феврале смонтируем последние две машины и пустим ГЭС на полную мощность». Для этой цели несколько десятков высококвалифицированных монтажников были переброшены самолетами с разных концов Советского Союза.

Одну машину успели собрать к началу февраля, а другую так и не успели. Во что обошлась эта затея?

Трест «Спецгидроэнергомонтаж» понес значительные потери, связанные с переброской монтажников.

От самих строителей гидростанции также потребовались значительные дополнительные затраты, чтобы обеспечить пуск агрегатов в условиях суровой сибирской зимы. Машинный зал ГЭС к той поре не имел еще ни потолка, ни стен. Пришлось временно строить тепляки, подводить по временным схемам воздушные и обогревательные магистрали, монтировать временные схемы подключения агрегатов к сети и т. д. Все временное. А во имя чего, спрашивается, если запас воды в водохранилище в то время мог обеспечить эксплуатацию самое большее трех агрегатов? К чему при таком положении было заваривать кашу, если тамошние спецмонтажники — на чем они и настаивали — могли спокойно, а значит, и с лучшим качеством, без привлечения дополнительных сил к весне собрать оба агрегата?

Зачем было строителям тратиться на всякие временные вещи, когда у них и на капитальные-то стены средств осталось в обрез?

Сочинили победный рапорт о большой производственной победе, а по сути победой и не пахло. Была голая, без единого листика, липа.

Так разве этот взятый «на ура» агрегат способствовал сокращению сроков строительства гидроузла? Рапортовать при таком положении о пуске ГЭС на полную мощность было бы равносильно рапорту весной о выполнении предстоящих осенних хлебозаготовок. Рабочего в подобных случаях больше всего бесит позиция специалистов. Почему они молчат, или шушукуются по углам, или ограничиваются скороговоркой вполголоса? Почему никто из них не выйдет на трибуну и с непримиримой категоричностью не крикнет всенародно: «Остановитесь! Мы встали на антигосударственный путь!»

Нет, не приходилось слышать таких категорических выступлений.

В последние годы все больше возрастает число производственников-инженеров и проектировщиков, все настойчивей требующих критического подхода к лозунгу «Агрегаты досрочно!», но их протесты обычно тонут в грохоте всеобщего аврала.

Суть их возражений можно обобщить примерно так.

Сейчас не война и не послевоенные годы восстановления. Стихийных бедствий вроде всемирного потопы тоже давно не случается. Народное хозяйство сделало гигантский шаг вперед. Сейчас нет объективных причин, которые бы заставляли идти на любые затраты ради досрочного получения лишней сотни миллионов киловатт-часов электроэнергии. Очень хорошо, когда берутся повышенные обязательства, но плохо, когда эти повышенные обязательства приводят к пониженным результатам. Досрочно полученная электроэнергия — золотое яичко, которое мы дарим государству. Но расплавляемся мы за это яичко из государственного же кармана, и государству далеко не безразлично, в какую цену яичко обошлось. Если для того, чтобы заставить курицу его снести, ей допрежь этого скормили целый котелок золотого зерна, то бог с ним, с этим яйцом. Сами спецмонтажники к ажиотажу вокруг агрегатов привыкли и только отмахиваются: «А ну их всех. Сколько об этом говорено, а толк где? Надо или не надо, а все «давай», «давай», «давай!»»

На партийной конференции посылаю в президиум записку: «По поводу досрочного пуска агрегатов есть ведь и другие мнения. Прошу слова».

Слова не получил. Очередь не дошла. Сам виноват. Зачем было разводить канцелярщину? Следовало просто черкнуть: «Прошу слова».

Вскоре собирается общестроительное партсоборание. Опять прошу слова. Снова очередь не дошла.

Повестка следующей партконференции: «Пуск первых двух агрегатов в шестьдесят первом году».

По случайному стечению обстоятельств от спецэнерго присутствуем только вдвоем. Напарник выступить отказался: не будем касаться скользкой темы, у спецмонтажников и кроме этого накопилось, что сказать строителям.

Проголосовали за пуск, а до представителя тех, чьими руками будут собраны эти самые агрегаты, опять очередь не дошла.

Иду за кулисы.

— Как это прикажете понять, дорогие товарищи?

— А-а, раньше надо записываться! — И дорогие товарищи на рысях проследовали мимо.

На работе своя братия подковыривает:

— А что тебе говорили? Так и получилось.

Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы не заводы. Стала вырисовываться тревожная перспектива задержки оборудования. Вспышка шапкозакидательской болезни пошла на убыль.

Завод-изготовитель «обрадовал»: рабочее колесо первой турбины отгрузят лишь в конце сентября.

Наши только руками развели: «Здорово! А когда прикажете машины монтировать?» Рабочее колесо ставится на место первым, а уж все остальное наращивается над ним. Отгружат в сентябре — получим в октябре, и тогда дело уже никакой штурмовщиной не нагонишь.

Батальни вокруг бетона отвлекли внимание строителей, и сейчас им пришлось в спешном порядке устанавливать более тесные контакты с заводами. С Волгоградской ГЭС приехал Зеберг, начальник нашего участка. Ему, опытнейшему инженеру, не потребовалось большого труда, чтобы увидеть упущения. В своей грубовато-насмешливой манере он подлил масла в огонь.

— За пять минут до нового года одну машину на обороты все-таки поставим. Правда, она нам обойдется вот так! — И он черкнул ребром ладони по горлу.

Телеграфная перестрелка между строительством, заводами и различными организациями усилилась. В обогревалке дядя Коля подвел итог:

— Дело пахнет керосином.

Частичный выход из положения нашел сам же Зеберг. Однажды он явился в самом хорошем расположении духа и, постучав по своему мощному, отполированному почти шестью десятками нелегко прожитых лет лбу, заявил:

— Здесь родилась идея.

— А стоящая, Виктор Николаевич?

— А разве бывало иначе?

— Да всяко бывало.

Посмеялись. Потом Зеберг изложил суть дела. Идея, как это часто и бывает в подобных случаях, оказалась смелой, но до удивления простой.

На заводе колесо проходит контрольную сборку. Затем его разбирают, детали покрывают консервационной краской, упаковывают и в таком «рассыпном виде» пересылают на ГЭС. А зачем, собственно говоря, полностью разбирать колесо? Не выгодней ли его разбирать только частично, уж если его невозможно перевезти по железной дороге целиком?

О таких тяжеловесных перевозках разговоры были и раньше, но железнодорожники не очень-то охотно брали груз почти в полторы сотни тонн. Да и сам завод по ряду причин до сих пор не проявлял особого энтузиазма, но сейчас вот прижало.

Высокое начальство быстро столковалось. Завод скорей отправит, да мы

быстрее соберем, так что почти месяц можем положить в карман. Главное, чтоб расшевелились, а раз расшевелились, то, значит, еще что-нибудь кто-нибудь придумает.

Зеберг долго здесь не задержится. Ему пора возвращаться в Волгоград. У кого есть к бухгалтерии какие-либо претензии или иные дела, спешат переправить все справки и письма с начальником участка.

Пока он не уехал, канючим у него то одно, то другое. Щурит глаза, по-смеивается:

— Живете, как буржуи, на полном пансоне: отдельные квартиры, охотничьи и рыбные угодья, на работу на машинах, с работы на машинах... Что вам еще надобно?

— Бильярдик бы, Виктор Николаевич, треба. Замечайте, бильярдика в красном уголке как раз и не хватает.

— Может, вам тут еще ресторан организовать?

— Вообще-то не против и ресторанчика, но вполне пока согласны на бильярд.

— И все?

— Это общая просьба, а кому что в отдельности от вас требуется, тот скажет сам.

— Ладно. Будет вам бильярд, но помните: начнется большой монтаж — я с вашей братии стружку сгоню.

— Согласны.

— А как там, Виктор Николаевич, с рыбоходом?

— Готов рыбоход. Разве не слышали?

Знать-то о пуске рыбохода мы, конечно, знали, но нам интересно знать поподробнее: хорошо в него идет рыба или нет?

Наш повышенный интерес к рыбоходу имеет свои причины: в жизни не приходилось наблюдать столько рыбы, сколько ее скапливалось перед плотиной Волгоградской ГЭС. Саженные осетры в буквальном смысле слова лезли там на бетон. Рыбоход принадлежит к тем объектам, которые должны были быть полностью готовы к моменту затопления котлована, то есть к осени 1958 года, а его начали монтировать только в 1960 году и закончили в 1961-м. Рыбоход — объект «не звучный». Разве отрапортуешь: что по нему проследовало столько-то осетров и столько-то бочек селедки? Приходится только гадать, какой ущерб был нанесен рыбному хозяйству страны...

Чем ближе к лету, тем больше сил отвлекают на себя основные сооружения. Сюда подбрасывают подкрепления из других управлений. Заместитель главного инженера строительства Иван Васильевич Кочетов по линии штаба стройки отвечает за гражданское строительство. Он пробует отстоять своих подопечных.

— Обессиливая гражданстрой, мы рубим сук, на котором сидим.

Глас Ивана Васильевича был услышан, и гражданстрой... вручили вообще весь район монтажных мастерских. Впрочем, вполне возможно, что на таком решении настоял сам же Кочетов. Уж если идти помогать в чужой монастырь, то лучше идти со своим уставом, быть там автономным хозяином. Так лучше работается. Да и сам Кочетов умеет заставить себя настроиться на основную задачу текущего момента. Его тоже давно знаем. Если упрется, то его мудрено скворчнуть. Изменений в его характере не заметно. А что касается его подопечных, то на этой стройке гражданстройевцы на весьма видном месте. Шутка ли — на первомайскую демонстрацию они вышли с рапортом о выполнении четырехмесячного плана по вводу жилья на 186 процентов! Нечасто, особенно в начале года, услышишь о таких темпах жилищного строительства.

Ну как тут опять не повторить: там, где инженерный расчет главенствует над всеми другими расчетами, там успех обеспечен. Городок стремительно растет и обещает быть очень симпатичным. Силикальцит оправдал надежды. В свое время споров вокруг силикальцита было много. Группа специалистов — энту-

зиастов нового строительного материала, куда входили и Кочетов и Ильиных, сумеет настоять на своем.

Наши на Первомай тоже не подкачали. По всем статьям уложились с перевыполнением. Из области приехал знакомый художник. Часто заглядывает в котлован. Прямо на рабочем месте рисует Колоколова.

— Очень фотогеничное лицо у вашего Толи.

Самылин висит вниз головой: приваривает растяжку. Электрод потрескивает, уши прикрыты щитком, а все-таки услышал. Выпрямился. Сел на доски. Невинно объявил:

— Слышали? У Колокольчика зверская физиономия. Без намордника его ни на шаг.

Портрет Колоколова удался. Волевое, запоминающееся лицо. Портрет нравится самому художнику. Нравится и нам. Одной Толиной жене не нравится: после того как портрет побывал на областной выставке, Толе стали присылать письма незнакомые девчата.

Бетон и земля, земля и бетон... ГЭС стремительно растет. Чем выше, тем трудней дается каждый кубометр бетона. Положение напряженное. В котловане круглые сутки режут моторы. По ночам огни электросварок сливаются в сплошное зарево. Экскаваторы начали разгрызать старую перемычку. Строители напрягают все силы, чтобы не переводя дыхания выйти на отметки, дающие возможность затопить котлован. Срыв в любом звене больно сотрясал весь организм строительства.

...Конец месяца. Самые штурмовые дни, а поток самосвалов с бетоном вдруг оборвался. Нет готовых блоков. Бетон укладывать некуда. Прямо в котловане собирается расширенное заседание партийного бюро УОСа. Присутствует начальник строительства. Гергерт со своим главным инженером Куликовым выглядят переутомившимися, но все такие же собранные, злые, готовые продолжать драку.

Вставали мастера, прорабы, инженеры штабов управлений. Слова — как бульжники. Вац — и сразу сняж! Вскрывали причины. Искали выход. Начальник строительства слушал молча. Сидел он сбывчившись, руки на столе, кулаки сжаты. В нем все кипело, и он с трудом сдерживался. Иных беспощадно обрывал:

— Не самобичуйтесь. Не сваливайте на Петра Петровича... Анализируйте... Ищите.

Вспышка произошла, когда один из прорабов проговорился.

— Что такое пилон?! Всего какие-то шестьдесят кубометров. Надо прежде всего бетонировать большие массивы.

«Большие массивы» вышли прорабу боком. Начальник строительства ударил его тяжелым взглядом и, словно готовясь к прыжку, выпрямился над столом:

— Да ты понимаешь, что такое пилон? Пилон — это дорога для телескопического крана, который будет возводить здание ГЭС. Пилон — это в конечном счете пусковые агрегаты. А ты: «какие-то шестьдесят кубометров».

Дядя Коля в таких случаях говорит: «И понес его и понес по пням и кочкам...» Остальные притихли. А что они могли возразить?! Тут всем известно, что план перевыполняется, но также всем известно, что взятые обязательства не будут выполнены, если выработка не возрастет еще больше. А кто брал обязательства? Сами же и брали. А коли взялся, то и вези. Котлован к октябрю должен быть затоплен. Неделю спустя после затопления Кама должна быть перекрыта. В конце года два агрегата должны быть пущены. Вывод получается опять тот же самый: вези.

На том и разошлись.

Домой едем на диспетчерской машине. Все тихие, вежливые под впечатлением недавней нахлобучки. Один здоровяк-прораб — ему сегодня меньше других пошло — взахлеб просвещает своих коллег:

— На каждой станции так. Все горим, горим, время уходит! А в конце года монтажники как жиманут-жиманут, смотришь — две-три машинки есть. Одна

туда-сюда утрясется, испекется, а одна-две все равно закрутятся. Полный порядочек! А все прошлое подлежит списанию. Победителей не судят.

Наконец-то Первый мостовой кран вышел на монтажную площадку. На монолитной платформе-тяжеловозе подали рабочее колесо первой турбины. Собрать его будет бригада Николая Симонова. Николай — «зажоренелый» колесник. Он жилист, сухощав, с большими кистями рук. За толстыми очками добродушно поблескивают внимательные глаза. Когда он снимает очки, его лицо неожиданно приобретает упрямое и даже жесткое выражение. Поглаживая стотонную отливку, он говорит:

— Ну, мальчики, работенка у нас есть. Не колесо — игрушка!

Югов спешно готовит ступицу ротора к посадке ее на вал генератора. Ступица весит полсотни тонн и насаживается на вал в горячем состоянии. Вал весит почти семьдесят тонн. Достаточно при посадке допустить небольшой перекосяк, или замедлить темп посадки, или совершить другую как будто бы незначительную оплошность — и обе детали преждевременно схватятся между собой. Тут хоть плачь, хоть пой: дорогостоящий и сложный в изготовлении узел превратится в глыбу металла, годного только на переплавку. Лет пять тому назад на такую операцию приехали бы инженеры из треста, а то и повыше. Сейчас же весь консилиум ограничился бригадиром и прорабом Устиновым.

— Югов, ты повторно замеры снял?

— Конечно, снял. Опять получились такие же, как и у тебя.

— Вал?

— Нормально.

— Люди?

— Наготове.

— Тогда я иду утрясать насчет крана.

— Давай.

Положение ступицы на гаке крана было отрегулировано заранее, но большие и чуткие руки дяди Коли еще и еще раз проверяют равномерность натягивания тросов. Наконец он подает команду. Ступица была посажена, и никакой заминки не произошло. Опыт и мастерство снова принесли требуемый результат.

В связи с подготовкой котлована к затоплению многих слесарей бросили на другие объекты: штопать дыры и прорехи. К концу лета все сгрудилось в кучу, и спецмонтажникам приходилось отдуваться за все сразу: за свои «доморощенные грехи», за хвосты строителей и проектировщиков, за ляпсусы заводов-изготовителей. 28 октября в обеденный перерыв начали затопление котлована. Народу собралась тьма, но все произошло буднично, по-деловому. Первый ручеек, просочившийся через перемычку, не все даже и разглядели. Раскалывая рыхлые комки песка, ручеек торопливо смахивал их со своего пути и с каждой минутой проворно расширял свое русло. Скоро целый водопад хлестал в котлован. Громкоговорители разносили слова команды, и тут же, не сменив даже интонации голоса, дикторша передает распоряжение диспетчера: «Четвертому порталному крану разгрузить армавоз». Спецмонтажники смотрят на мечущийся по берегу народ и по-сменваются:

— На Волгоградскую ГЭС бы вас. Там при затоплении котлована одних только артиллерийских залпов не было.

Такелажник Дмитриев сидит на мосту и в раздумье смотрит на бурлящую воду.

— О чем задумался, Николай Дмитриевич?

Дядя Коля снимает кепку, кладет рядом с собой.

— Простынешь. Не лето.

Лицо такелажника чуть трогает мягкая грусть.

— Да как тебе сказать. Мне почему-то в такие моменты всегда немного не по себе. Почему-то вся жизнь начинает вспоминаться. Деревня, старики на ум приходят. — Дмитриев вздохнул, плотно надел кепку.

— А ты выпей, дядя Коля. И все будет грын-трава.

Дмитриев даже не оглянулся на вмешавшегося в разговор и без улыбки отпарировал:

— Кто про что, а вшивый все про баню.

Встал и, больше обычного сутулясь, широко зашагал к монтажной площадке. К концу обеда на месте котлована плескалась взбаламученная, все еще не успокоившаяся вода да в легких водоворотах кружился строительный мусор.

Даже немного жаль стало: посторонний человек, посетивший ГЭС уже после затопления котлована, вряд ли сможет представить себе, какой титанический труд скрыт здесь под толщей речной воды.

Неделю спустя перекрыли Каму. Дул на редкость злой ветер. Поднятый песок нестерпимо сек кожу. Снова толпы народа на берегу.

Кому-то, видимо, не понравилась та будничность, с которой проходило затопление котлована ГЭС, и перекрытие Камы решили обставить соответствующим звуковым и световым оформлением. Ораторы начали от времен Чингисхана и пока добрались до последней семилетки, собравшиеся продрогли до костей. Спецмонтажники, большие доки по части подобных парадов, сперва послали на митинг своих разведчиков. Те вернулись посиневшими, с мокрыми носами: «Еще не начали. Митингуют все». Зато само перекрытие прошло как по писаному.

... Четкий, не сбивающийся с ритма поток тяжелых «МАЗов». Вздымая каскады воды, в Каму непрерывно обрушиваются тяжелые бетониты, крупный камень, гравий с глиной. В ближних тылах экскаваторы без устали чавкают литыми челюстями, загружая самосвал за самосвалом.

Сперва Кама словно и не обращает внимания на усилия людей. Конвейер «МАЗов» убыстряет ход. Непрерывно вздымаются каскады. Наплавной мост выгибается волнами.

Кама начинает проявлять беспокойство. Подводная гряда рассекает речное русло на отдельные струи. Где сильнее бьет — туда и груз. Река заметалась. Бешеные водовороты подхватывали и далеко относили трехтонные бетониты. Если бетонит все-таки успевал задержаться на гребне, его сворачивало с места и волкло в пучину. Но гряда немолимо росла, и скоро пунктир обнажившихся камней пересек реку. Узкие щели забивались глиной. Река захлебнулась, полезла вверх. Сменив направление, полилась через пролеты в бетонной плотине. В штурм подключилась целая флотилия стоявших наготове земснарядов. Лавины гравия и песка обрушились на только что насыпанную гряду. К вечеру земснаряды окончательно закрепили успех. Там, где недавно плыли пароходы, пролегла спрессованная насыпь.

Гидромеханизаторы оказались на высоте. До холодов они успели намыть в тело плотины миллион двести тысяч кубометров грунта.

Начальник строительства по этому поводу сказал:

— Честь и хвала гидромеханизаторам!

Наконец-то и гидромеханизаторы удостоились чести приобщиться к лицу героев. А то до сих пор на них сыпались одни синяки и шишки. Всегда они были виноваты или не всегда, но не проходило ни одной конференцин, ни одного собрания, где бы им не мыли кости, не говорили:

— Возможно, вы, дорогие руководители гидромеханизации, надели на себя рубахи на два размера больше своего роста?

С перекрытием Камы накал переместился на агрегаты. Гигантский машинный зал сотрясался от рева компрессоров, надсадно вздыхали пневматические барсы, выли шлифовальные машинки. Копоть от электросварки и бензорезов сседала на напряженные лица монтажников и стекала с них густыми потеками. Часто распаивались ворота, и паровоз вталкивал очередной вагон с оборудованием. Дядя Коля со своими помощниками крутились как белки в колесе. В тесноте им приходилось рассредоточивать сотни тонн непрерывно поступающих грузов и быстро подавать бригадам нужные детали. Дядя Коля и молодого загонит. Ребята жались:

— С дядей Колей порой даже неудобно. Только отвернешься перевести дух, а он уже свою работу делает.

Такелажник пожимает плечами:

— Если устал, то передохни. Кто тебя гонит?

Если для спецмонтажников и электромонтажников началась страда, то строителей после перекрытия реки словно подменили. Работы по зданию ГЭС отстали от всех намечавшихся и перенамечавшихся графиков. Мостовые краны застряли над вторым агрегатом. Ансамбль усовцев, гражданстроевцев, гидроспецстроевцев и арматурщиков вдруг затрещал по всем швам. Участники его усердно спихивали друг на друга все малые и большие грехи.

Требовалась немедленная и крутая перестройка. Вмешался партком. Он собрал совещание с повесткой: «Положение дел на пусковых агрегатах».

От спецмонтажников докладывал главный инженер участка Рудник. Начал он устрашающе:

— Пусть никто не попеняет, если придется кое-кого вывести на чистую воду.

А кончил во благодати:

— Все мы друзья, все мы братья. Обижать я никого не буду.

Представитель электромонтажников пугать никого не стал. Он выдержал все свое выступление в одном тоне:

— Знаем, что строителям нужно какое-то время на перестройку. Но это время было отпущено, и оно уже истекло. Строителям пора работать по-новому. Резерв времени у нас, электромонтажников, да и у спецмонтажников, наверно, тоже полностью исчерпан. Наступление нового года не отодвинешь. Чтобы застраховаться от бед, которых невозможно заранее предвидеть, надо не на словах, а на деле буквально с завтрашнего дня обеспечить пусковым агрегатам «зеленую улицу».

Гергерт с Куликовым взяли на себя свое, а остальное отмени.

— Наше нам, а дядино чур дяде! Мы не смогли с требуемой быстротой перейти к решению принципиально новых задач. Сейчас нам необходимо всеми силами налечь на здание ГЭС, а организация производственного процесса такова, точно мы все еще копаем землю в котловане и готовимся к наведению моста через Каму. Это одна сторона медали. Вторая сторона такая: после перекрытия Камы некоторые товарищи, по-видимому, стали считать, что ГЭС уже построена и поэтому на заказы и требования УОСа можно чихать. В частности, у нас большие претензии к арматурщикам.

Начальник арматурно-монтажного управления Зындра устало покачал головой:

— Америки Вильям Эммануилович, к сожалению, не открыл. Арматурщики не пожарники. Вместо того чтобы сосредоточить основные силы на главном направлении, арматурщиков заставляют браться за сто дел сразу. Прошу партком обратить внимание на нетерпимость такого положения.

Ильинных с главным инженером обменялись шпильками. Монтажный отдел разработал схему надвигания подкрановых балок на водосливной части плотины, а исполнители работ этой схемой пренебрегли, да еще и похвастались в многотиражке: «Мы добьемся того, что каждую балку будем надвигать не больше, чем за сутки. Ура, товарищи!» А балку требуется надвигать в два раза быстрее. Главному инженеру туг бы требовалось применить свою власть.

Главный инженер слушал и ерошил волосы, а потом встал и под смех присутствующих сказал:

— С балками уже исправляем, а вот как быть с Игорем Ильичем? Ну с кем он еще не переругался?

Ильинных промолчал. Он сегодня выглядит больным. Острые скулы обозначились еще резче, кожа лица стала совсем желтой. На осунувшемся лице очки кажутся ненормально большими. Только на высоком, чистых линий лбе недомогание не смогло оставить своих следов.

Закончилось совещание выступлением секретаря парткома:

— Пусть или не пусть в этом году два агрегата — такой вопрос поздно задавать. Агрегаты будут пущены. Все присутствующие знают это не хуже меня. Вставлять палки в колеса никому не позволено. Это тоже всем известно. Партком рассмотрит претензии усовцев, и, в чем можно, будет оказана помощь. На многое не рассчитывайте. Сил у вас и так достаточно. Для монтажников должны быть созданы все условия, чтобы они свое дело могли делать с полным напряжением сил.

Шлюзовики на собрании словно и не присутствовали. О шлюзе даже и не упомянули. Как коромысло: плотина поднимается — шлюз опускается. Все на плотину, а шлюзовикам не хватает цемента, арматуры и многого другого.

А весной будем. «Вперед, не щадя живота своего! Родина ждет от нас новых трудовых подвигов!»

Подогревать строителей охотников много, а если бы эти подогреватели изыскали возможности бесперебойно обеспечивать стройку нужными материалами — можно было бы обойтись и без громких слов.

На углу монтажной площадки примостилось рабочее колесо турбины. Колесо почти готово. Внушительная машина: почти три с половиной сотни тонн. Захаров с Барашковым стоят на коленях на противоположных лопастях. Друг друга им не видно. Оба крепыши, оба упрямые и немногословные.

— Алеха, у тебя с уплотнением как?

Барашков как будто не слышит, а напарник не повторяет вопроса. Только через добрую четверть часа из-за той стороны колеса доносится:

— У меня, Олег, с уплотнением порядок.

В конце смены опять:

— Алеха, с руками у тебя как?

И с прежним интервалом следует ответ:

— Порядок. Только гудят здорово.

Барашков смотрит на часы. Пора кончать.

— Олег, где у нас Симонов? Будем сегодня оставаться или не будем?

По лесенке на лопасть взбирается Михаил Шафран. Миша — цельная глыба: что руки, что плечи, что весь торс. Волосы слиплись от пота. Отодвигает Захарова:

— Подвинься.

— Миша, ты слышал...

— Постой, постой. Чепуха это все. Вот я тебе расскажу. Было это еще до войны. Работал я на «Красном треугольнике»... Да постой, говорю, слушай дальше...

Начало фразы Миша растягивает чуть ли не по слогам, а конец выпаливает скороговоркой. Точно кто его в это время шилом ткнет.

— Сачкуете?

Внизу стоит Симонов. Миша даже подпрыгивает от нетерпения.

— Коля, лезь-ка сюда. Вот послушай, что я тебе расскажу.

Симонов не лезет, а снизу говорит:

— Пару сачочков сегодня бы надо, ребята, прихватить.

Ребята еще с утра знали, что прихватить придется, но для порядка ворчат:

— Сегодня прихватить, завтра прихватить. Всю неделю прихватываем. Вон у Алехи бочка для грибов недоделана.

— Куда ему к лешему столько бочек? Грибов, наверно, насолил на три года вперед. Отставить бочку. А у тебя, Миша, что?

— У него бутылка осталась недопитой.

Бригадира окликнули. Он торопливо наказывает:

— Как с уплотнением кончите, так и свободны. Понадоблюсь — буду внизу.

— Ладно, Коля, сделаем.

Всю остальную площадь монтажной захватил Дзюндзик со своим ротором. Сегодня он вроде именинника: есть первый!

Ротор — самый трудоемкий узел агрегата, и, если есть в запасе готовые ротора, шапку можно носить набекрень.

Электрики бригады Василия Карева начали на роторе паяльные работы. Чаду и так хватает, а они подпустили еще. До самой крыши синь-синие. Колоколов вылевывает черную слюну, ладонью вытирает уголки губ. Подмигивает Кареву:

— Сейчас бы. Вася, на пляж да вверх пузом, а?

— Неплохо придумано, — смеется бригадир.

После обеденного перерыва машинисты обоих кранов одновременно включили лебедки главных подъемов. Помещение наполнилось низким гулом, очень похожим на гул поездов метрополитена. Тросы натянулись и плавно оторвали семисоттонный груз от опорных тумб.

Дядя Коля еще раз критически осмотрел повисшую в воздухе железную громадину. Затем отошел в сторону и звучно высморкался. Кругом сквозит, и эту процедуру ему приходится проделывать довольно часто.

Машинисты откинули окна кабин и ели глазами старшего такелажника. Такие вещи им приходится таскать впервые, и ребята тянутся, что называется, в струнку. Дядя Коля занял удобное для обозрения место и махнул рукой:

— Поехали!

Краны тронулись и, делая частые остановки, скоро наехали над кратер агрегата. Прищурившись, Дзюндзик взглядом провожает свое детище. В позе обычно очень подвижного бригадира чувствуется большая усталость. Не поймешь: то ли ему жалко расставаться с ротором, то ли он рад от него избавиться. Снова короткими толчками понесся гул. Дядя Коля стал нацеливать ротор на свое место.

Дзюндзик отвернулся и отправился к своим слесарям. Надо приниматься за второй ротор. Комсомольцы и так уже успели вывесить на стене плакат: «Бригада т. Дзюндзика! На данном этапе работ вы решаете судьбу второго пускового агрегата. Помните об этом!»

Что ж, чувство ответственности у Александра Дзюндзика всегда было высоко развито. И здесь он прикрываться чужой спиной не будет.

В начале декабря первые два агрегата Воткинской ГЭС вчерне были готовы. Вот они стоят, упрятанные на девять десятых своего роста в сероватую твердь бетона, но и в таком виде от них веет несокрушимой мощью.

Техническая политика, которой придерживались спецмонтажники с самого начала «большого монтажа», оказалась правильной. Основные усилия они направляли на то, чтобы по степени готовности между первым и вторым пусковыми агрегатами не было существенного разрыва. Параллельный монтаж давал возможность маневрировать силами и тем самым в какой-то степени компенсировал тесноту помещения. Люди оказывались равномерно загруженными и могли без срывов работать на полный накал.

Зачастили гости. У всех один и тот же вопрос:

— Скоро?.. А когда именно?

Один гость всех насмешил. Он подошел к колонке регулятора и попросил дежурившего здесь Грачева:

— Сделайте, пожалуйста, так, чтобы эта стрелка задвигалась.

— Как задвигалась, если агрегат недвижим? Но если уж так надо — могу повернуть вручную.

— Сделайте, пожалуйста.

Николай сделал. Гость радостно засуетился.

Привыкшие к паломничеству гостей, слесаря методически «доводили» машины. Спешить надо, но торопиться нельзя. Как-никак в агрегате тысячи тонн веса и сотни тысяч деталей. При работе одной воды будет обрушиваться на лопасти каждого рабочего колеса до пятисот кубометров в секунду. Тут небольшая оплошность может превратить агрегат из покладистого работяги в взбесившееся чудовище, на которое и управу-то не скоро найдешь.

Ликвидируются капризы механизмов, устраняются дефекты. Звено Михаила Чернышева бьется над усвоением принципиально новой колонки управления.

С утра до поздней ночи копаются Михаил вместе с конструктором в матово поблескивающих хитроумных сплетениях чувствительных приборов и механизмов.

Гидравлика и электричество... Нет-нет да и врежешься в гсловоломку.

...Манометр показывает отсутствие давления масла за аварийным золотником. От колонки регулятора до манометра всего каких-то метра четыре, а двадцать пять распрюклятых атмосфер где-то сумели замаскироваться. Представители за вода и монтажники вымазались в масле, успели много раз переругаться и расплестаться.

Грачев садится на опрокинутый ящик, вытягивает уставшие ноги, смеется.

— Тут мы, братцы, без «митрича», пожалуй, не разберемся. Двенадцать часов подряд трубим, вот мозги и пошли гулять. Дай-ка, Миша, закурить. Мои все кончились.

Чернышев наполовину влез в колонку регулятора. Не вылезая оттуда, сует замасленную руку в карман. Грачев подхватывает кинутую наугад сигарету. Прораб Филатов отходит в сторону. Долго стоит... Чисто выбритое, четкого профиля лицо окаменело. Глаза уперлись в одну точку. Словно про себя, медленно роняет слова:

— Миша, надо попытаться по методу исключения.

— Долго. Милентьевич.

— Зато верней. Причина, по-видимому, в чем-то очень незначительном, и мы ее механически пропускаем.

Начинаем поиски по методу исключения: здесь порядок, здесь порядок, здесь тоже порядок...

А когда разгадали загвоздку, дружно чертыхнулись: и надо же ведь! Один из болтиков оказался чуть недовернутым, что изменило длину рычага на какой-то миллиметр, и пожалуйста: машина не подчиняется... Каждый день приносил все новые и новые сюрпризы. Таких «невезучих» агрегатов спецмонтажники давно уж не встречали.

После окончательной центровки обнаружилось, что лопасти рабочего колеса великоваты. Надо резать. А чем? Пилы почти не берут качественную литую сталь, а с другим инструментом туда не подберешься. Слесаря за смену еле-еле преодолевают миллиметров двести, и все. Полмесяца пилить?

Одно за другим вносятся предложения и тут же отвергаются: не то.

Когда, казалось, перебрали все варианты, Гапшин вызвался обрезать лопасти бензорезом. Спору было до потолка.

— Эту сталь бензорезом? Умники находились и до тебя, только кончали на том же самом месте, откуда и начинали.

Впоследствии Гапшин корил сам себя:

— Дубина я стоеросовая. Зря тогда с каждым из этих умников не поспорил на белую головку. Новый год во бы как отпраздновал!

Из люка Гапшин вылез весело ошалелый, с угарными глазами и чернее негра. Они с напарником за смену подогнали все лопасти.

Прорабство облегченно вздохнуло:

— Быть тебе, Петро, профессором!

...Только управились с лопастями — подвел статор генератора: при испытании у него пробило изоляцию. Исправили статор — отказал ротор. Тоже пробой.

Все дефекты по вине чужих дядей, а почесываться приходится монтажникам: препираться с заводами нет времени.

Ко многому привыкшие жены и те стали недоумевать:

— Да что это у вас за работа: с утра и до полночи?

Кажется, только у одних трубопроводчиков все в ажуре. Трубопроводы при испытании получили отличную оценку. Трубопроводчики сияют. А кто бы на ихнем месте не засиял?

Второй агрегат копировал первый: пробон и разные закавыки.

Но самое канительное оказалось впереди. Впрочем, «впереди» — это не то слово. Впереди-то по существу уже ничего не оставалось: декабрь перевалял на вторую половину. При испытании нагруженного агрегата, то есть когда агрегат уже давал электроэнергию, выяснилось, что один из узлов требует конструктивного усиления. Требуется-то требуется, но монтажная площадка не завод. Станков здесь нет, а в данном случае требовалась очень серьезная переделка. Приходится производить ручным инструментом. Все обязательства повисли на волоске.

Неудача не обескуражила, а только больше обозлила монтажников. «Ну постой же, салом-потом-маслом мазанный! Мы тебя все же заставим закрутиться в этом году!» Призывов не было. Уговоров тоже не было. Уже через полчаса после остановки агрегата бригада Михаила Шафрана начала демонтаж аварийного узла.

Сейчас к месту было бы сказать: «спецмонтажники проявили высокий трудовой героизм», но как-то стесняешься употреблять это выражение. Не знаю, чего тут было больше — сознания своей ответственности перед коллективом или профессионального самолюбия. Никто не вырывался, и никто не отставал: одному помогали все, один отвечал за всех. В такие моменты разделение работы на «свою» и «чужую» у спецмонтажников расценивается как измена товариществу.

Узел усилили, опередив при этом даже собственные расчеты потребного времени. После повторных испытаний агрегат снова нагрузили. Отдежурив положенный срок, спецмонтажники ушли с машины.

Все. Агрегат трудоспособен и передается эксплуатационникам. Это произошло поздним вечером 26 декабря. А на другой день в Уральское энергокольцо дал промышленный ток и второй агрегат.

На подходе следующие агрегаты. Всего на Воткинской ГЭС их будет десять.

Перед тем как разойтись по домам, отмываться и отсыпаться, спецмонтажники собирались группами, неторопливо курили и заново переживали недавние дни — дни трудные, но вместе с тем радостные и гордые, приносящие человеку труда чувство глубокого удовлетворения.

г. Чайковский, Пермской области.



ПУБЛИЦИСТИКА

ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ

★

ЖЕННИ МАРКС

(По ее письмам)

В феврале 1964 года исполнилось сто пятьдесят лет со дня рождения ближайшего друга и соратника Карла Маркса — Женни фон Вестфален. То, что она «сделала для революционного движения, не выставлялось напоказ перед публикой, не оглашалось на столбцах печати. То, что она сделала, известно только тем, кто жил вместе с ней», — говорил Энгельс о Женни Маркс.

Среди ценнейшей коллекции документов Маркса и Энгельса, переданных правнуком Маркса Марселем Шарлем Лонге Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, имеются письма и документы Женни Маркс. Они не только воссоздают прекрасный образ Женни, но ярко и по-новому освещают политическую и революционную деятельность Карла Маркса, обстановку, в которой рождались его эпохальные творения. Некоторые письма Женни Маркс были опубликованы в зарубежной печати.

Мы печатаем статью П. С. Виноградской — автора книги «Женни Маркс», изданной в 1931 году (сейчас книга подготовлена к переизданию). Статья знакомит читателей с некоторыми документами из эпистолярного наследия Женни Маркс, публикуемыми на русском языке впервые.

Маркс был глашатаем первой горсточки «безумцев», которые выступили против всемогущего тогда капиталистического «сегодня» во имя пролетарского «завтра». Женни была в их числе. Сорок лет шагала Женни: рука об руку с Карлом Марксом по жизненному пути. Это был трудный путь революционной борьбы, преследований, скитаний, тяжелой нужды. Шла ли речь о бурной деятельности в пору революционного подъема; или о работе в период поражений, когда надо было спасать знамя и остатки партии; требовалось ли оказать помощь изгнанным из своих стран коммунистам; или же надо было прорвать «блокаду» буржуазных издательств и выпустить в свет новое творение Маркса. — Женни всегда была на передовых позициях.

Вот письмо Женни к родителю (от 2 июля 1838 года). Оно написано в то время, когда Женни была еще только помолвлена с Карлом Марксом — студентом Берлинского университета, который сам в те годы еще был «im Werden» (в процессе становления). Оно свидетельствует о том, что Женни уже тогда под влиянием дружбы с Марксом проявляла серьезный интерес к общественным проблемам своего века.

«...Хочу вам рассказать, как сказочно проводили мы последние дни, ибо только так можно выразиться о нашей теперешней жизни: шатаемся без дела, пьем (минеральную воду. — П. В.), гуляем, спим, снова встаем, чтобы проделывать все это опять сначала. Но вы не должны думать, что мы обходимся без духовной

Автор выражает глубокую благодарность дирекции Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и дирекции Центрального партийного архива ИМЛ за предоставленную ему возможность ознакомиться с новейшими печатными и архивными материалами, касающимися Женни Маркс, а также за ценные советы.

пищи, ограничиваемся исключительно материальной. Мы получаем уйму французских книг от книготорговца из Кольмара, а немецкие нам присылает пастор из Страсбурга; и что самое ценное — мы встречаемся здесь ежедневно с такими интересными и милыми людьми».

Среди тех, с кем встречалась тогда Женни на курорте Нидербронн, она называет двух теологов, которые учились в Геттингене и Берлине и слушали Гегеля, Штрауса и других.

«...Мы беседовали о немецкой литературе, немецких профессорах, о французских нравах и обычаях, о склонности парижан к плетизму — словом, об интереснейших вещах. Но за таблодотом тут собирается довольно странное, порой просто невообразимое общество — какие-то заплесневелые французы, фабриканты, дельцы... Разговоры их всегда вертятся вокруг денег, главного предмета их любви: о том, как их добывают и вновь теряют, о железнодорожных акциях, о торговле лесом, о делах промышленности... И самое возвышенное, что может сказать один из них другому, это: «Oh, il sait faire une belle fortune!» (Да, он умеет сколотить состояние! — П. В.). В этом для них — главный смысл всякого благополучия.

Кроме этих двух обществ, тут есть еще чиновники, мэры, нотариусы, адвокаты, оставшие военные, украшенные всевозможными орденами, и в изобилии — экономисты, — все они составляют как бы промежуточную прослойку между обществом дельцов-финансистов и учеными-мистиками и религиозными мечтателями. О политике здесь почти не спорят. Только во время чтения газет иногда вдруг услышишь: «Ах, этот Луи-Филипп, ах!..»¹

Из другого письма (оно было написано Марксу в 1841 году) видно, что Женни «вгрызлась» в гегелевские категории и изучала младогегельянцев. А позднее, в постскриптуме к письму Маркса к Энгельсу от 2 декабря 1850 года, она причисляет себя к немцам, «прошедшим муштру Гегеля, Фейербаха».

Письма Женни уже в эту пору свидетельствуют о ее незаурядном уме и остроумии, которые впоследствии приводили в «восторг таких людей, как Гейне, Гервег и Лассаль» (как писала в своих воспоминаниях ее дочь Элеонора).

Уже тогда Женни видела неизмеримо больше и дальше своих сверстниц, принадлежавших к той же дворянско-аристократической среде, но увлеченных мишурой светской жизни. Прирожденный ум и необычайная проницательность дали возможность первой красавице и «царице балов» Трира² подняться над уровнем своего класса, разгадать гений еще юного Маркса, достойно оценить его и пойти вместе с ним навстречу революционным бурям. Ее смелая и непреклонная натура сумела добиться победы в той неравной борьбе, которую Женни вела за свой союз с Марксом, против семейных традиций, против предрассудков своей среды и класса.

Особенно противодействовал браку Женни с Карлом ее сводный брат Фердинанд фон Вестфален — напыщенный прусский юнкер, ставший позже министром внутренних дел. По его понятиям, девушка из аристократической семьи не имела права связать свою судьбу с необеспеченным студентом (к тому же моложе ее на четыре года). Это был типичный для сороковых годов прошлого века конфликт. Девушки, отстаивая свои права на любовь и брак по личному выбору, стремились к эмансипации, выступали против старых предрассудков. Не в этом ли конфликте Женни получила первую закалку для борьбы со старым миром? Маркс, сдержанный во всем, что касается личного, не случайно обронил в письме к немецкому публицисту А. Руге фразу: «...невеста выдержала из-за меня самую ожесточенную, почти подготавлившую ее здоровье борьбу...»³

Интерес к литературе, о котором говорится в письме из Нидербронна, Женни

¹ ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. Фонд 6, ед. хр. 4.

² Через много лет, в 1863 году, Маркс писал Женни из Трира: «Со всех сторон меня то и дело спрашивают о некогда «самой красивой девушке Трира» и «царице балов». Чертовски приятно мужу сознавать, что жена его в воображении целого города продолжает жить как «зачарованная принцесса».

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 27, стр. 374.

проявляла с детства. Именно ее глубокие познания и любовь к литературе — древней и современной — дали Марксу повод составить для нее томик избранных народных песен.

Об осведомленности Женни в области древней литературы Маркс в письме к Энгельсу от 13 ноября 1860 года заметил: «В вопросе о заглавии я тебе уступил и (вчера) поставил «Господин Фогт». Моя жена была решительно против этого и настаивала на «Да-Да Фогт», сделав весьма ученое замечание, что даже в греческих трагедиях часто на первый взгляд нет никакой связи между заглавием и содержанием»¹.

Гейне был такого высокого мнения о гонком литературном вкусе Женни, ее эрудиции и здравом суждении, что во время их совместного пребывания в Париже в 1844 году приносил ей на суд рукописи своих лучших произведений. Посылая свою замечательную поэму «Германия. Зимняя сказка», Гейне писал Марксу из Германии, где он тогда временно находился: «Я привезу вам в Париж начало книги, она состоит из одних романсов и баллад, которые понравятся вашей жене»². «Неумолимый сатирик Гейне, — говорит Лафарг в своих воспоминаниях, — побавлялся иронии Маркса и очень высоко ценил острый и тонкий ум его жены».

Как большой знаток литературы, Женни в начале публицистической деятельности Маркса даже брала на себя роль критика его стиля. Вот, например, что она пишет Марксу 21 июня 1844 года:

«Не пиши слишком желчно и раздраженно. Ты знаешь, насколько сильнее воздействовали твои другие статьи. Пиши по существу, но тонко или с юмором, легко. Пожалуйста, мой дорогой, мой любимый, — дай перу свободно скользить по бумаге; не беда, если оно где-нибудь споткнется или даже целая фраза будет неуклюжей. Ведь мысли твои все равно сохранятся. Они стоят в строю, как гренадеры старой гвардии, исполненные мужества и достоинства, и могут тоже сказать: «*Elle meurt, mais elle se ne rend pas*» (Гвардия умирает, но не сдается. — Л. В.). А что, если мундир будет сидеть свободно, а не стеснять. Как естественно и непринужденно выглядят французские солдаты в их легкой униформе. И вспомни наших неуклюжих пруссаков, разве они не внушают тебе отвращения! Пусть легче дышится — ослабь ремень, освободи ворот, сдвинь шлем — дай больше воздуха! Дай свободу причастным оборотам, пусть слова ложатся так, как им удобней... Армии, идущей в бой, не обязательно маршировать по уставу. А разве твое войско не идет в бой?! Желаю счастья полководцу...»³

Женни была не только тонким ценителем литературы, но сама превосходно писала. Письма Женни привлекают прежде всего тем, что в них соединяется деловитость политически зрелого человека с блеском светлого ума. Стиль Женни легок, блестящ, остроумен. «Я уже двенадцать раз перечел ее письмо и всякий раз нахожу в нем новую прелесть, — писал Маркс отцу 10 ноября 1837 года. — Оно во всех отношениях — также и в стилистическом — прекраснейшее письмо, какое только может написать женщина». Стиль Женни не тускнеет и спустя несколько десятков лет; 25 сентября 1869 года Маркс замечает в письме к дочери Лауре, что Женни — настоящий виртуоз в эпистолярном искусстве.

Одно личное письмо своей жены (от августа 1844 года) Маркс дал опубликовать под заголовком «Из письма одной немецкой дамы» в газете «Vorwärts», № 64. Женни писала:

«Мой дорогой! Я получила твое письмо как раз тогда, когда здесь трезвонили во все колокола, палили все пушки и благочестивая толпа устремилась в храм, чтоб вознести хвалу небесному владыке за чудесное спасение владыки земного... Разве не жгало от ужаса твое прусское сердце, когда ты узнал о злодеянии, об этом неслыханном, невообразимом злодеянии! О, девственность — она утрачена, потеряна честь! — несется сегодня стон по всей Пруссии.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 30, стр. 85.

² Walter Victor. Marx und Heine. Berlin. 1952. S. 38.

³ ЦПА ИМЛ. Фонд 6, ед. хр. 9.

Когда я услышала, как кавалерийский капитан Г., этот желторотый болван, разглагольствует о том же, я, естественно, подумала, что он имеет в виду пресвятую деву Марию, ибо только ее девственность установлена официально. Но ведь говорят-то о девственности прусского государства! Даже трудно представить себе, что она когда-либо существовала. Невинные пруссаки могут, правда, утешиться тем, что поводом для покушения был не политический фанатизм, а жажда чисто личной мести. Что ж, если это их может утешить — пусть утешаются. Тем более что для них это служит доказательством того, что в Германии политическая революция невозможна. И это тогда, когда все условия социальной революции «налицо... Даже это покушение — тоже по социальным мотивам. И если здесь что-нибудь разразится, то именно по тем же мотивам, ибо немецкое сердце как раз тут-то наиболее чувствительно и ранимо»¹.

В этом письме, написанном из Германии (где Женни гостила у магери), идет речь о покушении бывшего бургомистра Чеха на прусского короля Фридриха-Вильгельма IV 26 июля 1844 года.

Этот выстрел, раздавшийся в реакционной Германии, привлек к себе внимание и за границей. Были отклики и в прессе. Об этом писал также поэт Гервег в письме к своему другу писательнице д'Агу (Даниель Штерн). Но как ярко, талантливо, умно по сравнению с другими написала об этом Женни Маркс! Ее высказывание о том, что в Германии имеются все предпосылки для социальной революции, Маркс привел в своей статье против А. Руге, опубликованной в газете «Vorwärts».

Письма Женни говорят о том, что за короткое время совместной жизни с Марксом она расширила свой кругозор новыми открытиями, которые Маркс вносил в общественные науки. До приезда Энгельса в Париж она была единственным человеком, понимавшим Маркса.

Некоторые более поздние письма Женни рисуют жизнь и быт семьи Марксов. Вот ее письмо к Берте Маркгейм² от 28 января 1863 года:

«Благодарю Вас от всей души за доброту и дружбу, моя дорогая госпожа Маркгейм! Вы не можете себе представить, как помогли Вы мне своим срочным денежным переводом... Вашим неожиданным любезным поступком Вы сразу устранили всю безвыходность и унижительность моего положения. Какое счастье, что Вы не написали в Ливерпуль, это доставило бы нам большое огорчение. А то, что Вы доверились доктору К[угельману], вполне оправдано, это не ставит меня в унижительное положение перед человеком, который очень высоко ценит моего мужа и понимает, какие исключительно тяжелые обстоятельства давят на нас и какое сверхъестественное напряжение требуется для того, чтобы в такой борьбе, заботах и лишениях он мог закончить свой теоретический труд, который, я надеюсь, скоро увидит свет...»

Говоря о том, как она быстро и легко сбегала в Сити, чтобы получить присланные деньги, Женни шутливо замечает:

«Вы видите, несмотря на все, у меня еще крепкие ноги. Я по-прежнему остаюсь старым партизаном: ради партии я готова сбегать куда угодно, проделать любой марш. Теперь позвольте мне, между прочим, положить конец сочинительству Фоше³ а ля Мюнхаузен. Мы не получали из Голландии никакого наследства, не приобретали никакого дома, не ездили в Берлин и не жили там. Ничего подобного не было. Но я сообщу Вам также о том из нашей жизни, что, возможно, дало Фоше повод заняться своим сочинительством. Не сердитесь на меня, если я начну издали и заставлю Вас перенестись на десять лет назад в наши две маленькие

¹ «Vorwärts», № 64 за 10 августа 1844 года. См. также «Научно-информационный бюллетень сектора произведений К. Маркса и Ф. Энгельса ИМЛ», № 2, 1959.

² Это письмо Женни, как и другие ее письма к Маркгейм, впервые было опубликовано в 1955 году в итальянском журнале «Movimento operaio» (№ 2). Берта Маркгейм — друг Женни, сочувствовала коммунистическим идеям. Время от времени она оказывала Женни материальную поддержку.

³ Ю л и у с Ф о ш е — публицист, вульгарный экономист.

комнатушки на Дин-стрит. Я уже рассказывала Вам о рождении маленькой Элеоноры — это произошло незадолго до смерти нашего дорогого, единственного Эдгара. Гробик и колыбель стояли тогда рядом. Можете себе представить, сколько слез было пролито там, где нашли вечный покой наши дети¹. Как хотелось нам тогда покинуть это несчастливое, ужасное жилище, где большую радость убило огромное горе. Но мы не могли тогда этого сделать и пришлось терпеть еще целый год. Когда умерла одна наша старая родственница-шотландка, мы унаследовали от нее небольшую сумму денег, что-то 150 или 200 фунтов (моя бабушка, мать покойного отца, была родом из Шотландии и происходила из старинной фамилии Кемпбелл-Аргайл. Герцог Аргайллский состоял в близком родстве с моими предками); когда я вышла замуж, моя дорогая матушка дала мне много великолепного серебра с гербом Аргайллей, вывезенного из Шотландии. Разумеется, серебра и гербов давно уже нет и в помине — они исчезли за время вынужденных выездов, скитаний, эмиграции. А то немногое, что я спасла во время кораблекрушений, всегда висело между жизнью и смертью и пребывало большей частью в руках «дядюшки» (ломбарда. — П. В.). Но вернемся от той далекой поры — поры серебра и воспоминаний о предках — к пресловутому наследству, я буду краткой: эти унаследованные деньги позволили нам наконец покинуть Дин-стрит и переехать в маленький домик у подножия романтического Хемпстеда, неподалеку от прелестного Примроз-хил. Когда мы в первый раз спали на собственных кроватях, когда мы сидели на собственных стульях, с сознанием того, что у нас даже есть своя гостиная, обставленная мебелью в стиле рококо, или, вернее, «big a big» (старой рухлядью. — П. В.), купленной по случаю, — нам казалось, что мы действительно живем в волшебном замке и фанфары возвещают о наступившем для нас благоденствии.

Этот маленький домик, который мы сняли и в котором живем по сей день, был свидетелем роста и расцвета наших трех дорогих дочерей, и если слово «красавицы» не совсем подходит к ним, то я все же должна сказать, рискуя показаться смешной из-за моего материнского тщеславия, — что все три очень милы и привлекательны. Женнихен² — удивительно смугла, у нее темные волосы и такие же глаза; круглые розовые, совсем еще детские, щечки, ласковый взгляд глубоких глаз делают ее очень пикантной. Лаура³ — во всех отношениях светлее, яснее и подвижнее; говоря по правде, она красивее своей старшей сестры — у нее более правильные черты лица, а в ее всегда меняющихся зеленоватых глазах с длинными ресницами светится радостный огонек. Обе они немного выше среднего роста, очень хорошо сложены и изящны. Маленькие ручки и крохотные ножки Женнихен — единственный предмет ее тщеславия. В остальном же обе девочки удивительно скромны и по-девически застенчивы. Благодаря талантности и трудолюбию они обе очень образованны. Мы делали все, что в наших силах, для их воспитания. К сожалению, с музыкой обстоит хуже — мы не смогли для них сделать того, что хотелось бы, и они не достигли тут больших успехов; но у них очень приятные голоса, и поют они с большим чувством. Главный талант Женнихен — ее дикция и голос — он у нее низкий и приятный. С детских лет она фанатически увлекается Шекспиром и проявляет большую склонность к сценическому искусству. В сущности, она уже давно поступила бы на сцену, если бы не семейные предрассудки. Многие слышавшие Женни утверждают, что в ней кроется талант Рашели или Ристори и что несправедливо удерживать ее от этого шага. Мы не мешали бы ей, если бы она была физически крепче. К тому же она очень деликатна по натуре и слишком близко приняла к сердцу то трудное положение, в котором мы оказались в последние годы.

Третья⁴ — самая маленькая — воплощение миловидности, грации и детского плутовства. Она — лучик света в нашем доме! Все три девочки телом и душой

¹ Ранее у Марксов умерли сын Гвидо и дочь Франсиска.

² Женни родилась 1 мая 1844 года в Париже.

³ Лаура родилась 26 сентября 1845 года в Брюсселе.

⁴ Элеонора родилась 16 января 1855 года в Лондоне.

привязаны к Лондону... Для них нет ничего более страшного, чем променять Англию на Германию. Откровенно говоря, я тоже немного побаиваюсь этого. Лишь при исключительных обстоятельствах я согласилась бы снова увидеть мою старую родину... Возвращение туда в настоящее время не сулит нам никаких преимуществ. Как ни дорога жизнь в Лондоне, я думаю, однако, она дешевле, чем в Германии. К тому же здесь мы пользуемся небольшим кредитом, и наш маленький домик обходится нам недорого. А главное, Лондон так огромен, что здесь человеческая личность как бы растворяется. В Лондоне нетрудно укрыться от любопытных глаз в своем гнезде, тут никто не станет вами интересоваться, в то время как в Германии уже на следующее утро известно, что у вас подавали к столу и «каков доход вашего супруга». Но, великий боже, как я заболталась...»

Тяжелые жилищные условия на Дин-стрит послужили отчасти причиной преждевременной смерти детей Маркса. Но к новому домику, куда семья переехала в 1856 году и который так расхваливает Женни, было не так-то легко подъехать и подойти. «К нам не было настоящей дороги, все вокруг находилось в процессе зарождения и стройки: нужно было пробираться через кучи мусора, и тяжелая глинистая почва красноватого цвета в дождливую погоду крепко прилипла к подошвам, так что часто после утомительной борьбы мы приходили домой с центнером грязи на ногах», — так писала Женни в своих воспоминаниях. Вот где кроется секрет, почему дом стоил так дешево и был по карману Марксам. «Благоденствие», которое описывает Женни Маркс, длилось очень недолго. Уже в следующем, 1857 году газета «New-York Daily Tribune», в которой сотрудничал Маркс, сократила печатание его корреспонденций, и семья Маркса снова начала испытывать материальные затруднения. Нужда и в последующие годы была очень частой гостьей в их доме. Достаточно сказать, что в 1859 году рукопись Маркса «К критике политической экономии» нельзя было отослать издателю, потому что в доме не было ни пенса, чтобы застраховать ее. Маркс часто не мог посещать Британский музей, потому что его единственный сюртук был заложен в ломбарде, и дети иногда не ходили в школу из-за того, что не было надлежащей обуви и одежды.

Большую нужду семья Маркса испытывала и в шестидесятых годах. Как известно, Маркс в то время намеревался отдать детей в услужение частным семьям, самому с женой переселиться в казарменные дома, построенные для беднейшего населения, и поступить на службу в железнодорожное бюро. Но этот план расстроился из-за того, что у Маркса был плохой почерк. Из тяжелого положения семью вызволило наследство, оставленное ближайшим другом и единомышленником Маркса — Вильгельмом Вольфом (он умер в 1864 году), и, разумеется, по мощь Энгельса.

Если Маркс мог отвлечься от житейских невзгод, погружаясь в свои теоретические занятия, проводя большую часть дня в библиотеке, то у Женни этого прибежища не было. Чтобы оградить мужа от гнетущих забот, создать ему необходимый покой и сохранить его интеллект для самого важного — разработки революционной теории, — Женни целиком взвалила на свои плечи тяжесть быта. Разумеется, она по-матерински болезненно реагировала на то, что нужда угнетала теперь уже взрослых, сознательных дочерей. В другом своем письме к Маркгейм (конец 1862 г.) Женни роняет фразу: «Я уверена, Вы обрадуетесь, увидев наших действительно прелестных девочек, и посочувствуете моим страданиям из-за того, что самый расцвет их юности совпал с такой большой нуждой нашей семьи, и это заставляет их подавлять в себе даже самые сокровенные желания и самые скромные надежды».

Более подробно она пишет об этом в своих воспоминаниях: «Тяжело было также, что это бедственное положение началось как раз тогда, когда старшие девочки вступали в прекрасную золотую пору первой юности. Мы снова вернулись к пережитым десять лет тому назад страданиям, заботам и лишениям с той только разницей, что тогда их терпели пяти- и шестилетние дети, не сознавая, в чем дело, а теперь, через десять лет, — вполне сознательные цветущие пятнадцати-

и шестнадцатилетние девушки. Таким образом, мы на практике убедились в правоте немецкой поговорки: малые дети — малые заботы, большие дети — большие заботы».

Но в гораздо большей степени, чем эта материальная сторона, Женни занимала судьба ее дочерей. Она все чаще задумывалась над тем, как они, воспитанные в революционно-атеистическом духе, встретятся лицом к лицу с миром ханжества и наживы. Ведь они вступили в самостоятельную жизнь в пору злейшей реакции, которая тянулась со времени подавления революции сорок восьмого года. Но история перехитрила Женни. «Die List der Geschichte» (хитрость истории), как любил выражаться Гегель, сняла эти сомнения Женни. Оживление политического горизонта, создание Интернационала, франко-прусская война и Парижская коммуна изменили привычный ход событий. И все три дочери Марксов, по примеру родителей, отдали весь свой талант, знания и жизнь «атакующему» классу — пролетариату.

И напрасно Женни, восхваляя своих детей перед Маркгейм, опасалась, что она может показаться тщеславной матерью. Все три дочери Марксов были одаренными. Всесторонне образованными людьми и сыграли видную роль в революционном движении того времени. Женни сумела воспитать в них стойкость, мужество. Несмотря на гнетущую тяжесть материальных лишений, она поддерживала в доме бодрый дух, юмор и ироническое отношение ко всяким невзгодам, постоянно внушала детям, что «страдания закаляют, а любовь поддерживает», «мужественным принадлежит мир». «Per aspera ad astra» (сквозь тернии к звездам) — так она подбадривала младшую дочь Элеонору, когда та в восемнадцатилетнем возрасте уехала в Брайтон, чтобы стать самостоятельной, давая уроки.

Брак Маркса и Женни был одним из тех редких союзов, которые выдерживают все испытания. Это был союз двух людей, полных взаимного понимания, исключительно удачно дополнявших друг друга.

«Я редко встречал, — писал рабочий Стефан Борн в своих воспоминаниях, — такой счастливый брак, в котором бы все радости и горести — а последних было очень много — делились так дружно, в котором бы все тяжелые испытания так смягчались сознанием неразлучной интимной близости».

В течение всей своей жизни Маркс — по свидетельству дочери Элеоноры — «не только любил, но был влюблен в свою жену». Вот отрывок из письма, которое Маркс писал в 1856 году, после того как Женни родила ему шестерых детей: «Ты вся передо мной как живая, я ношу тебя на руках, покрываю тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед тобой на колени и вздыхаю: «Я вас люблю, madame!» И действительно, я люблю тебя сильнее, чем любил когда-то венецианский мавр»¹.

Письма Женни говорят о том, что и она до глубокой старости сохранила к Марксу не меньшую любовь и свежесть чувства. Даже во время короткой разлуки с ним (весной 1861 года) — Маркс уезжал один в Берлин — она писала Лассалю, у которого он остановился: «Только не задерживайте у себя долго Мавра. Я готова уступить Вам все самое ценное, но только не его. Тут я жадная собственница и завистница. Тут приходит конец гуманности и начинает действовать один лишь отвратительный эгоизм»².

Невзирая на тяжелые условия жизни, дом Марксов оставался моральным оплотом и поддерживкой коммунистической эмиграции. Женни всегда принимала участие в судьбе других, всегда готова была поддержать товарищей. Она вся встает перед нами в скупых словах Энгельса, сказанных о ней над ее могилой: «Если существовала когда-либо женщина, которая видела свое счастье в том, чтобы делать счастливыми других, — то это была она».

В связи со смертью в 1861 году Фридриха-Вильгельма IV его преемник Вильгельм I объявил амнистию. Многие эмигранты поторопились ею воспользоваться.

¹ Это письмо было недавно получено ИМЛ и опубликовано в Сочинениях К. Маркса и Ф. Энгельса (т. 29, стр. 432—436).

² ЦПА ИМЛ. Фонд 6. ед. хр. 36.

лишь на одного Маркса она не распространялась. Но вначале все знакомые и близкие стали звать Маркса в Германию. В своем ответе Маркгейм Женни писала, что ее не манит родина. Была еще одна причина, которая удерживала Женни от переезда, в чем она призналась в письме к Лассалю в апреле 1861 года:

«Вы вселяете в меня самые радужные надежды, связанные со скорым возвращением на родину. Но, по правде говоря, мое «дорогое отечество» стало мне совсем чужим. Даже в самых укромных уголках своего сердца я не могла найти ни малейшей привязанности к нему. Нынешнее положение в «милой и дорогой Германии»... столь безотраднo, что она скорее отталкивает, чем привлекает. Но я должна признаться, что, кроме этих общих причин, которые вынуждают меня пока немного побаиваться любезного отечества, у меня есть свои особые, сугубо личные. Мне бы не хотелось показываться моим старым друзьям такой, какой я сейчас стала»¹.

Женни имеет здесь в виду последствия оспы, которую она перенесла незадолго до этого.

Разумеется, Женни была не просто женой Маркса, хозяйкой дома и матерью своих детей, что отнимало у нее много сил и времени, но прежде всего она была стойким товарищем, помощником и другом Маркса. В этой связи приведем отрывок из письма ее к Маркгейм от 6 июля 1863 года:

«...Лаура теперь часто сопровождает отца в Британский музей, для чего она выхлопотала себе пропуск... Мой дорогой Карл с весны сильно страдает печенью. Но книга его, несмотря на все препятствия, гигантскими шагами приближается к концу. Она была бы завершена гораздо раньше, если бы он придерживался прежнего плана — ограничиться двадцатью или тридцатью печатными листами. Но так как немцы питают доверие только к «толстым» томам и книги, в которых все тонко и сжато изложено, а лишнее отброшено, не имеют никакой цены в глазах этих господ, то Карл прибавил много материала исторического характера. Теперь — это солидный томик в пятьдесят печатных листов, он точно бомба упадет на немецкую землю. Ах, наша немецкая земля! За границей приходится почти стыдиться того, что ты немец, и особенно если ты удостоен чести быть «пруссакom». Есть ли более печальное зрелище, чем то, которое представляет собою Пруссия. И неизвестно, кто там более жалок: король, министр, придворная камарилья или угодливый народ. Но более всего жалка ленивая, пресмыкающаяся немая пресса...»

С годами подрастающие дочери стали поочередно сменять мать на посту секретаря. В письме к Энгельсу в декабре 1859 года Женни в шуточной форме выражает опасение, что она скоро станет «безработной», и сожалеет, что нет никаких надежд на пенсию за столь многолетнюю добросовестную секретарскую службу.

Деятельность Женни в качестве секретаря Маркса имела очень важное значение с самого начала их совместной жизни. Если принять во внимание, что в ту пору не было еще ни машинисток, ни стенографисток, то можно представить себе, как велика была заслуга Женни. Часы, которые она посвятила переписыванию рукописей Маркса, Женни считала счастливейшими в своей жизни. Быть может, многому из того, что появилось в печати, мы обязаны ей — этому «непрерывному секретарю». Так, рукописи Маркса «К критике политической экономии» и «Господин Фогт» от начала до конца переписаны для печати рукой Женни.

Женни высказывает в приведенном выше письме радость в связи с тем, что работа над «Капиталом» подходит к концу. Она торопила Маркса с окончанием «Капитала», оберегала его от докучливых посетителей, помогала в отборе литературы. Маркс вел свои занятия с величайшим упорством и добросовестностью; наряду с политической экономией он изучал историю, геологию, технику, агрономию, математику и т. д.

Либкнехт рассказывал, что он тогда не понимал, почему Женни так отчаянно

¹ Lassalles nachgelassene Briefe und Schriften, herausgegeben von G. Mayer. Bund III, S. 355.

воевала с Марксом из-за его работы, длившейся ночи напролет. Он сочувствовал Марксу, которого угнетал «женский деспотизм». Позже, когда Либкнехт увидел, как жестоко Маркс заплатился за такой образ жизни, он понял, насколько Женни была права.

Наконец «Капитал» был закончен, и свет увидел часть того труда, который составляет целую эпоху в истории человеческой мысли.

К чести Женни надо сказать, что она была в числе очень немногих, кто усвоил «Капитал». Она не только постигла всю глубину этого труда, но и помогала другим понимать его. Она писала рабочему И. Ф. Беккеру¹, другу и соратнику Маркса, что если он еще не пробился через диалектические тонкости первых глав «Капитала», то надо «прочитать сначала главы, посвященные первоначальному накоплению капитала и современной теории колонизации. Я убеждена, что Вы, как и я, получите от этих глав огромное удовлетворение... Должна сказать откровенно, что этот изумительный по своей простоте пафос захватил меня, и история стала мне ясной как солнечный свет». В этом же письме она говорит: «Маркс не имеет для лечения зияющих кровоточащих ран нашего общества никаких готовых специфических лекарств, о которых так громко вопит буржуазный мир, именующий теперь себя также социалистическим, никаких пилюль, мазей или корпии, но мне кажется, что из естественноисторического процесса возникновения современного общества он вывел практические результаты и способы их использования, не останавливаясь перед самыми смелыми выводами, и что это было совсем не простым делом — с помощью статистических данных и диалектического метода подвести изумленного филистера к головокружительным высотам следующих положений: «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества...»²

Но именно потому, что Женни понимала значение этого гениального творения, именно потому, что она была свидетелем мук и страданий, при которых оно создавалось, — она так болезненно реагировала на заговор молчания, которым был встречен «Капитал» по выходе в свет.

Женни с отчаянием писала Кугельману:

«По-видимому, немцы предпочитают выражать свое одобрение замалчиванием и полным безмолвием... Поверьте мне, дорогой г-н Кугельман, вряд ли какая-нибудь книга писалась в более тяжелых условиях, и я вполне могла бы написать тайную историю ее создания, в которой открылось бы много, бесконечно много скрытых забот, тревог и мучений. Если бы рабочие имели представление о жертвах, которые пришлось принести для завершения этого труда, написанного лишь для них и в защиту их интересов, они, вероятно, сами проявили бы несколько больше интереса»³.

Марксизм одержал триумфальные победы. Многомиллионная армия коммунистов, выросшая из маленькой партии Маркса, переделывает мир. Имена Маркса, Ленина стали символом коммунизма. А тогда? Тогда Энгельс под разными фамилиями изощрялся, чтобы сказать, применяясь к английским условиям, что с выходом «Капитала» в мире произошло нечто новое.

Женни с величайшим вниманием и тревогой следила за событиями во время Парижской коммуны и обнаруживала при этом очень большое понимание их. Ее письмо к Кугельману, впервые опубликованное в немецком издании книги Лиссагарэ в 1931 году, дает отчасти представление об этом. Женни писала (12 мая 1871 года):

«Вы не можете себе представить, как мой муж, наши девочки и все мы пострадали от событий во Франции. Сначала ужасная война, а затем еще более ужасная

¹ Иоганн Филипп Беккер — член I Интернационала, организатор немецких секций Интернационала в Швейцарии.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 16, стр. 578.

³ Там же, т. 31, стр. 500.

вторая осада Парижа. Смерть Флуранса¹, храбрейшего из храбрых, страшно поразила всех нас, а теперь эта отчаянная борьба Коммуны, в которой принимают участие все наши самые старые и самые лучшие друзья. Слабость военного руководства, совершенно естественное недоверие ко всему, что связано со словом «военный», навязчивое участие журналистов и героев фразы вроде Феликса Пиа², с неизбежно вытекающей отсюда двойственностью, нерешительностью и противоречивостью в действии, — все эти недостатки, неизбежные в столь смелом и юном движении, были бы, конечно, преодолены дельным и способным на жертвы классово-сознательным рабочим ядром. Но теперь, я думаю, уже все надежды потеряны, с тех пор как Бисмарк, оплачиваемый немецкими деньгами, стал выдавать французским «канальям от порядка» (из которых каждый является воплощением какого-либо порока буржуазии) не только всех пленных, но и все укрепления. Мы стоим перед новой июньской бойней...»³

Из этого письма видно, что Женни Маркс совершенно самостоятельно и вполне правильно разбиралась в сложнейших политических вопросах того времени. Она по-своему переживала и перечувствовала героическую трагедию Коммуны, и каждая строка ее письма говорит об этом. Особенно потрясает письмо к Имандту⁴ после гибели многих членов Коммуны. Она писала ему в июне 1871 года:

«Дорогой господин Имандт!. Вы получите сегодня копии воззвания Интернационала. Может быть, вам удастся что-нибудь из него напечатать в газетах. Девочки уже шесть недель живут у Лауры. Сначала они были в Бордо, но там стало слишком жарко для Лафарга. Они улизнули оттуда и находятся сейчас у самой испанской границы, надо надеяться — в безопасности... Вы не представляете себе, дорогой господин Имандт, что мы пережили за эти недели, сколько боли и сколько гнева. Понадобилось более двадцати лет, чтобы вырастить таких мужественных, дельных, героических людей, и вот теперь почти все они погибли.

Правда, на спасение некоторых есть еще какая-то надежда, но лучшие уже уничтожены: Варлен, Жаклар, Риго, Тридон и т. д. и т. д., и уцелеют, видимо, лишь подлые крикуны вроде Феликса Пиа. Хотя кое-кто еще скрывается, я боюсь, что ищейки их все же выследят... Настоящие же герои — это прежде всего рабочие и работницы, которые в течение восьми дней сражались уже без руководителей в Вилетте, Бельвиле и Сент-Антуане!!!»⁵

Когда Женни писала это письмо, она еще не знала, что обе ее дочери — Женни и Элеонора — арестованы французской полицией. Сведения, полученные тогда в Лондоне о гибели Жаклара и Тридона, были неточны. Обоим удалось спастись. Воззвание Интернационала, о котором Женни пишет и для распространения которого она приложила много сил, — это «Гражданская война во Франции» Маркса, где он обобщил опыт Коммуны — первого прообраза пролетарского государства. Женни не пришлось непосредственно участвовать в работе Парижской коммуны, но она и ее дочери приняли горячее участие в судьбе коммунаров, которым удалось спастись от расправы. Энгельс после смерти Женни писал: «...я уверен: жены изгнанников-коммунаров часто еще будут вспоминать о ней...»

¹ Густав Флуранс — член Интернационала, известный ученый-этнограф. Заподозренный в участии в заговоре против Бонапарта, он бежал в 1870 году в Лондон. Близко сошелся с семьей Маркса. Даже враги его говорили о нем. «Отважен, как витязь, учен, как энциклопедист». Участник польского восстания и освободительной борьбы на острове Крит в 1866 году, он был затем одним из выдающихся борцов Парижской коммуны. Флуранс был членом военной комиссии Коммуны и командовал 20-м легионом. Дом, в котором находился его штаб, был указан одним шпионом, окружен, а сам Флуранс был зверски убит.

² Феликс Пиа — член Коммуны. После ее падения эмигрировал в Лондон, где интриговал против генсовета Интернационала. Маркс называл его «злым гением Коммуны».

³ Lissagaay. Der Pariser Kommuna Aufstand. Berlin, 1931

⁴ Петер Имандт — член Союза коммунистов. После революции 1848 года эмигрировал в Англию. Страничник Маркса и Энгельса.

⁵ «Movimento operaio», № 2, 1955.

После поражения Коммуны, за несколько лет до кончины, в 1875 году Женни совершила поездку в Швейцарию и Германию. В письме к Элеоноре из Лозанны в августе 1875 года она писала:

«...Итак, я с легким сердцем пустилась в путь, чтобы поклониться героям Руссо и Байрона. Я провела в Женеве очень приятные дни, встречаясь со стариком Беккером... Любезность тети Ольги¹ и ее сестры (которая замужем за бывшим бакунинцем и анархистом) невозможно описать... Я понимаю теперь, почему старый Беккер и многие другие так восторгаются ею... Из Женевы я бы охотно поехала в Шамоникс или к Монблану, но у меня нет достаточно денег, так как я оставила немного старику (Беккеру.— П. В.). В Женеве я увидела Монблан в великолепном розовом освещении и... каналью Тьера. Я бы осталась здесь дольше, но необходимо ехать к Лине (Лина Шеллер — приятельница Женни, с которой она должна была ехать в Германию.— П. В.), иначе дальнейшая поездка состоится...»²

В следующем году Женни Маркс опять ездила в Германию. Она была свидетельницей участия рабочих в политической жизни и радовалась успехам на выборах в рейхстаг. Однако уже тогда она давала очень правильную оценку буржуазному парламентаризму. Она писала Ф. А. Зорге³ в 1877 году: «Важно не то, что они получают гораздо более мест и пошлют больше людей в парламент, а то, что количество голосов, которые они получают повсюду, даже в чиновничьих округах.— огромно. И это, кажется, окончательно выводит из себя всех карьеристов, грюндеров и эксплуататоров».

Незадолго до смерти Женни писала Карлу Гиршу⁴: «С годами я все больше убеждаюсь в правильности социалистических идей, хотя социалистическая практика еще далеко не на высоте».

Основатели научного коммунизма — Маркс и Энгельс вступили в борьбу со всем буржуазным миром, который тогда был в расцвете сил. В одном ряду с ними смело шагала против течения первая женщина-коммунистка Женни фон Вестфален.

¹ Ольга Степановна Левашева — член русской секции Интернационала. Ее сестра, о которой упоминает Женни, Аделаида Степановна была замужем за Жуковским, сторонником Бакунина.

² ЦПА ИМЛ. Фонд 6, ед. хр. 96.

³ Зорге Ф. А.— видный деятель международного рабочего движения, активный член Интернационала, друг и соратник Маркса и Энгельса.

⁴ Гирш К.— немецкий социал-демократ, журналист, редактор социал-демократических изданий.



В. ШКЛОВСКИЙ

★

ЧЕТЫРЕСТА ЛЕТ РУССКОЙ КНИГИ

Передо мной -- еще в оттисках — лежит первый том большого труда, посвященного четырехсотлетию русского книгопечатания. Этот труд выходит в Издательстве Академии наук СССР. Редактирование осуществлено членом-корреспондентом Академии наук СССР А. А. Сидоровым при участии члена-корреспондента Академии наук СССР П. Н. Беркова, академика ВССР Т. С. Горбунова и члена-корреспондента Академии наук УССР П. Н. Попова.

В оттисках не хватает указателей, библиографической справки — того, что принято называть «аппаратом». Но видно уже, что дело сделано большое. Общего исторического обзора развития книгопечатания до сих пор у нас не было. Первый том излагает всю предреволюционную историю книгопечатания нашей страны; подробнее всего в нем показано возникновение печати в России. Разделы о работе Ивана Федорова носят исчерпывающий характер.

Впрочем, в изданиях такого масштаба, как то, о котором мы сейчас говорим, исчерпывающая полнота невозможна, потому что история книгопечатания неизбежно перерастает, сливается со всей историей культуры.

Тема взята очень широко; в нее органично вошла история белорусской и украинской книги и по праву вошла также история книги в Литве, на территории которой работали Георгий Скорина и Иван Федоров. Говорится и о первопечатных изданиях Латвии и Эстонии, исторически связанных с истоками многонациональной сегодняшней советской культуры.

Мы знаем, какое влияние имело искусство Грузии и Армении на русское искусство, и знаем, какое влияние, особенно за последние века, оказала русская культура на народы Кавказа. Соединение истории книгопечатания разных республик органично, но в полном объеме проследить ее трудно, так как историю наших культурных взаимоотношений мы знаем еще не до конца.

Было тогда время освоения пороха, открытия Америки, роста ремесел.

В пушкинских «Сценах из рыцарских времен» сын суконщика Франц подымает крестьян против рыцарей, но они не могут победить всадников, окованных железом.

Франц, взятый в плен после неудачного восстания, приговорен к смерти, но помилован по просьбе девушки — за смелость и песню.

Рыцарь Ротенфельд говорит: «Так и быть: мы его не повесим — но запрем его в тюрьму, и даю мое честное слово, что он до тех пор из нее не выйдет, пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся...»

Пушкин не дописал сцены, но сохранился план произведения; в нем Франц еще носит имя Бертольда — легендарного изобретателя пороха.

«Богатый торговец сукном. Сын его (поэт) влюблен в знатную девицу. Он бежит и становится оруженосцем в замке отца девицы, старого рыцаря. Молодая девушка им пренебрегает. Является брат с претендентом на ее руку. Унижение молодого человека. Брат прогоняет его по просьбе девушки.

Он приходит к суконщику. Гнев и увещания старого буржуа. Приходит брат Бертольд. Суконщик журит и его. Брата Бертольда хватают и сажают в тюрьму.

Бертольд в тюрьме занимается алхимией — он изобретает порох. — Бунт крестьян, возбужденный молодым поэтом. — Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь — воплощенная посредственность — убит пулей. Пьеса кончается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)».

Пушкинский замысел, как я писал когда-то, восходит к большой исторической статье Бестужева-Марлинского, который под предлогом рецензии на роман Полевого «Клятва при гробе господнем» дал декабристское обозрение истории, всего подробнее раскрыв свое понимание конца феодализма.

В появлении первого химического оружия и изобретении книгопечатания ремесло проявило новые качества. Изобретения исходили из плебейско-демократических слоев. Работали над ними ремесленники и монахи, загнанные в монастырь нуждой.

Первая книга с применением славянского алфавита (кириллицы) издана в Кракове в 1491 году Швайпольтом (Святополком?) Феолом. Феол был мастером по золотому шитью: он изготовлял позументы. В 1494 году в Черногории работал монах Макарий, который также издал несколько книг. В орнаментике книги исследователи отмечают «объединение балканского с венецианским». Интересны и другие сербские первопечатные издания; некоторые из них печатались в Венеции. Из предшественников Ивана Федорова наибольшее значение имеют работы Георгия Скорины. Г. Скорина белорус. работал в Праге. в Вильне. Он был одновременно и новатором-печатником и писателем. Притом он явился «одним из первых деятелей белорусской культуры, который воспользовался народным языком». Его книги в Москве были несомненно известны и как печатные произведения имеют большое историческое значение.

Время открытия Америки всего на полвека отстоит от времени взятия Казани. В русских первопечатных книгах содержатся указания на то, что книгопечатание поможет дать богослужебные книги новым землям, завоеванным царем. Это приведет как оправдание технической новости.

Революционное по своему существу изобретение попадает в ту пору в руки царя и в этих руках будет еще находиться двести пятьдесят лет.

Дьяк Иван Федоров был человеком нового времени, свободолюбивым и талантливым, он проработал в книжном деле двадцать лет, а технические приемы, им созданные, и доски, им резанные, применялись в книгоиздании по крайней мере в течение двухсот лет.

Иван Федоров превратил высококую культуру русской рукописи в культуру печатной книги; он отлил шрифты, разрешил сложную задачу надстрочных знаков, заново расчленил книжными украшениями наборный текст и облегчил его чтение. Он создал стиль русского печатного искусства как художник и изобретатель.

Книги, выпущенные Иваном Федоровым, имеют свои художественные и технические особенности. Иван Федоров ввел в практику книгопечатания способ двухкрасочной печати с одной печатной формы в два приема. Делался набор. Под литеры, которые должны были дать красную печать, подкладывали пробельный материал, и они подымались над основным набором; на них наносилась киноварь: печатались красные литеры. После того, как это было сделано, пробельный материал вынимался, красный набор опускался, его прикрывали бумагой. Потом форму набивали черной краской, и она шла под пресс второй раз. В результате получалась двухцветная печать, в которой, однако, красные литеры оказывались более вдавленными, так как при первой печати они одни принимали через бумагу все давление печатного пресса. Может быть, эта техника была взята Иваном Федоровым из способа создания «крашенны» — русской набойки.

В своем искусстве Иван Федоров слил элементы русского народного орнамента со знанием возникающей книжной западноевропейской техники; появлялось новое, в нашей стране созданное искусство.

Из изданной в прошлом году Академией наук СССР книги С. Б. Веселовского «Исследования по истории опричнины» мы знаем, что террор Ивана Грозного коснулся не только бояр, но и простых людей, которых уничтожали иногда по их служебным связям с казненными боярами, а иногда просто в силу подозрительности царя.

Вот что говорит С. Б. Веселовский: «Напомню, что, учреждая «Особный» или Опричный двор, царь Иван проявил недоверие не только к старому двору, к дворянам в собственном смысле слова, но и к низшим разрядам старого дворцового хозяйства, к «техперсоналу» Государева двора, если можно так выразиться: к сытникам, ключникам, хлебникам, поварам, конюхам и т. п. При учреждении Опричного двора и этот «техперсонал» подвергся чистке и просвечиванию. В Царском архиве хранились, составляя целый (200-й) ящик, «сыски родства ключников и подключников, и сытников, и поваров, и хлебников, и помясов, и всяких дворовых людей». Вероятно, к тому же сыску и просвечиванию дворовых людей относится и память какого-то Юшки Вошесникова, который «писал имяна, кто к кому был прихож», хранившаяся в 217-м ящике Царского архива».

Новое дело всегда в то время искало высоких покровителей, и какие-то покровители, вероятно, были и у Ивана Федорова. В момент появления опричнины он мог вместе с ними войти в список людей подозреваемых.

Вероятно, дело обошлось не без доносов.

Вероятно, в начале 1566 года вместе со своим другом Петром Мстиславцем Иван Федоров бежал из Москвы. Он пишет об этом бегстве в послесловии к львовскому Апостолу 1574 года: «...зависть и ненависть... сия убо нас от земля и отечества и от рода нашего изгна и в ины страны незнаемы пересели».

Незнаемая страна принесла первопечатнику новое горе: сперва он нашел покровителя, и покровителя могучего — таким оказался гетман великого княжества Литовского Григорий Ходкевич. Он отправил печатников в местечко Заблудов и приказал им печатать там книги на его средства. Но, несмотря на то, что Ходкевич и сыновья его первоначально покровительствовали русским изгнанникам и первые труды Ивана Федорова он похвалил, — все же через год Ходкевич прекратил издания, предложив печатнику в утешение, чтобы тот занялся сельским хозяйством, оставив дело русского печатания. Есть предположение, что это внезапное прекращение издания русских книг было связано с Люблинской унией 1569 года.

Иван Федоров ушел из Заблудова и начал искать нового покровителя.

На некоторое время им оказался князь Острожский и, может быть, русский изгнанник князь Андрей Михайлович Курбский.

Для высоких покровителей их участие в новом деле было делом третьестепенным, и могучие люди не оказали первопечатнику большой поддержки. Вот что он сам писал об этом:

«Вселшумися в преименитом граде Лвове, начах богоизбранное сие дело к устроению наворачати. И обходях многащи богатых и благородных в мире, помощи прося от них, и метанне сътворяя, коленом касаяся и припадая на лица земном сердечно каплющими слезами моими ноги их омывах, и сие не единою, ни дваци, но и многащи сътворях. И в церкви священнику всем вслух поведати повелех. Не испросих умиленными глаголы, ни умолих многослезным рыданием, не исходайствавах никоса милости иерейскими чинми. И плакахся прегоркими слезами, еже не обретох милующего ниже помогающего, не точию же в руском народе, но ниже в гренах милости обретох, но мали нецьи в иерейском чину, инии же неславнии в мире обретошася, помощь подающие» (С. Ю. Бендасюк. Общерусский первопечатник Иван Федоров и основанная им братская ставропигийская печатня во Львове. Издание Ставропигийского института. Львов. 1935, стр. 16—17).

«Неславные» люди — львовские мещане, ремесленники, седельники, пушкарри — приняли дело Ивана Федорова и продолжали развитие славянского книгопечатания.

Печатные станки в Московии и в новой России Петра оставались в руках царя, но работали на них люди «малые», «неславные». Они были изобретателями и

часто мыслителями. Мне кажется, что в новых изданиях книги, первое появление которой мы сейчас приветствуем и сведения которой нас обогащают, надо будет дать больше места лубочной книге и русскому журналу.

Я понимаю краткость книги. Нельзя превращать историю книгопечатания в историю русской общественной мысли. Но и по тем намекам, которые присутствуют в книге, мы видим, что в лубочных изданиях появляется широкая массовость; позднее лубочные издания положили начало многокрасочному печатанию. Могу добавить, что такие типографии, как типография Решетникова, печатавшая книги для народных масс, были превосходно оборудованы как по набору, так и по акциденции. Многие в высокой литературе непонятно без обращения к работам безымянных авторов лубочных книг. Так, например, молодой Гоголь в своем творчестве не вполне понятен без украинских рукописных лубочных книг и народного кукольного театра-вертепа.

Массовость изданий Сытина тоже приводит нас к воспринятому Сытиным богатому опыту лубочных издателей, полкустарей Владимирского края.

Мы понимаем, что авторам книги все время приходится ограничивать себя. Иногда эти ограничения разрывают развитие темы.

Мало сказано о журналистике. Ранний журнал, как тип издания, отделен от книги и остается неосвещенным.

Журналистика екатерининской эпохи показана сравнительно полно, но журналы не описаны библиографически. Поэтому остается непонятным, что нового они дали в общем развитии книжного искусства.

Журналистика эпохи Николая как бы совсем пропущена.

Между тем в истории русской книги журналы боролись за реалистическое искусство, они были демократичны, они были политически тенденциозны.

На издание журнала надо было получать специальное разрешение. Надо было применяться к цензурным строгостям. Но и «Мнемозина» Кюхельбекера, и «Современник» Пушкина представляют собой переход от литературного альманаха к журналу общественно-политическому. Пушкин издавал «Литературную газету» и мечтал о политической газете. Русская журналистика теснейшим образом связана с русской литературой.

Книга говорит о журналистской деятельности Герцена, рассказывает об альманахах Некрасова, но не показывает Белинского, Чернышевского, Салтыкова как журналистов, и это разрывает картину исторического развития русского книгопечатания, не дает понимания борьбы за свободу демократического слова.

Мне не удастся написать рецензию, потому что я имею перед собой не книгу, а лишь оттиск листов — без оглавления, без аппарата. Но свои мысли об этой будущей книге я хочу кончить словами В. И. Ленина, написанными им в статье «Из прошлого рабочей печати в России»: «История рабочей печати в России неразрывно связана с историей демократического и социалистического движения».

Второй том книги будет посвящен книгопечатанию советского времени, и, вероятно, революционная журналистика будет освещена в этом томе полнее, чем показаны ее истоки в первом томе.



В МИРЕ НАУКИ

ЮЛ. МЕДВЕДЕВ

★

ЗАЩИТНИЦА ПОЛЕЙ

Если рассматривать материально-технический прогресс как многовековую борьбу человека с природой, то историю этого прогресса можно представить как бесконечное восхождение от натурального, «нерукотворного» к искусственному, возделанному, созданному человеческим разумом. Тогда сельское хозяйство — эта окультуренная природа — в известном смысле окажется предысторией химии органического синтеза.

Сельское хозяйство унаследовало от матери-природы главное: способы изготовления живых организмов. И хотя многие внешние условия для этого производства человек усовершенствовал, ему еще не удается управлять всей технологией рождения, роста и развития живого так уверенно и безошибочно, как он командует сегодня процессами выплавки металла, выпечки хлеба и даже деления ядер в атомном котле.

Скудный набор почвообрабатывающих орудий и обширный набор заклинаний и молитв — вот чем располагало земледелие на протяжении тысячелетий. Переход от догадок и беспомощности к знанию и результативному воздействию произошел в земледелии сравнительно недавно. Неорганическая химия дала труженику полей соли плодородия. Это был важный шаг на пути к гарантированным урожаям.

Младшую ветвь древней науки — органическую химию — роднит с сельскохозяйственным производством углеродная первооснова. Соединения углерода составляют отличительную черту всего живого, лежат в основе «живой органики». Они же служат источником многообразия органики, синтезируемой в пробирках и колбах. Родство близкое и далекое. Синтетические вещества и материалы воздействуют на интимнейшие механизмы жизнедеятельности. Но в то же время живую и неживую органику разделяет пропасть принципиальных качественных отличий. Обмен веществ, созидающий жизнь, — это пока что во многом непознанный процесс химических превращений, это невообразимая слаженность несчетного числа одновременно свершающихся процессов, одна из сокровенных тайн природы.

В конце концов к одной и той же цели (например, к созданию материалов, обладающих такими свойствами, как шерсть и кожа, таких веществ, как жиры и краски) могут вести разные пути, рассуждали химики. В конце концов живая природа в своем величии и завершенности косна. У нее есть чему учиться, хотя просто копировать ее методы не всегда возможно и часто бесперспективно.

К чему привели эти размышления, общеизвестно. Была подорвана монополия натурального в одежде и обуви. На первых порах цехи, где «выращивались» заменители, находились в сильной зависимости от полей и ферм. Не освободилась от нее промышленность органического синтеза и теперь. В 1963 году, например, в нашей стране на производство искусственного каучука было запланировано израсходовать тридцать восемь миллионов декалитров спирта из пищевого сырья. Но чем дальше, тем меньше химическое производство нуждается в сельскохозяйственном сырье и, наоборот, тем больше нужны села в органических препаратах.

Дальнейшее развитие этих взаимоотношений, видимо, ознаменуется вторжением органической химии в таинственную область живой органики. Органический синтез, со-

творивший шерсть и кожу без откармливания овцы, шелк — без разведения червей, каучук — без выращивания гевеи, вторгнется на фабрику пищи и наладит выпуск дешевых и полноценных продуктов питания.

Не будем гадать, как скоро это произойдет. Но определенно одно — органической химии (вместе с неорганикой) предстоит долгое время верой и правдой служить сельскохозяйственному производству, и весь богатейший арсенал доступных ей средств следует обратить на повышение эффективности этого производства.

Такую роль химии особо подчеркнул декабрьский Пленум ЦК КПСС: «Нужно в полной мере использовать могучую силу химии для повышения урожайности полей и продуктивности животноводства с тем, чтобы в достатке обеспечить потребности страны в продуктах питания и промышленности в сырье».

Отныне химии обеспечены серьезные привилегии в планах развития страны. Эта отрасль науки и производства, способная оздоровить, омолодить каждую клетку народнохозяйственного организма, получит столько средств, сколько надо для ее форсированного, беспрепятственного роста.

Но для успешного проведения химической революции в масштабах крупнейшей державы мира требуются не только материальное стимулирование, экономические рельсы, но и, если можно так выразиться, моральная поддержка, психологическая готовность. «Надо прививать любовь к химии», — сказал Н. С. Хрущев.

Гибкость, непрерывность, экономичность химических процессов оценена современностью. Осталось овладеть и широко пользоваться ими. Надо увлечь химией всех.

Мы попытаемся дальше рассказать о том, что дает и что может дать нашему сельскому хозяйству одна только ветвь химии — химия органическая. Поэтому о главной силе, поднимающей урожай — минеральных удобрениях, — здесь речь идти не будет.

ВОДА И ПОЛИМЕРЫ

Старинная испанская поговорка гласит: «Погода правит полями». Правит, как мы знаем, спустя рукава. Возьмем, например, снабжение водой. Одним районам водный лимит скаречно урезан, другие районы в не меньшей мере страдают от чрезмерной шедности водного пайка. С незапамятных времен орошением и осушением человек пытался исправлять эти ошибки.

В нашей стране есть неограниченные возможности для расширения орошаемых площадей, то есть площадей верного, застрахованного от атмосферных причуд урожая. Чтобы собирать четырнадцать—шестнадцать миллиардов пудов зерна в 1970 году и восемнадцать—девятнадцать миллиардов — в 1980-м, как намечает партия, таких площадей надо иметь немало. Выступая перед земледельцами Северного Кавказа, Н. С. Хрущев высказал ряд критических замечаний об использовании поливных земель.

Одна из причин несоответствия между тем, что собирают, и тем, что можно собрать с орошаемых полей, кроется в допотопной технике полива. Паутина каналов, борозд, протяженность которых на одном гектаре достигает пятнадцати — двадцати тысяч метров, напуск воды, самотеком расползающейся меж зыбких, кисельных берегов такой системы, — все это плохо вяжется с представлением о современном регулируемом водоснабжении. Удобством и надежностью водопровод обязан трубам. В тех хозяйствах, где основу оросительной системы составляют трубопроводы, как, например, в совхозе «Большевик» Московской области, в совхозах «Фархад», «Ленинабад» и других хозяйствах Голодной степи, она эффективна и экономична.

Если б сельское хозяйство располагало достаточным количеством труб, водная проблема во многих районах потеряла бы свою остроту. А это наступит тогда, когда поля, сады и пастбища будут опутаны водоносными артериями из пластика.

Трубы из полиэтилена и полихлорвинила — не только удешевленная копия своих предшественников, труб металлических, но и во многих отношениях предпочтительная. Земля враждебна к железу. Блуждающие токи, кислоты, бактерии растачивают стенку железной трубы, как короед одежду деревьев, превращают ее в рыжее сито. Пластики

же избавлены от подобных напастей, служат под землей значительно дольше. Кроме того, они легки и гибки, что существенно для ирригационного строительства. Полиэтиленовые трубы изгибаются сами, повторяя прихотливый рельеф сельской местности. Их можно наматывать на барабан. А барабан поднять в воздух на вертолете. И тогда водопровод удастся прокладывать напрямик через горы и овраги очень быстро. Тянут же в Чехословакии линию электропередач на некоторых участках с помощью ракет!

Но пока важнее другое: гибкость пластмассовых труб облегчает подведение воды от гидрантов — распределительных трубопроводов — к дождевальным машинам.

Химическая стойкость, сравнительно невысокая стоимость и легкий вес синтетических труб откроют еще одну область их применения.

Многим, наверно, приходилось слышать о подземном орошении. В свое время об этом эффективным отечественном изобретении было опубликовано немало статей. Сейчас для осуществления предложенного принципа найден новый, оригинальный путь. Три пластмассовые трубы разных диаметров продеваются одна в другую так, что между их стенками остается просвет. Если по внутреннему сечению слоеного трубопровода нагнать под давлением воздух, а по наружному пустить воду, то через дырочки, специально проделанные в стенках труб, вода, словно из пульверизатора, будет впрыскиваться в почву и проникать прямо к корням растений. Таким же способом можно доставлять растениям пищу и лекарства внутреннего действия. Синтетические артерии не пострадают от этих растворов. А почва, как говорится, одним махом будет и увлажняться, и удобряться, и взрыхляться, и насыщаться воздухом! И это еще не все. Выдвинута идея: по тем же трубам подавать через раствор в почву электрический ток. Установлено, что ток низкого напряжения помогает растениям усваивать удобрения.

Изменится и сама техника некоторых ирригационных работ. Например, при затоплении рисовых полей до сих пор оставляют лабиринт перемычек — земляных дамб, которые дробят плантацию на отдельные участки. Эти временные насыпи не только создают препятствия для широкого использования техники, но занимают до четырех процентов полезной площади и служат убежищем для сорняков. Теперь получена возможность заменить земляные перемычки синтетическими. Тонкая пластмассовая пленка, натянутая, как рыболовная сеть, меж двух опор, будет удобной, легко снимаемой стенкой.

Но важно не только суметь подвести воду, но и сохранить ее. Людей, далеких от проблем водоснабжения, возможно, удивит, что обыкновенная пресная вода, которую мы привыкли ни во что не ставить, не сегодня-завтра может оказаться если и не дефицитным, то во всяком случае строго учитываемым веществом. Дело в том, что нужды в ней быстро растут: множится род людской, строятся все новые заводы и фабрики, ширятся площади под посевами. Одни орошаемые земли на земном шаре занимают сто миллионов гектаров! А количество воды остается постоянным. Дошло до того, что потребление воды принимает размеры, соизмеримые с наличными запасами ее в реках. Например, в Советском Союзе потребление речной воды на нужды промышленности, сельского и коммунального хозяйства достигает пятисот миллионов кубических километров, что равно тридцати — сорока процентам стока всех рек страны... Поскольку увеличить атмосферные осадки не в наших силах, остается одно: сократить потери воды. Они огромны. В Соединенных Штатах воды уходит под землю больше, чем ее расходуется на снабжение всех городов!

Как только появились на свет синтетические пленки, мелиораторы тотчас же заинтересовались ими. Эксперименты, проведенные Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидротехники и мелиорации, Молдавским институтом инженеров водного транспорта, Среднеазиатским научно-исследовательским институтом ирригации, а также учеными во многих зарубежных странах, показали, что полиамидные, полиэтиленовые, полихлорвиниловые пленки служат водонепроницаемыми простынями на ложе каналов и прудов. Совхозу «Дружба» (Московская область) водоем, дно которого было подстелано пластмассовым экраном, сберег всю воду, до того утекавшую. Полупрозрачная тоненькая пленка выполняла функции массивной, дорогой, требующей перемещения огромного количества грузов, огромного объема земляных работ бетонированной облицовки.

Но вода утекает не только вниз, но и вверх. Ее крадет солнце. И преимущественно в тех районах, которые и без того обделены влагой. Причем если часть воды, потребляемая человеком, скажем, на бытовые нужды, возвращается обратно в реку и после очистки может быть использована вторично, то уж что испарилось, то испарилось. Где-то, быть может, за сотни и тысячи верст, над океаном или болотом прольются дефицитные кубометры воды, похищенные у иссохших земель.

Значительны ли эти потери?

В Техасе, например, испарение уносит сорок процентов всей воды, выпадающей за год в виде осадков. В Целнном крае более одиннадцати тысяч пресных озер общей площадью около двенадцати тысяч квадратных километров. Летом они сильно мелеют. За год с поверхности их испаряется до девяноста тысяч тонн воды. А она здесь в цене! Простую воду, словно молоко или нефть, перевозят в автоцистернах на десятки километров. Местные совхозы «Березовский», «Ленинский», «Суворовский», «Кутузовский» и другие ежегодно тратят на водоснабжение десятки тысяч рублей. И все же воды недостает.

Обильные потоки паров, возносящиеся над водоемами Центрального и Южного Казахстана, Средней Азии, Закавказья,— прямое вредительство природы, наносящее урон сельскому хозяйству. Можно ли закрыть этот источник потерь? И как это сделать?

Вот один из многих случаев, когда органическая химия дает решение задачи, которую никаким иным способом решить практически нельзя. Ветрозащитные полосы, уничтожение водяных растений, которые в жаркие дни работают как огромный парк живых насосов,— все это лишь полумеры.

Радикальное средство предложили химики. Они обратили внимание мелиораторов на органические вещества, относящиеся к группе так называемых поверхностно активных. Одна из примечательных особенностей этих жидкостей состоит в том, что они неудержимо расползаются по поверхности, образуя тончайшие пленки. Вплоть до толщины в одну молекулу. Такие мономолекулярные пленки затягивают обширную гладь воды, если на нее брызнуть всего несколько капель жирного спирта или жирной кислоты.

Но что же получится? Если мы законсервируем водоем — прекратится газообмен между ним и воздушной средой, все подводное население погибнет, а сама вода испортится. Сложность изготовления покрывала для водоемов кроется в том, что оно должно быть одновременно непроницаемо для воды и проницаемо для воздуха.

Все это химики учли. Рекомендованные ими высокомолекулярные соединения благодаря своим электрическим свойствам могут стать тем ситом, через которое воздух проникнет, а водяной пар — нет.

К тому же химическое покрывало прочно. Пленка толщиной в одну молекулу не рвется и не рвется. От лодки, пересекающей водоем, следа не остается — пленка тотчас затягивается. Зато, как и всякое свободно лежащее покрывало, неуязвимая пленка может быть вовсе сброшена. Сильный ветер сдувает монослой с поверхности водоема и обнажает водное зеркало. Отказываться из-за этого от уникального покрывала было обидно. Специалисты не успокоились до тех пор, пока не придумали остроумный выход из положения. Они построили простенькую плавучую установку, в которой пусковым устройством служит крыльчатка. Стоит ветру разгуляться, крыльчатка набирает обороты и приводит в действие механизм, разбрызгивающий поверхностно активную жидкость. Ее запаса в бачке установки может хватить на довольно продолжительное время. Таким образом, ветер сам включает автомат, застилающий новые и новые покрывала на место сдернутых.

Источником водоснабжения полей служит еще и снег. К сожалению, и его самовольно перераспределяет ветер. Оголяя землю, он не только лишает посевы ожидаемой влаги, но и тепла. Ценою больших усилий, затрат колоссальных средств, времени и труда хлеборобы страхуют лишь минимум зимних запасов влаги. Для этого выращивают целые леса, устраивают многокилометровые барьеры, оставляют необранными ряды кукурузы, запахивают снег тракторами, принимают катками.

С точки зрения химии, защита снежной поверхности — задача, похожая на ту, когда шла речь о водоемах. Предложено вещество, родственное парафину — гексадеканаль,— образующее невидимую пленку на заснеженном поле. Проведенные за рубежом опыты

показывают, что пленка снижает потери влаги на открытых местах на девяносто процентов.

Важность и актуальность таких работ видна уже из того, что для проведения их привлечены такие крупные научно-исследовательские институты, как ВНИИ гидротехники и мелиорации, Государственный гидрологический институт, ВНИИ жиров, Институт органической химии АН СССР. Опыты проводятся в различных районах страны. Получены обнадеживающие результаты.

Бывает, что для достижения одной и той же цели пригодны прямо противоположные средства. Чтобы напоить посевы, можно, как мы говорили, сберечь влагу, уменьшив потери на испарения. Но можно достать необходимую воду и путем увеличения испарений.

Большинство известных нам сейчас способов искусственно вызывать осадки пока еще слишком дорого. Но поиски продолжаются. Вот один из новых проектов.

Идея проста. Если определенные участки прибрежной полосы покрыть какой-либо темной синтетической пленкой, то в этих местах температура почвы повысится. Прилегающий воздух будет нагреваться и, поднимаясь вверх, увлекать с собой влагу, приносимую с моря. На высоте пары охладятся и образуют сильно нагруженные водой облака. Они-то и явятся самопроизвольно опорожняющимися резервуарами. Если бы удалось математически рассчитать весь этот процесс, учтя такие параметры, как интенсивность солнечной радиации, испарений, направление и силу ветра, нам представилась бы возможность наладить по воздуху транспортировку воды к остро нуждающимся в ней районам. Ни ветры, ни солнечная радиация нам сейчас не подвластны. Однако полимерные экраны можно расположить таким образом и в таких местах побережья, что формирование облаков и их «рейсы» хотя бы ориентировочно будут соответствовать намеченному человеком маршруту.

Впрочем, до реализации такой «фабрики дождей» дело еще не дошло. Идет лишь теоретическое рассмотрение осуществимости самой идеи, так же как и практического использования тех органических пленок, о которых говорилось выше. Все новое поначалу бывает неподатливо, угловато, и от возникновения идеи до ее практического осуществления проходит много времени.

Стоит ли так «авансировать» пленки? Чтобы сказать «да» или «нет», надо знать их «слабые места». Основной недостаток, присущий пока, к сожалению, многим пластикам,— это изменение физико-механических свойств под действием тепла, света. Кроме того, некоторые пленки, стойкие против воды, пасуют перед растениями. Ростки сорняков протыкают полимерную подстилку водоема, и фильтрация увеличивается. Ну и наконец подстилки эти легко приводят в негодность всякого рода грызуны.

И тем не менее пленки — при всех их недостатках — применять выгодно. К тому же химики, работая над формированием свойств полимеров, интенсивно ищут «прививки», которые придадут новым материалам продленную стабильность, способность отпугивать животных и не бояться сорняков.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЧВЫ

У землеустроителей Белоруссии, Прибалтики и других краев, где неоглядны болота да топи,— иные заботы. Заболоченных мест в нашей стране много, они занимают около десяти процентов всей огромной территории. Сколько мяса, хлеба, картошки и разного другого добра могли бы дать эти некогда плодородные земли! Ведь на дне некоторых осушенных торфяных болот находили следы стоянок древнего человека.

Мелиоративная техника стара, как мир. Еще Ломоносов призывал иссушать «рва-ми блага». Сейчас эти рвы прокладывают с помощью машин. Трактор тянет плуг, который прорезает вертикальную щель, а затем вдоль этой щели протаскивается металлический конус. За ним остается канавка-дрена. Чтобы стенки дрены не рассосались и канавка не закупорилась, вдоль трассы укладывают полые керамические цилиндры, один впритык к другому. На многие километры тянутся дрены, тысячи трубок уложил в них

человек. Для этого он шагал по трясине, дышал нездоровыми испарениями, отбивался от туч комаров. До чего несовременная технология!

С помощью органической химии все это будет выглядеть иначе.

По утверждению Гомера, sireны могли превратить в камень каждого приблизившегося к ним. Этим даром обладает и полиакриламид — органическое вещество, которое получили ученые ленинградского Института галургии. Правда, свое действие он оказывает не взглядом, а непосредственным прикосновением, и притом не на живые существа, а на раскисший грунт. Но зато делает это не в сказке, а наяву.

Полиакриламид был создан не для мелниорации. Его синтезировали для многочисленных производств, где необходимо в растворах осаждать муть, которая сама по себе оседает невероятно медленно. Полиакриламид оказался отличным осадителем, или, как его называют ученые, коагулянт. Он ускорял процесс в сотни и даже в тысячи раз.

Коагулянт действует как некое заземление, которое снимает электрическую оболочку с плавающих в воде частиц. Эти оболочки заряжены одноименно, что и препятствует их сближению. Молекулы же коагулянта либо отдают, либо отнимают заряды, так что молекулы взвеси перестают испытывать взаимное отталкивание и в массовом порядке идут на сближение. Слипаясь в комки, частицы тяжелеют и быстро оседают на дно.

Вещество, способное лепить комки из пылинок, — это богатейшая находка.

Современное земледелие использует многочисленную и разнообразную технику для обработки почвы, ухода за посевами, уборки урожая. Машины и орудия проходят по полям до двадцати пяти раз за сезон. Они распыляют почву, нарушают ее комковатую структуру. Такая почва не только не удовлетворяет требованиям агрономии, но и становится легкой добычей воды и ветра. Ветер поднимает ее в воздух, а вода смывает и уносит с собой на большие расстояния. Взаимное отталкивание пылинок приносит людям огромные бедствия.

Получив полиакриламид, сотрудники Агрофизического института стали проводить опыты по лечению безнадежных почв. Участок глинистой заплывающей земли был полит раствором этого вещества. И произошло поразительное превращение: почва стала комковатой, пористой. Опытная делянка бросовой земли дала больший урожай пшеницы, чем лучшие земли совхоза «Пригородный», где проводился эксперимент.

Испытали полиакриламид и для укрощения песков. Экспедиция Академии наук провела опыты по закреплению сыпучих дюн. Политые чудодейственной жидкостью, песчинки слипались. Песок затянулся прочной тонкой коркой. То была не скорлупа, какая образуется после дождя на глинистых почвах, а пористое, водо- и воздухопроницаемое покрытие. Посеяли в оструктуренные пески траву, и они зазеленели. Корни травы еще сильнее связали пески, продолжив дело, начатое полиакриламидом.

Нетрудно представить, чем может стать жидкость, формирующая из зыбкой массы твердую пористую корку при осушении заболоченных земель. Раствор полиакриламида, орошающий изнутри дрена, сразу оденет ее в жесткий панцирь. Специальную машину для изготовления на ходу таких трубопроводов разработал заслуженный изобретатель Литовской ССР Н. Д. Курбатов. Вместо обычного конуса, протаскиваемого в грунте, здесь применяется дрeнер, конструкция которого напоминает еловую шишку. Под ее стальные чешуйки нагнетается полиакриламид. Этот «схватывающий» раствор окропляет стенки дрeны, а чешуйки, как штукатур мастерком, затирают поверхность. Так по мере продвижения машины в грунте образуется готовый водоотвод.

Литовцам понравился этот способ избавления земли от излишков воды. Республиканское отделение «Союзсельхозтехники» намерено его внедрять.

— В этом направлении предстоит сделать еще многое, — сказал академик С. И. Вольфович, когда я спросил его, как обстоит сейчас с применением искусственных структурообразователей. — В магазинах Америки — я был там два года назад — мне встречалось несколько сот препаратов такого назначения. Но, знаете, пока это довольно дорогое удовольствие. Наши структурообразователи, в том числе разработанные Институтом галургии, обладают, к сожалению, тем же недостатком. Впрочем, если развитие специальных областей техники — ракетной, авиационной, атомной, радиоэлектронной — заставило подешеветь титан, уран, цирконий, германий и другие некогда баснословно

дорогие металлы, то, надо думать, аналогичные процессы произойдут и здесь. Не следует только никогда забывать, что сельское хозяйство — это такой оптовый потребитель, для которого экономические соображения играют исключительно важную, часто — определяющую роль при оценке того или иного новшества. Только самые дешевые, самые доступные «чудеса» химии найдут у него признание.

ОВОЩИ ПРЕДПОЧИТАЮТ СИНТЕТИКУ

Продукты органического синтеза могут сохранить, улучшить, доставить сельскохозяйственным растениям и животным не только воду, но и все остальное, чем живет организм: тепло, свет, пищу.

Оказалось, например, что полиамидные кровли парников и теплиц лучше удовлетворяют запросы растений, чем стеклянные. Синтетическое «небо» более прозрачно для ультрафиолетовых лучей, играющих первостепенную роль в жизни зеленых организмов. Инфракрасную же часть спектра оно пропускает хуже, поэтому тепло под укрытием сохраняется лучше. В прохладные ранневесенние дни под пластмассовым укрытием температура на три-четыре градуса выше, чем под открытым небом. Наконец в обтянутых синтетической пленкой теплицах, которые герметичнее стеклянных, сильно парит, а это многим огородным культурам на пользу.

О том, что органическому укрытию растения отдают явное предпочтение, свидетельствуют их собственные показания. В опытах, проводившихся Агрофизическим институтом, они дали более интенсивное накопление органического вещества, когда росли под пластмассовой пленкой. Научно-исследовательский институт земледелия западных районов Украины, колхоз имени Дзержинского, Ухтомского района, Московской области и другие институты и хозяйства обнаружили, что огурцы, защищенные полиамидной крышей, дают в полтора раза больший урожай, чем под стеклом. У них и у томатов сокращается к тому же период вызревания.

Ранние овощи вкуснее, ароматнее, желаннее самых изысканных фруктов. Но скажите это диетологу, и непременно услышите в ответ: питательная ценность парниковой зелени оставляет желать лучшего, в ней пониженное содержание витамина С.

Синтетические пленки снимут с парников это обвинение. В овощах, выращенных под полиамидным укрытием, витамина столько же, сколько накапливают те же культуры в открытом грунте. А по растворимым сахарам овощи, выросшие под полиамидом, превзошли процентов на сорок те, что сняты с открытого грунта.

Пластмассовое «небо» улучшает и так называемую товарность урожая. Что это значит? На прилавках магазинов иногда лежат пузатые, крепкие, но бледно-розовые помидоры: они не успели нарумяниться до начала уборки. А под пленкой успевают. В общем, пластмассовые овощеводческие цехи дают больше продукции, соответствующей стандарту, чем цехи стеклянные.

А как отнестись к такому факту: разные культуры проявляют склонность к разным синтетикам. Огурцы лучше развиваются под полиамидными пленками, салат дает наибольший прирост, когда защищен полиэтиленовым укрытием, томаты хорошо растут под ацетилцеллюлозной пленкой и так далее.

Или к такому: у огурцов, выращиваемых под пленками, более интенсивно образуются женские цветки.

Все это озадачивает.

Селекционеры решительно переделывают природу растительных организмов, заставляя своих питомцев быть выносливее, жизнеспособнее. Они добились выдающихся результатов, приспособив растения к окружающим условиям. А к чему приведет создание условий, максимально отвечающих биологической природе растений? Не станут ли под синтетическими укрытиями, подогнанными к запросам определенных групп зеленых индивидов, вызревать неслыханные и невиданные урожаи?!

Для усовершенствования кухни погоды в тепличных хозяйствах и на птичьих дворах, а может быть, и в коровниках, свинарниках пригодятся синтетические печки, разрабатываемые во Всесоюзном научно-исследовательском институте пленочных материалов

и искусственной кожи. Под руководством И. А. Острякова здесь выведено целое семейство токопроводящих полимеров.

Резиновый провод. Держа его в руках, я думал о том, что совсем недавно это звучало бы не более правдоподобно, чем медный изолятор. Впрочем, превратить в наше время классический изолятор в проводник было не самой трудной задачей. Полимерные электронагреватели обычно имеют положительный температурный коэффициент. Это значит, что с появлением температуры резиновый проводник самопроизвольно понижает сопротивление. Ток в цепи возрастает, и грелка начинает дымить. Приходилось для поддержания постоянной температуры составлять дополнительно к простому нагревателю непростую электрическую схему.

В институте же нашли такую композицию полимера, при которой с нагреванием сопротивление его не падало, а возрастало. Иначе говоря, удалось химическим путем изготовить электрический автомат, саморегулируемый термоэлемент.

За будущее этих синтетиков беспокоиться не приходится. Начали они свой путь из лаборатории в практику на Голицынской птицефабрике. Побывав на ней, вы могли бы увидеть любопытную картину: полимерный коврик и размещившиеся на нем группы цыплят. Этот коврик скроен так, что пол помещения образует мозаику температур. Каждый жилец может сам себе выбрать участок, где ему не холодно и не жарко. К тому же в отличие от электрической спирали синтетическая печка не чадит углекислым газом, вредным для здоровья живых организмов, и не дает жесткого инфракрасного излучения.

В инкубаторах токопроводящие полимерные коврики обещают стать образцовой искусственной насадкой, создающей комфортабельные условия для развития эмбриона.

Для парников и теплиц больше подойдут другие материалы, синтезированные в той же лаборатории, — пленки, сохраняющие постоянное электрическое сопротивление при изменении напряжения. В принципе они позволяют программировать изменение температуры в соответствии с агрономическими требованиями. Или (что почти то же самое) в соответствии с требованиями самого растения. Выслушав запрос «зеленого клиента», будущие приборы-автоматы отпустят ему через стенки прозрачного домика строго дозируемую порцию тепла.

ОРГАНИКА-ВОИН

Земледелие — занятие отнюдь не мирное. Собрать урожай означает урожай отвоювать.

Как только наш далекий предок впервые выделил для себя из окружающей дикой природы подходящие злаки и в поте лица стал их возделывать, тотчас объявились охотники поживиться за его счет, пожать плоды его трудов. Это были животные, насекомые и сорняки. Легче всего оказалось справиться с крупным противником. А мелкие — всевозможные членистоногие грабители — преследуют земледельца по сей день. Не избавился он и от сорняков.

В долгой войне оружие устаревает. Даже такое грозное, как химическое. К ядам тоже привыкают. В последние годы полеводы с опаской отмечали, что старые, верные отравители часто не убивают вредителей наповал, а лишь вызывают у них временную нетрудоспособность. Более ста видов насекомых-вредителей выработало сопротивляемость к одному или нескольким инсектицидам.

На войне, как на войне: если противник не боится твоего оружия, сражение проиграно. Стоит чуть ослабить натиск на вредителей полей, садов и огородов — и они заполняют шар земной, покорят человека, оставив великого труженика без куска хлеба.

Где выход?

Надо либо повысить эффективность существующих средств, либо изобрести новые виды оружия. А что значит увеличить убойную силу существующих ядохимикатов? Это значит применять их в больших концентрациях, в больших количествах. Но тут, как говорится, палка о двух концах.

Проведенные в Америке исследования показывают, что полтора-два тонны инсектицидов, использованных в сельском хозяйстве страны за год, принесли не только доход

фермам, но и заболевания потребителей их продукции. Инсектицид ДДТ обнаружен на огромных расстояниях от мест его применения. ДДТ находят даже в жире рыб, обитающих далеко в море. Он растворен в большинстве рек, попал в организм перелетных птиц и диких зверей. Управление по контролю над продовольствием и медикаментами сообщало, что в настоящее время аккумуляция ДДТ наблюдается в жировом покрове людей, живущих в США, Канаде, Германии и Англии. В Калифорнии за год зарегистрировано тысяча сто заболеваний — в том числе острых, — вызванных отравлениями ядохимикатами.

Так что одним увеличением количества инсектицидов можно одержать лишь нирровую победу над вредителями сельскохозяйственных культур.

А ведь ДДТ и сейчас остается королем ядохимикатов.

До появления новых, органических препаратов человек защищал растение от вредных насекомых так же, как и себя, то есть снаружи, или, как говорят специалисты, контактным способом. Но поверхностная защита растений ненадежна: роса, дождь, ветер, смывающие и сдувающие препарат, оказываются союзниками их врага.

Ядохимикаты контактного действия плохи еще тем, что они — не прищельное оружие. От ДДТ и гексахлорана гибнут и враги полей, и враги этих врагов — насекомые-хищники. Природа всегда мстит за неумелое, грубое вмешательство в ее установления. Известен случай, когда после обработки плантаций хлопчатника эмульсией гексахлорана, убившей хлопковую совку, трипсов и тлей, кусты оказались густо усыпанными паутиным клещиком. Он воспользовался благоприятной ситуацией, созданной для него человеком.

Гораздо перспективнее изобретение новых, неведомых противнику видов оружия. Взявшись за это дело, органическая химия, как и в других случаях, продемонстрировала размах и фантазию в постановке задач и богатство средств для их решения.

Против внешних врагов растений были синтезированы препараты внутреннего действия. Это вещества, способные быстро просачиваться в организм растения и там достаточно долго сохраняться в количествах, смертельных для насекомых. Новый вид оружия — фосфорорганические препараты. Проникнув в сосудистую систему зеленого листа, яд транспортируется во все части организма восходящими и нисходящими токами. Насекомые, вонзающие свои хоботки в нежную мякоть зелени, гибнут. Ни дождь, ни ветер, ни роса не сорвут, не разрушат столь искусно построенной линии обороны.

Но это не все. Как показали исследования, яд, пройдя сложную биохимическую обработку в недрах организма растения, становится более сильным, чем был до того! Поразительный эффект!

Итак, земледельцы получили надежное, сильное, хитро замаскированное средство защиты урожая от непрошенных соотрапезников. Рядом с фосфорорганическими препаратами старые контактные яды, пожалуй, покажутся примитивными и уже ненужными. Однако все не так просто.

Мы уже упоминали о том, как осторожно надо морить тлей и бабочек, которые кормятся теми же растениями, что и мы. Ведь яды должны быть опасны только для насекомых.

Выход из этого щекотливого положения приходится искать при создании и использовании каждого нового препарата. Выясняется, на какие органы теплокровных животных и как действует синтезированное химиками вещество. Физиологи, фармакологи, клиницисты испытывают препарат со всей строгостью. Никакая перестраховка тут не может считаться излишней: речь идет о здоровье людей.

В подтверждение необходимости многоступенчатой, предельно бескомпромиссной системы медицинской проверки ядохимикатов мне рассказали случай, который, по-видимому, уже стал хрестоматийным.

Был синтезирован препарат, замедляющий прорастание картофеля. Вопреки заявлениям авторов, один из оппонентов утверждал, что новое вещество обладает канцерогенными свойствами. Препарат, на который затратили годы поисков, израсходовали много средств, был безоговорочно снят. Обида взяла верх над благоразумием: профессор и его ассистент стали повсюду жаловаться. Свой протест они мотивировали веско: испытывали препарат на себе, и вот, как видите, живы.

Увы, через полтора года этот аргумент трагически отпал.

Случай чрезвычайный. И, наверное, многих многому научивший.

Нам нечего опасаться инсектицидов и других химических средств защиты растений, использование которых будет в нашей стране расти с каждым годом. На поля и в сады попадут только абсолютно безвредные для человека препараты.

Конечно, соприкасаясь с ними, надо все же помнить, что это яд — не то что пить, даже дышать его испарениями опасно. Зато в овощах, фруктах, спасенных этим ядом, он оказывается действительно безвредным для здоровья людей. Это происходит потому, что за определенное время, в определенных условиях препарат химически разрушается. Точнее, разрушается до такой степени, когда, как подтверждает медицинская проверка, его влияние на организм теплокровных животных сводится к нулю.

Вот тут мы и встречаемся с одним из тех случаев, когда не так-то легко сказать, что хорошо и что плохо. Фосфорорганические препараты, проникающие внутрь растений, сохраняются там долго в количествах, смертельных для насекомых. Это хорошо. Но нередко бывает необходимо обработать ядами растения перед самой уборкой урожая. Например, в парниках, в теплицах одни огурцы поспевают, другие — только завязываются. Но и те и другие получают равную порцию защитного ОВ. А вот это уже плохо.

От препаратов внутреннего действия, ценных своей стойкостью, в подобных ситуациях приходится отказываться: они могут не успеть разрушиться до того, как овощи попадут на стол. Зато «примитивные» контактные отравители здесь окажутся незамеченными. Они и нестойки, и, кроме того, просто смываются водой.

Те же заботы — гарантия полной безопасности человека — и у исследователей, синтезирующих новые химические средства защиты животных от насекомых. Проблема эта грандиозная. Достаточно сказать, что один лишь овод ежегодно причиняет нашему животноводству убытку до пятисот миллионов рублей.

А ведь еще есть гнус, есть клещи, комары, мухи. Все они изводят животных. Молочный скот от нападков насекомых худеет и, например, в условиях средней полосы теряет в весе, снижает удойность процентов на двадцать—тридцать. Мало того, запуская свои хоботки в кожу многих животных, насекомые по сути дела проводят массовую прививку болезней — нередко смертельных.

Хорошо бы, конечно, одним махом уничтожить всю эту мразь. Но тотальное истребление, во-первых, затрудняют неимоверные просторы, которые надо было бы обработать препаратами; во-вторых, такому истреблению противится природа. Ведь обрушив на насекомых беспощадную силу химического оружия, пришлось бы погубить среди них и безвинных и виноватых...

Рассказывают, что один владелец роскошных отелей где-то во Флориде поступил именно таким образом: уничтожил с помощью препаратов всех насекомых в окрестностях. Он хотел обеспечить своим постояльцам полный покой. И обеспечил: кругом все словно вымерло, исчезли птицы, воцарилась тягостная тишина. Осиротевший лес стал чахнуть и лысеть. Все это производило мрачное впечатление, и отели его потеряли былую популярность.

Поскольку защита целых районов наталкивается на не преодолимые пока трудности, приходится довольствоваться защитой каждого животного в отдельности. По-видимому, в борьбе с вредными насекомыми тоже было бы желательным давать домашним животным препараты внутреннего действия. Но применение их здесь ограничивают те же самые соображения, что и приведенные выше. Ведь корову доят ежедневно!

Поэтому скот защищают главным образом контактным способом. Животных опрыскивают препаратами. Это уже не яды. Они не отравляют, не убивают, даже временно не выводят из строя насекомых-вредителей. Вещества эти лишь отпугивают их своим запахом. Они и называются репеллентами, что в переводе с французского означает «отпугивающие».

Чтобы оценить труд химиков, создающих новые репелленты, надо иметь в виду, что из десятков тысяч опробованных соединений были признаны подходящими всего лишь единицы!

Советские ученые синтезировали известный и широко применяемый во многих странах мира ДЭТА — диэтилметатолаамид, многообещающий препарат бензинин и ряд других «отпугивателей». Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Во всяком случае еще нельзя сказать, что химическая оборона стад уже налажена. Требуются новые и желательно принципиально новые средства.

Возможности для работ в этом направлении удивительны! Ведь отпугивать запахом можно не только комаров, мух, слепней, но и крупных сельскохозяйственных вредителей. Не говоря уже о том, что таким способом издавна отваживают от продуктовых складов грызунов, «репеллентная борьба» и с более крупными хищниками представляется правдоподобной. В самом деле, если удалось синтезировать запахи цветов, запах вареной курятины и жареной телятины, то почему нельзя составить композиции, напоминающие, скажем, запах тигра или волка? Окропив ими изгороди, скотоводы сразу бы сделали два дела: отпугнули других хищников, которым нежелательна встреча с могучим соперником, и пресекли попытки своих подопечных выходить на поля и вытаптывать посевы.

— Расширяя проблему,— говорят доктор химических наук А. Н. Кост и кандидат химических наук П. Б. Терентьев,— можно поставить вопрос о веществах, отпугивающих птиц, а также акул и некоторых других хищных рыб.

Главный недостаток всех репеллентов состоит в том, что мириады насекомых не терпят от них никакого урона. Пассивная оборона всегда плоха.

Поиски привели ученых к замечательной находке.

Как известно, многие насекомые обладают исключительно острым обонянием. Они, например, способны обнаруживать друг друга — самец самку — на расстоянии в несколько километров. Этим-то обстоятельством и решили воспользоваться химики. Не отпугивать, а заманивать запахом — вот идея, обещающая родить принципиально новый способ и принципиально новые средства борьбы с армией насекомых, сосущих кровь из животных и соки из растений.

Специально синтезированные приманки либо убьют вредных насекомых, либо сделают бесплодными. Есть вещества, которые побуждают самок класть яички. Эти вещества можно поместить так, что вредоносное потомство не выведется.

Наряду с пахучими приманками ученые исследуют «тактические возможности» цвета, воздушных потоков и других средств завлечения в ловушки неугодных насекомых.

По сообщению американской «Газетт энд дейли», пахучие приманки успешно применены на гихокеанском острове Рота. Сильный препарат метилэвенол привлекал плодовых мух-самцов к инсектициду. Как утверждает статья, за шесть с половиной месяцев совместное действие этих двух органических веществ вызвало гибель всей мужской половины этого племени мух. Воспроизводство их прекратилось, и они с острова исчезли.

Синтезирование ароматов для обмана насекомых — дело в высшей степени тонкое. Оно требует применения чрезвычайно точных и чувствительных методов. Для выделения и распознавания ничтожно малых количеств химических веществ, которыми приходится оперировать на кухне запахов для того, чтобы синтезированный аромат привлекал лишь насекомых определенного вида, используется арсенал самых современных аналитических средств: газовая хроматография, ядерный магнитный резонанс, масс-спектрометрия и другие.

И остроумие новой идеи, и важность кардинального решения проблемы борьбы с вредными насекомыми, и применение для ее реализации новейших достижений физики и химии — все это, вместе взятое, вселяет надежды на успех.

На поле битвы за урожай потери велики. Гибнет чуть ли не каждый пятый колос. Среди многочисленных виновников этих потерь первое место занимают сорняки. С помощью научно продуманной системы борьбы их душат в зародыше, срезают ножами, едва они поднимаются, вырывают с корнем, жгут на кострах. Но на смену уничтоженным из-под земли встают новые.

Все механические способы истребления сорняков в основном исчерпали свои возможности, так и не приведя к решительной победе. Прополка, культивация продолжали требовать силы огромного числа людей, призывали на поля тяжелую технику, превра-

шали почву в серую пудру, значительно повышали стоимость сельскохозяйственных продуктов.

Органическая химия — совсем еще юный участник многовековой борьбы с сорняками. Но именно она позволит отказаться от традиционных, в общем-то, довольно примитивных «силовых приемов». Именно она вселяет надежды на успех.

Химики сумели заменить прополку применением так называемых стимуляторов. Физиологическая активность этих высокомолекулярных препаратов проявляется в беспощадном подавлении жизненных процессов, протекающих в растительном организме. Названы они гербицидами, что означает «убивающие траву».

Гербициды делятся на ряд групп. Гербициды контактного действия истребляют ту часть растения, которой они касаются. Недостаток их очевиден: корни сорняков остаются невредимыми и растения отрастают. Другие — так называемые системные гербициды — проникают внутрь организма и парализуют его. Эти препараты ценны в борьбе с сорняками, имеющими мощную корневую систему.

Особо интересны препараты избирательного действия. В густой толпе растений, где перемешались свои и чужие, культурные и дикие, разить наповал и безошибочно только чужих — вот задача, которую ставили перед этой группой гербицидов химики. Ее выполнили арилоксиалкилкарбоновые кислоты, динитрофенолы и другие сложные органические соединения.

Любопытна такая деталь: для защиты некоторых культурных растений от воздействия яда, предназначенного сорняку, семена возделываемой культуры перед посевом обрабатывают... тем же ядом, только в меньшей концентрации.

Не останутся без дела и гербициды, стригущие наголо, истребляющие всю зелень без разбора. Они найдут широкое применение там, где косой работать неудобно, а полоть вручную долго. Например, для очистки железнодорожного полотна, шоссе, дорог, а также сильно засоренных площадей перед подготовкой почвы к посеву. Ведь сорняков бывает до двух тысяч штук на одном квадратном метре! Чтобы уничтожить на одном гектаре даже значительно менее численные полчища сорняков, тратят от пятнадцати до тридцати человеко-дней. Гербициды завершат операцию в несколько часов.

Создав гербициды, органическая химия подговорила генеральное наступление на самого стойкого, самого жизнеспособного врага полей. Как только это оружие станет массовым, наступление развернется и непременно будет год от году нарастать. Ведь увеличивая выпуск минеральных удобрений, улучшая питание культурных растений, неизбежно приходится усиленно кормить и сорняки! И если по отношению к ним карающая химия окажется менее действенной, чем химия кормящая, эффективность применения удобрений понизится.

Важно отметить такую специфику производства химических средств защиты растений. Как известно, число удобрений, необходимых сельскохозяйственному производству, сравнительно невелико. С ядохимикатами дело обстоит иначе. В мировом ассортименте их около пятисот. Нам практически надо иметь сто — сто двадцать. Это тоже очень много. Однако положение осложняется еще тем, что их систематически надо менять. Через пять — пятнадцать лет насекомые вырабатывают ферменты, разрушающие инсектициды.

Сейчас насчитывают миллион двести тысяч видов крошечных тварей, из которых шестьдесят восемь тысяч наверняка опасны для человека, животных, растений. И каждый вид имеет свои особенности. Только Московская область населена четырьмястами вредителями, способными нанести существенный урон сельскому хозяйству.

В общем, война с насекомыми — война перманентная. А значит, производство ядов должно быть хорошо отлажено.

В обширном наборе препаратов, которые подвергнут земледелие комплексной химизации, кроме названных, есть еще «циды» против зверюшек, рыскающих по полям и амбарам, против клещей, слизней, круглых червей, а также против многоликой беды — грибковых болезней.

Совершенствуя свое истребительное оружие, химики начали создавать комбинированные препараты, то есть яды, губительные одновременно и для насекомых, и для грибов. К числу таких новых инсектофунгицидов относится меркуран.

В книжке профессора Н. Н. Мельникова «Использование химических препаратов в сельском хозяйстве за рубежом» приводится в долларах стоимость «обеда» некоторых выдающихся вредителей полей и садов. Кукурузный стеблевой мотылек за год представляет счет на сумму девяносто семь тысяч долларов, яблоневая плодожорка — на пятьдесят тысяч, хлопковая совка — на сто сорок тысяч, картофельная тля — на шестьдесят шесть с половиной тысяч долларов, а всевозможные грибки — на четыре миллиарда! С ними соперничают лишь сорняки, годовая деятельность которых обходится примерно в такую же сумму.

Каждый рубль, затраченный на химическую защиту растений, в тот же год дает двенадцать рублей прибыли, а по некоторым культурам — сто!

ТОЧКИ РОСТА

Трудно даже приблизительно установить время, когда садовники впервые стали подстригать деревья и кустарники. Но несомненно, что уже в те давние времена было замечено: обрезанная ветка дальше не растет. И лишь сравнительно недавно этому дано объяснение. Оказывается, в окончаниях веток и корней размещены особые «химические производства», которые вырабатывают чрезвычайно сложную продукцию — ауксины. Их отличительное свойство — биологическая активность. Ауксины верховодят важными биохимическими процессами, конечный результат которых — рост ветки или корня.

Естественным стремлением ученых было найти природные стимуляторы роста. Они распотрошили почку и путем экстракции выделили бесцветное, превратившееся в кристаллы вещество. Химический анализ его был далеко не прост. Химики долго бились над тем, чтобы установить его формулу. После многочисленных неудачных попыток некоторые из природных стимуляторов — наиболее простые — удалось наконец синтезировать. Это, например, гетероауксин, нашедший уже практическое применение. Препараты эти так и называли — «стимуляторы роста».

Первое, с чем столкнулись исследователи в процессе опытов со стимуляторами роста, — это необычайно яркое проявление диалектического закона перехода количества в качество в их физиологическом действии. Микродоза — жизнь, макродоза — смерть. И то и другое — в ускоренном темпе. Как среднее положение на шкале «бурный рост — скоростипижающая смерть» было частичное подавление жизнедеятельности всего организма или отдельных его конечностей.

Наблюдая, как одно и то же вещество казнит и милует растение, ученые стали пытаться, какие части гигантских молекул стимуляторов определяют силу и направленность их физиологического воздействия. Установить это было крайне важно для синтетирования препаратов с заданными свойствами.

Существенно было также узнать, в результате чего механизм жизнедеятельности начинал «спешить» или «отставать». И каким путем осуществлялось само подкручивание «пружины».

В изучение первой проблемы углубились органики-синтетики. Вторая требовала участия физиологов, биохимиков, физико-химиков. Где-то оба направления исследований скрещивались. В месте их пересечения была теория, то есть точное количественное объяснение и предсказание качественных изменений в живой органике, вызываемых вмешательством неживой органики. Теория позволила бы безошибочно дозировать свойства стимуляторов, безошибочно предвидеть физиологическое следствие, вызванное химическими причинами.

Но цель эта пока не достигнута. И ученые вынуждены пользоваться при составлении новых рецептов эмпирическими зависимостями между строением молекул и их физиологической активностью. Впрочем, не следует преуменьшать значение этих возможностей. Вспомним: целенаправленным отбором нужных качеств, разными прививками, чеканкой, скрещиваниями селекционерам удалось добиться выдающихся результатов.

Если не вдаваться в тонкости ремесла, можно найти общее в работе селекционера и химика. Мы уже говорили, что вначале органики попросту похитили рецепт стимуля-

тора роста у живого растения. Изучая ауксины, химики лишни раз убедились в том, что природа предпочитает давать лишь толчок мыслям, но не готовое решение. Воспользоваться патентом природы в том виде, как он есть, не представлялось разумным. Структура природного стимулятора была чрезмерно сложна, а значит, «нетехнологична», трудноосваиваема в массовом производстве.

А если ее упростить? Исследователи принялись реконструировать и упрощать громоздкую молекулу. Сохранит ли она теперь, в упрощенном виде свою первоначальную силу?

Лабораторный препарат оказался вполне достойным преемником естественного ауксина, регулирующего в живом организме темпы роста и развития.

Геологи в своих поисках используют сообщества полезных ископаемых. Химики — сообщества полезных свойств. Идя по намеченному пути, они синтезировали целое семейство органических веществ, из которых вышел не один хороший стимулятор.

Сумма знаний о загадочных эликсирах жизни уже значительна. И все же в этой области еще позволительно задавать наивнейшие вопросы вроде:

— Скажите, пожалуйста, а как же все-таки действует этот самый стимулятор роста? И честный ответ на него пока еще будет звучать так:

— Механизм действия стимуляторов, разновидностью которых являются и гербициды, пока не ясен, хотя в попытках прояснить эту картину недостатка не было.

Как указывает автор целого ряда синтетических «гормонов роста» профессор Н. Н. Мельников, в растении под влиянием стимулятора происходит перераспределение питательных веществ, повышается энергия дыхания. Есть основания предполагать, что причиной тому — воздействие ауксинов на ферменты, активизирующие обмен веществ. В растительном организме изменяется содержание таких жизненно важных веществ, как аминокислоты, витамины, белки и другие. В зависимости от концентрации препарата ускоряется или замедляется фотосинтез — главный технологический процесс на фабрике зеленого листа.

Активные вещества не служат пищей растений, не используются непосредственно в строительстве зеленого организма. Стимуляторы лишь подстегивают и поощряют участников этой работы. Причем, как и многие катализаторы, стимуляторы оказываются организаторами определенного профиля: одни проявляют свои способности на ускорении развития клубней, другие стимулируют рост корней, третьи подгоняют созревание плодов, четвертые вызывают бурный рост зеленой массы растений.

Удивительную практику породили новые препараты, сложность строения которых наша даже отражение в их трудновывариваемых названиях: β-индолилуксусная кислота, β-индолил-гамма-масляная кислота, двух-, четырех-, пяти-, трихлорфеноксиуксусная, арилоксиалкилкарбоновые и другие кислоты. Первыми к их услугам прибегли ботаники. Нежная роза укоренялась с большими капризами. Особенно бедренцовая. Из двенадцати черенков выживал в грунте один. Гетероауксин утроил это число. А новый препарат ИК-4, синтезированный в лаборатории специального органического синтеза МГУ, которой руководит член-корреспондент Академии наук СССР А. П. Терентьев, перевоспитал черенки так, что из каждых двенадцати укореняются девять. Корни при этом получаются в девять раз длиннее, чем у контрольных черенков. Полученный в той же лаборатории стимулятор БФУ-3 преодолел инертность другого поставщика пахучей продукции — жасмина.

Гетероауксин испытывался на ста двадцати гектарах посевов сахарной свеклы. Для обработки семян на всю эту площадь потребовалось два грамма активного вещества. Два грамма дали рост урожая на двадцать — тридцать процентов.

Богатырский препарат синтезировал член-корреспондент Академии наук Азербайджанской ССР Д. М. Гусейнов. Это нефтяное ростовое вещество — НРВ. В смеси с минеральными удобрениями НРВ повышает урожай хлопка процентов на двадцать — двадцать пять, капусты — на тридцать, помидоров — на тридцать пять, чайного листа — на тридцать девять! А опрыскивание им виноградной лозы увеличивает в ягодах количество сахара на два процента.

Дерзнули дать НРВ и скоту. Чудо! Свиньи, овцы, кролики увеличили привес на двенадцать процентов. Подмешали препарат в корм цыплятам — снова удача: привес цыплят возрос на десять процентов.

Ну, а во что это обходится? Подобные вопросы, как известно, подсекали на корню немало рекомендаций, сделанных на основе «чистого» опыта, без учета «меркантильной» стороны дела.

Приготавливается НРВ из отходов нефтепереработки. Тонна этого препарата на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе стоит двадцать рублей. А чтобы с его помощью ускорить рост кукурузы на целом гектаре, потребуется один-полтора стакана НРВ. А в птицеводстве, чтобы увеличить доход с помощью нефтяного волшебника на сто рублей, достаточно затратить всего одну копейку! «Расходы буквально грошовые, а эффект большой», — сказал о применении препарата Гусейнова Н. С. Хрушев.

В иных случаях несоответствие между широтой возможностей, открываемых новыми достижениями органической химии, и узостью их реализации как-то объясняется временными трудностями технико-экономического характера, из-за которых затягивается выпуск исходного сырья или строительство необходимого оборудования. В отношении НРВ такого объяснения не найти. Этот препарат надо пробивать сквозь нагромождения старых привычек и замаскированного равнодушия.

Однако на одних стимуляторах, без достаточного количества пищи, которое обеспечивают растениям в почве минеральные удобрения, урожая не получишь. Соли плодородия — непреходящий фундамент зеленого строительства. При всем своем могуществе, органика заменить их ничем не сможет. Вот почему так важно вдоволь иметь минеральных удобрений, вот почему расширение производства их выдвигается как задача номер один в экономике нашей страны.

Мы говорили о возбуждающем, активизирующем действии препаратов на растения. Не менее ценна для сельского хозяйства возможность угнетать, подавлять жизненные процессы, протекающие в растительных организмах. Чтобы избегать аварий, на машинах ставят надежные тормоза и обеспечивают обратный ход. В механизмах жизнедеятельности растений гормональные устройства часто подводят, а обратного хода здесь не бывает. И поэтому в зеленом царстве случаются массовые аварии.

Как часто обманутые первым весенним теплом плодовые деревья спешно готовятся украсить свои ветки листьями, а потом и цветами. Как жестоко бывают они наказаны за эту поспешность. А ведь стоило переждать заморозки — и будущие плоды спасены.

А бывает, ветка уже кренится под тяжестью вскормленных ею плодов. И снова ее торопливость наносит ущерб садоводству: плод падает, не успев созреть.

Цветут до поры розы — и безвременно гибнут. Опадают безвольно листья, когда растение еще нуждается в их работе...

Насильно задержать рост, развитие, созревание не в силах ничто, кроме крошечной дозы специального «снотворного».

Более сильная концентрация физиологически активных препаратов позволяет химическим путем совершать хирургические операции. Чтобы пресечь нерентабельное расходование питательных веществ, человек попросту ликвидирует все ненужные ветки, листья, цветы. Эта процедура, называемая чеканкой, всегда проводилась вручную и отнимала много времени и сил. Советские ученые Ю. Ракитин, В. Петров, К. Овчаров и другие показали, что удалять побеги можно, обрабатывая растение антистимуляторами.

Многим обаяно специфической химической чеканке хлопководство. По существу она открыла хлопковые поля машинам. За одну-две недели до сбора урожая самолеты распыляют над плантациями хлорат магния. Это дефолианты («фоллио» — лист, дефолианты — вещества, вызывающие опадение листьев). К тому времени, как в жестких створках раскрытой коробочки поспевают волокно, кусты стоят догола раздетые, обильная зеленая масса превращена в прах. Рабочие органы машин могут беспрепятственно извлекать белое золото.

Дефолианты облегчают также уборку семян сахарной свеклы, подготовку растений к пересадке в питомниках.

ПРОБЛЕМА БЕЛКОВ

А поддается ли химизации вторая древнейшая отрасль труда — животноводство? В чем именно?

Из последних научных сообщений, из бесед со специалистами явствует: сегодня органической химии уже есть что ответить на эти вопросы. Более того, в ответах ее проглядывает решение проблемы, по значимости и масштабам соизмеримой с проблемами энергетических и сырьевых ресурсов на нашей планете.

— Вот факты, делайте с ними, что хотите. Мы от прогнозов воздержимся.

Примерно в таком духе вели разговор Василий Менадрович Беликов, руководитель группы Института элементоорганических соединений Академии наук СССР, и Василий Николаевич Букин, руководитель лаборатории Института биохимии имени А. Н. Баха Академии наук СССР, с которыми мне представилась возможность встретиться.

Что такое животноводство? Это способ превращать растительное сырье в животные продукты. Способ хорош только потому, что другого нет. А вообще-то он недостаточно рентабелен. Например, коэффициент превращения растительного корма в говядину не превышает 0,1, а в яйца и молоко — 0,2. Семьдесят и даже восемьдесят процентов затрат на производство того и другого составляет стоимость кормов.

С той давней поры, когда человек перестал полагаться лишь на изменчивое охотничье везенье и обзавелся домашними животными, его не покидали заботы о кормах. Стада росли, росли и заботы.

В наше время все виды потребления год от году гигантски увеличиваются. И ученые, заглядывая немножко вперед, стали прикидывать общие ресурсы кормовых белков. По некоторым подсчетам баланс получался тревожный. И хотя выкладки эти спорны, все же они заставляли серьезно призадуматься.

Но и не пытаясь предсказывать, а просто анализируя сегодняшнее положение в животноводстве, специалисты в один голос говорят: главная проблема — проблема протеина, то есть простейших белков.

В чем ее суть?

Животный организм строит себя из несчетного числа белковых соединений. Эти сложные строительные блоки собираются в строго определенном порядке из небольшого числа деталей — двадцати аминокислот. Организм жвачных животных изготавляет детали сам. В рубце — передней, более просторной части желудка крупного рогатого скота — микроорганизмы разлагают поступающее грубое сырье и синтезируют аминокислоты. Для того чтобы этот процесс происходил нормально, пища должна содержать достаточно азота в усвояемой форме.

Между тем в растениях азота как раз не хватает. Лишь перемалывая большие массы такого бедного «сырья», животное обеспечивает себя необходимым. И образование аминокислот происходит медленно.

Нетребовательность жвачных к форме азота предложили использовать химики. Простое органическое соединение этого элемента — мочевины, или карбамид, — как известно, сыграло в истории химии не меньшую роль, чем радий в физике. Мочевина была первым искусственно полученным органическим веществом.

И вот первенец органического синтеза становится первым, лучшим кормовым препаратом для производства главного строительного материала жизни — белка.

То был прямой вызов природе. Мочевина, конечный продукт в длинной технологической цепочке белкового обмена, выбрасываемый организмом с отходами, мочевины, удобряющая землю, чтобы, вскормив растения, преобразованной до неузнаваемости вновь вернуться в желудок коровы, теперь по воле химии «удобряет» азотом не поле, а непосредственно желудок животного. Конечное становится исходным не в результате уникального длинного и безнадежно сложного естественного кругооборота веществ, а по предельно укороченной химиками программе преобразований. Синтетическая мочевины изготавляется на заводах из самого дешевого и общедоступного сырья — из воздуха и угля.

Добавленный в сено, в силос, карбамид на тринадцать процентов снижает затраты кормов при производстве молока, на семнадцать — при откорме, на пятнадцать — при

выращивании скота. Рубль, израсходованный химией, урожаен — он дает десять рублей прибыли в животноводстве.

К сожалению, карбамид не устраивает одножелудочных животных — свиней, птиц. Им нужен не просто усвояемый азот, но уже готовые аминокислоты в нужном количестве и обязательно всех потребных видов. Из двадцати аминокислот одножелудочные не умеют синтезировать сами девять. Их они добывают, разрушая белки корма. Сколько бы корма ни съела свинья, она зачахнет и помрет, если в корме постоянно будет отсутствовать хоть одна из девяти аминокислот.

Идеальным для питания был бы белок с таким же соотношением аминокислот, что и в продуктах, ради получения которых содержатся животные, — то есть в мясе, молоке, яйцах. Но растительные белки, как правило, значительно беднее животных именно теми самыми незаменимыми аминокислотами, а потому менее полно могут быть использованы организмом для построения тканей.

Чаще всего дефицитны аминокислоты — метионин и лизин. В кукурузно-соевых кормах мало метионина, в жмыхе подсолнечника — лизина. Где же их взять?

Когда с таким вопросом обращаются к химии, это значит — нужны новые, не существующие в природе источники или способы получения сырья.

Химики дали два ответа, каждый из которых обещает очень много для экономики и практики животноводства.

Ответ номер один поступил из лабораторий биохимиков. В нем сообщалось, что многие аминокислоты могут синтезировать дрожжевые грибки.

Но стада грибков надо в свою очередь чем-то кормить. А откармливать живой корм тем, что годится в пищу животным, например углеводами, невыгодно. Можно, например, выращивать дрожжи на сахаре. Сахар добывать путем гидролиза древесины. Леса у нас много, используется лишь процентов тридцать прироста. Так что в этой области перспективы открываются широкие. К тому же перспективны и возможности использования для этой же цели — то есть производства питательной среды для микробов — самых разных и дешевых отходов химической промышленности. Есть бактерии, нагуливающие на подобных «пастбищах» большое количество высокоценной биомассы. Такие дрожжи содержат пятьдесят процентов белка, в то время как зерно — двенадцать, кукуруза — восемь, свинина — четырнадцать, мясо несущки — семьдесят два.

Известны сотни дрожжевых грибков. Но надо выискать среди них наиболее производительное племя, а кроме того, разработать максимально простой технологический процесс их выращивания и отделения от питательной среды. В ряде стран уже получают подобную биомассу.

Английский бюллетень «Петролеум пресс сервис» сообщил недавно о том, что особые породы специальных микроорганизмов вырабатывают белок, богатый не только существенно важными для организма аминокислотами, такими, как лизин и метионин, но и содержащий большое количество витаминов роста — рибофлавина и пантотеновой кислоты. При этом, как утверждает автор статьи, бактерии синтезируют белки из нефтепродуктов значительно быстрее, чем животные из растительной пищи. Например, бык весом в пятьсот килограммов, находящийся на пастбищном содержании, синтезирует в сутки лишь полкилограмма белка, а полтонны микроорганизмов за то же время могут дать тысячу двести пятьдесят килограммов белка. Иначе говоря, в этой хитрой работе бактерии проворнее животных в две с половиной тысячи раз! Стоимость производства белков таким путем, говорит «Петролеум пресс сервис», может составить лишь одну пятнадцатую или даже одну тридцатую стоимости белков, содержащихся в мясе.

Даже сделав соответствующую скидку на рекламное преувеличение, следует признать это сообщение заслуживающим внимания.

А сколь заманчиво было бы для тех же целей наладить откорм дрожжевых грибков, питающихся отходами сланцевой и химической промышленности. Удалось бы сразу убить двух зайцев: получить кормовой белок и избавить водоемы от загрязнения.

Органическая химия взялась за решение белковой проблемы по-своему. Наиболее дефицитные из незаменимых аминокислот были получены синтетическим путем, в частности из коксового газа.

Трудно предсказать все практические последствия этого выдающегося в истории мировой науки события. Вот первые его отголоски. Питательная ценность пшеницы, к которой добавлено 1,4 процента лизина, повышается на 550 процентов. Кукуруза, сдобренная 4,4 процента лизина, питательнее на 170 процентов. Свиньи, которым в корм добавляли 0,8 килограмма лизина на тонну пищи, повышали привес с 537 до 656 граммов в сутки, притом расход кормов снизился на восемнадцать процентов.

Огромная экономия кормов, резкое повышение продуктивности животноводства — вот видимые, достижимые в ближайшие годы перспективы, открываемые химизацией животноводства. В это понятие, кроме белкового упорядочения кормов, входит еще их витаминизация, защита от порчи при хранении, а также широкое применение антибиотиков в борьбе с заболеваниями животных. И многое другое.

Высказывается уверенность, что капиталовложения в химизацию животноводства настолько эффективны, что окупаются дополнительной продукцией за один год.

Но не только повышение рентабельности и надежности животноводства вызовет его химизация. Так же, как и химизация земледелия, она индустриализует многие решающие звенья сельского хозяйства. Это неизбежно. Ведь не то что изготовить — внести в корм аминокислоты, витамины, микроэлементы, антибиотики и другие ценные приправы — задача, которая по плечу лишь оснащенной мощными установками промышленному предприятию. Дозы этих препаратов иногда измеряются граммами на тонну. Легко ли распределить равномерно грамм одного вещества среди миллионов граммов другого? Причем для разных групп животных — разные добавки.

В общем, производство комбинированных кормов, которые составят основу рациона сельскохозяйственных животных, перейдет в заводские цехи.

А может ли человек питаться синтетическими аминокислотами?

Трудно сказать. Например, при скормливании метионина курам стало рождаться меньше петухов. Это очень интересная, но пока малоизученная область — влияние белкового состава пищи на рождаемость и на соотношение полов в потомстве. Наблюдательные скотоводы давно установили: жирные, перекормленные животные дают мало приплода. И наоборот, белковая недостаточность вызывает усиленное размножение.

Все это пока на уровне догадок. Практическая ценность подобных исследований сегодня еще сводится к возможности управления полом рождающихся сельскохозяйственных животных. Возможность великая!

* * *

Мы как бы прошлись по выставке достижений и возможностей органической химии, которые интересуют сельское хозяйство. Чтобы выставка стала зеркалом практики, предстоит еще многое сделать. Об этом говорилось на декабрьском и февральском Пленумах ЦК КПСС.

Ведь хотя с начала «новой эры» химии в нашей стране — то есть за время, прошедшее после мая 1958 года, — химическая индустрия заметно окрепла, все же для успешного развития ее не использованы еще богатейшие резервы, эффективнейшие средства. Среди них — налаживание более тесного сотрудничества, объединение усилий теории и практики.

— К сожалению, — отмечал академик Н. Н. Семенов, — наша теоретическая химия, сосредоточенная в Академии наук и вузах, недостаточно еще направлена на решение основных задач химического производства. В то же время отраслевые химические институты далеко не всегда осознают значение теоретической науки при разработке крупных технологических процессов.

Что это значит?

Химики часто имеют дело с очень сложными веществами. В таких случаях бывает трудно перейти от производства аптекарских доз, с которого начинается история нового препарата в научной лаборатории, к производству заводскому, многотоннажному. И перекинуть мостик в один пролет между тем и другим не удается. Строят сначала малень-

кую установку, потом покрупнее, еще крупнее... В общем, строят целый ряд приближений.

— Химики,— говорил академик М. В. Келдыш,— очень многостадийно увеличивают масштабы своих установок, переходя к промышленной технологии. Здесь надо им посмотреть на пример физиков, которые более сложную технологию реакторов осваивали быстрее. Благодаря чему быстро удавалось сложный процесс в реакторе освоить в натуральном масштабе? Потому, что применялись результаты современной науки, изучались исходные физические закономерности, явления, происходящие в реакторе, и затем проводился детальный счет на электронных машинах. Такой подход может дать очень большой сдвиг в химической технологии для ускорения продвижения науки в производство.

Требует окончательного решения и «вечная» проблема экспериментальных баз. В частности, для испытания ядохимикатов в полевых условиях нужны тонны вновь синтезированного вещества. А научно-исследовательской лаборатории, откуда выйдет опытный препарат, по силам изготовить лишь десятки граммов. Этот разрыв нередко служит причиной многолетних задержек внедрения. Где выход? Не в тесном ли содружестве академических лабораторий с заводскими цехами? Не в создании ли на самих предприятиях мощных проблемных научно-исследовательских лабораторий?

На другом фланге химизации, в области непосредственного применения спасительных ядов, богатых подкормок и других «стимуляторов роста» сельского хозяйства, существуют, быть может, не столь глубокие, но зато совершенно неотложные проблемы. Должны быть усовершенствованы, созданы новые машины, приспособления, устройства для опыливания, опрыскивания ядохимикатами полей и садов, для сдобривания кормов химическими веществами.

Наконец культура производства, повышение специальных знаний колхозников — вот еще чего требует химизация земледелия и животноводства. Должна быть налажена просветительная работа на селе, внедряющая знания и прививающая любовь к великой помощнице во всех делах — химии. Надо готовить умы, сознание к той революции, которую совершает химия в древнейшей отрасли труда.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. НИНОВ

★

ИСКУССТВО НЕВЫДУМАННОГО РАССКАЗА

Так называемые «невыдуманные рассказы» составляют особую разновидность мемуарно-документальной прозы, столь популярной и влиятельной в наши дни. Эта популярность во многом объясняется теми же причинами, что и успех очеркового жанра. Требование подлинности, отвращение к литературшине, ко всякого рода суррогатам искусства закономерно ведут к расчистке первоисточников жизненной правды, к обновлению самых изначальных форм художественного повествования, черпающих непосредственно из потока действительности.

Но если очерк как литературная форма наиболее очевидным образом предназначен для исследования современности, для оперативного анализа текущих жизненных проблем, то мемуарная проза дает иной — исторический — разрез жизни. Она остается своего рода памятью эпохи, средоточием исторического и нравственного опыта поколений.

Именно это качество сохраняет за лучшими образцами мемуарной и документально-исторической прозы полную меру актуальности и объясняет силу ее влияния на современный литературный процесс.

Такие произведения мемуарно-документального плана, как «Черные сухари» Е. Драбкиной, сборники рассказов о гражданской войне Г. Шелеста, «Рассказы о флоте» И. Исакова, «Брестская крепость» и «Рассказы о неизвестных героях» С. С. Смирнова, могли появиться лишь в обновленной исторической атмосфере, созданной XX съездом Коммунистической партии. Они возникли на волне того живейшего интереса к подлинной истории народа, его революционным и героическим традициям, которые во многих своих подробностях были затемнены

или фальсифицированы в годы культа личности Сталина.

Невыдуманные рассказы, составляющие как бы разведывательный авангард мемуарного жанра, выполняют по отношению к истории примерно ту же роль, что художественный очерк по отношению к прозе о современности. Живое чувство продолжающейся истории — вот что делает этот жанр созвучным сегодняшнему дню.

Современный этап развития нашего общества более чем когда-либо открывает простор для всестороннего воспроизведения революционной истории советского народа, правдивого изображения его государственных деятелей, его легендарных и безымянных героев, отдавших все свои силы и самую жизнь ради торжества великих социалистических идеалов.

1

В предисловии к первому изданию своей книги «Черные сухари» (1961) Елизавета Яковлевна Драбкина писала:

«Мне выпало счастье быть свидетельницей событий необыкновенных. Я знала людей, чьи имена и деяния навеки вошли в историю человечества.

Об этих людях, об этих событиях я пытаюсь рассказать на страницах книги, предлагаемой вниманию читателя. Рассказ мой не представляет собою связанного повествования, это лишь зарисовка отдельных ярких эпизодов.

В основе каждого рассказа лежит действительное событие, при котором я присутствовала или о котором знаю со слов его непосредственных участников.

Память пронесла через годы много фактов, впечатлений, обрывков разговоров, де-

талей и примет того времени, о котором я пишу, но многое она утратила. Чтобы восстановить утраченное, мне пришлось поработать в архивах и библиотеках.

Главная цель моя — передать дух великой эпохи, о которой идет речь; при этом я стараюсь быть точной и в том, что можно назвать «буквой событий». Если бы меня спросили, что же представляет собой моя книга, я ответила бы: «Это — невыдуманные рассказы о прошлом».

Перед нами — точный автокомментарий к замыслу книги «Черные сухари» и вместе с тем очень удачное определение основных признаков ее жанра.

Правдивое свидетельство о событиях необыкновенных — вот, собственно, исходный пункт и первое внутреннее оправдание мемуарно-документального повествования. Необыкновенное, неповторимое, полное исторической значительности событие более всего нуждается в фактической точности описания. Каждая его малая подробность интересна сама по себе, без каких бы то ни было изменений и прибавлений со стороны автора. Художественный вымысел теряет здесь свои широкие возможности и права, уступая место строгой фактической объективности историка-летописца. И чем глубже этот дух объективности, ответственность за точность сообщаемых фактов пронизывает повествование мемуариста, тем сильнее впечатление.

Книга Е. Драбкиной «Черные сухари» с первых же своих страниц подкупает безыскусственной простотой и естественностью рассказа о событиях поистине необыкновенных. Эпоха подготовки и свершения Октябрьской революции, эпизоды из времен гражданской войны запечатлены в рассказах Е. Драбкиной с такой близкой дистанции, с таким живым и непосредственным ощущением всего увиденного и пережитого, что даже центральные события того времени, хорошо известные по другим историческим описаниям, обретают как бы новую степень конкретности, новые признаки своей безусловной реальности.

Как отмечает сама Е. Драбкина, ее свидетельство о прошлом не представляет собой связного повествования, характерного для большой мемуарной формы, сливающей воедино цельное изложение собственной биографии автора и полноту обстоятельств современной ему эпохи.

В то же время невыдуманные рассказы, составившие книгу «Черные сухари», — это не дробная мозаика зарисовок и эпизодов, рассыпанных беспорядочно и без всякой системы. Мемуарные новеллы Е. Драбкиной поддерживают одна другую, они как бы сцеплены внутренними связями, образуя циклы, которые в свою очередь выстраиваются в определенной исторической и логической перспективе.

Первый цикл — «Есть такая партия!» — является своего рода прологом книги. Здесь Е. Драбкина рассказывает о своих родителях — профессиональных революционерах, выполнявших ответственные и трудные поручения партии, о своем раннем, павшем на детские годы, знакомстве с суровым бытом подполья, о своих первых шагах в сплоченном строю великой организации революционеров, которая в конце концов перевернула старую Россию.

Рассказами об октябрьском штурме 1917 года («Октябрьский ветер», «Там, в Смольном...») завершается первый раздел книги. Утро революции Е. Драбкина встретила в Смольном, в самом центре гигантского исторического водоворота. И это положение ближайшего очевидца и прямой участницы необыкновенных событий судьба счастливо сохранила за ней в самых невероятных и изменчивых обстоятельствах.

Центральные разделы книги — «Котелок», «Москва, 1918», «Черные сухари» — это своеобразная летопись первых шагов революции в Петрограде, эпизоды политической жизни Москвы после переезда туда Советского правительства, рассказы очевидца о трагическом поражении революции в Германии, куда по капризу судьбы Е. Драбкина попала в конце 1918 года и откуда едва вернулась обратно.

Контраст двух революций — победившей в России и разгромленной в Германии — остается, пожалуй, самым волнующим местом книги.

Рассказ «Черные сухари» напоминает о солидарности, о самоотверженности русского пролетариата, протянувшего руку помощи восставшим рабочим Германии. Именно здесь возникает суровый и поэтический образ, давший заглавие всей книге.

«Черные сухари, черные сухари! Их приносили по два, по три в районные комитеты партии и комсомола, в профсоюзы и фабзавкомы, приносили бережно завернутыми в белую тряпицу и осторожно выкладывали

на стол, чтобы не уронить ни одной драгоценной крошки.

Как много мог бы рассказать каждый из этих сухарей! Вот лежит сухой тонкий брусок геометрически правильной формы. Это разрезанная надвое пайковая четвертушка. А этот сухарь с полукруглым бочком был когда-то горбушкой круглого хлеба. Такого хлеба в Москве не пекут, его привезли из деревни. Быть может, тому, кто привез его в Москву, пришлось не одну ночь висеть на ступенке или прижиматься к железной крыше вагона. А этот сухарь чуть светлее других. Такой более светлый хлеб отпускают по детским карточкам. Кто принес его — мать или сын? А это овсяная лепешка, через два дня на третий овес дают по карточкам вместо хлеба.

Собранные сухари упаковывали в фунтики, перевязывали шпагатом и складывали в шкафы. Там они должны были ждать, пока представится возможность отправить их в помощь зарубежным братьям.

...Таков был хлеб, тот святой хлеб, который голодающая Россия посылала трудящимся Германии!»

Этот не имеющий исторических прецедентов акт революционной солидарности был отвергнут наемниками немецкой контрреволюции, той самой, которая затем растерзала Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Черные сухари не были доставлены по назначению. Но тот порыв, то одушевление высокой идеей, которые овладели народом революционной России, не могли исчезнуть и не исчезли бесследно. В заключительном цикле рассказов о Москве 1919 года («Золотая осень») повествование Е. Драбкиной получает свой закономерный исход.

Таким образом, рассказчик в книге «Черные сухари» как бы поднимается с одной исторической ступени на другую. Рассказы каждого цикла сгруппированы по определенным этапам биографии автора и одновременно по тем общим историческим рубежам, через которые прошли тысячи таких же активных участников революции.

Летопись событий, оказавшихся в поле зрения автора, отнюдь не претендует на исчерпывающую полноту. Е. Драбкина стремится говорить лишь о том, чему была очевидцем или что знакомо ей из уст непосредственных участников того или иного события. Зато это самоограничение позволяет концентрировать рассказ вокруг эпизодов, оставивших яркий след в памяти, имевших

влияние на душевный опыт автора и потому сохранившихся во всей своей первоначальной подлинности. Дух великой эпохи передается в книге «Черные сухари» через очень конкретные, локальные подробности и детали. Точная портретная зарисовка, сценка, иногда мимолетная реплика — и перед нами оживает неповторимый кусок истории, особая атмосфера, реальные лица и действительные отношения того времени.

Особенно тщательно и любовно сохранены в рассказах Е. Драбкиной подлинные штрихи ленинского портрета. Эти штрихи накапливаются в книге исподволь. На самое раннее, еще детское воспоминание, оставшееся после посещения скромной квартиры Владимира Ильича и Надежды Константиновны в Париже по улице Мари-Роз в 1911 году, постепенно накладываются новые и все более сильные впечатления от встреч с Лениным в первые годы революции. Е. Драбкиной посчастливилось много раз видеть Ленина на трибуне, в рабочей деловой обстановке, в домашнем кругу. И в своих рассказах ей удалось заглянуть в глубину великого характера, причем гораздо дальше, чем иным поверхностным портретистам, улавливающим лишь внешние черты изображаемого исторического лица. Вот одна из характерных для Е. Драбкиной портретных зарисовок Ленина в 1918 году:

«Владимиру Ильичу тогда только что исполнилось сорок восемь лет. Он был крепкий, плотный, подвижный. Жесты и интонации его были стремительны и энергичны. Движения — точны, быстры, пластичны. Когда он, стоя на ораторской трибуне, порывисто наклонялся вперед и закладывал руки за спину или же рассекал ими воздух, в нем чувствовался опытный конькобежец, пловец. Для человека его поколения, у которого спорт был не в чести, присущая Владимиру Ильичу любовь к физическому движению была проявлением особых свойств характера».

Эта неожиданная ассоциация, сближающая оратора на трибуне с опытным конькобежцем или пловецом, по существу очень точна и биографически вполне обоснована. Уверенно схвачен неповторимый ленинский жест, лишь частично сохраненный несовершенной техникой кинохроники того времени. За этим жестом, за стремительностью движений и интонаций Е. Драбкина улавливает порывы могучей натуры, созданной революцией и для революции.

«Если он смеялся, то смеялся, но если уж гневался, то гневался. Тут пошадя не было никому. Такой беспощадный, яростный гнев вызывали в нем обычно не действия классовых врагов: к ним в его душе горел ровный огонь постоянной ненависти. Взрывы гнева чаще всего бывали у него порождены случаями бездушного бюрократизма и невнимания к народным нуждам и к делу революции со стороны некоторых советских работников».

Очень важное и многозначительное свидетельство. Оно приоткрывает логику той беспощадной борьбы, которую Ленин вел уже после завоевания власти пролетариатом.

В проявлениях чиновного бюрократизма и невнимания к народным нуждам впервые обозначился новый, будущий враг социалистической революции, повадки которого вызывали у Ленина взрывы самой бурной ярости. Со стороны этого врага Ленин чувствовал угрозу, пусть еще не обнаружившуюся так же явно, как обнаружил себя классовый враг, но тем не менее угрозу реальную. И, собственно, весь стиль работы Ленина, те нормы и принципы социалистической государственности, которые он настойчиво проводил в жизнь, должны были оградить будущее общество от появления и разрастания внутри его здоровых тканей злокачественной опухоли бюрократизма.

Эпизоды книги «Черные сухари» содержат ценные фактические штрихи к тому благородному образу старой ленинской гвардии, который прочно утвердился в историческом сознании народа.

В течение нескольких месяцев Е. Драбкиной пришлось работать в приемной Президиума ВЦИКа у Якова Михайловича Свердлова. Сюда ежедневно стекались люди из самых далеких мест. И ни один рабочий, ни один крестьянин, обращавшийся в высший исполнительный орган советской власти, не уходил с приема, не получив исчерпывающего решения по своему делу. Это правило было установлено Я. М. Свердловым, и оно неуклонно выполнялось всеми его работниками.

В рассказе «Каша «с ничем» описывается обычная обстановка кремлевской столовой 1918 года:

«Обедали в этой столовой все: и народные комиссары, и работники Совнаркома и ВЦИКа, и посетители Кремля.

Здесь, за некрашеным деревянным столом

часто можно было услышать иностранную речь: сюда приходили и товарищи, пробравшиеся в Советскую Россию из-за рубежа, и бывшие военнопленные, ставшие большевиками, и политические эмигранты...

Почти каждый день приходил сюда обедать народный комиссар продовольствия Александр Дмитриевич Цюрупа. Получив обед, он бережно ставил тарелки на стол и съедал все до последней крошки, даже если суп был совсем жидким, а пшенная каша горчила. Потом он несколько минут сидел, положив на колени желтые костлявые руки, видимо не имея сил подняться».

Скупая, сдержанная зарисовка, но она дает почувствовать неподдельный демократизм революции, величайшее личное бескорыстие руководящего звена партии, осуществлявшего и представлявшего власть. Народный комиссар продовольствия, проводивший твердой рукой государственную монополию на хлеб, съедает свой скудный обед рядом со случайным посетителем Кремля. Это был не парадокс революции, а ее нравственная норма. Никаких привилегий власти, никакого вельможества, никакого чванства и величания, простота и скромность, доходившие порой до самозабвения и самоотверженности,— вот качества, которые составляли неотъемлемую принадлежность лучшего типа людей, возглавивших новое государство. О людях этого типа Е. Драбкина рассказывает просто, сердечно, без ложного умиления.

В воспоминаниях Е. Драбкиной живо воссоздана та атмосфера высокого душевного подъема, отрешенности от мелочных, узколичных интересов, озабоченности общим, которые более всего свойственны эпохам исторической самостоятельности народных масс. Это придает ее воспоминаниям совершенно особый нравственный колорит.

Е. Драбкина ведет свой рассказ как летописец, свидетель, а то и непосредственный участник изображенного. Но ее фигура не выступает на первый план, напротив — она почти сливается с фоном, оказываясь в тени собственно исторического повествования. И не случайно в предисловии к своим рассказам Е. Драбкина сочла необходимым лишний раз подчеркнуть эту особенность избранной ею позиции:

«Рассказывая о времени, я вынуждена как-то говорить и о себе. Поэтому я считаю долгом предупредить читателя, что моя роль во всех описываемых событиях была самой

скромной — не только потому, что я была в то время очень молода, но и потому, что я сделала для победы революции значительно меньше, чем многие мои сверстники.

Помимо других уже отмеченных качеств, невыдуманные рассказы Е. Драбкиной обладают редким в мемуарном жанре достоинством — духом скромности во всем, что касается лично автора. И это их качество удивительно гармонирует с общим духом той героической эпохи, которая оживает со страниц книги «Черные сухари».

2

Имя Георгия Шелеста до недавнего времени мало что говорило современному читателю.

В далеких областных издательствах Хабаровска и Читы небольшими тиражами вышли тоненькие сборники его рассказов — «Горячий след» и «Манящие огни».

В 1959 году Воениздат выпустил в Москве книжку рассказов Г. Шелеста «Немеркнущие зори», которая, в общем, тоже прошла почти незамеченной. В короткой аннотации к этой книге между прочим сообщалось:

«Автор — участник штурма Зимнего и боев с корниловцами — в марте 1918 года был послан на Дальний Восток. Он воевал в отрядах Лазо и Старика-Будрина, участвовал в боях под Волочаевкой и во многих других, в ликвидации банд Пепеляева, Унгерна, Бакича, Казагранди, а также басмаческих банд в Средней Азии». В дальнейшем судьба Г. Шелеста сложилась трагично. Он был незаконно репрессирован и осужден вместе с другими виднейшими командирами Красной Армии, сподвижниками Блюхера и Постышева по гражданской войне.

Автору по самым обстоятельствам его биографии явно было что рассказать. В предисловии к новой книжке «Баргузин» (1962) Г. Шелест говорит:

«Революцию делали люди, ставшие теперь легендой. Судьбы людей складывались порой причудливо и неожиданно... Происходило смещение всех старых понятий, взглядов. В противоречиях и отрицаниях, в метельном ветре революции рождался новый мир.

Василий Блюхер, Павел Постышев, Сергей Лазо, Матэ Залка, Дрокин, Ким, Соболев, Бакутин, Авдеевко, старик Булдыгеров, Петушков — это солдаты революции. Люди с чистой совестью Их жизнь складывалась

из самых обыкновенных житейских деталей и героизм заключался в повседневной верности Революции и любви к людям.

Многих из них нет в живых. Одни погибли в боях, другие, как Блюхер и Постышев, — в дни культа Сталина, третьи умерли своей смертью.

Сам Г. Шелест определил свои рассказы как «героические сказания». Героями их являются подлинные лица, из которых одни давно вошли в историю, а другие остались безымянными. Цель автора — воздать должное и тем и другим. Героической легенде Г. Шелест стремится вернуть безусловную фактическую подлинность. Писатель сознает всю меру своей ответственности перед памятью тех, кого уже нет в живых, ибо по прихоти судьбы сам он остался одним из очень немногих, кто может свидетельствовать как очевидец, кто может с полным основанием сказать: «Это было так, это с подлинным верно».

Рассказы Г. Шелеста отнюдь не являются мемуарными по форме, как, например, «Черные сухари» Е. Драбкиной, хотя они также построены на историческом материале и отделены от нашего времени дистанцией более чем в сорок лет.

Г. Шелест пишет от «третьего лица», в чисто эпической манере, иногда от лица массы, от первого множественного («мы»), рассказывая обо всем жгато и энергично. Голос автора почти нигде не ощущается в его обособленности от объекта, живые изображения людей, их поступки и судьбы говорят сами за себя.

Основная тема рассказов Г. Шелеста — мужество, мужество в отчаянных обстоятельствах, в повседневных лишениях, перед лицом смерти.

В рассказе «Поединок» Пашка Колесов один в голой степи отстреливается от лавы казаков-семеновцев, пытавшихся взять его живым в плен. Дмитрий Шастин в застенке японской контрразведки, избитый бамбуковой палкой до черных кровоподтеков, не обмолвился ни одним словом. Его вывели к проруби на реке и превратили в застывшую глыбу льда («Амурский лед»). Сашка Булдыгеров уходит чудом из-под расстрела благодаря своей отчаянной храбрости и самообладанию («В тайге»).

Сюжеты большинства рассказов суровы. Кажется, что люди в рассказах Г. Шелеста ожесточились, что их чувства загубили и жестокость стала для них таким же привыч-

ным состоянием, как готовность встретить смерть. Порой они сами чувствуют это и начинают тяжело размышлять, как, например, белые егеря перед расстрелом Сашки Буддыгерова:

«Рослый егерь достал из кармана пачку американских сигарет, вытянул одну, прикурил и бросил Сашке. Сашка поднял сигарету, зачмокал губами, и в воздухе запахло медом. Егеря сели на могилках и тоже закурили.

— Садись, красноперый,— сказал Сашке рослый.

— Не могу. Вы мне прикладами все отбили...— ответил Сашка.

— Смерти боишься?— спросил кривоглазый.

— Ха, сказал тоже,— проговорил рослый.— Кто теперь смерти боится? Что он, первый? Мне теперь что муху, что человека убить...

— Остервенешь! Какой год хлещемся, конца-краю нет...— тоскливо сказал кривоглазый и зло плюнул.

Но в противовес жестокости, злобе, ожесточению — в бойщах революции в ходе борьбы просыпалось великое чувство солидарности, единения, любви к людям. Писатель пристально вглядывается в первые ростки новой, социалистической нравственности, которые революция утверждала как норму, как должное. Эти мотивы в центре рассказов «Жалость», «В Цугольском дацане», «Владивостокская свадьба», «Ходжентские зори» и многих других.

Повествуя о реальных лицах, Г. Шелест не делит своих героев на «исторических» и «обыкновенных», ибо такого деления не было в жизни. Самые прославленные герои гражданской войны, такие, как Блюхер, Постышев, Лазо, как командир Интернационального батальона Матэ Залка, в рассказах Г. Шелеста слиты с выдвинувшей их массой, они живут и действуют в реальной среде, в подлинных обстоятельствах, которые хорошо знакомы автору по живому, личному опыту.

Центральной фигурой многих рассказов является Егор Иванович Бакутин, может быть, наиболее близкий автору герой, точка зрения и характер которого сохранены во всей своей живой целостности.

Именно с этим героем связаны сюжеты таких рассказов, как «Переключка», «Рождение полка», «Наш батальон», в которых Г. Шелест показал, из какого человеческого

материала исторически складывалась и формировалась железная армия революции.

«Наш батальон» («Горячий след») — это, собственно, небольшая повесть, венюк из коротких новелл и сцен, посвященный памяти Антона Никифоровича Будрина-Старика, командира партизанского отряда. Скрепляющей нитью всего рассказа является история одного похода вдогонку за потрепанными каппелёвскими полками. Но это лишь внешняя канва повествования. Внутренняя же его тема — рождение новых, чистых от скверны прошлого человеческих отношений, которыми могла гордиться лишь революционная армия. С полным знанием дела Г. Шелест напоминает о широкой самостоятельности сражающейся массы, духе самодисциплины и подлинного демократизма, которые царили в ее рядах.

Вот выразительная новелла об уполномоченном особого отдела Хархорине. Его прислали в батальон вместо погибшего чекиста Франка. Франк, выполняя свои обязанности, ничем не отличался от других бойцов. Ходил в общей цепи в атаку, ел с другими из одного котелка. Когда Франка убили, в его документах нашли записку от Дзержинского: «Тов. Франк, вы назначаетесь в охрану поезда тов. Ленина». Франк охранял самого Ленина и никогда об этом не говорил ни слова! Записку Дзержинского прочитали вслух всему батальону.

Новый уполномоченный с первого же дня повел себя иначе. «Приехал он и предъявил кучу требований. Дайте ему ординарца, отдельную подводу, отдельное помещение и ежедневно двух бойцов.

Бакутин тогда еще у него спросил:

— А чаю с лимоном тебе не надо?»

Так вот этот самый уполномоченный пристал как-то к Михайлу Соболеву, подобравшему случайно белогвардейскую листовку, и обвинил его в распространении контрреволюционной пропаганды. А Соболеву, когда он был в партизанах, белые на спине из кожи ремни резали.

Возмущение батальона новым уполномоченным не знало границ, и вот тогда-то Бакутин решил отправить его обратно — туда, откуда он пришел.

В полку поговаривали, что это самоуправство, партизанщина. А Блюхер, когда узнал обо всем, поддержал бойцов. Уполномоченным назначили Михайлу Соболева.

Такие эпизоды из жизни боевого батальона, развернутого затем в полк, составляют

основу рассказа Г. Шелеста. Рассказ этот проникнут истинно любовным чувством, с каким можно говорить лишь о кровных братьях, о родной семье.

«...И шел наш полк, бывший батальон, в пекло атак, навстречу волочаевским дням, на смерть и на жизнь.

Рядом с нами шагала боевая слава, одетая в подбитые ветром шинелишки, короткие дошки, в коробленные у костров полушубки, в бушлаты, в ичигах и пимах.

Шла и осталась с нами навечно...»

В этих лирических строках (а Г. Шелест позволяет себе лирику лишь в редчайших случаях) вырвалось то, ради чего написаны все рассказы. Они — как скромный памятник, воздвигнутый соратникам, ушедшим из жизни. Это определяет их тон, их стиль.

3

Автор невыдуманных «Рассказов о флоте» (1962) Иван Степанович Исаков — крупный военный деятель и ученый, адмирал флота СССР, человек, проживший интересную, насыщенную значительными событиями жизнь. На его памяти история двух мировых войн. Во время войны 1914—1918 годов он служил мичманом на эсминце «Изяслав». Тогда еще совсем молодой офицер, И. Исаков принимал участие в легендарном Ледовом походе балтийских кораблей из Гельсингфорса в Кронштадт и во многих других событиях революции и гражданской войны.

В годы Великой Отечественной войны И. Исаков уже был прославленным флотоводцем, начальником Главного штаба Военно-Морских Сил, руководителем ответственных операций советских боевых кораблей.

Воспоминания и рассказы человека такой биографии и судьбы имели бы живой читательский интерес даже в том случае, если бы автор не ставил перед собой никаких целей, кроме чисто фактической информации о некоторых замечательных событиях и лицах, ему хорошо известных. Но И. Исаков вместе со своей профессией военного моряка счастливо унаследовал еще одну вполне «морскую» традицию — искусство увлекательного рассказа, сохраняющего в деталях весь драматизм и все напряжение подлинного происшествия. Следует сразу заметить, что это искусство меньше всего опирается на средства внешней бел-

летризации, при которой густой слой литературной краски лишь заслоняет и деформирует реальный жизненный материал. Украшающие излишества стиля, мелочные и необязательные подробности служат обычно верным признаком такой поверхностно-беллетристической манеры.

Рассказы И. Исакова отличаются строгой простотой, за которой, однако, чувствуется культура слова, умение точно и исчерпывающе определить предмет. Повествование цепко фиксирует все, что действительно необходимо и существенно для данного случая, извлеченного из архивов памяти.

Основной источник такой обнаженно фактичной манеры рассказа — тонко развитая наблюдательность, выработанная многолетним опытом и особой профессиональной привычкой «аналитического зрения», столь необходимого для всякого офицера флота.

Наблюдательность И. Исакова как рассказчика отнюдь не ограничивается специальной областью морской тактики. Она захватывает широкую сферу общественных и служебных отношений, человеческих судеб, гражданской и военной истории. И о чем бы ни шла речь, всюду виден пытливый, изучающий взгляд, склонный к точному анализу и объективным оценкам.

Большинство рассказов И. Исакова («Отеческое внушение», «Сципион уходит по-английски», «Дашнаки теряют своего флагмана» и др.) носит автобиографический характер. Не исключено, что за ними стоят дневниковые записи, документально сохранившие неповторимые приметы жизни русского флота в 1917—1918 годах, когда рушились кастовые традиции старого офицерства, менялись привычные отношения и взгляды, складывался новый облик Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Для автора это было время самоопределения, решающего выбора и первой проверки своего пути. Поэтому оно осталось для него таким значительным и близким. Через автобиографические рассказы И. Исакова проходит много лиц, в том числе колоритные фигуры хорошо знакомой ему офицерской среды, о которой он также смог сказать немало нового и поучительного («Старшой с бульдогом», «Из опроса местных жителей», «Человек, который проспал революцию»).

Рядом с чисто мемуарным повествованием И. Исаков включил в книгу «Рассказов о флоте» небольшое, но мастерски выпол-

ненное историческое исследование «Кронштадтская «побудка» — об отражении дерзкого налета английских торпедных катеров на Кронштадт 18 августа 1919 года.

Рассказ о драматических событиях той памятной для кронштадтцев ночи в значительной мере основан на личных впечатлениях автора и в этом смысле остается таким же мемуарным свидетельством очевидца, как и остальные рассказы. Но именно на примере «Кронштадтской «побудки» становится особенно ясно, как важно в необходимых случаях возмещать односторонность и неполноту личных впечатлений всеми доступными способами и средствами. Чтобы выяснить подлинную картину случившегося в ночь на 18 августа 1919 года, автору пришлось кропотливо сопоставить и критически оценить самые разные свидетельства и источники, включая показания пленных английских офицеров и специальные доклады в английском Королевском научном обществе. Собранные по крупицам объективные данные позволили построить живой связный рассказ, в котором все встало на свое место: и смятенная обстановка неожиданного ночного боя, и действия отдельных кораблей, среди которых особенно отличился миноносец «Гавриил», и закулисная работа иностранной разведки, готовившей операцию, и бесславные общие итоги пиратского налета.

Сплав личных впечатлений с документальным материалом придал всему повествованию особое качество. Историческое исследование заиграло живыми красками внутренне пережитого и запомнившегося события.

Особое место среди рассказов И. Исакова занимают своеобразные портретные новеллы, в основе которых лежат невыдуманные эпизоды из жизни оставшихся в тени, но по-своему замечательных людей, в немалом числе встречавшихся автору на его долгом жизненном пути.

Таков один из лучших рассказов И. Исакова «Пари Летучего голландца». Это рассказ об одной жизни, но он вообрал в себя так много, затронул такие сложные и разноликие обстоятельства в судьбах целого поколения, что мог бы перевесить иное многоплановое романтическое повествование.

Центральное лицо рассказа — человек с подлинным именем и биографией, кадровый офицер флота Николай Юльевич Озаровский, известный в своем кругу под прозви-

щем Летучий голландец. Это прозвище он получил «за совершенно нестремимую, по-особенному чистую и романтическую любовь ко всему флотскому и морскому, любовь, которая сочеталась с высокими профессиональными качествами и обширными теоретическими познаниями».

При всей насыщенности рассказа о Летучем голландце реальными сведениями из его жизни, перед нами не биографический очерк, пусть даже и живо написанный, а именно рассказ, определенное художественное построение, выдержанное в лучших традициях классической новеллы.

Каждая биографическая подробность строго взвешена и поставлена на свое место. Мы узнаем, что еще в 1918 году молодой мичман Озаровский привел из Гельсингфорса в Кронштадт боевой миноносец в составе эскадры Балтийского флота, совершившей знаменитый Ледовый поход. Позже он дрался на фронтах гражданской войны, руководил обороной морских подступов к Астрахани от блокировавших ее кораблей английских интервентов, захвативших Баку.

«В течение всей гражданской войны и борьбы с интервентами Летучий голландец воевал, взрывался на морских минах, тонул, спасался, спасал других и, не успев обсохнуть, спешил опять на мостик, чтобы броситься в следующую драку».

И. Исакова интересует не столько послужной список Озаровского, сколько его индивидуальный психологический облик, своеобразно объединявший качества отважного мореплавателя и бойца с какой-то особой душевной мягкостью, добротой и мечтательностью.

В характере Летучего голландца навсегда осталось что-то от молодой восторженности, когда невероятные приключения на море, рассказы о далеких землях с чудесными названиями, замечательные открытия и находки воспринимаются не как обязательные романтические атрибуты юношеской библиотеки приключений, а как доподлинная действительность, сладостная и желанная.

Озаровский умел пылко мечтать, но наступившие времена оставляли все меньше места для романтических приключений. В «фокусе» рассказа — эпизод из эпохи тридцатых годов, когда капитан 1-го ранга Озаровский уже был переведен в Кронштадт на штабную работу. Он никогда не был кабинетным человеком и новое назначение принял без всякого энтузиазма. Однако оказавшись во

главе большого и сложного дела, Летучий голландец сумел вложить в него весь свой юношеский жар, обширные знания и зрелый опыт.

Экспозиция рассказа вызывает чувство глубокой симпатии к герою. Его человеческий облик покоряет своей цельностью, нравственной силой и какой-то особой романтической одухотворенностью. Тем катастрофичнее разворачивается сложенный самой жизнью сюжет.

И. Исаков правдиво рассказал о мрачных химерах, которые в середине тридцатых годов уже выглядывали из темных углов. Это было время, когда один за другим внезапно исчезали люди, в том числе и очень крупные. В штабе, где служил Озаровский, создалась напряженная и подавленная атмосфера. Никто уже не мог ручаться ни за свою участь, ни за судьбу других.

И лишь в разговоре с ближайшим другом Летучий голландец мог услышать вполне откровенные слова:

«— Отвратительно себя чувствую. Понимаешь, как-то неловко... Кругом забирают, а ты должен себя чувствовать как ни в чем не бывало.

После паузы и первых клубов дыма из трубки:

— Может быть, завтра заберут... может, через неделю! А может, совсем не заберут? Такая неопределенность отнюдь не стимулирует охоту к научной работе...

Летучий голландец понимал, где кончалась поза его друга, а где начиналось подлинное смятение духа.

Заметив необычную тишину в смежном кабинете, друзья растались, после того как Летучий голландец пообещал поделиться результатами разговора с начальством. Затем он с яростью окунулся в работу, не давая передышки ни себе, ни другим. В течение последнего времени у него выработалась манера работать до одури, чтобы утомлением, вернее переутомлением, отгонять мрачные мысли и как-то заполнять гнетущую пустоту.

Однако ожидаемый разговор не состоялся, а по глазам начальника стало ясно, что последний сам ничего не знает и не понимает происходящего».

Атмосфера смятения духа, яд мнительности и подозрительности, гнетущая растерянность и непонимание происходящего — это не внешние признаки «фона» в рассказе И. Исакова, а самая сердцевина затронутых

им трагических обстоятельств. Именно в них — объяснение и мотивировка того чрезвычайного, из ряда вон выходящего происшествия, главным действующим лицом которого оказался Летучий голландец.

Перевернувшись на своей прогулочной яхте в морском канале, Летучий голландец наотрез отказался принять помощь от норвежского судна, хотя после нескольких часов борьбы с волнами его уже оставляли силы.

«— Скажите им, что я в своем уме... Заключил пари высидеть здесь три часа... после чего меня снимут... Пусть убираются к черту!»

Сцена объяснения героя с недоумевающими норвежцами, как и последующий переполох береговой охраны, привлеченной внезапной остановкой иностранного судна в недозволенном районе, воссозданы И. Исаковым с великолепным юмором, тонко оттеняющим неподдельный драматизм действительного происшествия.

За парадоксальным решением Летучего голландца стояло отнюдь не романтическое сумасбродство, а весьма трезвое ощущение реальности. Катастрофа в море, хотя и грозила герою смертью, не могла идти ни в какое сравнение с тем, что могло ждаться его на берегу. Он слишком хорошо представлял себе, какие подозрения могли пасть на него, если бы он воспользовался общепринятой услугой своих спасителей и на борту иностранного судна был доставлен в Ленинград.

Есть мужество и мужество. Бывает страх и страх. Летучий голландец многое видел на своем веку. Никто не смог бы упрекнуть его в недостатке мужества перед лицом опасности и даже перед лицом смерти. Он знал, как можно и как нужно бороться с врагами, с морской стихией. Но он не знал средств защиты от людской подлости, в особенности той, что действует как оборотень, прикрывая низменные цели высокими политическими соображениями.

В смятении наблюдая, как исчезают один за другим «изъятые», как тогда говорились, товарищи, Летучий голландец переживал нечто большее, чем страх за свое физическое существование.

«Внезапно мелькнули в памяти растерянные глаза начальника и его бодрое напутствие: «Работайте не задумываясь! Человеку с чистой совестью нечего волноваться за себя!»

Мало иметь чистую совесть. Надо еще, чтобы совесть была спокойна. А этого-то как раз и не было. Кроме того, он волновался не за себя, а за нечто большее.

Больше, чем личная судьба, его волновала истинная подоплека происходящего. Он не допускал страшной мысли о несправедливости, о бездушном автоматизме произвола. Ему казалось, что имеют место случайные ошибки, добросовестные заблуждения. Поэтому-то более всего он боялся дать ложный повод для подозрений. Он готов был скорее погибнуть, чем оказаться в положении, которое могло быть неправильно истолковано. Он не терял надежды, что личная безупречность остается еще самой прочной гарантией безопасности.

Когда на следующий день после происшествия, бежав из госпиталя, капитан 1-го ранга Озаровский в обычный час вошел к себе в кабинет, его можно было бы поздравить с выигранным пари. Ценою смертельного риска он избежал возможных подозрений. Но судьба по-своему распорядилась выигрышем. Для тех мрачных химер, которые сторожили свои жертвы из темных углов, и не надо было особых поводов. Нужна была лишь очередь.

«И вот, когда казалось, что жизнь и работа вошли в свою нормальную колею, однажды утром выяснилось, что Летучий голландец исчез. Конечно, правильнее будет сказать, что исчез капитан 1 ранга Озаровский.

Ошеломленным его помощникам начальство предложило спокойно работать: мол, «у человека, у которого совесть чиста...» и так далее».

Рассказ И. Исакова имеет развернутый эпилог, достойно увенчивающий все повествование о Летучем голландце. Эпилог этот имеет прямое отношение к теме центрального происшествия. Герой выжил, вернулся. Война показала, на что действительно был способен Летучий голландец и чего стоили фальшивые обвинения, ему предъявленные. Как командир соединения канонерских лодок в составе Ладожской военной флотилии Летучий голландец осуществлял водную связь блокированного Ленинграда с Большой землей. Своим мужеством и военным искусством он изумлял даже искусшенных людей, знавших на опыте, что такое война. Два ордена Ленина и три ордена Боевого Красного Знамени получил

он после того, как во второй раз начал свою службу на флоте. Из многих медалей Летучий голландец особенно гордился одной — «За оборону Ленинграда».

Николай Юльевич Озаровский умер от инфаркта миокарда 1 декабря 1950 года, прожив неполных пятьдесят пять лет.

«Но за этот период,— заключает рассказчик,— Летучий голландец прожил несколько жизней, и каждая из них была полна приключений, боев, ран, кораблекрушений и «чепе», которых с избытком хватило бы на нескольких героев».

Свой рассказ сам И. Исаков скромно определил как «запоздалый некролог». Пусть будет так (тем более что все некрологи в какой-то мере запаздывают). Зато этот некролог останется надолго не только как фактическое свидетельство о замечательном человеке, но и как своеобразное явление настоящей русской прозы.

4

Почти десять лет напряженной работы потребовалось писателю Сергею Сергеевичу Смирнову для завершения его рассказа о героях Брестской крепости. С публикацией последних глав книги «Брестская крепость» («Молодая гвардия», № 6, 7, 1963) своды повествования наконец сомкнулись. История создания этой книги не совсем обычна, как необычен ее жанр, ее путь к сердцу читателей, как необычна особая, почти не имеющая прецедентов связь, установившаяся между автором и его героями.

В эпоху культа личности Сталина история беспримерной обороны Брестской крепости оставалась как бы заживо погребенной под развалинами старой цитадели. Никто особенно не спешил с раскопками. Мало кого интересовали и оставшиеся в живых участники героической обороны, попавшие после осады в плен и вынесшие в муках все ужасы гитлеровских лагерей. Забвение считалось для них еще не самым плохим уделом.

Тем не менее память о Бресте упорно жила в народе. Она жила как легенда, как едва просочившееся предание. Скупые сведения о Брестской эпопее проникли в печать, но эти сведения оставались случайными, противоречивыми, разрозненными. Так было до 1954 года, когда у С. С. Смирнова впервые возник замысел книги о героях Бреста.

«Должен сказать, что тема Брестской крепости как-то сразу захватила меня,— пишет С. С. Смирнов.— В ней ощущалось присутствие большой и еще не раскрытой тайны, открывалось огромное поле для изысканий, для нелегкой, но увлекательной исследовательской работы. Чувствовалось, что эта тема насквозь проникнута героизмом, что в ней как-то особенно ярко проявился героический дух нашего народа, нашей армии. И я начал работу над книгой о героической обороне Брестской крепости».

Среди трудностей, стоявших на пути писателя к его теме, было и то немаловажное обстоятельство, что сам С. С. Смирнов не был участником Брестской обороны и поэтому не мог опереться на личные воспоминания очевидца, как в других своих документальных книгах — о Корсунь-Шевченковской операции и битве за Будапешт.

В данном случае мемуарист ничем не мог помочь историку, и перед писателем оставался лишь один путь — путь кропотливого исторического исследования, розыска очевидцев, сопоставления и критического анализа добытых фактов, из которых постепенно, как мозаика на голой стене, могла бы возникнуть цельная картина того, что действительно происходило в Брестской крепости с первых минут войны до начала августа 1941 года.

Отправившись в поиски за своим материалом и никому еще не известными героями, С. С. Смирнов обнаружил неистощимую энергию исследователя-документалиста, тонкое человеческое чутье, редкий дар отзывчивости и участия в чужих судьбах, с которыми его столкнула логика нелегкого розыска, предпринятого по едва сохранившимся следам живых и мертвых участников легендарной обороны.

Тщательно изучив немногочисленные печатные источники и свидетельства, С. С. Смирнов пошел по живой цепочке от одного очевидца к другому, терпеливо разматывая спутанную и разорванную во многих местах историческую нить. Один за другим откликались живые участники обороны Брестской крепости — А. М. Филь, С. М. Матевосян, П. С. Клыпа, П. М. Гаврилов, Р. И. Абакумова, А. И. Семененко, А. А. Виноградов и другие. Их судьбы нелегко сложились после войны. Многие из них коснулась черная тень подозрительности и несправедливости, и писатель С. С. Смирнов стал их первым гражданским защитником,

добившись восстановления доброго имени и звания коммуниста за теми из них, у кого это имя и звание были несправедливо отняты. Так, с первых же шагов по избранному пути труд писателя вышел за чисто литературные рамки и приобрел животрепещущий гражданский и человеческий смысл. Непосредственным предметом поиска стала не только историческая истина, но и сегодняшняя участь живых людей, их надежды на справедливость, их настоящее и будущее. Такое расширение сферы поиска потребовало от автора больших дополнительных усилий без счета времени, особого внутреннего напряжения. Но вместе с тем это вдохнуло в историческую книгу дух современности, злободневности, усилило в ней драгоценный элемент первооткрытия.

В 1956 году, после XX съезда партии и к пятнадцатилетию Брестской обороны, С. С. Смирнов смог подвести первые итоги. Книга о героях Брестской крепости и серия радиопередач о продолжающихся поисках прозвучали на всю страну. Вызванный резонанс превзошел все ожидания.

«После того как летом и осенью 1956 года я выступил по Всесоюзному радио с рассказами о поисках героев Брестской крепости,— пишет С. С. Смирнов,— на мое имя пришло большое количество писем со всех концов страны. Число их уже превысило десять тысяч. Среди них есть и письма от людей, которые в 1941 году сражались в Брестской крепости. Если до того за два с половиной года мне с большим трудом удалось обнаружить в разных городах и селах Союза около пятидесяти участников обороны, то после радиопередач уже более трехсот ранее не известных защитников крепости сообщили свои адреса».

В 1957 году С. С. Смирнов совершил длительную поездку по Советскому Союзу, объехав больше двадцати областей Российской Федерации, Украины и Белоруссии. Писатель провел множество встреч со своими героями и с читателями, во время которых участники обороны Бреста делились своими воспоминаниями, пополняя живыми деталями героическую и трагическую эпопею 1941 года.

Десятки исписанных тетрадей, закрепивших устные рассказы очевидцев, сотни писем и документов, внимательное изучение развалин полуразрушенной цитадели, молчаливо сохранившей на своих стенах бесчисленные свидетельства мужества ее

защитников,— все это, вместе взятое, послужило прочной фактической основой для развернутого документального повествования.

История рождения книги «Брестская крепость» во многом предопределила и ее жанр. Составляющие ее главы отчетливо группируются по двум центрам, двум относительно самостоятельным циклам. Первый цикл — это законченный исторический очерк обороны Брестской крепости, связное и целостное изложение замечательного события из истории Великой Отечественной войны. Событие это само по себе настолько значительно, в нем так глубоко преломился общий характер войны, ее катастрофическое начало, ее неслыханное ужесточение, противоположные моральные стимулы и конечные цели столкнувшихся в ней сторон, что одно только документально строгое воспроизведение подробностей такого события уже включает в себе историческое открытие.

И если бы С. С. Смирнов ограничил свою задачу только этой, исторической частью поиска, его работа имела бы вполне достаточное внутреннее оправдание. Но самый процесс поиска внес существенные коррективы в первоначально избранный жанр.

Автор книги «Брестская крепость» не только восстановил правду большого исторического события, но и открыл своих героев, вывел их из тени забвения и неизвестности. История этого открытия оказалась не менее волнующей, чем сама брестская эпопея. Так возник второй цикл книги, представляющий собой серию невыдуманных рассказов об отдельных участниках обороны. Взгляд писателя закономерно переместился от исторического события к конкретным человеческим судьбам.

Рассказы о судьбах героев Брестской крепости вышли далеко за рамки одного события. Они захватили и мрачные годы неволи в фашистских концлагерях, и героизм отчаянных по своей рискованности побегов, и подробности народной партизанской войны, и разнообразие обстоятельства послевоенной эпохи. Этими рассказами писатель как бы протянул живые нити между прошлым и настоящим, обнаружив реальное единство исторического пути, памятного целому поколению.

Наиболее ценные свидетельства из огромного потока читательских писем, полученных С. С. Смирновым не только помогли ему «достроить» «Брестскую крепость», но

и навели писателя на следы других замечательных сюжетов, которыми так богата история Великой Отечественной войны.

Новая книга С. С. Смирнова «Рассказы о неизвестных героях» (1963) в большей своей части как раз и явилась плодом живого общения автора с многотысячной аудиторией его читателей и радиослушателей.

«Эта книжка,— указывает С. С. Смирнов,— такого же «документального» жанра, что и книга о Брестской крепости. Каждый из рассказов, содержащихся в ней, мог быть превращен в повесть или даже роман. Но автор остался при своем мнении и хочет прежде всего рассказать читателю о том, что было на самом деле, и о тех неизвестных героях, которые были или есть и сейчас на нашей советской земле».

Таким образом, жанр, определившийся в книге о героях Брестской крепости, получил дальнейшее развитие и продолжение.

Сюжет одного из рассказов — «Таран над Брестом» — прямо связан с началом Брестской обороны, хотя по материалу он имеет более общее значение, повествуя об истории первых воздушных таранов в Отечественной войне.

Уже по одному этому рассказу можно судить о том, насколько массовым был героизм сопротивления вражескому нашествию, как одни и те же высокие свойства человеческого духа упорно повторялись в самых разных условиях и обстоятельствах. Проявления этой негнимои силы духа мы узнаем и в подвиге героя итальянского Сопротивления, кузнеца одного из колхозов Рязанской области Федора Полетаева, посмертно награжденного высшей наградой Итальянской республики — Золотой медалью («Тайна Федора Поетана»), и в мужественном риске Леонида Андреевича Силина, московского юриста, создавшего в тылу у немцев госпиталь для тяжелораненых и в конце концов расстрелянного оккупантами («Госпиталь в Еремеевке»).

Незабываемое впечатление оставляет рассказ С. С. Смирнова «Последний бой смертников» — о восстании и массовом побеге узников страшного «блока смерти» фашистского лагеря Маутхаузен. Казалось, что трагические подробности этого события, случившегося в начале февраля 1945 года, никогда не станут известны людям.

«Некому было рассказать об этих подробностях — «счет сошелся», как говорили эсэсовцы, и предполагалось, что никого из

участников трагического побега не осталось в живых».

Сотни обезображенных трупов беглецов, вырвавшихся за колючую проволоку, были свезены к крематорию и сложены высокими ровными штабелями — на устрашение всем остальным пленным лагеря. Однако эсэсовские охранники соврали в счете. Нескольким узникам удалось спастись. Этих-то чудом уцелевших людей — В. Н. Украинцева, И. И. Бакланова, В. И. Соседко, В. Н. Шепетю, И. В. Битюкова и А. Э. Михеенкова — сумел разыскать С. С. Смирнов и с их слов восстановить историю отчаянного побега смертников двадцатого блока Маутхаузена. Свидетельства этих людей, вырвавшихся из глубин доподлинного ада, намного превосходят все, что может создать самая мрачная и необузданная фантазия. Перед невыдуманным рассказом о них бледнеет любая выдумка.

Книгу С. С. Смирнова о неизвестных героях завершает рассказ о шестимесячной обороне гарнизона Аджимушкайских каменоломен возле Керчи.

Документальные материалы, собранные писателем, уже приоткрыли тайну неравной подземной войны, которая почти полгода шла на территории, занятой врагом.

Рассказ «Подземная крепость» стал как бы заявкой на новую книгу, которая обещает быть не менее захватывающей, чем повествование о защитниках Брестской крепости.

Книге «Рассказов о неизвестных героях» С. С. Смирнов предпослал небольшое полемическое предисловие в защиту документального жанра. В этом предисловии передается разговор автора с одним товарищем — литератором, разговор, состоявшийся еще в то время, когда С. С. Смирнов только начинал работу над документальной книгой о Брестской крепости.

«Зачем тебе это?! — упрекнул он меня. — Искать сотни людей, сличать их воспоминания, просеивать множество фактов... Ты же писатель, а не историк. У тебя уже есть главный материал — садись и пиши повесть или роман, а не документальную книгу.

Признаюсь, искушение последовать этому совету было очень сильным. Основная канва событий в Брестской крепости уже прояснилась, и, если бы я писал повесть или роман с придуманными героями, священное право литератора на вымысел оказалось бы на моей стороне, и я имел бы, выражаясь по-военному, «полную свободу маневра» и был бы избавлен от «цепей документализма». Что и говорить, соблазн был велик, а к тому же в нашей литературной среде как-то так повелось, что роман или повесть считаются уже сами по себе первым сортом, а документальная или очерковая книга — вторым или третьим. Зачем же добровольно становиться третьесортным автором, если можно самим определением жанра шагнуть повыше?»

В споре со своим оппонентом (а отчасти и самим собой) С. С. Смирнов пришел к твердому убеждению, что жизненный материал сам подсказывает способы обработки. Писателю необходимо угадать, почувствовать то единственное соответствие истины и литературной формы, при котором истина выигрывает больше всего.

Документально соответствующие действительности рассказы С. С. Смирнова производят ничуть не меньшее, а в некотором смысле даже большее впечатление, чем многие художественные произведения на близкие темы. Документальная форма в данном случае не ослабила, а лишь подчеркнула строгую наготу правды, гораздо более неотразимой здесь в своем собственном виде, нежели в соединении с литературным вымыслом.

Учитывая возрастающую роль мемуарно-документальной прозы в наши дни, нет никакой нужды умалять значение испытанных и традиционных средств чисто художественной литературы. Напротив, опыт лучших «невыдуманных» книг входит в коллективный опыт современного искусства прозы, укрепляя в ней дух строгой исторической объективности, бережного и точного обращения с действительными фактами жизни. В искусстве дорога каждая крупинка не высказанной до того правды, в какой бы форме она ни родилась на свет.

Ф. СВЕТОВ

★

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

(О романе Бориса Полевого «На диком берегу»)

В последние годы так называемый «производственный роман», несомненно, эволюционировал: обозначались новые темы, конфликты, мы смогли увидеть нового героя. Он становится все более решительным, смелым, он страхнул с себя робость мысли — никаких компромиссов в борьбе за правду, его уже не собьешь пустой демагогией.

Конфликты современного «производственного романа» раскрываются по-разному, непохоже, но именно от художественной верности их решения и зависит удача или неуспех произведения. Отсюда постоянное внимание авторов к новому в характере героя, неприменное стремление понять случайность или обязательность его свойств и качеств, формировавшихся временем. Отсюда и настойчивое утверждение — снова и снова — великой ценности человеческой жизни со всеми ее радостями и бедами, утверждение, составляющее сегодня пафос нашей морали. Но в иных произведениях при этом вдруг возникает противопоставление «производственного» — «морально-этическому», «дела» — «человеку», встречаются простодушно-наивные, а порой принципиальные попытки узаконить необходимость аврала, жертв («Раз борьба — значит и жертвы...»), ошеломляющее утверждение «воспитательного» значения штурмовщины, желание оспорить вполне естественное для мира социализма правило, что всякая экономическая выгода должна отступить, когда речь идет об охране здоровья и жизни человека (хотя в конкретных случаях речь-то идет «всего лишь» о том, что человеческая жизнь или здоровье — слишком дорогая цена за ошиб-

ки ретивых хозяйственников), и наконец природийно звучащая, но тем не менее всерьез обсуждаемая дилемма: что важнее — человек или план?

Все эти и смежные с ними проблемы и конфликты так или иначе решаются в недавних романах и повестях Д. Гранина «Иду на грозу», В. Тендрякова «Короткое замыкание», Ю. Трифонова «Утоление жажды», Е. Карпова «Синие ветры»...

Вышедший недавно отдельным изданием роман Бориса Полевого «На диком берегу» вводит читателя в тот же круг проблем и конфликтов, увиденных публицистически зорко, решаемых подчас смело. В то же время роман Полевого — произведение художественно неровное, сильные страницы соседствуют в нем с описательными и декларативными, свежие и яркие характеры с «проходными», раскрытыми прямолинейно.

Перед нами «выхваченные» из сегодняшней жизни люди, их отношения, личные и общественные — традиционные, некогда складывавшиеся между начальством и подчиненными, и отношения новые, порывающие со всяким чиновничеством, воспитанным условиями культа личности; новая обстановка взаимного доверия, уважения, страстной заинтересованности делом подлинной, а не показной заботы о людях; огромный размах современного строительства, сказочные даже по нашим временам масштабы работ: гигантская плотина на одной из самых больших рек мира; вырастающий на глазах современный город — троллейбусы в тайге, не декоративные, а настоящие таежные деревья на новых улицах, белки прыгают с ветки на вет-

ку над головами прохожих; потомственные сибиряки-чалдоны — чистые, надежные люди; уголовники, ставшие героями труда; профессиональные строители, неисправимые романтики, не умеющие сидеть на одном месте; женщины — самоотверженные и уставшие от бесконечных переездов, строек и кочевого жилья; бескорыстная одержимость делом и хорошо продуманный, «принципиальный» карьеризм, способный на все ради достижения цели...

Я пытался несколькими штрихами наметить атмосферу, в которую попадает читатель, раскрывший роман Б. Полевого. Здесь живые, сегодняшние проблемы, живые, «подсмотренные» у жизни конфликты. Блокнот писателя, так много ездившего по стране, постоянно сталкивавшегося с людьми самыми разными, с обстоятельствами самыми непохожими, много думающего над жизнью в ее конкретных проявлениях, пытающегося разобраться в причинах и корнях тех или иных явлений, — писательский блокнот очеркиста Б. Полевого, несомненно, переполнен заметками, зарисовками, разговорами, мыслями «по поводу»... Порой писателю жалко расставаться с чем-то интересным, ярким, впервые увиденным, но не «влезającym» в роман. Тогда публицист побеждает художника. Отсюда возникает недоговоренность, хаотичность — роман бурлит, как молодой город Дивноярск в день перекрытия гигантской Опи...

В настоящих заметках читатель не найдет подробного разбора романа — произведения, повторяю, неровного, со своими удачами и поражениями. Нас будет интересовать его главный конфликт, к которому сходятся все сюжетные линии романа. Живые люди с их простыми и сложными судьбами, столкновения, элементарные, а чаще трудные, умоглядные и непосредственно увиденные, представления о жизни традиционно литературные и глубоко выношенные — все это, как оказывается в конце концов, тяготеет к центральному конфликту романа, помогает так или иначе его растолковать.

Как и во многих других романах последних лет, в центре книги Б. Полевого два разных характера. Но если у Д. Гранина в романе «Иду на грозу» или у Е. Карпова в «Синих ветрах» это были вчерашние одноклассники, старые друзья-приятели, которых жизнь разводила, сводила и снова разводила и которые во всяком случае способны были понять друг друга, если в «Корот-

ком замыкании» у В. Тендрякова отец и сын Соковины не столько непримиримые противники, сколько люди, формировавшиеся в разное время, но сделанные из одного теста, и как бы труден, даже драматичен ни был их конфликт, они — не легко и не сразу — все же поймут друг друга и договорятся в главном, то герои Полевого — Литвинов и Петин — по замыслу с самого начала и до конца стоят на принципиально противоположных позициях. Это враги, если можно назвать врагами людей, которые в силу целого ряда обстоятельств встречаются, подают друг другу руку, разговаривают, даже пьют чай и словно бы делают одно дело. Но их отношение к этому самому делу, к жизни, к друзьям, к подчиненным, их человеческое существо так различно, даже полярно, что немисливо и представить себе, пусть в каком-то отдаленном будущем, их близость, дружбу, даже просто приятельские отношения. И тем не менее они встретились, они работают вместе, рядом: Литвинов — начальник огромного строительства Оньстрой, Петин — его главный инженер.

Столкновение этих двух героев дает возможность романисту обнажить конфликт психологически интересный и общественно значительный.

Для Литвинова Оньстрой, вероятно, последняя стройка. «Старик» — ласково и уважительно называют его в Дивноярске. Но этот пожилой человек, дедушка (у него четыре внука), старый большевик, строитель Днепрогэса — поразительно молод, любопытен к людям, особенно к молодежи. Литвинов подкупает совершенной естественностью этого своего любопытства, своих симпатий и антипатий, своим человеческим обаянием, — он дружит с людьми ему близкими, но он может быть беспощадно строг ко всякой недобросовестности. Так задуман этот образ...

Читатель впервые видит Литвинова глазами жены Петина — Дины, прелестной молодой женщины, без колебаний отправившейся за мужем из Москвы в этот дикий край. Дина о своей «самоотверженности» не жалеет, ей необычайно интересно все, что она здесь видит: природа, люди. Они плывут на пароходе. Она с восхищением слушает объяснения мужа: «Вот они, покори́тели Сибири!.. Они по воле партии разбудят этот богатейший край, создадут гигантскую электростанцию, зажгут огни новых городов... Здесь будет великое сибирское море, все эти

скалы уйдут под воду, а по берегам, которых и не увидишь отсюда, разместится гигантский промышленный комплекс...» «Как все-таки хорошо, что я поехала с тобой!» — восклицает Дина, глядя на мужа с восхищением. А потом пожар на пароходе, страх, участие в ликвидации пожара — и вот их уже встречают на спасательном судне Литвинов и парторг строительства Ладо Капанадзе. Дина взволнована, она уже насыщена о громкой славе Литвинова, супруг делился своими опасениями: сработается ли он; Петин, человек современный, с начальником строительства?

Литвинов, по мнению Петина, «мятый пар». Но в то же время Литвинов должен «опереться» на что-то «новое, современное» («Я ему нужен», — говорит Петин). Дине рассказывали о «романтических выходах» Литвинова: перед началом строительства он заказал литую чугунную доску с надписью: «Онь, покорись большевикам!», поднялся на вертолете и сбросил доску в реку на траверзе строительства будущей плотины... Что же это за человек?

И вот на корме спасательного судна Дина видит коренастого, крепко сбитого, «почти квадратного человека» в кепке, сдвинутой на затылок («так кепки давно не нашивали»), у него «грубейшая физиономия», но в то же время лицо озорное и ироничное, он сразу переходит с Диной по-отечески на «ты», грубовато шутит. Дина понимает, что «он не так уж и прост, этот самый комод», и с тревогой думает о муже: «Ах, как ему будет тяжело с этим хамоватым старым болтуном!»

Но что может понять с первого взгляда в таком по-своему сложном и цельном человеке столичная дамочка, к тому же ослепленная любовью к супругу, настроенному явно недоброжелательно к Литвинову? Автор сам рассказывает о своем герое много и охотно, перебивает повествование воспоминаниями о нем, снова и снова возвращается к его внешности, привычкам, особенностям, показывает в разных ситуациях...

«Он ведь... романтик, — говорит о Литвинове один из героев, очень хорошо к Литвинову относящийся. — Среди первых (имеются в виду первые строители. — Ф. С.) все такие. Так и в анкетах надо бы им отвечать: профессия? Романтики!...» Немного легкомысленно для такого человека, как Литвинов, но вполне справедливо, если понимать романтику как неприятие канцелярской ра-

боты, как готовность в любую минуту «сняться с якоря», стремление попасть непременно туда, где трудно, сурово, необычно. Литвинов, так сказать, «профессиональный» романтик, и в отличие от романтиков-любителей, анархически упивающихся экзотикой приключений, он всю свою жизнь подчиняет строгому и определенному порядку. Ему важно успеть сделать как можно больше, ему важны не романтические ситуации и положения, а романтика существа дела. Человек очень здоровый, он всячески развивает и поддерживает свою незаурядную физическую силу. Когда-то в юности он из бахвальства завязывал узлом кочергу, теперь он по утрам обливается холодной водой, всюду таскает за собой старые пузатые гири — двухпудовик и пудовик, — может ими по пять раз «перекреститься», любит попариться в бане, ходит в мороз в кепке, возраста не замечает — только вот «люди вокруг как бы странно модели»...

Говоря о Литвинове, писатель снова и снова подчеркивает его необычайную живость, энергию, поразительную память, чуткость, внутреннюю собранность («В трудные моменты Федор Григорьевич Литвинов превращался в сгусток энергии»). Литвинов не может усидеть в кабинете, целые дни мотается по стройке, раздражая Петина и тех, кто, как и он, считает это «неким атавизмом», «отрыжкой первых пятилеток», утверждает, что Литвинов «морально устарел» и т. д. Литвинов хочет постоянно, непосредственно ощущать пульс стройки. Даже заболев, получив в тайге при спасении партии геологов тяжкий инфаркт, он не может остаться в бездействии и, прикованный к постели, бомбардирует строительство «письмами издалека», вмешиваясь во все дела, вызывая ярость Петина, которому эти «письма» страшно мешают...

Одним словом, Литвинов — работник. А поскольку работает он таким образом несколько десятков лет, то и сделал немало. Плотина на Они — это не первый «шрамчик на глобусе», которым Литвинов мог бы похвастаться. Он строил своими руками ДнепрогЭС, потом, перед приходом немцев, сам указывал саперам наиболее уязвимые при взрыве места в теле плотины. «Надо ли жить? Зачем?» — спрашивал он себя тогда. Литвинов понял «зачем», понял, что жить «надо». После войны он восстанавливая ДнепрогЭС и снова строил, строил и строил.

Вокруг Литвинова всегда десятки, сотни людей, его привязанности порой совершенно неожиданны. Человек «бешеной вспыльчивости», он в то же время необычайно внимателен к людям, к мелочам их жизни, быта, к их судьбам. Строительство, уже начавшее жить, бурлящее, как гигантский муравейник, требует от руководства постоянных и самых неожиданных решений, инициативы, энергии. Но, несмотря на свою занятость, Литвинов включен в множество запутанных человеческих отношений, он всегда готов кому-то помочь, кого-то поддержать, он внимателен к тому, кому сейчас трудно.

Причем Литвинов действует так не потому, что он думает: сегодня, дескать, надо быть внимательным к человеку, есть, мол, такая установка. Человечность — это органичная, единственно возможная для него форма отношений с окружающими. Ему просто интересно общаться с людьми («Каждый новый, необыкновенный человек казался Литвинову задачей. Задачей, которую он с интересом решал»), помогать им. В романе Полевого перед Литвиновым в этом смысле огромное поле деятельности: уголовник Костя Третьяк, долго и бессмысленно плутовавший по жизни; его сестра Мурка Правобережная с ее ухарством и глубоко запрятанной мечтой о своем доме и настоящем деле; Дина, которую не так просто «разбудить», повернуть к жизни; «товарищи по несчастью», молодые ребята — Валя из школы Гнесиных и Игорь из суворовского училища — их никак не берут здесь на работу; и наконец Дюжев — талантливый инженер, человек трудной, трагической судьбы...

Литвинов занимается всеми этими людьми с полнейшей естественностью — он живет среди людей и для людей. Он «разносит» больничное начальство за то, что больных плохо кормят («Дурак тот командир, который приварок на кухне, а не из солдатского котелка пробует»), терпеливо, настойчиво, не жалея сил и времени, разъясняет жителям села Кряжово, почему они должны оставить родные места, которые будут затоплены после перекрытия реки. Он не прибегает без нужды к мерам административным, как предлагает Петин, он понимает, что значит для людей расставание с дедовскими могилами. Он знает этих людей, верит в чистоту их намерений. И люди, окружающие Литвинова, отвечают ему горячей привязанностью, любят его, поддерживают.

Главный инженер Петин рядом с ним — словно бы человек с другой планеты. И хотя Литвинов, да и другие строители Дивноярска много говорят о том, какой он талантливый инженер и прекрасный современный руководитель, читателю поверить в это трудно. Если, говоря о Литвинове, автор настойчиво, не боясь повторений, останавливает внимание на человеческом обаянии героя, его положительных качествах и свойствах, то у Петина все время подчеркиваются качества отрицательные.

Он труслив: во время пожара на пароходе он ведет себя самым ничтожным образом, вместо того чтобы помогать ликвидировать пожар, истерически кричит на капитана: «Вы преступник! Сейчас же к берегу. Слышите! Моя фамилия — Петин. Первый секретарь обкома говорил вам, кто я такой...»; выговаривает жене за то, что она помогает пострадавшим от пожара: «Милая, ну можно ли!.. Чемоданы валяются на палубе, а тебя нет... Мы с Юрием посадим тебя на катер вне очереди, мы уже договорились... Ой, и руки у тебя в чем-то...»; несмотря на свою изысканность, чопорность и столичный лоск, он откровенный мешанин («...как память о завершающем этапе войны», он всюду возил за собой картину в овальной раме, на ней с «литографической отчетливостью» изображены пушистая кошка с розовым бантом и лохматые котятка, вылезавшие из соломенной шляпки). Он человек слабый и в своей слабости жалкий: в конце романа, пытаясь вернуть ушедшую от него жену, он симулирует болезнь, рыдает, ползает на коленях... О людях он думает скверно, старается увидеть гнусную сторону в поступках самых благородных и чистосердечных: Литвинов уступает им свой коттедж и остается жить в палатке — «он выкинул номер», «Маневр: несущая тягота вместе с народом...»; старожилам Кряжова трудно расстаться с родным селом — интрига. «кто-то из начальства в области их накачивает»; Литвинов не выступил резко против них — «темнит? Струсил? Или что-то уже учуял там, в сферах, и начинает перестраиваться, ловчить?» Мало того, Петин «принципиален» в своих подозрениях: «Видишь ли, дорогая, у меня большой опыт. Этот опыт говорит: лучше думать о человеке плохо, пока он не докажет, что он хороший». Петин не только думает о людях скверно, но и действует не лучше. Чуть что он обвиняет своего оппо-

нента в «антипартийном отношении» к тому или иному вопросу. Когда-то Петин был еще более активен: в результате его ложного доноса — предвзятой технической экспертизы — был осужден «за вредительство» талантливый инженер и прекрасный человек Дюжев. По привычке или по душевному влечению Петин подобным же образом проявляет себя и сейчас, в Дивноярске. Он старается очернить Дюжева перед своей женой, пытается оговорить его перед Литвиновым («Он, видимо, отпущен по амнистии, а может быть... Можно ли доверять таким людям?»); не преуспев в этом, пишет заявления министру, «информирует инстанции» — и все это теперь, когда Дюжев полностью реабилитирован как коммунист и инженер! «Кто кого обидит, тот того и ненавидит», — говорит старик Савватей, узнав об интригах Петина против Дюжева.

Петин и на Дине женился как-то некрасиво. Вернулся из армии — застал дома вдову с маленькой девочкой, временно вселенных в пустовавшую квартиру. Девочка на его глазах росла, стала прелестной девушкой, студенткой, его отеческая забота приняла другой характер: «Клянусь, я воспитаю из тебя идеальную жену». Она и правда стала «идеальной женой»: покорной, восхищенной, самоотверженной. Дина убеждена в принципиальности, прямоте, честности мужа, ненавидит его недругов, гордится им, полагает, что ее судьба как раз и состоит в том, чтобы помогать выдающемуся человеку «развернуть крылья»... Впрочем, что ж удивляться, недаром Петин — человек достаточно опытный и ловкий — так долго «воспитывал» себе жену, где уж ей разобраться в этом «головоногом существе», «электронной машине», как называет Петина инженер Надточиев, безнадежно влюбленный в Дину.

А Петин между тем разворачивается в Дивноярске. Работает он в стиле, совершенно противоположном стилю начальника строительства. «Управление должно работать как точное счетно-решающее устройство», — говорит он Литвинову. — Аналитическая машина...» Петин пренебрежительно относится к романтическому прошлому Литвинова («Прежняя романтика осталась разве что в книгах да в песнях...»). Этой самой «прежней романтике» он предпочитает «романтику» чиновничью — лицемерие, карьеризм, интриги. Именно это по существу он и считает «современной романтикой». «В газетах, конечно, можно писаг что угодно, —

рассуждает Петин, — но руководить следует железной рукой... Невзлюбят? Пусть. Люди, вершившие крупные дела, редко бывали приятными для окружающих. Вот если бы узнать только, какие флюиды там веют, какие решения зреют в Москве?» В этих рассуждениях весь Петин с головы до ног. Это чиновник новой формации: образованный, циничный, не верящий ни в бога, ни в черта, готовый на все и в то же время острожный, хитрый, умело приспособившийся к новым условиям.

Одним словом, совершенно очевидно: Литвинов — герой положительный, по замыслу он призван выразить авторское отношение к жизни; Петин — герой явно отрицательный. Поставленные отвечать за одно общее дело, они не могут не прийти к столкновению, их конфликт, судя по всему, должен быть серьезным и непримиримым — компромисс здесь невозможен. Какой может быть компромисс, если, отвечая за жизнь и здоровье тысяч людей, располагая огромными средствами, отпущенными государством на строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции, они придерживаются принципов прямо противоположных? Литвинову важно хорошо и в срок построить плотину для того, чтобы расцвел этот прекрасный, дикий сейчас край, чтобы жизнь людей не просто осветилась огнями дешевой электроэнергии — успешно завершение работ на Они явится крупным вкладом в дело строительства коммунизма, в то, чтобы сделать людей счастливыми... Петину тоже важно построить плотину успешно и в срок, но нужно ему это только для того, чтобы в Москве узнали, что этот успех его — Петина — рук дело, что отживший и отработавший свое Литвинов («плюсквамперфект») без Петина ничего бы не сделал, завалил бы работу; Петину важно организовать здесь, на Они, свою карьеру.

Иногда рассуждают так: для пользы дела, мол, можно порой кое с чем и примириться... Пусть-де у Петина цель не бог весть какая благодидная, но, может быть, он и правда превосходный современный руководитель, отличный инженер, как о нем поначалу все говорят, — его ж на такую ответственную работу не за красивые глаза и не по знакомству направили. А Литвинов, что ж, может быть, действительно в чем-то важном он устарел, зачем-то по стройке мотается, сидел бы в кабинете! Рядом с романтиком Литвиновым пусть будет и трезвый Петин.

Рассуждение словно бы логичное и разумное. Но оказывается, что «ненужная» в самом производстве и не имеющая к делу непосредственного отношения, так сказать, нравственная сторона этого самого дела и оказывается в конечном счете решающей. Потому что «современность» Петина — это всего лишь ловкость, приспособляемость, жонглирование новой фразеологией для прикрытия все того же карьеризма и надувательства.

Инженер Надточиев, влюбленный в Дину и потому пристрастный, тем не менее внимательно и упорно пытается раскусить Петина, разобраться в собственной «тяжкой неприязни» к нему. Надточиев наконец понимает, что этот человек «с прочной репутацией новатора, непримиримого борца с рутинной, с низкопоклонством», «смело разоблачивший в министерстве каких-то ревизионистов, в нужное время и в нужных местах остро ставивший важные вопросы», на самом деле «ловкий конъюнктурщик с великолепно развитым чувством мимикрии, обладающий тонким нюхом на разные веяния, умеющий вовремя поддакнуть, к месту бросить реплику, тиснуть статью,— на что-то быстро откликнуться...» Надточиев не может только понять, почему «этого не чувствуют другие» и прежде всего такой пронизательный человек, как Литвинов? Не мог же Петин обмануть и его, как свою молодую жену?

Но тем не менее Литвинов ослеплен. Он даже резко обрывает Надточиева, простодушно поделившегося с ним своими сомнениями. «Молчать! — кричит Литвинов.— Не дам разводиться плесени! Петина в Москве уважают. И не такие мальчишки, как ты!» Надточиев замолчал, он был подавлен, хотя, прямо скажем, аргументация Литвинова едва ли могла его убедить: кто уважает Петина в Москве — может быть, такие же петины?.. Мы догадываемся, что фраза: «Петина в Москве уважают» — это всего лишь инерция чинопочитания, крепко сидящая даже в таком человеке, как Литвинов — самостоятельном, широком, с огромным опытом, но опытом сложным. Силу этой инерции сознает и сам Литвинов. «А мы с тобой, Ладо, служителями культа не были? — говорит он парторгу.— Были. Верили в него? Верили.. И как верили!.. Портрет со стены снять, бюстик или какие-нибудь иные культовые вещи в чулан выбросить — дело плевое... Надо нам этот культ из себя,

как гной, выдавливать — вот что». Это признание Литвинова — своеобразный ключ к раскрытию его характера. Выбросить в чулан «культовые» ему и правда было просто — они, несомненно, мешали ему, раздражали, приводили в недоумение. Другое дело сам «культ», его психология и навыки. Когда Литвинов говорит, что в Москве, мол, «не такие мальчишки, как ты», он все еще доверяет прежде всего не собственному разуму и сердцу — это остаток веры в то, что «наверху» про все лучше знают!

Но Литвинов, казалось бы, последователен в своем стремлении «выдавить» из себя остатки «культа», избавиться от этой гнетущей рабской инерции. Отсюда его отвращение к лицемерию, смелость в выдвигании талантливых людей независимо от их анкеты. «Очень уж мы при культе смиренных да послушных полюбили, этих самых «буде»... — говорит он парторгу.— Вот это-то и надо нам в себе вытраивать. Ведь коммунизм — это, Ладо, не «чего изволите», это прежде всего расцвет каждой индивидуальности в коллективе... На «буде» далеко не ускачешь. Все достигнутое потерять можно. Культ кончился, не просто исполнять — думать надо, и каждый обязан думать...» Как видим, Литвинов действительно над всем этим думает.

Другое дело Петин. Он очень быстро усвоил новую фразеологию, снял со стены «портрет», но он и не думает ничего из себя «выдавливать», «вытраивать». Он всего лишь приспособляется к новой атмосфере нашей жизни. Петин остался тем же, он и не собирается как-то меняться, для него «человечность» — всего лишь «немарксистский термин», он всегда подозревает, что под ним «скрываются либерализм, мешанское благодушие и политическая слепота». Поэтому он и не верит в то, что сама атмосфера жизни страны изменилась, что, скажем, реабилитация такого человека, как Дюжев, ставшего в свое время жертвой клеветы, это действительная реабилитация, что Дюжев может теперь спокойно жить и работать. Петину все еще кажется, что это очередное мероприятие: поговорили, пошумели — и забыли, а кто «там» побывал, все равно «пятно» ничем не смоем. Поэтому он и не собирается искупать свою вину перед Дюжевым запоздалым, но энергичным продвижением его ценной работы, которую он когда-то загубил. Наоборот, он делает все, чтобы помешать, пускает в ход

клевету, ставит под сомнение личность некогда «подвергавшегося» Дюжева. И здесь дело не в психологическом выверте. «кто кого обидит, тот того и ненавидит». Поведение Петина вполне логично для него — он не способен поверить в то, что с атмосферой культа личности покончено навсегда. И только прижатый к стене фактами, документами, Петин начинает оправдываться: «Вы же знаете, какая в те дни была обстановка». «Но у меня требовали...». «Требовали технической экспертизы...» — говорит Литвинов. — А эти слова... «действия гражданина Дюжева носили явно умышленный и злонамеренный характер» — это разве техническая экспертиза?»

Можно понять Литвинова, до поры не обострявшего отношения с Петиним. Все-таки Петин — известный инженер, крупный специалист в своем деле. Что ж, он человек другого характера, индивидуальности, но Литвинову с ним не детей крестить — ему нужен хороший, знающий работник, и потому он его поначалу терпит, обрывает Надточиева, не умеющего скрыть свое отрицательное отношение к Петину. Но вот Петин, казалось бы, ясен совсем: он клеветник, доносчик, способный из-за личных, явно карьеристских соображений отклонить один проект, предпочесть ему другой, и не когда-то, в «трудное время», но теперь. Он человек безнравственный, способный на подлость и предательство — это ясно. И неожиданно Литвинов, только что восклицавший по другому поводу: «Неправда, слышишь ты! Это полуправда, а полуправда хуже лжи», — Литвинов, поймавший Петина «за руку», начинает вдруг говорить на его же — Петина — чиновничьем языке!

У Литвинова в руках папка с документами, избобличающими Петина в злонамеренной клевете, материал «на большой фельетон». «И вы собираетесь поднимать эту старую, забытую историю?» — спрашивает Петин, спрашивает больше по инерции, потому что понимает, что с такими «романтиками», как Литвинов, не столкнешься: не свой брат-чиновник. И, ошеломленный, слышит вдруг ответ Литвинова: «Забытую? Гм, забытую... Все зависит от тебя». Петин еще не понял, что это значит. «Угроза?» — спрашивает он. И, видимо, лихорадочно соображает: шантаж, вымогательство, сделка? Литвинов говорит, что это всего лишь «совет»: «Нам еще с тобой, я думаю, долго из одного котелка здесь хлебать. А может,

вместе и на Усть-Чернаву поедем? А? Ссориться из-за старых историй, я так считаю, нам с тобой не расчет».

Петин приходит в себя. Он, правда, никак не может «утихомирить вздрагивающее веко», но он уже все понял — ничего не изменилось! Можно и передохнуть. «Ну, а Дюжев?» — уже почти фамильярно, как общнику, говорит он. — Вы думаете, он в случае успеха своей идеи не станет ворошить старье?» Все правильно! Уж если Литвинов так пренебрежительно выразился о трагедии Дюжева — «старая история», — то можно сделать еще один шаг — «ворошить старье»! Чего уж теперь церемониться, старое поминать — свои люди! И Литвинов — тот самый Литвинов! — не обрывает Петина, он продолжает игру. «Сие — сугубо его дело, — говорит он, чтоб Петин все-таки еще не очень-то увлекался. — Но это тоже, как мне кажется, зависит от тебя... Он человек порядочный». Если Дюжев человек порядочный, намекает Литвинов, то бояться, мол, нечего, не будет он «старье» ворошить, а уж Литвинов в свою очередь промолчит... Тут остается только руками развести. И дальше Литвинов голосом, в котором слышится даже некоторая задумчивость, говорит: «Поддержи Дюжева своим авторитетом. Ты мужик умный, драться тебе с ним, как видишь... не стоит, да и не из-за чего (!). А если не драться, так лучше дружить...»

Поразительная сцена. Образ героя, который так долго, на протяжении сотен страниц лепил писатель, порой раскрывая средствами художественными, показывая его читателю, порой принимаясь объяснять, что за человек Литвинов, — этот довольно целостный образ начинает раздвигаться. Кто же он такой — Литвинов? Такой же, как Петин, чиновник, разве что более опытный, поднаторевший, с большим размахом и широтой, точно знающий, что сегодня нужно поддерживать не Петина, а Дюжева, а завтра... завтра будет видно? Или все дело в инерции «культы», которую Литвинов только-только начал из себя выдавливать? Но делает ли такое объяснение Литвинова более привлекательным, оправдывает ли его?..

Между тем ободренный заключенной с ним сделкой, Петин свои обязательства перед Литвиновым выполняет тут же. На ближайшем совещании он ошарашивает своих прихлебателей, с которыми еще вчера договаривался угробить проект Дюжева, тем, что

утверждает нечто противоположное: проект Дюжева, говорит он, «одна из тех счастливых находок, какие движут советскую технику вперед», «от души поздравляю» и т. п.

И Литвинов — честный, искренний, эмоциональный, даже вспыльчивый Литвинов молчит, его не воротит от этого лицемерия, он участвует в этой отвратительной сделке: Дюжев работает, Петин не мешает, плотина строится — цель оправдывает средства! «Петин и Дюжев — какие они разные. Просто антиподы, — рассуждает Литвинов. — Но оба талантливы и нужны... Ох как нужны... Надо же было, чтобы судьба вновь столкнула лбами этих людей. И все могло кончиться дикой склокой, сутяжничеством... Но... Эх и здорово же сегодня разложился пасьянс! Теперь оба сохранены для Оньстроа и, хотя бы или не хотят, будут делать общее дело и еще помогать друг другу».

Литвинов страшно собой доволен: «Хитрый все-таки этот Старик, умеет вести дела! Большевицкая закалочка!..» Он потирает руки: как ловко он все устроил! Он уже забыл о полуправде, которая хуже лжи. Да, Петин когда-то объявил вредительством великолепную идею, оклеветал, «сунул в тюрьму человека», но ведь и его, «конечно, тоже, пожалуй, можно понять (!) — наклевал когда-то в штаны». А уж от «понимания» всего один шаг до одобрения: хоть «в человеческом плане он дрянь, дрянь... Но нужен. Для дела нужен!»

Для дела нужен! В шестидесятые годы, после сорока с лишним лет советской власти, на одной из крупнейших коммунистических строек для пользы дела необходим негодяй с партийным билетом, карьерист, сутяга, склочник, способный предать что угодно и кого угодно! Поразительные размышления для Литвинова, только что рассуждавшего о культе личности и атмосфере, которую он создавал, о вреде лжи и полуправды.

А Петин начинает действовать. Неожиданно для себя он оказался в родной стихии. А тут уж кто кого! Воспользовавшись отсутствием Литвинова, Петин с лихорадочной поспешностью организует липовую кампанию — «Бросок к коммунизму» — квартальный план за семьдесят рабочих дней. «Нам нужно быть первыми, нам нужно порадовать, вести за собой, мы должны лидерствовать», — говорит он. И вовлекает в это дело печать, радио, телевидение (нужно «создать людей»), печатает статью в сто-

личной газете, окружает себя подхалимами, выписанными из Москвы, покупает их теплыми местечками, квартирами, шантажирует («Мы или оба выплывем, или оба станем тонуть, — говорит он партбуржу Капанадзе. — Только то, что для меня, человека техники, будет аварией, для вас, партийного работника, станет катастрофой. Запомните это...»). И тут уж Литвинов наконец просыпается: «Страшное это дело, петинщина, если сейчас за нее, как раньше говаривали, всем миром не возьмемся...»

Уф! — скажет читатель, — слава богу, прозрел все-таки человек. Теперь полегче будет. Если уж и правда всем миром возьмется за Петина, то едва ли он устоит.

Да, если всем миром... А что делает Литвинов? Почувствовав, что игра проиграна, Петин скрывается больным, долго не появляется в управлении, наконец приходит в кабинет Литвинова. Тот встречает его благодушно, улыбочиво: «Да, Ладо, постой, мы с тобой позаварили поздравить Вячеслава Ананьевича (Петина. — Ф. С.): его ходатайство удовлетворено, и его отсюда отпускают в распоряжение министерства». Петин бледнеет. «Поздравляю, дорогой... — включается в этот спектакль парторг Капанадзе. — Москва! Столица нашей родины! Большой театр, филармония, Художественный!.. Ах, везет человеку!» Петин ошарашен этим вольтом, «выдержанный, весьма искушенный в аппаратных делах и управленческих интригах», он не знает, что говорить, пытается сказать, что никакого «ходатайства» не писал, но Литвинов его перебивает: «Я всерьез говорю: тут (?) для вас неподходящий климат. Поняли?» Петин понял, а Литвинов «уже сам тянул ему свою широкую короткопалую лапу: «Прощайте... Доброго пути! Если что потребуется с организацией переезда, я, как всегда...»

Эта сцена, пожалуй, стоит предыдущей: примирения Петина с Дюжевым. Там была ситуация всего лишь нравственного характера, так сказать, чисто психологическая, тем более если Дюжев зло забыл, то и Петин больше ему ничего плохого делать не станет — полюбовно разошлись! Здесь же происходит нечто куда более серьезное. Литвинов, улыбаясь, жмет руку негодяю, очковтирателю, шантажисту, желает ему «доброго пути», способствует переводу на новую работу — в Москву! — там-де для него более подходящий климат! Лишь бы не у меня, а там пуская себе разбираются.

Видимо, за делами Литвинов совсем позабыл «выдавливаться» из себя «гной культуры» и ему почудилось, что он живет в то время, когда человека, однажды попавшего в «номенклатуру», переводили с одного места на другое, подчас с повышением, каким бы негодяем он ни оказывался... И Петин выплыл. На последних страницах романа Дина, ушедшая к тому времени от Петина к Дюжеву, читает в газете статью бывшего мужа о строительстве Дивноярска: «Горжусь, что довелось помочь...»

Характер Литвинова, такой привлекательный вначале, двоится, разламывает авторский замысел, путает концепцию. Бывает, конечно, что человек одной рукой делает добро, а другой зло. Литвинов, по замыслу автора, человек сложный, с трудным опытом, непростой судьбой. Но ведь и в этом случае не должна нарушаться художественная логика развития характера.

В романе есть еще одно важное место, позволяющее разобраться в причинах такой двойственности героя, которую едва ли можно объяснить всего лишь человеческой сложностью.

Финал романа. Автор становится здесь все более беглым, торопливым, и потому художественные мотивировки кажутся уже совсем неубедительными. Должно состояться перекрытие гигантской реки, начинается репетиция перекрытия. Но неожиданно в горах тает лед, поднимается вода, начинается паводок, и репетицию, а значит, и перекрытие, придется отложить, может быть, надолго, а ведь все рассчитано, расставлено, приглашены гости, пресса... И тогда возникает идея: «Превратить репетицию в спектакль» — «Вот это будет класс». Риск? Риск! А если просчет? Тогда «Он прорвет дамбу или собьет мост, унесет много миллионов рублей и авторитет их обоих», Литвинова и Дюжева. Последнее соображение остановить Литвинова, конечно же, не может, оно его только подстегивает: «Трусы в карты не играют».

Разумеется, и для репетиции все было на строительстве подготовлено, но ведь река не площадка сцены. Проваливающийся спектакль можно остановить, постучав режиссерской палочкой, обругать проштрафившегося актера, извиниться, пойти дальше или, на худой конец, опустить занавес. Спектакль, который начинает без репетиции Литвинов, посерьезнее, и прорыв плотины может унести не только авторитет, даже не просто

миллионы рублей государственных средств, но и человеческие жизни. Об этом последнем Литвинов почему-то позабыл. А трагедия тем не менее произошла. В разгар работ с севера приблизился шквальный ветер в десять баллов, людей убрать не успели, один из кранов рухнул, а на нем работала Мария Третьяк, бывшая Мурка Правобережная — человек сложный, интересный, она только-только нашла свое настоящее дело, создала семью, ждала ребенка... Мурка погибла героически, потому что могла спуститься, но тогда под краном погибли бы десятки людей, укравшихся от дождя и ветра вблизи стальной махины.

Может ли Литвинов нести ответственность за эту трагедию? Его оправдает любой суд — стихийное бедствие. Только случайность стала причиной несчастья. Но ведь если бы «репетиция» не была так скоропалительно превращена в «спектакль» и перекрытие реки отложили, то Мурка была бы жива, родила ребенка, была бы счастлива со своим Петровичем, продолжала работать на кране, гордилась братом, на глазах читателя превратившимся из уголовника в честного труженика... Может быть, если бы не было такой спешки, успели бы получить метеорологический прогноз, узнали бы о шквале не за несколько минут, а за несколько часов... Если бы...

Что ж, в таких случаях герой «Синих ветров» Е. Карпова — Пожого говорил: «Раз борьба — значит и жертвы», а еще раньше говорили так: «Лес рубят — щепки летят». Но нельзя больше мириться с таким равнодушием, когда речь идет о человеческих судьбах. Мы все работаем сегодня ради всестороннего расцвета личности человека, и прийти к этому подлинному расцвету можно через борьбу именно за расцвет. И если можно обойтись без жертв, не следует к ним призывать ради «счастья борьбы». Нельзя забывать о человеке, думая о пользе дела.

Как же все-таки следует относиться к герою романа «На диком берегу» Федору Григорьевичу Литвинову? Подкупающее обаяние, человеческий талант, честность, самоотверженность, энергия, добрая душа и — неожиданно обнаружившиеся лицемерие, способность говорить одно, а думать другое, интриговать там, где, казалось бы, единственно возможный выход — говорить правду в глаза. Причем проявляются эти бесспорно отрицательные качества не в мело-

чах, не по усталости или рассеянности, но в главном деле его жизни, в столкновении с, казалось бы, непримиримым противником; возникает как бы два Литвинова. «Сосуществование» этих двух людей в одном герое никак не объяснишь сложностью характера: между Литвиновым, заслужившим симпатии читателя, и Литвиновым-чиновником в романе нет никаких психологических и логических стыков.

Да, может так случиться, что человек, обаятельный и милый в дружеской компании, на работе в определенных обстоятельствах идет на риск, а в результате гибнет человек — что делать, случайность, несчастье. Да, бывает, что опытный руководитель, решив избавиться от человека, который мешает и тормозит работу, и не желая ввязываться в неприятные объяснения, пользуется тем же методом, что и Литвинов. — «Доброго вам пути!» Но ведь художественное произведение — это не набор таких вероятных ситуаций, читателю важны пафос, мысль произведения, художественная концепция вещи. Оказалось, что

и обещанный нам непримиримый конфликт вполне «примирился», такие Литвинов и Петин вполне могут ужиться: сегодня им трудно оставаться вместе в Дивноярске, завтра они встретятся в Москве и — глядишь — поладят!

Автор романа открыл нам новый характер, увидел за ним явление — петинщину, — описал это явление с беспощадной жестокостью, показал значительный жизненно важный конфликт. Поэтому так интересно думать над проблемами, которые рассматриваются в романе, — они взяты из жизни, увидены по-своему остро, современно. Но, к сожалению, автор ушел от столь же бескомпромиссного решения конфликта. Более того, против своего желания он стал примирять два противоположных отношения к жизни, к человеку и его делу.

И это тем более досадно, что в романе Б. Полевого перед нами живая жизнь, проблемы романа волнуют, вызывают желание спорить с ними или соглашаться, заставляют думать, вызывают чувство ненависти к петинщине и ко всяким компромиссам с ней.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Е. Старикова. Портреты и размышления.— **Сергей Наровчатов.** Истоки мужества.— **В. Баранов.** Во имя дружбы...— **Б. Сарнов.** Зрелость — **З. Паперный.** В плане языка и по линии анализа.— **А. Каменский.** Писатель и история живописи.— **И. Роднянская.** «Пишущий правду...».

ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Г. Струмилин. Мир капитализма и социализма в цифрах.— **Дм. Рудь.** Могучий фактор сельскохозяйственного прогресса.— **Я. Смородинский.** Размышления о своей науке.— **И. Миндлин.** Против философии антикоммунизма.— **И. Иноземцев.** Цена карты.

Литература и искусство

ПОРТРЕТЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Майя Ганина. Я ищу тебя, человек... Рассказы и повесть. «Советский писатель». М. 1963. 234 стр.

Майя Ганина несколько лет тому назад обратила на себя внимание рассказом «Настины дети». История о том, как остались сиротами трое маленьких детей тихой двадцатипятилетней Насте и как вынужденная забота о них постепенно пробудила человека в их отце, молодом шофёре Федоре, до тех пор жившем эгоистической, безответственной, почти животной жизнью,— история эта была написана сильной, уверенной рукой, просто и лаконично. В рассказе «Настины дети» четко обрисовались и преимущественные интересы писательницы, и ее строгая манера письма. Суровый быт необжитых мест большихстроек, геологических экспедиций, трудные судьбы, характеры цельные, сформированные войной, сиротством, лагерем, тяжелым трудом, борьбой со стихией,— вот основная сфера наблюдений М. Ганиной. Много ездившая по стране и много видевшая, она особенно хорошо знает Сибирь, Дальний Восток, Северный Урал.

В новой книге писательницы, куда входит одиннадцать рассказов и повесть «Я ищу тебя, человек...», «Настинных детей» нет. Но тот, кто следил за творчеством М. Ганиной, невольно будет сопоставлять и соизмерять содержание этого сборника с тем рассказом, который пока казался наиболее характерным для этого автора. Во всяком случае для меня новая книга писательницы сама собой распалась на рассказы чисто «ганинские», то есть в чем-то похожие на «Настинных детей» и, на мой взгляд, наиболее сильные, художественно законченные, и те, в которых М. Ганина, как бы ломая свою прежнюю манеру объективного портретиста, становится лириком, ищет новых путей и возможностей для своего творчества. К ним относится и повесть «Я ищу тебя, человек...». Само название повести, давшее имя всему сборнику (кстати, очень претенциозное и откровенно «модное»), свидетельствует об осознанной и декларирован-

ной потребности автора в лирическом самоизлиянии, совершенно, казалось бы, чуждом ему раньше.

Лирик и портретист — заключено ли здесь действительное противоречие? Безусловно, два этих качества могут соединяться в одном таланте — и иногда соединяются очень успешно, — но по самой своей природе они различны. И как высшим актом деятельности актера является перевоплощение, так для писателя-прозаика им является умение создать объективный человеческий характер, живущий в произведении по законам своей собственной сущности уже независимо от личности автора. Присутствие этого умения, этого дара — вопрос не масштаба дарования, а его качества.

У М. Ганиной есть дар «перевоплощения». Лучшие ее рассказы населены живыми людьми. Пароходная прачка из рассказа «Мария-Антуанетта» — этот грубый сибирский вариант образа «вечной женственности», добрый богатырь Матвей из рассказа «Матвей и Шурка», бывшая заключенная из превосходного рассказа «По Витиму — на материк...» — все они выходят из книги М. Ганиной, чтобы отныне поселиться среди нас, чтобы стать для нас некоей, объективной реальностью, потому что каждый из них — это отдельный, внутренне целостный мир, отличный от всех остальных и связанный со всеми остальными.

Героиня повести «Я ишу тебя, человек...» молодая журналистка Саша делает такое признание: «Я не ставлю перед собой необыкновенных задач. Просто я хочу найти настоящего, хорошего человека и написать о нем. Я хочу узнать и понять в нем все, самую даже малость, чтобы не лгать недоговоренностью, умолчанием. Самое главное, я хочу быть честной...»

Если принять эти слова за авторскую декларацию (а слишком много в этой повести поводов, чтобы устоять против такого искушения) и сопоставить их с лучшими рассказами Ганиной, то декларация эта представляется и наивной, и неточной, и очень уж мизерной. Когда литератор берется за перо без само собой разумеющегося желания быть честным, то это явление (не будем утверждать, что совсем уж редкое) тем самым оказывается за пределами проблем литературы, хотя и может представлять известный интерес для исследования общественной нравственности, психологии и прочих тоже

весьма интересных проблем. Так что декларировать обыкновенную честность писателю как-то негоже. Но дело даже не в этом элементарном обстоятельстве. Дело в том, что М. Ганина, если судить по ее творчеству, вовсе не занята поисками просто «хороших людей». Ее интересы шире и гуманнее. Например, о шофере Матвее, который «был уверен, что сам он человек хороший и живет так, как надо», действительно можно так сказать. Ну, а Федор из «Настинных детей» с его безмерной виной перед женой? А геофизик Тамара из рассказа «Сестра Волынского» с ее «грубым, сильным телом рабочей лошади», откровенным кокетством и детской сентиментальностью? А безногий попрошайка Сашка? А спутники героини повести «Я ишу тебя, человек...» — Вениамин, прикрывший собственным телом друга от пули бандита, но такой равнодушный и опустившийся в обыденной жизни? Или «большой человек» Денис Иванович, умеющий льстить министрам и демагогически разговаривать с рабочими? Да, как раз именно о нем говорит Саша: «Ты хороший человек, но сколько же за этими словами следует оговорок и недоумений!

Хорошие все эти люди или плохие? Я не берусь отнести их ни к одной из этих двух категорий, но Ганиной они нужны и интересны, и мне они нужны и интересны, потому что благодаря таланту писательницы через их характеры, через подробности их жизни я познаю тот мир, то общество и то время, в котором нам с ними пришлось жить и которое нас формировало.

Ганина ищет «настоящего человека, человека не выдуманного, не сконструированного по заранее известному образцу, а увиденного в самой гуще действительности и сформированного сложнейшими, пестрыми, многообразными обстоятельствами этой действительности. Может быть, потому и удаются М. Ганиной рассказы о Сибири, о Дальнем Востоке — о местах, которые, в сущности, только-только заполняют начальные страницы своей Истории. Современная жизнь предстает в рассказах М. Ганиной в неугомонном движении, в ней мало устоявшегося, все взбудоражено, все начинается: строятся плотины, раскапываются недра земли, люди плывут по рекам, мчатся в поездах... Люди встречаются и расходятся... Они только еще ищут свою судьбу, свое место, самих себя.

И если говорить уже без опоры на автор-

ские декларации, а по существу о типе человека, который особенно удается перу М. Ганиной, то преимущественно это будет человек еще не реализованных возможностей (иногда даже вообщем не реализованных по той причине, что в нем даже не разбужена потребность осознать себя и свое место в мире).

«Маргарита четвертый год на Амуре, она все знает... все помнит точной женской памятью: наверное, при желании она могла бы ходить лоцманом или стоять на руле, но это ей и в голову не приходит», — рассказывает М. Ганина об амурской «королеве Марго», как мысленно ее называет пассажир-геолог, тянувшийся к этой царственной женственности, облеченной в застиранный халат. Согнувшись над грязным корытом, часами плюя подсолнечную шелуху за борт парохода, она растрчивает молодость, доброту, талант любви непринужденно, бесцельно, бездумно. «Она улыбается своим мыслям и глядит на реку. Течет река, идут мысли Маргариты, невинные и светлые, как первооснова этой перебалмученной воды». Еще более неразбуженной жизнью живет парень из рассказа «По Витиму — на материк...»: «Он не размышлял... как все будет дальше, чего он хочет от жизни и чего жизнь хочет от него. Он вообще ни о чем не думал, улыбаясь, глядя в потолок, покачивая гудящей головой». Таков был и Федор из «Настинных детей» — пока привязанность к ребенку не пробудила в нем какие-то первоначала нравственной ответственности.

Ганина не судит своих героев, не негодует. Но ее объективный рассказ о них, где достоверны мельчайшие подробности, на фоне громадного мира — могучего, требующего столько энергии — сам собой приобретает широкое гуманистическое содержание.

При всей нереализованности сил, талантов, возможностей этих героев у них есть нравственные задатки, вселяющие уверенность в их спрятанную, нераскрытую человеческую ценность.

Может быть, самым выразительным в этом отношении является рассказ «По Витиму — на материк...» — рассказ жестокий и исполненный надежды. «Ниже локтя у нее было наколото: «Нет в жизни счастья», а на тыльной стороне ладони — половинка солнца и крупными буквами: «СИБИРЬ». Тот, кто разбирался, — а здесь в этом разбирались все, — взглянув на наколки, без труда бы оп-

ределил, что женщина эта в свое время «отбывала срок». Наколки да шея выше ключицы, стравленная кислотой, — будто огромное оспенное пятно, — а в остальном она была ничем не приметной». Такова героиня этого рассказа, женщина без имени, «мам-ка». Она прошла через все беды, унижения, непосильный труд, а теперь двумя руками держится за свое первое и последнее человеческое чувство — страсть к молодому ленивому парню, за свою надежду и право жить по-людски в самом простом, примитивном смысле. «Она снова подумала, что если бы ей обменяться годками с этими девчонками, то как бы она теперь хорошо все устроила, все бы обдумала, всего бы добила, не потратила бы зря ни денечка... Ей хотелось скорее приехать на место, поступить на работу, купить домик и жить. Какая это будет жизнь, она не знала, но чувствовала, что не уступит в ней ни одной радости, все переберет на вкус и на ошупь».

Столь же трогательно проста и одновременно естественна, человечно мечта паровой прачки Маргариты из рассказа «Мария-Антуанетта». «Ей представлялось, что ее новый парень устроился во Владивостоке на торговое большое судно. Она приезжает к нему, они идут по Ленинской — и вокруг шумит этот город, покачивающийся на своих сопках, словно на качелях, вокруг гуляют низенькие, как дети, иностранные моряки в белых квадратных шапочках; шагают строем наши моряки. Все оборачиваются на Маргариту, а она ведет за руку девочку, смирную и толстенькую, в зеленых туфельках — такие продаются в обувном в Хабаровске...» Как будто бы так мало: даже туфельки, какие надо, продаются. Но в то же время есть что-то нереальное, сказочное в этой картинке. О простом мечтается как о сказке. Ведь героям Ганиной не так-то легко достигнуть этих элементарных законных радостей человеческого существования.

Маленькая мечта, маленькое счастье... Но необходимое. Без него трудно достичь большого. И ведь мечтается не только о благополучии, доме, месте под солнцем, но о душевной близости, о своей нужности другим людям, о красоте человеческих отношений. «Обновляются первозданные радости», в самых простых, элементарнейших человеческих связях обнаруживаются подлинно нравственные начала. А это не так уж мало.

Женское творчество. женский роман. «дамское рукоделие»... Когда писатель-муж-

чина пишет мужественно — это хорошо, когда писатель-женщина пишет женственно — это плохо. Думаю, что это один из устаревших предрассудков. Такие рассказы, как «Настины дети», «Матвей и Шурка», «Мария-Антуанетта», конечно, могла написать только женщина. Думаю, что нашей литературе очень часто не хватает начал доброты и сердечности, и лучшие рассказы М. Ганиной несколько восполняют этот пробел.

Правда, в сборнике, о котором идет речь, есть и чисто женское кокетство, и оно плохо — ровно в той же степени, как плохо в иной книге кокетство мужественностью. Такой кокетливой забавной штучкой, в которой много женского самолюбования и мало поэтического содержания, кажется мне, например, рассказ «Самая первая любовь великого человека». И здесь есть образ мальчика, трогательный сочетанием в себе серьезности с лукавой игрой, но очень уж неинтересен здесь мир взрослых, эти празднично скучающие тети, которые развлекаются в коридоре гостиницы бо-товней с забавным ребенком. Однако слабость этого рассказа — не просто слабость женской музыки, а выражение общего недостатка лирической стороны книги М. Ганиной.

Обретая силу и зрелость своего таланта в изображении людей стихийных или наивных, сумев через них передать сложность современной действительности и свой нравственный идеал, писательница не могла не увидеть ограниченности своей сферы. Ее потребность выйти из пределов жизни нерассуждающей, жизни, подчиненной одной лишь суровой необходимости, подняться в область более широких размышлений и свободных сопоставлений и обобщений не может не вызвать понимания и сочувствия.

Новый сборник М. Ганиной свидетельствует, что именно такую задачу ставила перед собой писательница, дополняя четко вылепленные портреты людей лирическим самовыражением. Но насколько же неуверенней, смятеннее, наивнее становится здесь голос писательницы!

Человек учится говорить на другом языке. Кто осмелится сказать, что не надо этого делать, потому что у него еще неверная интонация, несогласованность отдельных слов, бедность выражений? Но в то же время тот, кто слышал гибкую и свободную речь этого человека, когда он говорил на родном языке, — неужели он будет ему

лгать, уверяя, что, говоря на новом языке, он только приобрел и ничего не потерял?

Может быть, в первую очередь именно в речи, в языке и заметна неумелость, неразработанность, неотшлифованность голоса Ганиной-лирика. А впрочем, как отделить язык от мысли, им выраженной, и мысль от языка? «Я хотела о ней писать, но потом меня что-то отвлекло, и про Альму я так ничего и не написала. Меня всегда в таких случаях страшно мучает е-о-в-е-с-т-ь, но, с другой стороны, физически невозможно написать про всех, с кем встречаешься и разговариваешь... Цыганочка моментально сориентировалась и, подняв умильно-хитрое, как у козочки, лицо, соглашалась со всем... Все это увлекло меня необыкновенно, я написала очерк, но он почему-то не пошел. Скоро я поехала в другую командировку, занялась другим материалом и перестала огорчаться. А очерк об Альме так и не был написан...» Ни в одной из этих фраз, взятых с двух соседних страниц рассказа «Цыгане — бродячие люди», нет, пожалуй, ни грамматического, ни стилистического криминала. Но это типичный образец того расхожего, обыденного, стандартного языка, на котором по инерции и простоты ради говорим мы, работники издательства, газет и журналов. Он может представлять даже интерес для писателя, но только как объект изображения, и никак не может служить ему средством прямого повествования — он некрасив, беден, неточен, малосодержателен. «Написала», «не написала», «занялась другим материалом», «физически невозможно», «что-то увлекло», «что-то отвлекло» — ну кому это интересно? А бывает у М. Ганиной и хуже: «...Вечерами они не знают, куда деться, потому что они же холостежь — и семья не забирает досуг». Это уже на уровне стенгазеты в домоуправлении.

А ведь лучшие рассказы М. Ганиной написаны точно, просто и сдержанно, так что языка как такового даже не замечаешь. Иногда остановишься на щеголевато выписанном редком сибирском или каком ином словце, а в остальном — словно само вылилось. Там, где речь идет о конкретном образе, человеке. Ну, хотя бы эта цыганочка с умильно-хитрым, как у козочки, лицом, которая, соглашаясь с отчитывающим ее милиционером, «почесывала твердые, как покрывки МАЗа, ступни». Но как только писа-

тельница хочет выразить отвлеченную мысль, то и дело обнаруживается беспомощность, обретающая облик развязной небрежности, и манерность, являющаяся обратной стороной непродуманности.

В конечном счете недостатки сборника М. Ганиной имеют одну причину: при богатом опыте, при жадном интересе к людям, при изобразительном даре писательница только ищет, нащупывает свой взгляд на мир. Его хватает на отдельный случай и не хватает на сцепление двух и трех случаев. Это прекрасно видно на примере повести «Я ищу тебя, человек...».

О том, что это произведение во многом автобиографическое и лирическое, догадываешься очень быстро. И не только потому, что автор свободно переходит от третьего лица к первому, а скорее всего и прежде всего потому, что образ героини, молодой журналистки Саши, имеет много общего с тем образом лирического героя — повествователя, который, переходя из рассказа в рассказ, закрепился в сознании читателя как образ автора. Молодая журналистка заворожена беспокойным ритмом своей профессии: «Еще не родившись, я тосковала по дорогам, по встречам в пути. Мне все равно, куда ехать, только бы плыть земле мимо, только бы устать глазам от невозможности взглянуть два раза на то же самое. Подари мне вечный билет на все поезда, на все самолеты и пароходы». Так и построена повесть: цепь бесконечных путешествий — в поезде, на пароходе, в автомобиле, верхом; тайга, сопки, реки; строительные поселки, рабочие клубы из сборных щитов, койки в палатках-обшежитиях; и люди, люди, люди. Счастливые и несчастные, молодые и старые, здоровые и больные, воодушевленные и равнодушные. Калейдоскоп имен, портретов, биографий, случаев; взволнованный, судорожный ритм вечной погони за новым. Героиня чувствует себя свободно в этом простом, грубоватом, грудовом мире. Она здесь своя, но гем интереснее и важнее ей понять каждого. Любой встреченный ею человек — задача со многими неизвестными; она решает ее упорно и азартно, не щадя сил и сердца, невольно вовлекаясь в круговорот чужих жизней, конфликтов и катастроф, чтобы вдруг решительно вырваться из них и снова начать бесконечный поиск встреч и впечатлений. В этом поэзия профессии журналиста, передать ее — таков смысл этой лирической повести.

Но их слишком много — людей и впечатлений — для этого маленького произведения. Они не остаются в памяти. Сведения о них часто невыразительны. Иногда это информация газетного очерка. Мелькание лиц и имен раздражает, тем более когда чувствуешь, что некоторые из них могли бы стать героями подлинно ганинских рассказов. Да любая из этих историй могла обрести плоть и кровь под ее пером, но ни одна не стала так достоверна, как амурская «королева Марго» или «мамка» с Витима. «Все меня знают, и я всех знаю, но тем не менее не могу вытянуть главного. Пока рассыпаются, как бусы, лица, события, нет стержня. А между тем я чувствую что-то, какой-то конфликт, вокруг которого вращается все...» — признается героиня повести. Несколько позже Саше кажется, что она нашла «стержень»: столкновение комсомольцев и бандитов в том строительном поселке, куда занесло ее любопытство и надежда «найти материал». Для повести М. Ганиной этого конфликта, который остался чисто внешним, не раскрытым, оказалось недостаточно. И хотя она прибегает к завлекательному композиционному приему, открывая и замыкая свое произведение одним и тем же драматическим эпизодом — убийством друга Саши, — внутри этого кольца лица и события все-таки «рассыпаются, как бусы».

Не удовлетворившись на этот раз портретами одного-двух близких ей героев, М. Ганина захотела перенести в свою книгу густую пестроту жизни, скрепив ее собственными размышлениями. А размышления эти часто сбивчивы, друг друга опровергают. И хотя писательница самую взволнованную неуверенность героини стремится сделать и темой, и литературным приемом одновременно, все-таки для целой повести, для нескольких десятков драматических историй — и этой темы, и этого приема мало.

Между тем мысль писательницы настойчиво толкается в самые сложные проблемы нашего времени. Ее героиня мысленно спорит со своим возлюбленным, с одним из тех, которые причислены к «хорошим людям»: «Ты привык, тебя приучили думать, что людей много на этой земле. Так много, что устаешь от их голосов и мелочных желаний, от их лиц... Один человек — это только один человек... Тебя приучили к «волевым» цифрам, которые спускались «сверху», и выполнять их надо было любой ценой. Перед этими цифрами люди были только «люд-

скими резервами», «контингентом рабочих».... Семьсот человек — это один человек, и другой, и третий, и четвертый... Это опять Людка, и Толик, и дядя Вася...»

Волнение Саши благородно, гуманно, свойственно нашему времени. Но тут же следом переворачиваешь страницу и читаешь продолжение этого горячего монолога: «Но что я могу?.. Если бы убить эту гадину Копытько — начальника отдела кадров. Эту сволочь... Взять ружье и убить.. Это был бы выход, встряска какая-то, это бы как-то изменило события. Но я даже стрелять не умею. И ружья у меня нет». Вот именно, начать хотя бы с этого: у Саши ружья нет, а у пособников Копытько есть, и убивают пока Сашиного друга Вениамина. Но разве дело в том, есть ружье или нет? Разве убить — это сегодня выход? Неужели писатель (а в данном случае не чувствуется расстояния между автором и героем) не понимает, что первое рассуждение (о ценности каждого человека) и второе (о желании убить) одно другое исключают? А главное, опять подбор слов, который говорит не просто о противоречии, а о беспомощности мысли: убить ради «встряски», да еще «какой-то», то есть с неизвестными результатами, которая «как-то», то есть в неведомом направлении, изменила бы события? Невольно приходит на память другое высказывание героини Ганиной о силе печатного слова: «Только теперь я поняла, какое страшное оружие я попыталась взять, не умея им пользоваться. Мне дали коробок спичек — и я, как ребенок, устроила маленький пожар в доме...»

Можно опять возразить, что все это — придирки, что подобные фразы — плод незрелости героини. Но я только это и хочу сказать: лирика Ганиной, как будто бы сосредоточенная вокруг проблем гуманизма нашего времени, на самом деле покоится на довольно случайных и поверхностных эмо-

циях, бьющаяся в ней мысль порой наивна и противоречива, язык идей и рассуждений неточен и неотшлифован. Прочитав новый сборник М. Ганиной, остаешься при впечатлении, словно его писали две руки: опытная, сильная рука мастера-портретиста, досконально знающего и свою натуру, и свое ремесло, и неуверенная, взволнованная, неловкая рука новичка, спешащего поделиться с миром своими детскими недоумениями, робкими вопросами, банально трогательными открытиями: «Что важнее: тихая лиричность... великолепной прозы или грубо сработанные попытки выяснить истину?» «Человек с годами обретает знание, но платит одряхлением Жаль...» «Человек за свою короткую жизнь мало успевает узнать, мало успевает увидеть. А ведь глаз всеобъемлющ (!), и мозг тоже может объять необъятное» (!!). «Почему люди не могут жить просто? Помогать друг другу, а не мешать? Не укорачивать жизнь ближнему?.. Человек должен быть добрым, но справедливым. Человек должен быть справедливым, но добрым...»

Я вспоминаю героев рассказов М. Ганиной: погибшую в двадцать пять лет от рака Настю, осиротевшего в семь лет Леньку, добрую Маргариту, бездумно склонившуюся над грязным корытом, маленькую Шурку с ее поэтическим восхищением Матвеем и первым горем при виде умирающей подружки... В самом деле, почему все они не могут жить просто? Как было бы хорошо!

При всей самобытности лучших рассказов М. Ганиной, противоречивость ее новой книги представляется мне очень симптоматичной. Мода нашей молодой прозы на «разлохмаченную», сумбурную лирику, которая захватила и Ганину, есть литературное выражение отсутствия самостоятельных идей и мыслей и одновременно остро ощущаемой потребности в этой мысли.

Е. СТАРИКОВА.

★

ИСТОКИ МУЖЕСТВА

Борис Ручьев. Стихи и поэмы. Челябинское книжное издательство. 1963. 290 стр.

В наши годы поэту нужно запастись не одним, а несколькими дыханиями, чтобы рассказать людям обо всем, что несет им время. Мои знакомые, перешедшие свою полувековую грань, — каких только со-

бытий свидетелями и участниками они не были!

Одним из поэтов, чья личная судьба тесно переплелась с судьбой страны, является Борис Ручьев. В ранней молодости он

ушел из глухой деревни с плотницкой артелью. Исколесив пол-России, «звонкая артелька» попала на Магнитострой. Там вчерашние крестьяне становились рабочими. И рабочими не на «заработках», а навсегда — вместе с условиями менялось отношение к жизни, перестраивалось мышление. Для одних это был мучительный, для других — радостный, но непреложно общий процесс. Огни первой пятилетки стали путеводными огнями для молодого парня. Тогда, на Магнитострое, и родился поэт Борис Ручьев. С тех пор тема рабочего класса, неразрывная с темой становления нового человека, становится главенствующей в его творчестве.

Сухая эта формулировка, конечно, слишком обща для того, чтобы дать представление о поэзии Ручьева. Это ее, так сказать, идея, не облеченная в плоть. А плоть ручьевских стихов — сама жизнь, жестокая, неприкрашенная, требовательная. Его последняя поэма «Любава» является как бы итоговой по отношению ко всем стихам этой темы, написанным Ручьевым в разные годы и с разной силой. Мы встречали в прежних его стихах почти все мотивы, которые здесь собраны воедино. Тут и картины жизни богатого сибирского села с его резким неравенством и столкновениями бедноты и кулаков. Картины в цвете и звуке, покоряющие щедростью красок и созвучий.

Там весь дол перекроен в полоски и лежит, как рядно, полосат — в бурых крапчихах красноколоськи, в желчи проса да в дымках овса.

Там гнездится у самого яра Боровлянка — смоленые лбы, с керосинным настоем базара, с хлебным духом у каждой избы.

Там истоптаны стежки-дорожки в расписные, как терем, ларьки, где звенят кренделя да сережки и молчат топоры и замки.

Тут и неизменный для Ручьева образ гордой деревенской красавицы, эдакой сибирской Марьи Маревны, свысока смотрящей на неровню-паренька. Но скоро, очень скоро он становится ей ровней, а потом... Однако я забегаю вперед. В поэме, как и в прежних стихах Ручьева, во весь рост встает Новостройка с большой буквы. Это стройка не только завода и города, но и стройка новых человеческих душ.

Но скажу безо всякой оглядки, договор отработав сполна,

здешних мест голоса и порядки переполнили сердце до дна — то ли ширью своей многолюдной, всем открытой на страдный постой, то ли близкою, завтрашней, чудной, несказанной пока красотой. И какую разгадку найти ей, если, дивную, грозную, — ту, кто — индустрией, кто — индустрией, кто — гигантом зовет красоту.

Паренек попадает на стройку, и с ним происходит то, что с тысячами других таких же крестьянских пареньков: сперва — он и стройка, потом — стройка и он, и наконец стройка и он — неразделимое целое. Полностью и без остатка захвачен юный бригадир (а он теперь стал бригадиром, и его величают по имени-отчеству) людским кипением. Позже это кипение назовут энтузиазмом и романтикой, но эти красивые слова мало что объясняют из того, что на самом деле было. А происходило рождение нового мира и нового человека этого мира. Но где-то в глубине души парень еще связан со своим прошлым, встающим перед его глазами в образе недоступной и притягательной красавицы, которая там, в деревне, сочла его неровней себе: «В женихи — ты достатком не вышел...»

Но вот в один из дней она появляется на пороге. В яви и во плоти сказочная невеста приезжает к реальному жениху.

Любава поселяется в рабочем бараке, ей отгораживают крохотную светелку. Она — невеста, и грубые парни не смеют прикоснуться к ней даже дурным словом. Но дощатая перегородка, отделяющая Любаву от бригады, несравнима с той нравственной, духовной стеной, которой она отъединила себя от людей. Все ей не только кажется, но и ощущается чужим и враждебным. Все корни, все нити ее привязанностей — за границами этого нового мира.

Действие поэмы, вначале развивающееся неспешно, к концу стремительно убыстрется. Вот свадьба — та долгожданная свадьба, на пути к которой было столько препятствий. Поднимаются кружки с горьким вином, гремит от грохота пляски разгоряченный барак, в широком кругу плывет песенной лебедью Любава. И вдруг гудки над стройкой: аврал! Ураган навалился на город, грозя смести все достроенное и недостроенное. И ребята прямо со свадьбы уходят в мутную, свистящую ночь. Уходит с ними и жених. Он так им и остается навсегда — не венчались и не расписывались они

с Любовой, и не будет у них брачной ночи. Непонятой и непонявшей исчезла она из его жизни. Куда? Бог весть!

Скажу, что я с чисто профессиональным интересом ожидал, как развяжет поэт завязанный им узел. Неужели Любава бросится вслед за ребятами в эту гулкую ночь и там, во время аврала, произойдет ее духовное перерождение! Это было бы куда как эффектно и... нежизненно. И поэт не допустил ошибки. Оскорбленная и негодующая, ушла Любава прочь. Очень это верно... Ведь Любава — не просто Любава. Оправдались горькие строки:

Ветровая остуда крепчала...
 Растеряв золотое тепло,
 без зари, не доплыв до причала,
 солнце в бурю тучу слегло.

Трагедия консервативной деревни и апофеоз социалистической новизны — опять

таки слишком общее понятие, чтобы передать ими суть этого явления. Живой нерв, проникающий в поэму, тоньше и сильнее этих формул.

Подлинная жизнь, настоящие человеческие чувства не могут не волновать читателя и в другой ручьевской поэме — «Прощание с юностью». В этой поэме Б. Ручьев опять обращается к рабочей молодости как к истоку мужества, к тому, в чем можно почерпнуть силы для борьбы со всем темным и враждебным. Но в своей небольшой статье я решил сосредоточить внимание лишь на поэме «Любава», в которой, на мой взгляд, соединились лучшие черты творчества Б. Ручьева. В ней передан пафос тех лет, о которых Б. Ручьев от имени своего поколения говорит: «С первой, самой пристрастной любовью вся Россия смотрела на нас».

Сергей НАРОВЧАТОВ.

★

ВО ИМЯ ДРУЖБЫ...

Александр Абрамов. Прошу встать! Повесть. «Октябрь», № 11, 1963.

Встречаются старые друзья. Обычно в таких случаях следуют радостные восклицания, объятия, шуточные подтрунивания и лирические «а помнишь?». Но сколько же раз можно повторять одно и то же? И вот вниманию читателей предлагается такое описание встречи старых друзей, собравшихся после долгой разлуки: «Колесов вздрогнул и отодвинулся», «Ощущение опасности парализовало, держало на привязи», «Колесов изо всех сил старался сдерживать дрожь в коленях, сохраняя при этом хмурый, однако невозмутимый вид», «На самом деле он испытывал страх, расслабляющее физическое ожидание боли», «Сознание Колесова словно раздвигалось...», он «огрызнулся», он «даже шелкнул зубами от злости...», «Бывают удары, сразу сбивающие с ног. В боксе это называется «послать в нокадаун»... В такой нокадаун послал Колесова Самохин».

— Постойте! — скажет недоумевающий читатель — Произошла ошибка. Это цитаты из другой вещи, на другую тему.

Нет, ошибки не произошло. Цитаты взяты из повести, рассказывающей о встрече старых друзей, и призваны они доказать проч-

ность и истинность этой дружбы. Впрочем, давайте по порядку.

Была до войны компания хороших ребят — Меньшиков, Самохин, Колесов. Жили в одном доме, учились в одной школе. С ними подружились студентка медвуза Люда Завадовская, студент геологоразведочного Венька Гринчук и большеглазая строгая девчонка Лена Часовникова.

С началом войны друзья разъехались в разные концы. У каждого была своя жизнь, своя работа, своя судьба. Остались ли они верны клятве быть чистыми во всем, которую давали в юности? — вот смысл той «проверки», которая лежит в основе сюжета повести.

Лучшим среди друзей, чьи поступки всегда ставились в пример другим, был, по общему признанию, Венька Гринчук. Он открыл богатое месторождение меди, о котором не сумел сообщить в геологическое управление: началась война, отправленное по назначению письмо Гринчука случайно пропало, а сам он вскоре погиб на фронте.

Самым «правильным», самым цельным, верным клятве и памяти погибшего друга,

душа которого была «чиста, как самый чистый хрусталь», остался, по мысли автора, учитель Николай Самохин. Друзья не скупятся на похвалы ему. «Просто Коля лучше нас. Ну как бы это сказать?.. Строже к себе, строже к другим»,— говорит о нем Люда Завадовская, теперь врач. Журналист Меньшиков цитирует Самохина: «Как это Коля тогда: сколько мутненького и дрянненького может выудить каждый из нас из своего прошлого?— Только не Коля,— живо откликнулась Елена». И дальше говорит она же: «Коля — настоящий друг». И наконец, речь автора о Самохине: «Сам он почти не изменился, только все в нем стало резче: глубже складки у губ, острее скулы, рельефнее жилы на шее и темнее узелки вен на руках. Он, как и раньше, шутил грубовато, но дружелюбно, смотрел собеседнику прямо в глаза и никогда не отводил взгляда первым».

Наиболее удачно, пожалуй, сложилась судьба Колесова. Он женился на Лене Часовниковой, которую любил и которая когда-то была невестой Веньки; он нашел медь в тех же местах, где ее обнаружил Венька, получил за это открытие премию и вот теперь вместе с женой едет из Сибири через Москву отдыхать к морю.

И однако Колесов и Самохин, по мысли автора, антиподы. Удачливый Колесов оказался человеком внутренне неустойчивым, слабым. Он когда-то случайно нашел черновую тетрадь Гринчука с записями о находке, но никому об этом не сказал. К тому же в свое время, не будучи уверенным в виновности своего начальника по разведывательной группе Мальцева, он «из страха» проголосовал за его исключение из партии. Правда, выгоды из тетради Гринчука Колесов не извлек, и медь его группа все-таки нашла самостоятельно; не было у него каких-либо карьеристских соображений и тогда, когда он невольно «помог утопить Мальцева»; более того, в трудной ситуации он проявил даже мужество: не побоялся ударить по лицу председателя министерской комиссии Клушанцева за шантаж. Но все-таки совесть его не совсем чиста, хотя репутация внешне безукоризненна.

Самохин же, как мы уже читали и как рекомендует его автор на протяжении всей повести,— человек прямой, принципиальный, не терпящий никакой лжи и окольных путей, стоящий на страже нравственности, ра-

тующий за «чистоту человеческих побуждений».

И вот должна состояться встреча старых друзей, к которой вовсе не стремится Колесов, но в которой почему-то очень заинтересован Самохин.

По дороге на дачу один из друзей говорит Колесову:

«— Он (Самохин.— В. Б.) и тобой почему-то интересуется.

— Мной? — удивился Колесов.— Почему?

— А я что — доктор? Все статьи о твоём руднике вырезает с тех пор, как ты медь нашел. С ребятами, кто от тебя приезжал, тоже встречался. И как бился ты за эту медь, что вытерпел — все знает. Он и за нашим братом следит: за мной и за Людой по малости. Но ты почему-то его конек».

Когда гости вместе с хозяином сели за стол, разговор, естественно, зашел о трудовых делах каждого: Меньшиков рассказал о задуманной им книге, Люда Завадовская — о своих хлопотах в районной больнице, сам Николай Самохин — о столкновении с райисполкомом и победе, одержанной им только при помощи секретаря райкома. Но не эти реальные достижения кажутся Самохину главными.

«— Молодыми мы лучше были,— вдруг сказал он.— Ну о чем говорим? Бытовщина, дела-делишки, капаем по малости: я — на исполкомщиков, Сашка — на редактора, Люда — на склочников от медицины. А Леночку канцелярия заела... А молодыми мы все другой мерой мерили, другим глазом. Главное видели, о главном тревожились (подчеркнуто мною.— В. Б.)».

Что же, по его мысли, является главным? Ответ на поставленный вопрос дает дальнейший ход событий.

Оказывается, Самохин давно уже подозревает, что Колесов присвоил тетрадку погибшего Гринчука. Пятнадцать лет он носил это подозрение, как камень за пазухой. И не просто носил, а вел тщательное расследование, тайно следил за каждым шагом Колесова, опрашивал людей, с которыми тот общался. Самохин не стал, как только у него возникло подозрение, ничего выяснять у своего друга, который раньше не был замечен ни в чем предосудительном, не пытался поговорить с ним один на один,— нет, он вел «следствие» и ездил собирать материал в те места, где он рабо-

тал, «поднимал архивы», готовился встретить Колесова во всеоружии. И вот после первых приветствий, после слов о дружбе, о верности высоким идеалам Колесов получил сокрушительный удар, тот самый «нокдаун», о котором и шла речь в начале рецензии.

И вот благополучный, процветающий Колесов в течение одного вечера разоблачен и вывернут наизнанку. «Опасный поворот» — можно было бы назвать эту повесть, если бы так уже не называлась одна небезызвестная пьеса.

Однако этот поворот еще не последний. Один из персонажей Л. Леонова сказал как-то: «Бить — бей, но не забывай и поглаживать». Действуя в полном соответствии с этим принципом, Самохин вдруг начинает врачевать пострадавшего. Из активного нападающего он на наших глазах превращается в не менее активного защитника. «Ну и поворотик! На все сто восемьдесят», — говорит один из присутствующих. Этот новый поворот произошел не случайно. Обвинив Колесова в подлом поступке, подняв мутную волну подозрительности и недоверия, на глазах других подвергнув Колесова унижительному допросу, Николай вдруг говорит: «Мы только выясняем, кто как жил эти годы. Выясняем, а не выяснили, — подчеркнул он...»

Оказывается (вновь оказывается!), Самохин заранее знал, что тетрадка Гринчука не могла сыграть и действительно не сыграла существенной роли в открытии месторождения. Бывший начальник Колесова, ныне реабилитированный Мальцев даже засмеялся, когда Самохин, специально ездивший к нему, изложил свои подозрения. Таким образом, выдвинув грозное обвинение, Самохин по существу сам же отводит его, а в ходе дальнейшего разговора даже находит в поведении Колесова много хорошего. Зачем же, спрашивается, нужно было устраивать этот «юридический фейерверк», как удачно выразилась Люда? Какое право имел Самохин заводить это коллективное судилище, возбуждать в душах старых товарищей озлобление и отчужденность? Но, по-видимому, сам герой с благословения автора признает за собой такое право во имя неких высших соображений.

Есть такая категория людей, которые считают себя коллективистами до мозга костей. Их хлебом не корми, только дай возможность копаться в чьих-нибудь делах,

выносить приговоры, и обязательно чтоб это происходило публично, гласно. Они искренне полагают, что так и должно быть, что именно решение вопроса «всем миром» всегда и есть лучший способ разобраться во всем. Самохины очень любят эту фразу: «Прошу встать!», так символично вынесенную в заголовок. И друзей-то в данном случае собрал наш герой не просто, а со специальной целью — для свершения публичной экзекуции.

В конце концов для Самохина, видимо, не столь уж важно, был ли виновен человек в совершении того или иного дурного поступка или не был. Он подозревает, что человек может сделать подобный шаг — и этого достаточно. Вот его credo: «Мне вот так думалось. сначала мелко сподличал человек, потом крупно сподличает. А крупно — удержался. Первый раз случай помог, второй раз — совесть заговорила. А что, если в новом испытании — мало ли их еще будет! — смолчит вдруг совесть, заплывет жирком самодовольства, равнодушия? А после такой встряски уже не заплывет, не смолчит!» Свою, так сказать, методику тренировки совести посредством профилактических «судилищ» Самохин формулирует подкупающе откровенно: «Одного только хоч, чтоб до смерти еще разочка три вот так встретиться».

Для героя, которого автор представляет как положительного, видимо, большое наслаждение доставляет сам процесс нравственного истязания, якобы очищающий душу.

Хотел этого автор или не хотел, но объективно из его повествования вытекает совершенно ложная мысль: не повседневная жизнь, работа, помощь товарищей, не внутренняя ответственность человека за самого себя, а вот такие эпизодические — раз в несколько лет — «встряски» способны правильно сформировать характер. Вряд ли стоит оговариваться, что при этом дружба перестает быть естественным человеческим чувством и, подвергаясь столь странной деформации, должна попросту исчезнуть.

Здесь хочется подчеркнуть еще вот какое обстоятельство: в том, с каким пристрастием Самохин разбирается в истории исключения из партии и ареста Мальцева, как резко обрывает Колесова, когда тот употребил по отношению к Мальцеву слово «взяли» («Взяли! — зло повторил Самохин. — Знакомый жаргончик. Еще не от-

вык?»), чувствуется, что для автора его герой — борец с пережитками культа личности, со всем тем «подленьким», что есть еще в людях. Но как он представляет себе эту борьбу? Чем-то старым веет от самих приемов, какими пользуется Самохин: многолетний слежка за Колесовым, сбор улик («Я встречался — и мне рассказывали. Я писал — и мне отвечали»), поездки «по следам» «друга».

Нетрудно себе представить, к чему привел бы «метод Самохина», если бы им стали пользоваться и другие. Люди стали бы следить друг за другом, через третьих лиц собирать компрометирующие «справки» и сведения. Что это, как не отголосок решительно отвергнутых партией методов прошлого, в принципе противоречащих всей природе социалистических общественных отношений?

Надо сказать, что и остальные члены «товарищества» на этом судилище оказались достойными партнерами Самохина. Никто из них, даже жена, десять лет как-то прожившая все-таки с Колесовым, ни на минуту не усомнились в правоте Самохина: «Меньшиков подвинулся ближе, стараясь не проронить ни слова. Люда слушала с откровенной враждебностью. В чужих, по-прежнему замороженных глазах Елены Колесов прочел только минутное холодное любопыт-

ство». И если они за что-то осуждают Самохина, то единственно за его поворот «на сто восемьдесят градусов», когда он из прокурора превратился в защитника.

Даже сам Колесов за все те острые ощущения, которые доставил ему Самохин, испытывает лишь чувство благодарности. «Такой уж человек Самохин, — примиренно подумал Колесов. — Прямолинейно живет, не сворачивая. И что-то роднит его с Ленкой, как часы одного завода. А ты сверяй свои по этим часам до конца жизни... Милый старик Самохин!»

Урок, как говорится, пошел впрок. Не хотел герой ехать на Сахалин, упрямылся, а после теплой товарищеской заботы пересмотрел свой взгляд и исправился. Завершает повесть мирный пейзаж: «и небо бездумно-голубое, и солнце бестревожно-яркое» (хотя, заметим попутно, всего лишь половина четвертого утра).

Думается, что вывод, который читатель может вынести из повести «Прошу встать», будет прямо противоположным тому, на который рассчитывал автор. Деятельность Самохина, насаждаемая им подозрительность в отношениях между людьми, — подозрительность, возводимая чуть ли не в степень нормы, вызывает никак не сочувствие, а решительное неприятие.

уфа. **В. БАРАНОВ.**

★

ЗРЕЛОСТЬ

Д. Самойлов. Второй перевал. Стихи. «Советский писатель». М. 1963. 123 стр.

Первая книга стихов Д. Самойлова, поэта, принадлежащего к поколению С. Гудзенко, А. Межирова, М. Луконина, вышла только в 1958 году.

И вот сейчас — вторая.

Внутренний рост поэта шел незаметно для глаз читателей. Он предстал уже сформировавшимся, со сложившейся, осознанной поэтической позицией.

Поэзия для Самойлова — это приобщение к тем ценностям, которые существовали задолго до него и которые каждому дано открывать для себя заново. Этой особенностью его поэтического мироощущения обусловлена и приверженность его к весьма определенной поэтике:

И понял я, что в мире нет
Затертых слов или явлений.

Их существо до самых недр
Взрывает потрясенный гений,
И ветер необыкновенней,
Когда он ветер, а не ветр.

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.

Не один Маяковский — многие поэты учились оттого, что слова «в привычку входят, ветшают, как платье». Каждый поэт на свой лад пытается вернуть потускневшим, стершимся словам их прежнюю силу и полновесность. Один придумывает совсем новые слова, другой ищет необычные сочетания, новые ритмы, необычные синтаксические и интонационные ходы. И вдруг:

«В мире нет затертых слов...», «Люблю обычные слова...»

Поэт, достигший поры духовной зрелости, не боится показаться «обыкновенным», он сознательно провозглашает свою связь с великой поэтической традицией:

Стих небогатый, суховатый,
Как будто посох суховатый.
Но в путь, которым я иду,
Он мне годится — для опоры
И на ботрастку песьей своры,
Для счета ритма на ходу.

Впрочем, этот «суховатый» и «небогатый» стих годится не только для опоры или для удара. Как показывает знакомство со стихами Д. Самойлова, он годится для выражения самых тонких душевных движений.

Вот очень короткое стихотворение Д. Самойлова, на мой взгляд — лучшее в его новом сборнике:

Я — маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещей Олег...»

Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке души.
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прощу.

Осеннюю мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над брэнностью мира
Я, маленький, глупый, больной.

Первая естественная реакция человека, прочитавшего эти строки: «Какое совпадение! И в моем детстве было что-то совсем такое же!» Но это не случайное совпадение. И дело даже не в том, что поэт Самойлов, сумевший так воскресить это давным-давно пережитое мгновенье, чем-то внутренне особенно близок вам.

Вероятно, каждому в детстве присуща эта особая впечатлительность, эта способность заплакать над гибелью вешего Олега, жившего в незапамятные времена, и через него с необыкновенной остротой и силой ощутить свою связь с миром, с людьми. С годами эта «детская» впечатлительность постепенно исчезает. И возникает трезвое, взрослое, отчужденное: «Что мне Гекуба?»

Поэт — это человек, впечатлительность которого не притупляется, которому есть дело и до Гекубы, и до вешего Олега. И может быть, назначение поэзии в том и состоит, чтобы каждому человеку вернуть

это нормальное, естественное и обостренно свежее восприятие мира.

Как подбирает лирическому поэту, Д. Самойлов говорит лишь о том, что прошло сквозь его сердце:

И это все в меня запало
И лишь потом во мне обчуждось...

Но интересно другое: что именно в него «запало»? И как «очуждось»?

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке
В своей замурванной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки...

Даже здесь, вспоминая свою военную юность, лирический герой Д. Самойлова привычно ощущает себя крошечной частичкой огромного целого. И свою личную судьбу, и судьбу своего поколения он не склонен считать особенной, неповторимой.

«Просторно. Холодно. Высоко...» Как назвать это чувство? Можно назвать его сознанием своей приобщенности к судьбе страны, к судьбе своего народа. А можно еще короче: чувством истории.

Не случайно историческая тема занимает центральное место в обеих книгах Д. Самойлова.

Вместе с тем у читателя, впервые соприкоснувшегося со стихами этого поэта, сразу же возникает ощущение их острой современности. Эти стихи трудно, даже невозможно представить себе напечатанными всего лишь десять лет назад.

Разумеется, то обстоятельство, что историческое произведение воспринимается как современное, не содержит в себе ничего парадоксального. Исторические романисты XX века (Фейхтвангер, да и мало ли кто еще) приучили нас чуть ли не в каждом историческом произведении видеть книгу о современности, хотя и построенную на материале другой эпохи.

Современность исторических стихов Д. Самойлова — совсем иного рода. Поэта интересует в первую очередь действительно история. История как таковая. Но его вос-

приятие истории, отношение к ней продиктовано отношением к современной действительности как к непосредственному продолжению исторического процесса.

Исторические события интересны поэту не потому, что они напоминают другие, современные ему события. Обращение к истории актуально не потому, что «история повторяется». Эти давние события интересны ему сами по себе, потому что они сыграли решающую роль в его судьбе, в значительной степени преопределили эту судьбу.

Я говорил о том, что стихи Д. Самойлова не могли бы появиться лет десять назад. Но ведь и десять и даже двадцать лет назад история России, царствование Ивана Грозного, Петр, Меншиков — все эти темы вовсе не были запретными. Скорее наоборот... Но вот как говорит о них поэт сегодня.

В стихотворении Д. Самойлова «Иван и холоп» (в книге 1958 года) самодержец управляет на дыбу безвестного Ваньку-холопа. Идет напряженный и страстный диалог-допрос. Царь спрашивает, холоп отвечает. Вернее, даже не отвечает, а соглашается:

— Думаешь, сладко ходить мне в царях.
Если повсюду враги да беда:
Турок и швед сторожат на морях.
С суши—ногаи, да ляж, да орда.
Мыслят сгубить православных христьян.
Русскую землю загнали бы в гроб!
Сладко ли мне? — вопрошает Иван.
— Горько тебе,— отвечает холоп.

Ивану ведомы, оказывается, не только государственные, не только свои заботы и печали. Сердце его не вовсе очерствело. Оказывается, ему доступно и то знание, о котором искони как о чем-то несбыточном говорят в народе: «Эх, кабы царь-батюшка да всю правду ведал...» Оказывается, он ведает ее. Но у него своя правда:

— Ты ли меня не ругал, не честил,
Врал за вином про лихие дела!
Я бы тебя, неразумный, простил,
Если б повадка другим не была!
Косточки хрустнут на дыбе, смутьян!
Криком Малюту не вгонишь в озноб!
Страшно тебе? — вопрошает Иван.
-- Страшно! — ему отвечает холоп.

И, уже не сомневаясь в своей правоте, в своем историческом праве отправлять на дыбу смутьянов, веря в неопровержимость своих доводов, Иван задает холопу последний вопрос:

— Ты милосердья, холоп, не проси.
Нет милосердных царей на Руси.
Русь — что корабль. Перед ней — океан.
Кормчий—гляди, чтоб корабль не потопил..
Правду ль реку? — вопрошает Иван.
— Бог разберет,— отвечает холоп.

Этот диалог воссоздан с умным, незаметным мастерством. Мы уже успеваем привыкнуть к тому, что холоп односложно соглашается с каждой тирадой царя. Именно поэтому последний, уклончивый его ответ («Бог разберет»), резко контрастируя с предыдущими, звучит особенно сильно. И мы всем сердцем чувствуем, что два эти коротких слова на каких-то незримых весах весят во всяком случае никак не меньше, нежели многословные доводы самодержца.

«Бог разберет» — это значит: у народа есть на этот счет свое, другое мнение. И, казалось бы, столь резонные и тоже по-своему выстраданные самооправдания монарха в тот миг становятся зыбкими: обнаруживается их ущербность, сомнительность...

Эта тема, как видно, издавна привлекающая Д. Самойлова, более развернуто разработана в исторической драме о князе Меншикове («Сухое пламя», драматические сцены), занимающей почти половину новой книги поэта.

Стремясь удержаться у кормила государственного корабля, дабы продолжить дело Петрова, Меншиков пытается выдать свою дочь Марию замуж за юного императора Петра Второго. Он велит дочери разлюбить — как будто это так просто! — прежнего жениха, за которого сам же ее прочил, и полюбить императора. Мария умоляет отпустить ее в монастырь, но Меншиков непреклонен. Не раздумывая, не колеблясь ни секунды, он готов счастье, судьбу, даже жизнь дочери принести в жертву — нет, не властолюбно своему — долгу, все той же государственной, исторической целесообразности, как он ее понимает.

Меншиков в пьесе Д. Самойлова похож на тот образ, который уже сложился в нашем восприятии. Тот самый, который называл Петра «мин херц», сильный, азартный, бесшабашный, обаятельный даже в своей жуликоватости, привлекающий своим жизнерадостнымalebейским юмором. Это он, только постаревший. Ставший опытнее, мудрее. Но теперь он уже не привлекает к себе. Наоборот, отталкивает. Вызывает открытую и непреодолимую антипатию.

Сюжет драмы Самойлова вскрывает тщетность усилий Меншикова, бесплодность и бессмысленность всех его жертв, всех этих сложных и хитроумных интриг. Выясняется, что жизнь дочери была загублена зря. Жертва оказалась напрасной. Напрасной не только потому, что задуманное не удалось. Хотя бы и удалось. Все равно. Это дела не меняет.

Драма завершается разговором ссыльно-го Меншикова с мужиком-плотником. Меншиков бьется, что без него погибнет дело Петрово. «Чего об деле горевать,— отвечает плотник.— Оно само пойдет, коль сделано толково...» А на жалобы князя, что забудется его роль в строительстве новой Руси, следует такое возражение:

Народ, он знает, кто чего построил.

Опальный князь, взбешенный, прогоняет мужика, остается один со своим горьким, отрезвляющим раздумьем:

Каков народ недобрый на Руси!
Недобрый ли?.. А что меня жалеть?
И я не жаловал.

(Задумывается.)
А может быть,

Прав этот плотник?

Проще всего было бы сделать вывод, что смысл обращения поэта Д. Самойлова к исторической теме сводится к тому, чтобы переосмыслить, «вывернуть наизнанку» те художественные образы, которые были традиционными для нашего искусства в прошлые времена. Получилась бы чрезвычайно простая и удобная формула: в годы культа личности многие историки, писатели, деятели театра и кино выступали в роли апологетов таких исторических личностей, как Иван Грозный, Малюта Скуратов, Петр Первый, Меншиков и т. п. Современность же и актуальность произведений Д. Самойлова состоит в том, что он развенчивает этих деятелей истории...

Такой взгляд на вещи при всей своей кажущейся правдоподобности был бы не только упрощенным, но и просто неверным. Не говоря уже о том, что такое «выворачивание наизнанку» традиционного образа не может быть задачей искусства, сущность взгляда на историю, характеризующего идеологию культа личности Сталина, состоит не только в преувеличении (или искажении) роли тех или иных исторических личностей.

Хуже другое. В сознание современников

внедрялось официально почтительное отношение ко всем без исключения «великим предкам». История превращалась в некий огромный иконостас, на котором мирно соседствовали, нимало не тяготясь парадоксальностью такого соседства, Иван Грозный и Степан Разин, Петр Первый и Иван Болотников, Суворов и Костюшко...

При таком взгляде на вещи безнадежно стиралась, нивелировалась, приводилась к некоему «общему знаменателю» не только народная, социальная оценка деятелей прошлого, но и живое, человеческое отношение к разным историческим фигурам и к различным сторонам облика одного и того же человека.

Вот этот мертвый, убивающий все живые оттенки, нивелирующий взгляд более, нежели что-либо иное, ненавистен Самойлову.

Очень красноречиво в этом смысле одно из лучших стихотворений новой книги поэта — «Дом-музей». К нему — два по-разному выразительных эпиграфа. Первый: «Потомков ропот восхищенный, Блаженной славы Парфенон! (Из старого поэта.)» И второй: «...производит глубокое.. (Из книги отзывов.)»

Стихотворение — подчеркнуто бесстрастный монолог экскурсовода, привычно демонстрирующего толпе равнодушных посетителей внешние атрибуты жизни какого-то старого поэта:

Заходите, пожалуйста. Это
Стол поэта. Кухетка поэта...

Это вот безымянный портрет.
Здесь поэту четырнадцать лет...

Этот тусклый, бесцветный голос обладает поистине магической силой. В противоположность дару царя Мидаса, прикосновение которого превращало все предметы в золото, этот голос обесценивает все, чего он касается, мгновенно убивая реальное содержание всех вещей и понятий. Этот голос обесцветывает мир. Не только потому, что лишает его красок, звуков, запахов. Происходит нечто более страшное: девальвация моральных ценностей.

Мы так и не узнаем, что за человек был этот старый поэт. Может быть, перед нами сложная эволюция человека, который некогда был другим, а потом изменился, приспособился к обстоятельствам и получил в награду за благоразумие медаль и лавровый венок. Может быть так, а может быть

иначе. Бесстрастный, неживой голос уравнивает, делает одинаково значащим все: оду «Долой» и «любимое блюдо», поэму «Ура!» и какие-то завитушки на рукописи, трусость и дерзость, подлость и благородство...

Лишь на мгновение в ледяное бесстрастие этого «путеводителя» ворвется лирический голос автора:

Кто узнает, чего он хотел,
Этот старый поэт, перед гробом!

Но «путеводитель» тотчас уверенно заглушит это неуместное проявление чувствительности:

Смерть поэта — последний раздел,
Не толпитесь перед гардеробом...

«Дерзай или припадай к стопам... Какая разница? Все равно — как ни живи, никто не узнает, каким ты был на самом деле, и все сведется к тому же: «Не толпитесь перед гардеробом...» — уверяет тусклый, бесцветный голос экскурсовода, ведущего нас по дому-музею.

«Неправда... Народ, он знает, кто чего построил...» — заглушает его живой голос поэта.

История — не «дом-музей» и не иконостас. Это дело. И оно будет продолжено, «коль сделано толково». Все му доброму всегда находятся наследники.

Они являются сами, потому что духовное наследие не признает официального «эввода в наследство», с неременным участием поверенных и нотариусов.

Даже не декларируя этого, Д. Самойлов всегда знает, какую поэтическую традицию считал бы он честью наследовать:

Рукоположения в поэты
Мы не знали. И старик Державин
Нас не заметил, не благословил.
В эту пору мы держали
Оборону под деревней Лодвой.
На земле холодной и болотной
С пулеметом я лежал своим.

Это не для самооправдания:
Мы в тот день ходили на заданье
И потом в блиндаж залезли спать.
А старик Державин, думая о смерти,
Ночь не спал и бормотал: «Вот черти!
Некому и лиру передать!»

Д. Самойлов, как и многие его сверстники, не знал «рукоположения в поэты». Но мнение о нем как об одном из заметных явлений в современной нашей поэзии не явится неожиданностью. Оно уже сложилось само собой, почти без участия критики. (Не было, кажется, даже «ругательных» статей, которые, как известно, более, чем всякие иные, способствуют распространению поэтической славы.)

Так или иначе, мнение это можно считать не только утвердившимся, но и вполне основательным.

Б. САРНОВ.

★

В ПЛАНЕ ЯЗЫКА И ПО ЛИНИИ АНАЛИЗА

Григорий Соловьев. Ответственность перед временем. Сборник критических статей. «Советская Россия». М. 1963. 364 стр.

Чехов получил однажды письмо от И. Островского, его одноклассника по таганрогской гимназии.

«Лучшие интеллигенты, читавшие Ваш последний рассказ, — писал И. Островский, имея в виду «Палату № 6», незадолго до этого опубликованную, — приветствуют в нем переход с Вашей стороны от пантеизма к антропоцентризму, если можно так выразиться. Не скрою от Вас, что я не меньше других радуюсь этому. По моему крайнему разумению все таланты и лучшие люди должны *vigibus unitis* [соединенными силами] парализовать те препятствия, которые стоят на пути решения насущных человеческих вопросов».

Эти ученые слова, наверно, не очень прились по душе Чехову. В письме к А. Суворину, упоминая об отзыве товарища по гимназии, он спрашивает: «Что значит антропоцентризм? Отродясь не слышал такого слова».

А самому И. Островскому Чехов ответил в своем обычном спокойном, приветливом тоне.

«Что же касается пантеизма, — говорится в его письме, — о котором Вы написали мне несколько хороших слов, то на это я Вам вот что скажу: выше лба глаза не растут, каждый пишет, как умеет. Рад бы в рай, да сил нет. Если бы качество литературной работы вполне зависело лишь от доброй

воли автора, то, верьте, мы считали бы хороших писателей десятками и сотнями. Дело не в пантеизме, а в размерах дарования».

Интересно сравнить стиль и тон обоих писем: старательно, даже вымученно серьезные, «под науку» слова и обороты: «переход с Вашей стороны от пантеизма к антропоцентризму, если можно так выразиться», и — простое, естественное чеховское: «Выше лба глаза не растут, каждый пишет, как умеет».

Мне часто вспоминаются эти два письма, когда заходит речь о языке критики.

Все выходят и выходят книги, где о писателе говорится в стиле вот такого «антропоцентризма», где живой язык вытесняется литературоведческим «канцеляритом» (пользуясь метким словом К. И. Чуковского).

И вот — новая книга, избранные статьи о литературе, больше всего о поэзии, Григория Соловьева. Сборнику предпослано известное стихотворение Николая Заболоцкого о языке поэзии. Оно кончается словами:

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Этот эпиграф, очевидно, должен играть роль камертона, по которому настраивается автор книги.

И вот, перелистывая страницы, читаем:

«Мы наличию этих стиливых оттенков уделяем серьезное внимание главным образом потому...»

«Поэт откликается на данные факты стилями, в которые стремится втиснуть противопоказанно большое количество деталей, связанных с нашими братскими отношениями».

«Но беда в том, что у талантливого автора уже укоренилась привычка облачать некоторые свои стихи в противоестественную им (?) тогу печали, нередко даже с трагическим нажимом».

«Но натянутость этого факта автор частично искупил разделами, появившимися в связи с ним».

Говоря о языке книги «Ответственность перед временем», не хочется прибегать к обидным словам вроде «сухой», «скучный», «суконный», «казенный» и т. п. Од-

но только можно сказать со всей прямоотой: это не «животворящий, полный разума русский язык». И автор не должен обижаться — каждый непредубежденный человек, прочитав книгу, с нами согласится.

Когда читаешь многие фразы, кажется, словам неудобно стоять, они мешают друг другу, у них неестественные позы и положения. Ну, в самом деле, разве не испытываете вы шемящее чувство жалости к ни в чем не повинному живому слову, когда встречаете такое, например, предложение:

«Смысл этого романа, видимо, состоит в том, чтобы еще раз напомнить пагубность для советского человека, несоответствия с его устремлениями тех норм и понятий, которые когда-то были господствующими».

Эту фразу решаешь как кроссворд. «Пагубность» — чего? Если «пагубность несоответствия», то почему между этими словами запятая? Может быть, опечатка? Впрочем, Гр. Соловьев пишет так, что все время чудятся опечатки.

Бедность — впрочем, скажем менее обидно — небогатость языка критика особенно наглядно проявляется в многократном повторении одних и тех же слов и выражений. Самая любимая его оценка: «неплохо».

«Неплохо выразил поэт старшего поколения» Светлов, «неплохо» пишет Иван Рядченко, «неплохое стихотворение» Долматовского, «неплохо» воспел романтику гражданской войны Осип Колычев, с острыми темами молодые поэты «справляются неплохо», некоторые образы в «Вислом камне» Е. Белянкина «неплохо намечены» и Е. Пермяк написал «Старую ведьму» тоже «в общем неплохо», как, впрочем, «неплох» и Баранов, его герой. Это роднит их обоих с романом Ф. Таурина «Гремящий порог», где «общая картина трудового напряжения неплохо изображена», а также с героем романа — «неплохо намеченный инженер Николай Звягин не оставил в памяти отчетливого следа».

Из эпитетов Гр. Соловьева отметим «определенный». К нему часто прибегает автор, когда хочет что-нибудь определить, не давая точного определения:

«Каждая из этих картин обогащает нас определенным... смыслом», у читателя вызываются «определенные представления и ощущения», «Лучшие стихи Кулемина не

ограничивают наши мысли и чувства определенными рамками», у Г. Мирзоева «каждая строчка дает определенное развитие лирическому сюжету», у В. Федорова «психологическое проникновение» сочетается с «определенной мыслью», героиня Н. Поляковой делает «определенный вклад в напряженную борьбу народа», А. Софронов — «поэт с определенным творческим обликом», роман В. Пановой вызвал у критика «определенные раздумья», но, к сожалению, ее «не упорядоченные записки» нуждаются в «определенной доработке».

Как видим, эпитет очень удобный. Нельзя, например, сказать: такой-то поэт с творческим обликом. Тут же спросят — а с каким? Но вполне можно заявить, что перед нами поэт с определенным творческим обликом или что требуется «определенная доработка». Сразу возникает видимость какой-то достоверности.

И еще одно наблюдение над языком Григория Соловьева. Он очень любит писать о «переливах» художественного произведения. Все время там что-нибудь переливается.

«Тревога первой части стихотворения переливается в качественно другую «энергию» во второй его половине»; у Н. Рыленкова — певца русской природы — «порою различные оттенки этой природы как бы механически переливаются в стихи поэта без «конструктивного» вмешательства его мысли»; в том же «Вислом камне» отношение героев, их борьба «все же не вылились в интересное и цельное художественное произведение»; многие редакции, печатая рассказы с «переживаниями» и «страданиями», не задумываются, «откуда они вытекают».

На фоне этих бесконечных переливов и переливаний нас уже не удивит такая характеристика лирической поэзии:

«Из какой частности вытечет ее первая струйка — зависит от индивидуальности автора, а вот во что она выльется — от степени его дарования». Или такой упрек Ваншенкину, автору поэмы «Сердце матери»: «Ни одну струйку нашей печали автор не заставляет перелиться в чувство, противостоящее всему тому, что порождает эти неплатные страдания матерей».

Но тут я слышу недовольный голос самого критика:

— Ну, допустим, есть какая-то недоработка в плане языка, в смысле стиля, отдельные огрехи, некоторые промахи

и т. д. и т. п. Но ведь в книге анализируется современная поэзия, да и проза. Можно ли ограничить рецензию одной только языковой стороной, важной, конечно, но не главной?

И невольно признаешь правоту рецензируемого автора. Довольно о языке. Распростимся с оценками типа «неплохо», с определениями вроде «определенный», со струйками и с переливами. Посмотрим, как разбирает автор поэтические произведения.

Прежде всего отметим, что он относится к литературному разбору очень серьезно. «При анализе лирических стихов,— напоминает он,— необходим определенный такт».

Особенно подробно анализирует он стихотворение Сергея Наровчатова, которое называет уже не просто «неплохим», а даже «хорошим». Это стихотворение, по мысли Гр. Соловьева, «являет собой пример интересного перерастания конкретного факта в символ, или, вернее, пример выражения общего в конкретном». Откровенно говоря, не совсем понятно, что имеет в виду автор. Очевидно, не совсем то, что он написал, потому что трудно представить себе стихи, которые не были бы «примером выражения общего в конкретном». Но не будем придираться — может быть, дальше, в самом процессе разбора, все прояснится.

«Попробуем и мы в своем анализе применить авторский творческий метод — на единичном раскрыть общее». Я думаю, что сам Сергей Наровчатов удивится, узнав, что ему принадлежит особый «творческий метод» раскрытия общего «на единичном». Самое таинственное здесь — в каком отношении находится этот особый метод к методу всех остальных мастеров поэзии? Но оставим эти недоумения и последуем за критиком.

«Прочитируем стихотворение полностью,— пишет он,— разобрав его более подробно и последовательно».

И приводится полный текст стихотворения «Солдаты свободы» — о том, как наша армия входит с боем в европейский город, как девушка, под ситцевым изодраным платком, босая, бежит по снегу навстречу к солдату.

— Как звать тебя, печальница моя?
— ЕВРОПА!

Гр. Соловьев приступает к «подробному и последовательному» анализу. Вот он:

«В начале стихотворения дается картина нынешней зарубежной обстановки (картина обстановки? — но довольно в самом деле придраться к языковым неточностям. Не в них суть.— З. П.), дается в конкретных, зримых и убедительных деталях. Эта картина является как бы обоснованием дальнейшего развития сюжета — возникновения главного образа в стихотворении. А он ярок и впечатляющ, этот лирический образ воина-освободителя. Вся линия этого славного воина показана в простой и реалистической обстановке (линия воина в обстановке — тоже не очень удачно, но мы набрались терпения.— З. П.). Мы словно видим его, идущего навстречу большому человеческому страданию. И опять же чужое горе представлено не общими рассуждениями, а наглядным образом — изможденной, с болью в бессонных глазах, девушкой. И вдруг эта конкретная трагическая картина взлетает до широкого и значительного по своему смыслу символа:

— Как звать тебя, печальница моя?
— ЕВРОПА!»

На этом анализ кончается, критик переходит к другому стихотворению, написанному «по тому же испытанному методу — от конкретного к общему: от конкретного Дня победы до общего предостережения врагов мира».

Вернее было бы сказать, что анализ и не начинался. Доказывать, что стихи написаны по «испытанному методу — от конкретного к общему», — значит ломиться в открытые, даже в настежь распахнутые двери. Да и сказать, что образ перерастает, что картина «взлетает до символа», — значит еще мало сказать о поэте, о стихотворении. Не очень много прибавят к нашему непосредственному читательскому восприятию определения вроде образ «яркий и впечатляющий».

А вот как анализируется стихотворение Н. Поляковой «На реке».

Пароход плывет по реке, распугивая утиные выводки. Птицы спасают своих детенышей от беды. Но одна только крикva —

Испуганно взвилась над нами,
Утят оставив на волне.
Замедлил пароход движение:
Ведь у птенцов защиты нет.
Почти что хором осужденье
Мы крикве посылали вслед.
Чтоб ей пропасть невзвидеть света...
И мы заметили не вдруг:

Одна из женщин. слыша это,
Глазами выдала испуг...

Григорию Соловьеву нравится это стихотворение, он хвалит Н. Полякову за то, как она «естественным художественным путем» «прививает нам свои ощущения и взгляды». Приведя стихи, он переходит к раскрытию замысла. Это уже не рассказ поэта о крикве, но, так сказать, осмысленная критиком, обобщенная крикva, перерастающая в раздумье о жизни.

«Последние строки, — пишет Гр. Соловьев по поводу стихотворения «На реке», — относящие нас к области человеческой нравственности, сразу оживляют и активизируют наше внимание, превращают нас из сторонних наблюдателей в пристрастных судей. В отношении природы люди еще способны сохранять некое элегическое спокойствие, а вот там, где дело касается норм и законов нашего бытия, они не могут оставаться лишь созерцателями».

Теперь несколько проясняется, что же подразумевает критик под анализом. Это для него такое извлечение общего из частного, при котором от частного ничего не остается. Так и здесь: в приведенной характеристике уже нет ничего живого и конкретного, ни реки, ни криквы, одни только общие слова. Да и те неточные: почему «в отношении природы» люди сохраняют элегическое спокойствие? Ведь в стихотворении, наоборот, пассажиры «почти что хором» посылали вслед крикве свое осуждение.

Нет, пользуясь словарем автора, можно сказать, что «по линии анализа» в рецензируемой книге дело обстоит примерно так же, как и «в плане языка».

Остается сказать еще об одной особенности книги. Автор обращается с поэтами, как в песне сама судьба с человеком: «То вознесет его высоко, то бросит в бездну без стыда».

О поэте Николае Заболоцком, чьи стихи поставлены горжественным эпитафием, Гр. Соловьев пишет чуть ли не как о начинающем. с какой-то обидной снисходительностью: «У поэта Николая Заболоцкого излюбленное аллегорическое оружие нередко, к сожалению, палит волостью (даже не стреляет, а палит совсем плохо.— З. П.). Но порою ему удается (в общем, поэт не без надежный, какие-то просветы есть.— З. П.) и на этой аллегорической основе создать довольно действенную поэтическую картину».

Порадуемся за покойного поэта (о котором почему-то говорится, как о непосредственно работающем сейчас) и перейдем к Вере Инбер. С ней все гораздо сложнее. Она, оказывается, написала «мягкохребетное» стихотворение о Петре Первом. Зря, конечно. «Многое в этой петровской истории, как говорится, на своем месте,— объясняет поэтессе критик.— И незачем ее тормозить (историю.— З. П.) без достаточных данных, пытаюсь что-либо здесь восполнить, прояснить, обосновать». В итоге— неудача, в которой целиком повинен автор: «Не напряг своих интеллектуальных усилий в той мере, в какой этого требовала затронутая им (Верой Инбер.— З. П.) большая тема».

В общем, критик поставил перед поэтессой очень сложную задачу: с одной стороны, надо напрячь интеллектуальные силы, с другой — напрягая, не «тормозить» историю, не пытаться что-либо «восполнить, прояснить, обосновать». Задача трудная, но вполне по плечу опытному мастеру стиха.

Еще тяжелее положение М. Алигер. Вера Инбер хоть написала «мягкохребетное» произведение, а вот у М. Алигер мысль вовсе остается «бесформенной». «Перед читателем остаются лишь одни неорганизованные, беспредметные рассуждения автора (цикл «Ленинские горы».— З. П.), не скрепленные каким-либо единым образом, не ограниченные таким же единым и завершенным действием». Да еще столько «навалено всякой всячины, что становится уже и непонятно, что здесь делается и для чего все это делается».

Плохо, конечно, но не будем жалеть М. Алигер. У Веры Пановой дела еще хуже. В основе недостатков «Сентиментального романа» лежит «не художественная тактика автора, а скорее его беспомощность (!), собственное неведение, как развить ту или иную ситуацию, куда направить того или иного героя». Бедная В. Панова! Видимо, придется ей начинать с азов. Да и К. Паустовскому гоже не мешает подучиться писать. Вдобавок ко всем своим просчетам он в «Золотой розе» вздумал еще решать вопросы эстетики — «о сущности искусства, роли художественного воображения, значении интуиции и художественной ассоциации, о призвании писателя».

А все это, по мнению Гр. Соловьева, так же не надо «тормозить», как и «петровскую историю». И так все ясно.

Гр. Соловьев уверен: «В общетеоретическом плане все эти вопросы давно уже решены, например у Чернышевского в «Эстетических отношениях». Речь могла бы идти лишь о творческом преломлении их в каких-то новых конкретных условиях. Иначе ничего не добавишь к уже известному. А, чего доброго, еще и наведешь тень на ясный день...»

В общем, все уже решено за нас, больше ни о чем беспокоиться не надо, остается только «творчески преломлять» уже известное. И хватит!

Но Гр. Соловьев не только строг. Он бывает и груб. Говоря о парижском мусорщике (он собирает крупинки золота, чтобы выковать золотую розу), критик считает возможным так сказать о К. Паустовском: «И картина мусора, в котором копаются Шамет, как-то невольно ассоциируется с тем источником, из которого черпает свой материал писатель...» Многозначительное отточие дает понять, что и это еще не все, и только хорошее воспитание мешает критику добавить еще что-нибудь покрепче и похлеще.

На этом можно было бы поставить точку. Но не хочется расставаться с Гр. Соловьевым в таком невыигрышном для него месте, как сказал поэт — «в минуту злую для него».

Чтобы рецензия не казалась оборванной — поищем для нее подходящую концовку. Впрочем, искать не надо — воспользуемся концовкой одной из глав книги Гр. Соловьева.

«Да, нужно творить! — восклицает он. — И не следует бояться этого громкого, но действенного слова. А если уж бояться, то скорее таких пассивных определений, как «отображать», «писать» и т. п. Короче говоря, всего того, что уже в самом своем названии предполагает нетворческое отношение к поэтическому делу».

Итак, прощаясь с критиком, мы под конец узнаем, что «писать» — значит находиться в некоем пассивном и нетворческом состоянии.

Что это — загадка? Не знаем. Но кажется, загадка эта помогает многое разгадать в книге «Ответственность перед временем», составить о ней — пользуясь любимым словом автора — определенное мнение.

3. ПАПЕРНЫЙ.

ПИСАТЕЛЬ И ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

Леонид Волынский. Зеленое дерево жизни. «Юность», № 1, 2, 1964.

Леонид Волынский. Лицо времени. Книга о русских художниках.

Детгиз. М. 1962. 224 стр.

Леонид Волынский. Семь дней. Повесть. Детгиз. М. 1958. 160 стр.

История искусства — наука синтетическая. Для нее необходимы широкие познания, четкая методология. Вместе с тем она требует от ученого своеобразного литературного дарования. Я говорю сейчас не о том, что книги и статьи, написанные живым языком, читать неизмеримо интереснее, чем монотонные сочинения, изобилующие канцеляризмами. Это очевидно, но тут еще нет никакой специфики. Образность при обращении к явлениям искусства оказывается необходимой в самом ходе постижения истины, ее раскрытия, определения, доказательства.

Словом, существует перекресток, на котором встречаются историк искусства и писатель. Однако дальше они идут каждый своим путем. Как бы блистательно ни была написана работа искусствоведа, она имеет сугубо специальное назначение. Искусствовед, в какой-то мере пользуясь образностью, все же прежде всего стремится создать последовательную и доказательную концепцию творчества мастера.

А для писателя, коль скоро он обращается к материалу истории искусства, исследования ученых служат лишь подспорьем, но уж во всяком случае не примером для подражания.

Бывает, однако, что писатель принимает за своего рода переложение материалов истории искусства беллетристическими средствами. Чаще всего в сочинениях подобного рода «дней минувших анекдоты» перемежаются с прочувствованным изложением сюжетов прославленных полотен. Для тех, кто не в состоянии самостоятельно сообразить, куда, к кому и зачем возвращается блудный сын в картине Рембрандта, кого именно не ждали в репинском полотне и какие фрукты запечатлены в натюрморте Кончаловского, подобные книги могут оказаться в известной мере полезными.

Куда более сложную задачу ставит перед собой писатель, когда он пытается постичь и воссоздать современное восприятие памятников искусства прошлого, подчеркнуть в них то, что особенно дорого людям наших дней. Тут его преимуществом является не только «хороший слог», занятость рассказа

и т. д., но и возможность таких образных связей с картинами и скульптурами, таких перелетов из эпохи в эпоху, какие мыслимы только в рамках художественной литературы.

В этом могут убедить, в частности, работы Леонида Волынского, вот уже много лет пишущего на темы изобразительного искусства. Его перу принадлежит книга о русских художниках XIX века («Лицо времени»), биографический очерк о Ван-Гоге («Дом на солнцепеке»), только что опубликованная «Юностью» повесть об импрессионистах («Зеленое дерево жизни»), путевые заметки «Краски Закавказья», где разговор идет преимущественно на темы искусства («Новый мир», № 9, 10, 1963).

Вся эта серия была открыта чрезвычайно своеобразной книгой Волынского «Семь дней», давно уже завоевавшей популярность и даже экранизированной. Я не берусь определить ее жанр, ибо она в своем роде необычна и ни с чем не соседствует. Автор выступает тут не только как комментатор истории искусства, но и как непосредственный ее участник. Рассказ о великих художниках и их знаменитых творениях переплетен в книге с повествованием о событии поистине историческом: спасении сокровищ Дрезденской галереи советскими войсками. Л. Волынский знает об этом событии не из вторых рук: он входил в группу наших офицеров и бойцов, которым удалось разыскать и вернуть человечеству бесценные картины старых мастеров, запрятанные и заминированные фашистами в старой каменоломне, на чердаке башни древнего замка, в подвале арсенала крепости Кенгштейн, в известняковой шахте Покау-Ленгефельд... Авторская интонация в рассказе о незабываемых семи днях поисков и находок спокойна и сдержанна, но тут и не было нужды «нажимать педаль»: события, о которых идет речь, сами по себе так удивительны, что книга от первых до последних страниц держит читателя в напряжении, заставляя заново пережить тревоги и радости этой памятной весенней недели 1945 года.

Становясь участником необычной экскурсии по Дрезденской галерее, когда ее со-

кровища в буквальном смысле слова возникают из-под земли, читатель, конечно, с особой жадностью и восторгом вглядывается в каждую картину, отвоеванную у небытия. И вполне оправданно и закономерно, что, переходя к непосредственному разговору о дрезденских картинах, Л. Вольнский стремится не столько к строго объективной, тщательно выверенной во всех своих деталях исторической оценке, сколько к остроте и силе живого, «сегодняшнего» восприятия старинных шедевров.

Такое восприятие бывает неожиданным, иногда оно опрокидывает более или менее устоявшееся отношение к мастерам прошлых веков и их работам.

К примеру, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, пережив период всеобщего поклонения в XIX веке, постепенно стала как-то отходить в тень, обретая репутацию чисто академического идеала. Историки искусства говорили о ней с некоторым холодком, а то и вовсе «с почтением проходили мимо».

Но подобный скептицизм был жестоко посрамлен тысячами людей, с ночи стоявших в очереди у московского музея имени Пушкина, где на время расположилась экспозиция дрезденских картин. Зрители входили в сердечный контакт с великой картиной, постигая ее глубочайшую, возвышенную человечность. Л. Вольнский стремится проникнуть в суть этого общения между современным человеком и образом, взлелеянным эпохой Возрождения.

Так и в других частях книги автор добивается «эффекта присутствия», входит в мир картин, раздвигая рамки времени, перешагивая через ту полосу отчуждения, которая обычно пролегает между зрителем наших дней и произведениями прошлых веков. Идет ли речь о «Девушке с письмом» Вермеера Дельфтского — «мы будто переносимся в опрятный, тихий Дельфт с его размеренно текущей жизнью... и в тишине ошутимей становится беззвучный бег времени»; о «Менинах» Веласкеса — «вы уже позабыли, что находитесь перед картиной, вы сами вошли в этот зал, где рядом с художником, озаренная светом, льющемся из невидимого окна, стоит золотоволосая инфанта Маргарита...» и т. д.

Конечно, у такого приема, при всей его несомненной привлекательности и остроте воздействия на читателя, есть и свои теневые стороны: опасность модернизации в трактовке картин, субъективного своеволия

впечатлений. Сомнительно, например, что у папы Иннокентия X на знаменитом портрете Веласкеса «рот убийцы». Явно неподав звучит утверждение, будто Лиотар нашел для изображения «миловидного лица» Шоколадницы «лучшие, светозарные краски»: лицо девушки на этой картине матовое, фарфоровое, застывшее, оно не озаряет светом, а лишь еле мерцает в спокойном сиянии дня.

Можно было бы пожелать и большей строгости в отборе и изложении разного рода исторических сведений. Иногда они подобраны несколько случайно, иногда и вовсе неверны. Например, Л. Вольнский так рассказывает о судьбе картины Рембрандта «Заговор Цивилиса», которую художник выполнил в 1661 году для амстердамской ратуши и вскоре получил обратно для переделки, поскольку она не соответствовала вкусам отцов города: «Несмотря на крайнюю нужду, гордость не позволила Рембрандту требовать деньги за отвергнутую работу. И тогда голландские шейлоки вырезали в пользу кредиторов четвертую часть из огромного полотна!»

На самом деле деньги за «Заговор Цивилиса» Рембрандт получил. Он отказался переделывать картину — это верно, но платить гульден за свою принципиальность ему на этот раз не пришлось. А центральная часть композиции была вырезана самим Рембрандтом, который, несколько обработав ее, вновь продал как новую картину. На одном из кусков холста, оставшегося от первоначального варианта «Заговора Цивилиса», художник написал своих знаменитых «Синдиков».

Я говорил, что Л. Вольнский стремится взглянуть «свежими современными глазами» на произведения художников прошлых веков. Эту цель он преследует и в книге о русском изобразительном искусстве XIX века «Лицо времени».

По-моему, чтобы успешно достигнуть названной цели, литератору, кроме писательского мастерства, необходимо особое умение видеть. Надо опасаться как смертного греха перенесения чисто литературных мерок на живопись с ее специфическими законами построения образа. Мне могут заметить, что такое качество в одинаковой мере нужно и для верных суждений о современном изобразительном искусстве. Совершенно согласен. Но только «в историческом разрезе» становится особо очевидной вся нелепость при-

вычки «читать» картины как газетные фельетоны.

«Лицо времени» Л. Волинского в основном отвечает этому требованию. Умению видеть посвящена даже отдельная глава, как бы, вынесенная за скобки повествования. Не понятно, правда, почему тезис «живопись учит нас видеть» в книге о русском искусстве развивается на материале произведений Мазаччо, Тициана и только под конец — Сурикова. Но зато в самом ходе разговора о русской школе живописи прошлого столетия автор многократно и в самой различной связи обращается к зрительной структуре работ отечественных мастеров, к глубокому, разностороннему сопряжению «художественного языка» картин и их образного содержания, идейного смысла.

«Лицо времени» задумано как мозаика, состоящая из фрагментарных заметок об отдельных художниках, картинах, проблемах. Писатель не только не обязывает себя держаться хронологической последовательности изложения, но даже как бы восстает против нее, считая, очевидно, что она сковывает возможности живой, свободной беседы. Возможно, в этом есть свой резон, но тогда на смену канве дат должен прийти какой-то иной стержень повествования. Он есть, например, в первой главе, где все так или иначе связано с Академией художеств и ее воздействием на судьбы русского искусства. Но я не могу понять, почему, скажем, в седьмой главе подряд расположились разделы «Художник и зритель», «Об искусстве видега», а затем рассказ о картинах В. Максимова и Г. Мясоедова, которые во всяком случае не принадлежат к лучшим шедеврам русского живописного мастерства. Столь же неясно, какие причины побудили автора вместить в одной и той же (пятой) главе очерки деятельности собирателя Третьякова, критика Стасова, мецената Мамонтова, затем пробежку по истории русского портрета, творческую биографию Крамского и, наконец, небольшой этюд о женских образах в русской живописи. Если «историзм восприятия» более или менее сохраняется в пределах каждой отдельной темы, то последовательность их расположения (или, точнее, отсутствие логичной последовательности) приводит к тому, что читатель теряет ощущение исторической перспективы.

Быть может, впрочем, то, что искусствовед, в силу своих неистребимых привычек,

сердито оценивает как ереш, писатель считает вполне допустимым, естественным и привлекательным. В самом деле, разве обязательно, придя в Третьяковскую галерею или Русский музей, начинать с осмотра икон и кончать знакомством с картинами последних лет? Можно ведь и по-другому — побродить без определенного маршрута, задержаться у любимых вещей, миновать другие, поспорить, помянуть. Зрители чаще всего именно так и поступают. И уходят из музеев с чувством доброй усталости, свободного и радостного приобщения к искусству.

«Лицо времени» Волинского напоминает такую вот вольную прогулку по градам и весям русского искусства прошлого века.

Как любая значительная тема времени требует для своего воплощения определенных выразительных средств, гочно найденного образного, эмоционального строя, так и литературный рассказ о художнике должен обладать каким-то внутренним родством между самим характером, «музыкой» писательского стиля и жизненным творческим обликом героя повествования. Можно вспомнить великолепные образцы такого гармонического содружества. Например, блистательный этюд Эмиля Верхарна о Рембрандте. Или очерк К. Паустовского о Левитане, где словесные краски ошутимо близки той живописи, о которой рассказывают.

А вот интонация, взятая «не в том ключе», может существенно помешать делу. Именно это, как мне кажется, произошло в книге Л. Волинского «Дом на солнцепеке». Несомненно, это добротная, интересная книга, стоявшая автору большого труда. Ее страницы написаны с искренней любовью к Ван-Гогю. Но камерный, спокойный стиль книги резко не соответствует колоссальному, обжигающему напряжению жизни и творчества Ван-Гога, одного из самых трагических и самых человеческих художников нового времени. Пастелью не изобразишь бурю. А Ван-Гог — это именно буря, крик, смятение чувств, высочайший накал страстей.

А вот последняя книга Л. Волинского «Зеленое дерево жизни», главы из которой опубликованы в 1-м и 2-м номерах «Юности» за 1964 год, представляется мне удачей, причем удачей принципиальной. Ее основ-

ная причина не в каких-то стилевых новшествах и открытиях — книга написана в достаточной мере живо и образно, но в общем-то вполне традиционна по своим литературным качествам. Главная ценность повести заключена, по-моему, в том, что автор широко и подробно говорит о приемах построения образа в упоминаемых картинах, об оригинальных, характерных особенностях их художественного «языка». Без этого суждения о живописи, очевидно, не могут получить настоящей убедительности.

В «Зеленом дереве жизни» эти качества особенно ценны и необходимы. Ведь в этой книге речь идет об импрессионистах, о которых до сих пор не утихают споры. Значение импрессионистов, как явствует из книги Л. Волинского, заключалось не только в «революции цвета», в разработке нового метода живописной техники, но и в том, чему эта техника служила. А назначение этой техники было в том, чтобы показать красоту зримого мира, преобразующую силу солнечного света, прекрасное в повседневном. Философия радостного, чистого, здорового жизнеутверждения, провозглашенная нищими, затравленными художниками, была брошена ими как вызов холодному, расчетливому прозаизму буржуазного мещанства, его пошлости, лицемерию, слюнявому любованию тошнотворной, салонной. «красивостью».

Книга Л. Волинского хорошо, со спокойной, выношенной убежденностью рассказывает обо всем этом.

Прочитав подряд все то, что Волинский написал об искусстве, я пришел к убеждению, что наибольшей свободы, органичности он достигает в жанре очерковых заметок. Именно тут обретает ничем не ущемленное полноправное личное писательское взгляд на вещи. Сегодняшние события, наблюдения, заметы сердца вступают в живую перекличку с образами далеких времен, с размышлениями о путях и перепутьях гворческого гения человека. Стыки и сцеления между дневниковыми замечками современника и материалом искусства оказываются тут порой неожиданными и даже причудливыми. Но они не кажутся надуманными. Складывающийся в ходе доверительного, откровенного разговора угол зрения на памятники искусства представляется читателю убедительным, близким, понятным и принципиальным.

Я говорю сейчас не только и не столько о верном выборе жанра, отвечающего особенностям дарования автора. Если взгляд на прошлое освещен пламенем страстей сегодняшнего дня, жадной, ищущей мыслью современника, оно никогда не превратится в мертвую грудку бездыханных фактов и дат.

А. КАМЕНСКИЙ.

★

«ПИШУЩИЙ ПРАВДУ...»

Бертольт Брехт. Трехгрошовый роман. Перевод с немецкого В. Стенича. Гослитиздат. М.— Л. 1962. 400 стр.

За тридцать лет, прошедших со времени создания «Трехгрошового романа», книга Бертольта Брехта не успела стать бесспорной и не утратила способности вызывать изумление и даже «эпатировать». О вещах, ей подобных, принято писать, что они «стоят особняком», «занимают особое место». Исключителен брехтовский способ видения человека: из него в равной степени вытекают и убедительность романа, состоящая в обаянии «нагой истины», и противоречивость его.

Роман написан Брехтом в том же 1934 году, что и статья «Пять трудностей пишущего правду», явившаяся в эту пору и исповедью, и программой писателя, и луч-

шим предисловием или комментарием к его «Трехгрошовому роману»

«Пишущий правду отвергает любую ложь». В этой мысли, высказанной слогом древних поучений,— категоричность, мужество, ясность, глубина и суровость, которые соотносят величие всем без исключения брехтовским притчам. Беспредметной и безопасной полуправде общих слов, отвлеченных жалоб на испорченность мира и торжество грубой силы Брехт противопоставляет «правду сухих чисел, правду фактов, правду, которую нелегко найти, правду, требующую упорного изучения». «Во времена жесточайшего гнета больше всего говорят о высоких материях. Нужно

обладать мужеством, чтобы в подобные времена под неумолчные крикливые призывы к самопожертвованию, в котором якобы заключается весь смысл жизни, говорить о таких мелочах, как хлеб насущный и жилище труженика». Он рекомендует писать «население» вместо «народ», «землевание» вместо «земля», «повиновение» вместо «дисциплина», чтобы очистить эти понятия от демагогической и мистической шелухи, чтобы выяснить их отношение к вопросу «о хлебе насущном и жилище труженика». В «Делах господина Юлия Цезаря» он упрекает историков: «Что они знают об игре на понижение?.. Почему хранят родословные книги и не хранят приходо-расходных книг?» Таков же запал «Трехгрошового романа»: «Учебников истории и биографий нам мало! Где платежные ведомости?»

«Трехгрошовый роман» — роман «платежных ведомостей». От первоначального сюжета — сюжета брехтовской, же «Трехгрошовой оперы» (заимствованного у английского сатирика XVIII века Гея) — в нем мало что осталось. Комический смысл «Оперы» заключается в сопоставлении и сближении мира грабителей, воров, убийц, нищих и прочих люмпенов с миром добропорядочных буржуа. Брехт смеется здесь над пристрастием зрителя-мещанина к разбойничьей романтике — над пристрастием, основывающемся на заблуждении: «разбойник — не буржуа», и берется доказать обратное: «буржуа — разбойник». Но эта параллель еще кажется ему самому в достаточной степени парадоксальной, он наслаждается ею, многократно обыгрывает ее, с полным основанием рассчитывая на взрывы хохота в зрительном зале.

«Компания «Ковры Востока», — констатирует шеф полиции Браун, бросив взгляд на краденые вещи. «Да, мы обычно берем оттуда», — небрежно замечает в ответ грабитель Мэк с достоинством почтенного клиента названной фирмы. Полли горячо вталкивает родителям преимущества своего брака с Мэком: «Он прекрасный взломщик, кроме того, он опытный и дальновидный грабитель». Эти фантастичные кальки с обычных доводов и стереотипов поведения, как и вся атмосфера комической оперы, завершающейся появлением королевского вестника на белом коне, — водевильно-условны, почти сказочны. Когда Мэк журит своих бандитов: «Каннибалы вы, а не де-

ловые люди», — нам смешно, потому что они и в самом деле «каннибалы». В «Трехгрошовом романе» нет «каннибалов», там действуют только «деловые люди».

Самое определение трехгрошовой переосмыслено в сравнении с названием оперы. Раньше это был всего лишь намек на популярность, массовость, демократичность предлагаемого зрелища. Этот эпитет приглашал, зазывал, обещал полезное и приятное времяпрепровождение. В названии романа этот оттенок сохранился, но пресловутые «три гроша» перестали быть метафорой и приобрели зловещую экономическую реальность. Именно они приводят в действие общественный механизм, управляют поступками всех персонажей романа — от «акуд» Пичема и Мэххита до инвалида Фьюкумби. Буржуа возмущаются непатриотичным поведением рабочих: ведь они в тяжелое для «нации» время бастуют из-за каких-то двух-трех пенни прибавки, которые все равно существенно не изменят их бюджета. Запутавшись в собственной казуптике, те же буржуа устами адвоката Уолли проговариваются, что существующее положение вещей способно вынудить представителя низших классов на убийство из-за двух-трех пенни. Через несколько страниц выясняется, что Пичемы и Уолли меряют «представителей низших классов» собственной меркой: Пичем мечтает выколотить «из этих людей» посредством страхования два-три лишних пенни. Оказывается, что «три гроша» — это не только достаточный, но и единственный повод для интриг, махинаций, столкновения интересов, борьбы, убийства. «Суть дела» может быть вычитана только из платежных ведомостей и приходо-расходных книг.

Традиционный сюжет «Трехгрошовой оперы» — история женитьбы главаря воровской шайки Мэххита на дочери короля лондонских нищих Пичема — здесь, на страницах романа, совершенно растворяется в описании спекуляции Пичема судами и борьбы Мэххита — владельца «дешевых лавок» — против конкурентов. Эти коммерческие операции, разъясненные читателю с чрезвычайной добросовестностью, даже с демонстративным педантизмом, не имеют прямого отношения к экстравагантным профессиям обоих героев дна; все это мог бы предпринять и осуществить с помощью тех же средств, по возможности — легальных, а в случае необходимости — уголовных, любой

толковый делец. Убийство розничной торговки Мэри Суэйер совершает не Мэки-Нож, а Мэххит-коммерсант, действовавший в данном случае совершенно легально. С точки зрения законов своего общества он не виновен в гибели этой владелицы «д-лавки», ведь он ее только разорил.

В качестве специалиста-грабителя Мэххит бездарен, его «героическое» прошлое — не более чем фальшивая легенда, сентиментальный эпизод вроде тех, которые измышляются сочинителями хрестоматий специально для «утепления» биографий великих людей. Мэххит всегда был «организатором», живущим эксплуатацией своих служащих. Он предприниматель, коммерсант — и только. В романе у него есть дублер — маклер Кокс, еще более отвратительное, грязное и жестокое создание, чья деятельность и чей выбор партнеров никак не связаны с уголовным миром. Поведение и житейские мнения обоих дельцов абсолютно тождественны. Недаром Брехт передал Коксу никогда не снимаемые перчатки — знаменитый атрибут Мэки-Ножа «Трехгрошовой оперы».

Самое удивительное заключается в том, что чтение «платежных ведомостей» оказывается в высшей степени увлекательным занятием. Брехт, которого Л. Фейхтвангер упрекал в неумении совладать с мотивировкой простенькой фавулы и именно на этом основании называл его «посредственным писателем» (хотя и «великим поэтом»), — рекомендует себя в «Трехгрошовом романе» как мастер интриги. Нам не скучно вникать во все детали этого отнюдь не джентльменского состязания компаньонов и конкурентов, следить за всеми уловками и увертками подлости и наглого бесстыдства, жадности и страха, уразумевать, каким образом видимая игра якобы стихийных сил вызывается к жизни вполне сознательными закулисными махинациями. Наслаждение, испытываемое читателем романа, тем поразительнее, что он, читатель, не получает ни малейшего «допинга» в виде извечных эмоций сочувствия или возмущения. В соответствии со своим методом «эпического отчуждения» Брехт не стремится произвести впечатление излишне пылким негодованием. Самый гнев можно добыть из его романа только вместе с «правдой сухих чисел» — путем рассудочного и внимательного сопоставления фактов.

Что же побуждает нас с таким добровольным напряжением и с такой заинтере-

сованностью следить за разворотом всех этих многоступенчатых спекуляций, за этой «игрой на понижение», до сих пор, по словам Брехта, не приковывавшей внимания историков, биографов и романистов? Исключительная достоверность, с какою выписан весь этот коммерческий аспект «Трехгрошового романа». Брехт, мастер притчи, мастер условных ситуаций, умеющий сообщать им необыкновенную поэзию, здесь отказывается от малейшей условности. Стоило бы нам на секунду ощутить нечто буффорское в описании деловых операций этих «акул Сити» — и пропал бы наш интерес к запутанным обстоятельствам, которыми занято брехтовское следствие, поскольку эти описания, заполняющие большую часть страниц романа, носят в достаточной мере самодовлеющий, безразличный к индивидуальным нравам и страстям характер.

Но писатель берется извлечь на свет божий «суть дела» не в искусственных, лабораторных, буффонных условиях, а на реальной житейской почве. Ему вполне удается убедить нас, что несколько сомнительные и не вполне обычные предприятия Пичема и Мэххита, служащими которых являются нищие и грабители, могут процветать не только на страницах сатирического романа, но и в реальности. Он объясняет детали постановки дела, подавляет нас обилием экономических и организационных подробностей; кажется, что эта книга действительно родилась из знакомства с секретной коммерческой документацией.

Таков «экономический базис» романа — внушительный и непреложный, как ведомость или накладная, логичный, как учебник статистики или бухгалтерского учета, конкретное приложение политико-экономического учения, объясняющего, откуда берутся прибыли хозяев жизни и почему нишают «низшие классы». Но есть в романе и «надстройка», и в ней-то заключен его уникальный художественный секрет.

Все эти дельцы уголовного и полууголовного толка комментируют свои поступки в пространственных монологах. Большая часть их выделена курсивом — он играет здесь примерно ту же роль, что «песенный», золотистый свет», который Брехт рекомендовал включать на сцене во время исполнения «зонгов» в его пьесах. Курсив как бы изымает эти речи персонажей из конкретной ситуации, придает им характер «вставных номеров», исполненных обобщающего смыс-

ла. Роман расслаивается: если по отношению к «экономическому основанию» его Брехт выступает как аккуратнейший протоколист, то в сфере духовной «настройки» он отказывается от неповторимости, единичности каждого размышления или реплики — отказывается от главнейшего приема, на котором держится иллюзия правдоподобия, отказывается от самой этой иллюзии. Его персонажи действуют, «как в жизни», а говорят, «как в газете». Они не размышляют, а демонстрируют образ мыслей своей социальной группы. Они исповедуются в своей лжи. Вся брехтовская стихия пародии перекочевала из их действий в их речи. Вот выступление Мэххита перед владельцами «дешевых лавок» — один из самых блестящих образцов идеологической пародии:

«Представитель масс, средний человек — это звучит не очень почетно. Господа, это величайшее заблуждение! Именно масса решает все. Делец, который свысока смотрит на грош, на заработанный потом и кровью грош рабочего человека, совершает тяжкую ошибку. Этот грош несколько не хуже любых других денег... Вот в чем заключается идея д-лавок. И эта идея д-лавок, ваша идея, одержала полную победу над могущественным концерном Аарона с его десятками крупных предприятий... Среди вас есть маловеры — где их нет, этих нытиков и критиканов? Они будут говорить втихомолку: чего ради могущественный концерн Аарона будет сотрудничать с нами, мелкими людишками? На это мы должны ответить прямо: разумеется, не ради прекрасных глаз д-лавок. Куда мы ни взглянем, в природе ничто не совершается без материального интереса! Там, где один говорит другому: «Я к тебе хорошо отношусь, давай вместе и т. д.», — там надо держать ухо востро! Ибо люди — всего только люди, а не ангелы, и они, разумеется, прежде всего заботятся о собственном благе. Из человеколюбия никто ничего не делает! Сильный порабощает слабого, и в нашей совместной работе с концерном Аарона возникает тот же вопрос: дружба — дружбой, но кто из нас сильнее? Стало быть, борьба? Да, господа, борьба! Но борьба мирная! Борьба во имя идеи! Здравомыслящий делец не боится борьбы. Ее боится только слабый, который будет раздавлен колесом истории! И поэтому я тоже принял решение отдать все мои силы вам

и д-лавкам — не из материальных побуждений, но оттого, что я верю в идею, и оттого, что я знаю: самостоятельная розничная торговля есть нерв всей торговли и, кроме того, золотое дно!»¹

Брехт обладает драгоценным умением изобличить внутреннюю алогичность всякой демагогии. Мэххит жлет увлеченно и потому забалтывается, раскрывая свои карты: льстит «массе» — и тут же проговаривается о причинах, побуждающих его к лести (из массы можно выколотить массу денег), исповедуется в своем заветнейшем убеждении относительно вездесущности материального интереса — и торопится заверить слушателей в собственном бескорыстии, призывает к самопожертвованию — и в то же время соблазняет золотым дном. Брехт сводит воедино наиболее популярные пропагандистские штампы владык мира и показывает, что в освещении здравого разума они выглядят набором своскорыстных несовместимостей.

«Трехгрошовый роман» пересыпан речами такого рода, причем внутренние монологи действующих лиц столь же «курсивны», сколько высказывания «на публику», — они тоже передают не мысли персонажей как таковые, а образ мыслей. Очевидным становится, что Брехт склонен анализировать психологическую механику, детально рассматривать стереотипы побуждений.

Женщина, вынужденная продать свою крошечную лавку, после совершения сделки с торжеством демонстрирует ни в чем не виноватый перед нею, но — естественное дело — ненавистным новым владельцам кроное пятно на стене, прежде замаскированное шкафом; Фьюкумби, употребивший свою деревянную ногу в качестве орудия убийства, бормочет: «Проклятая нога!» — при воспоминании о том, как трудно было отстегнуть деревяшку — никакие другие мысли в этот роковой момент не посетили его (а может быть, посетили, но его бедный рассудок не был в состоянии их оформить); Мэххит занимается интимным «самоанализом»: «Было бы в корне неправильно спрашивать себя, женью ли я на девушке ради ее денег или ради нее самой. Эти две причины часто совпадают. Не многие качества девицы вызывают в мужчине такое плотское возбуж-

¹ Разрядки Брехта.

дение, как ее богатство», — все это перво-классные находки, свидетельствующие о глубокомысленном остроумии Брехта, но при этом обладающие особой психологической природой. Вместо характеров по существу — сгустки социальных рефлексивных ответов на «раздражение среды», на обстоятельства. Нет сомнений, что, поменяв жизнь местами продавцов и покупателей злосчастного помещения с пятном на стене, между ними разыгралась бы та же сцена, жестко предопределенная печальным сходством их материального положения. Единообразна «механика» вождения Кокса и Мэххита к телу Полли Пичем и ее деньгам. И на месте Фьюкумби любой из тех, «у кого нет фунта», пробормотал бы ту же потрясающую жалобу: «Проклятая нога!»

Даже лицо персонажа, внешний его вид «отчуждаются» от своего владельца и предстают как непосредственная функция обстоятельств. Наружность Пичема, замечает Брехт, «не была, так сказать, окончательной». «Это был маленький, тощий, невзрачного вида человек», однако «если бы дело приняло неблагоприятный для маленьких, тощих, невзрачного вида людей оборот, то господин Пичем, без сомнения, серьезно задумался бы, как ему превратиться в упитанного оптимиста среднего роста. Дело в том, что малый рост, худоба и невзрачность были с его стороны как бы нащупываемой почвой, своего рода обязательным предложением, которое в любой момент могло бы быть взято назад».

Итак, Брехт уверенно пронизывает туман всевозможных обманов и самообманов и поражает нас истинным знанием самомаleastших человеческих побуждений. Но здесь мы наталкиваемся на противоречие в концепции книги — на противоречие между логикой выводов Брехта и его интуитивным, сердечным противлением этой логике.

«Трехгрошовый роман» — энциклопедия разоблаченной лжи. Как только брехтовские буржуа намереваются погреть руки у камелька какой-нибудь старой или новой доктрины, он хватается за эти нечистые руки и выволакивает на судилище здравого рассудка. Изречения «античных философов», Карлейля, Киплинга («Большой умирает, здоровый борется») в устах низкопробных дельцов лишаются рокового романтико-философского ореола и становятся выражением голого экономического интереса, не брезгующего никакой профашистской

уголовщиной. Брехт утверждает, что буржуа вынужден противоречить самому себе и аристраиваться к хвосту полярных теорий, потому что больше всего на свете боится, что разоблачат истинное основание его поступков.

Среди концепций, маскирующих могущество платежных ведомостей, есть две, на которые писатель обрушивается с особенной яростью. Это, во-первых, мнение о стихийности и неизбежности роковых катастроф, пронесшихся над головами «маленьких людей» («мир несчастен так же, как дерево зелено»), и, во-вторых, ссылки на низость человеческой природы (единственное и сокровеннейшее убеждение Пичема — уверенность в людской подлости). Эти два буржуазных догмата являлись, по мнению Брехта, лучшим и незаменимым средством замутить воду, чтобы безнаказанно улизнуть от людского суда с богатым уловом в кармане.

Мы жаждем ближнего прижать к устам,
но обстоятельства мешают нам! —

такова любимая ария брехтовских буржуа. Они распевают ее преимущественно в свое оправдание, не забывая присовокупить: что поделаешь, так уж устроен человек — сначала хлеб, а нравственность потом! Брехт не признает за этими афоризмами достоинства абсолютной истины, он не хочет с ними мириться: обстоятельства формируются людьми и ими изменяются; те, кто создает невыносимые обстоятельства, и те, кто их терпит, — виноваты.

И, однако, не случайно, что в романе нет ни одного персонажа, который отступил бы от sacramentalной формулы о хлебе и нравственности; не случайно, что такое лицо ощущалось бы в нем как лишнее, насильно присочиненное. Здесь нужна вера в возможное исключение из правил «психологической статистики», в выпадение из стереотипа, в индивидуальный прорыв порочного круга обстоятельств. В «правде сухих чисел» Брехт — автор «Трехгрошового романа» — не находит оснований для такой возможности. Оттого-то, всею своею интуицией гуманиста противясь буржуазной клевете на человека, с жестоким аналитическим комизмом обнажая ее непривлекательный корыстный источник, Брехт не в силах решительно разомкнуть кольцо этой — внешне весьма логичной — клеветы. Своеобразный, экономически детерминированный пси-

все участвующих кризисных спадов в их развитии.

И более того. Эти бесплодные жертвы своим напряжением даже повышают неустойчивость беспланового хозяйства США. Утроение военных расходов привело лишь к хроническим дефицитам в бюджете, росту государственного долга и обложения все более широких кругов трудящихся. Но вся сумма этих налогов составляет прямой вычет из покупательной способности населения на внутреннем рынке страны. А это тормозит и рост производства во всех отраслях, обслуживающих этот рынок. Сокращаются вместе с тем и капитальные вложения в американскую промышленность. И если еще в предкризисном 1957 году они достигли (включая вложения в газ и электроэнергетику) 23,4 миллиарда долларов, то за все последующие пять лет они еще ни разу не поднимались до этой цифры. Они и в «подъемном» 1962 году не превышали 21,2 миллиарда со снижением на 2,2 миллиарда, или 9,4 процента, против докризисной нормы. А в то же время занятость всей рабочей силы в США за последние пять лет после 1957 года, вопреки рецептам Кейнса, не поспевала даже за ростом всего населения страны, упав с 37,8 до 35,7 процента его итога в 1962 году, то есть с сокращением до трех с лишним миллионов работников по нормам «занятости» 1957 года.

Тем более бурный рост в США наблюдался в области вложений за счет бюджета в военное строительство — с 14,1 до 17,8 миллиарда долларов: на 3,7 миллиарда за те же пять лет. Росли, конечно, и прибыли фабрикантов оружия. Но растут вместе с тем и менее приятные последствия безрезультатной гонки вооружений. Так, например, растут предательские дефициты в государственном бюджете США — от 1224 миллионов долларов избытка в 1959—1960 годах до 6200 миллионов дефицита в 1962—1963 годах, причем уже запланирован дефицит в 12 миллиардов долларов на 1963—1964 годы. Этому содействуют и хроническая дефицитность их по платежному балансу с другими странами, и все возрастающий государственный долг, подымавшийся с 1950 года за десять лет с 281,5 миллиарда до 356,3 миллиарда долларов. А в связи с этим возрастает и угрожающая американской валюте утечка золота из США. С конца 1951 до 1963 года золотые банковские запасы США сократились уже с

22,7 до 15,7 миллиарда долларов — на 7 миллиардов, или на 31 процент. А между тем только краткосрочная внешняя задолженность США в 1962 году достигала 25 миллиардов долларов, значительно превышая их «свободный» золотой запас, который, за вычетом около 12 миллиардов в обеспечение по закону внутреннего денежного обращения, не превышает уже 3 миллиардов долларов. И тем более шаткими становятся судьбы этого золотого доллара на мировом рынке.

Утечка золота из США в обмен на бумажную валюту в долларах, однако, означает не что иное, как падение реальной покупательной силы этой валюты. Это подтверждается и непрерывным ростом товарных цен, несмотря на рост производительности труда в стране. Оптовые цены в США поднялись с 1950 года за двенадцать лет на 17 процентов, а розничные — даже на 25 процентов. И это, подобно всякому иному обесценению денежной валюты, наносит наиболее тяжелые удары тем, кто живет на зарплату. А там, где, как в США, растущая дороговизна жизни усугубляется ростом налогов на зарплату, эти удары особенно чувствительны. Но все большим испытаниям наряду с городским пролетариатом подвергаются здесь судьбы и якобы самостоятельных фермеров в сельском хозяйстве. В результате аграрного кризиса перепроизводства, все заметнее перерастающего платежеспособный спрос населения, даже в богатейших районах на Западе США темпы разорения мелких фермерских хозяйств становятся рекордными. Разоряются и собственники ферм, и их арендаторы. И если число их за 1944—1949 годы сократилось за пять лет на 477 тысяч, на 8,1 процента, то за 1949—1954 годы оно сократилось еще на 600 тысяч, то есть уже на 11,1 процента, и за 1954—1959 годы — на 1078 тысяч, или на 22,5 процента. Все же население уцелевших ферм за 1945—1960 годы сократилось с 25,3 до 20,5 миллиона душ, а к 1962 году оно не достигало уже и 15 миллионов душ.

Мудрено ли, что при столь неумеренно расгулей пролетаризации мелких фермеров в США наблюдается и угрожающий рост армии безработных, и обострение всех классовых противоречий? Отметим лишь, что резервная армия безработных в США, которая еще в 1945 году по официальным данным составляла всего около миллиона полностью безработных, в 1962 насчитывала

их уже свыше четырех миллионов, а с учетом частичной безработицы в переводе на полную — не менее 5,3 миллиона безработных, то есть от 7 до 8 процентов всей рабочей силы в стране. Вместе с тем растет и число забастовок за последние годы, все чаще в них предъявляются и политические требования, велико и число теряемых в течение этих забастовок рабочих дней. В частности, в 1961 году эти потери достигали 16,3 и в 1962 — 19 миллионов человеко-дней. И не приходится удивляться заявлению самого президента США о том, что «это крайне тревожная статистика»!

Не блистали особым оптимизмом и следующие строки из послания покойного президента Кеннеди конгрессу в январе 1963 года: «Слишком много рабочих остается без работы, слишком много машин бездействует, слишком много продукции не реализуется, поскольку экономика отстает от своего потенциала». США — это самый мощный форпост в системе стран капитализма. Но и они, как видим, томясь в клубке нарастающих экономических противоречий, уже осознают свое бессилие использовать разумно свои производительные силы. Их экономика уже не справляется с ними, устает и отстает от своего потенциала. В этом и обнаруживается основной порок такой капиталистической экономики и неизбежность ее вытеснения и замены более разумной и прогрессивной экономической системой.

Явления подобной же застойной «усталости» дают себя знать и в Англии. Падает ее доля в промышленном производстве не только всего мира, но и в итоге одних лишь стран капитализма — с 14,8 до 8,8 процента только с 1938 по 1962 год. И здесь растут вооружения, но уже замедляется рост капиталовложений: за 1960 год прирост их составил 10,2 процента, за 1961 — 7,2 процента, а за 1962 даже получилось снижение их на 2 процента. Замедляются и темпы роста продукции: с приростом за 1960 год — на 6,7 процента, за 1961 — на 2 процента и за 1962 — всего на 1 процент. И это при прямом снижении занятости в материальном производстве за те же два года на 109 тысяч, при возрастании полностью безработных — на те же 109 тысяч при общем их итоге свыше 500 тысяч и росте числа забастовщиков с 818 тысяч до 4421 тысячи, более чем в пять раз. Не следует удивляться, что и английские экономисты в марте 1963 года

вслед за Джоном Кеннеди вынуждены были признать, что и в Англии «разрыв между фактическим производством и его потенциальными возможностями расширяется внушающим тревогу образом». Как видно, и здесь уже идеологи буржуазии чувствуют свое бессилие разумно управлять и рационально использовать свои потенциальные возможности.

Конечно, эти возможности стран империализма все еще огромны. Но они все хуже используются. И даже в тех из них, какие еще недавно развивались быстрее других, наблюдается резкое замедление в темпах роста. Так, например, ежегодные приросты промышленной продукции с 1960 по 1962 год упали за два года в Италии с 15,4 до 9,9 процента, в ФРГ с 11,3 до 4,8 процента, во Франции с 9 до 6 процентов, а в среднем по всей Западной Европе — с 9,5 до 4,1 процента, то есть более чем вдвое. Наиболее высокие темпы роста (по странам капитализма) в 1962 году были достигнуты в Японии. Но зато они упали здесь за те же два года с 25,8 до 8 процентов, то есть уже не вдвое, а раза в три с лишним. А в общем по всем странам капитализма, кроме США, этот показатель упал с 5,5 до 4,2 процента за один лишь 1962 год. Однако в странах капитализма, подверженных периодически кризисным потрясениям, итоги развития всего за два-три года еще недостаточно показательны. Если же взять средние приросты промышленной продукции за целое десятилетие, то окажется, что за 1952—1962 годы этот показатель в среднем по всем странам капитализма не превышал и 5 процентов с тенденцией к снижению его за последние пять лет. В то же время по США он был не выше 3,5 процента, а в Англии не достигал даже 3,2 процента в среднем за целое десятилетие.

Вместе с тем по всем странам империализма, хотя и в разных масштабах, продолжается все более расточительная гонка вооружений, и «замедление частных капиталовложений», и «усиление конкуренции на мировом рынке», и рост дороговизны, и подъем забастовочного движения. И если в 1961 году в этих странах участвовало в забастовках до 53 миллионов рабочих, то в 1962 году их учтено уже не менее 60 миллионов, в том числе в политических забастовках против монополий приняло участие в 1961 году 30—33 миллиона, а в 1962 году до 40 миллионов трудящихся. Наряду с

этим растет многомиллионная армия безработных в городах и разоренных фермеров в селениях. А в общем, несмотря на явное перепроизводство хлеба в богатейших из стран капитала, в настоящее время, по данным международной организации ФАО, в капиталистическом мире голодают 600 миллионов человек, а число страдающих от хронического недоедания, по тем же данным, в двое превышает эту цифру! К этому можно еще добавить, что, по данным другой международной организации здравоохранения, в том же мире насчитывается 400 миллионов человек больных трахомой, 380 миллионов больных малярией и еще 300 миллионов — другими болезнями бескультурья, о которых у нас даже и не слыхивали (филяриозы, фрамбезия и прочие).

Таковы только некоторые итоги и плоды того мира эксплуатации и нищеты, который столь бесстыдно именуется «свободным».

В мире социализма, как всем известно, давно уже нет ни кризисов, ни безработицы. Нет в нем и самой буржуазии с ее мощными монополиями, в борьбе с которыми за хлеб насущный расходует напрасно столько своих сил рабочий класс стран империализма. Народы социалистического мира еще не богаты, но им уже не угрожает голод. Да и о таких изжитых следствиях нищеты, грязи и бескультурья, как массовые заболевания трахомой или малярией, здесь уже едва помнят. Но главным их достижением является обеспеченный труд и, в условиях мира, самые высокие темпы экономического и культурного роста. Вот почему именно здесь, в этих странах, мы находим наиболее последовательных борцов за мир во всем мире и всеобщее разоружение. А в мирном соревновании двух экономических систем видим наиболее верный путь к решению важнейшей проблемы наших дней: какая же из этих двух систем бескровно завоеует своими преимуществами весь мир?

Что же говорят нам об этом соревновании конкретные факты и беспристрастные цифры?

Одним из наиболее ярких фактов этого века является прямой распад капиталистической системы, теряющей ежегодно десятки своих бывших колоний и протекторатов, большинство которых, получив независимость, образует уже новый, антиколониальный, а стало быть, и антиимпериалистический лагерь, а ряд из них уже вступил на путь плановой экономики некапитали-

стического развития. Напомним здесь, кстати, и такую статистику. «Если первоначальными участниками ООН в 1945 году были 51 государство, то сейчас в Организации Объединенных Наций — 113 членов. За это время более чем в два раза увеличилось число социалистических государств — членов ООН, в два с половиной раза (с 10 до 24) возросло в ООН число азиатских государств и в одиннадцать раз (с 3 до 34) — число государств Африки». При этом в ООН из 113 мест не более 34 принадлежит блоку держав империализма, и не менее 53 — «нейтралистам» из бывших колоний Азии и Африки. Показательно, однако, что на последней сессии ООН из этих «нейтралистов» за восстановление прав Китая голосовало уже 25 государств, а в поддержку блока империалистов — не более 23 держав.

Не менее показательны и другие цифры. И прежде всего такие. Если по национальному доходу США ежегодный прирост за последние десять лет едва достигал 2,7 процента, то в СССР за те же 1952—1962 годы он превысил 9 процентов, то есть был в три с лишним раза выше. По продукции промышленности средний прирост в США за те же годы не превышал 3,5 процента, а в СССР достигал 10,8 процента и, возрастая такими темпами, поднялся с 1950 по 1962 год уже с 30 до 63 процентов американского уровня. В 1963 году этот уровень в СССР достиг уже 65 процентов американского. И при тех же темпах роста опередить этот американский уровень. А в мировом соревновании всех стран социализма с лагерем капитализма наиболее показательны такие цифры. По данным ЦСУ, за последние десять лет, с 1952 года, ежегодный прирост промышленной продукции в странах капитализма не превышал 5 процентов, а в странах социализма он достигал 11,5 процента. И в результате такого расхождения в темпах роста доля стран социализма в мировой продукции с 1937 года поднялась примерно с 10 до 37 процентов. При этом из остальных 63 процентов всей индустриальной продукции мира в 1962 году на долю всего лагеря держав империализма, включая Северную Америку, Западную Европу и Японию, приходилось не свыше 56 процентов мирового ее итога. И, стало быть, по сравнению с этим итогом продукция стран социализма уже достигла не менее двух третей

производства ($37:56 = 0,66$) всего означенного идеями гонки вооружений блока империалистов.

Но в условиях, когда сама перспектива войны является уже страшной термоядерной угрозой всем агрессорам, а единственным от нее спасением — всеобщее разоружение, безудержная гонка вооружений становится все более бесцельной и бесперспективной. Она способна лишь затормозить темпы роста той экономики, из которой черпает свои ресурсы. А между тем эти темпы и без того незавидны. Гонка вооружений граничит с безумием, ибо кует оружие, которое не сможет использовать. Но и независимо от этой гонки капитализм в

сопереживании с социализмом и коммунизмом уже изрядно исчерпал свои былые возможности. А перспективы коммунизма с каждым новым достижением в дальнейших наших планах хозяйственного развития разворачиваются все шире и величественнее. И, как показали последние Пленумы ЦК нашей партии, даже частные неудачи — скажем, пониженные урожаи без удобрений — толкают нас лишь к новым, еще более глубоким плановым замыслам и свершениям на поприще химизации, на фронтах науки и техники.

И само время вместе с нами работает на коммунизм.

Академик С. Г. СТРУМИЛИН.



МОГУЧИЙ ФАКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГРЕССА

И. И. С и г о в. Разделение труда в сельском хозяйстве при переходе к коммунизму. Экономиздат. М. 1963. 263 стр.

Кому в тридцатые годы довелось близко наблюдать жизнь деревни, тот видел, как с преобразованием мелкого индивидуального хозяйства в крупное коллективное начиналось разделение крестьянского труда. И с какими нелегкими переживаниями было оно порой связано, какой переворот совершало в сознании людей! Забыть разве колхозного конюха тех лет, который кормил «своего» коня лучше других, или же сеяльщика, который на своем бывшем наделе высевал полуторную норму семян?

Для сельского хозяйства дореволюционной России было характерно не разделение труда в прямом понимании этого слова, а скорее разделение капитала, вернее, его приложения. Какой-нибудь предприимчивыйделец приходил вдруг к заключению, что в том или ином месте выгодно заняться сахароварением или маслоделанием, и строил завод. Окрестные хозяйства вынуждены были приспособляться к заводу: становились производителями сырья для него. В самом крестьянском хозяйстве никакого разделения труда не происходило. Как и прежде, крестьянин все продолжал делать сам с той лишь разницей, что раньше он большую часть земли занимал, скажем, овсом, а с пуском сахарного завода стал засевать свеклой или же содержал прежде по преимуществу мясной скот, а с появлением маслозавода брал ориентацию на молочный.

В советское время, и особенно когда вернулась коллективизация, в сельском хозяйстве, как в промышленности, в противовес былой стихийности стало утверждаться плановое начало, исходящее из общенародных интересов размещение производительных сил.

Известно, какое большое значение имели эти знаменательные процессы для победы социализма. Велика их роль в увеличении продуктивности сельского хозяйства, в стирании существенных различий между промышленным и сельскохозяйственным трудом, между городом и деревней. В разделении труда, специализации сельскохозяйственного производства гаятся несметные резервы его дальнейшего подъема.

Все это представляет громадный интерес, притом не только научный, но и практический. Впрочем, в наше время и сама наука стала важнейшей производительной силой; теория и практика неотделимы.

Ныне общепризнано, что научно обоснованное разделение труда, разумное размещение производства и рациональная его специализация — могучие рычаги сельскохозяйственного прогресса. И чтобы заключающиеся в них гигантские потенциальные возможности оказались наиболее действенными, надо, чтобы суть дела ясно представили себе все, кто имеет то или иное отношение к колхозно-совхозному производству. Все — от руководителей произ-

водственных управлений, совхозов, колхозов, создателей сельскохозяйственной техники до рядовых сельских тружеников, рабочих заводов сельскохозяйственного машиностроения и химической промышленности.

Вот почему особое значение приобретает квалифицированная и доступная широким массам трактовка вопросов разделения труда в сельском хозяйстве. Нельзя, однако, сказать, что наша политико-экономическая и сельскохозяйственная литература богата такого рода изданиями. К сожалению, их очень мало. С надеждой на то, что обстоятельная работа на эту тему наконец появилась, я взял в руки книгу И. И. Сигова «Разделение труда в сельском хозяйстве при переходе к коммунизму». Ожидания оправдались. Книга хорошая, хотя и не лишена недостатков.

В кратком введении совершенно правильно подчеркивается, что проблема научной организации разделения труда в сельском хозяйстве обширна и многообразна. «Задача автора,— пишет И. Сигов,— показать роль разделения труда в коммунистическом преобразовании сельскохозяйственного производства, объективные взаимосвязи разделения труда с производительными силами и формами собственности, основные тенденции развития разделения труда в сельском хозяйстве».

Надо отдать ему справедливость — все эти вопросы получили в книге довольно подробное и квалифицированное освещение. Автор кропотливо собрал, умело систематизировал и проанализировал богатый материал.

Книга содержательна. Автор достаточно конкретен и не злоупотребляет общими рассуждениями. Логичны и убедительны полемические страницы с его критическими замечаниями по поводу спорных высказываний наших и зарубежных экономистов. Привлекают внимание также отдельные частности, на первый взгляд как бы и не имеющие прямого отношения к теме. Кому, скажем, не любопытно узнать, что час труда в производстве минеральных удобрений экономит двадцать пять часов труда в сельском хозяйстве или что тонна синтетического волокна высвобождает почти полторы тонны хлопка и натуральной шерсти?

Центральное место — больше четверти всего объема книги — справедливо отве-

дено проблемам и практике рациональной специализации сельскохозяйственных предприятий — важнейшему виду разделения труда в сельском хозяйстве. Опыт лучших зарубежных хозяйств, достижения наших передовых совхозов и колхозов — нагляднейшее свидетельство того, что специализация — это могучий фактор интенсификации сельского хозяйства. Коммунистическая партия заслуженно отводит ей важное место в борьбе за изобилие. «Мы живем в век специализации,— говорил Н. С. Хрушев на декабрьском (1959 г.) Пленуме ЦК КПСС.— Надо специализировать хозяйство».

Рецензируемая книга вводит читателя в курс того, что у нас в этом направлении уже сделано, дает представление о том, что еще предстоит предпринять в интересах дальнейшей специализации сельскохозяйственного производства. Заключительный раздел посвящен проблеме органического сочетания промышленности и сельского хозяйства. Путь к решению этой проблемы лежит, как известно из Программы КПСС, через постепенное складывание, в меру экономической целесообразности, аграрно-промышленных объединений, в которых сельское хозяйство сочетается с промышленной переработкой его продукции.

Знакомя читателя с принципами организации и практической деятельностью югославских аграрно-промышленных комбинатов «Братство-Единство» и «Беле», автор книги высказывает заслуживающую внимания мысль: «...Организация и необходимая поддержка хотя бы нескольких аграрно-индустриальных объединений в порядке экономического эксперимента позволила бы... в полной мере выявить их сильные и слабые стороны и облегчила бы задачу органического сочетания промышленности и сельского хозяйства на современном этапе».

Таковы в общих чертах достоинства книги. Однако не все в ней гладко. Нет-нет да попадаются места, вызывающие досаду, недоумение. Так, на странице 28 автор пишет: «Положение резко изменилось лишь после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС... В 1960 г. по сравнению с 1953 г. почти в 2 раза увеличилось производство минеральных удобрений в стране, значительно возросли энергетические мощности сельскохозяйственных предприятий. Это не замедлило сказаться на сельскохозяйственном производстве. В 1960 г. валово-

вая продукция сельского хозяйства составила по сравнению с 1949—1953 гг. 163%, а товарная — 183%».

В данном случае цифры и факты бесцеремонно приспособлены к ходу авторских рассуждений. В самом деле: как можно достигнутый после 1953 года рост продукции сельского хозяйства приписывать только удвоению производства минеральных удобрений и увеличению энергетики совхозов и колхозов? А повышение заготовительных и закупочных цен на сельскохозяйственные продукты? А новый порядок планирования? А освоение целинных и залежных земель? А реорганизация МТС?

Касаясь преимуществ аграрно-индустриальных объединений, автор на странице 259 говорит, что комбинирование будет способствовать, в частности, переходу на поточную технологию производства в растениеводстве с переносом ряда операций послеуборочной обработки продукции с поля на стационарные пункты хозяйств или на приемные сырьевые пункты предприятий перерабатывающей промышленности. С этим «предвидением» автор книги определенно запоздал. То, о чем он пишет как о будущем, уже не первый год широко практикуется во многих районах страны, и думается, следовало бы вникнуть в опыт таких производственных управлений.

Чересчур сух, а порой просто труден язык книги. С самого начала читатель спо-

тыкается на стилистике. Вот первая фраза первой главы: «Выявление значения рациональной организации разделения труда в коммунистическом преобразовании сельского хозяйства предполагает прежде всего определение сущности разделения труда, его видов и места в системе общественного производства». Таких неуклюжих фраз в книге немало, вряд ли стоит воспроизводить их, но нельзя не заметить, что они серьезно снижают практическую ценность большой и нужной работы.

У нас, к слову сказать, почему-то утвердилось кое у кого неверное представление, будто есть два разных языка: научный и обиходный. Такое противопоставление родилось в ту пору, когда наука глухой стеной была отгорожена от нужд и чаяний народа, но его нельзя сохранять в нашем обществе, где устремления науки и народа едины. Почему же научные работы столь часто яшутся у нас на каком-то волапюке, а не на нормальном, общепонятном языке?

В заключительной фразе введения автор книги выражает надежду, что сделанные им «обобщения и выводы в какой-то мере помогут работникам сельского хозяйства в решении стоящих перед ними больших задач». Эта мера была бы, несомненно, большей, если бы автор написал свой труд простым, доходчивым, живым языком.

Дм. РУДЬ.

★

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВОЕЙ НАУКЕ

Макс Борн. Физика в жизни моего поколения. Сборник статей. Под общей редакцией и с послесловием С. Г. Суворова. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 535 стр.

Физики не пишут мемуаров. Ни у кого не хватает времени, бросив работу и уловившись летописцу, в тихом кабинете спокойно описать прожитые годы. Почему это происходит — объяснить трудно; но как бы то ни было, мир физики описан только в романах и показан в кинофильмах, которые сами физики читают и смотрят, как правило, с большим удивлением.

Физики старшего поколения могут много рассказать о героических днях революции науки, в которой им посчастливилось участвовать. Книга одного из крупнейших физиков мира — Макса Борна — убедительный пример этого. Перед нами не воспоминания,

а сборник статей, написанных в разные годы. В этих статьях Макс Борн подводил итоги развития физики и давал интересную и глубокую оценку достигнутых результатов, в то время когда их значение еще не было достаточно оценено. Статьи, написанные в самый разгар событий, возрождают сейчас увлекательную историю физики двадцатого века.

Макс Борн родился в 1882 году. В то время, когда он поступал в университет, появилась формула Планка — официальная дата рождения квантовой механики. Когда Борн кончал свое образование, Эйнштейн опубликовал (в 1905 году) работы по тео-

идеи броуновского движения, по теории фотоэффекта, по теории относительности. Молодой Борн активно воспринимал новые идеи, много думал над ними. Не случайно, что сразу же, как его ученик Вернер Гейзенберг сделал свою первую работу по квантовой механике, именно Борн указал тот математический аппарат, который явился основой новой науки. А ведь в то время для большинства физиков мира идеи Гейзенберга были чуждыми.

Это произошло в начале двадцатых годов в университетском городе Геттингене, где Борн к этому времени уже был профессором. Геттингену суждено было стать колыбелью новой науки. Он же стал примером того, что могут сделать с наукой ее враги. В 1933 году нацисты разогнали большую часть профессоров (в том числе был изгнан и Борн), и Геттинген практически перестал надолго существовать.

Годы изгнания Бори прожил в Англии (в Кэмбридже и Эдинбурге) и лишь после войны вернулся на родину.

Всю свою жизнь Макс Борн работал в разных областях атомной физики. Самой крупной его идеей было выяснение статистического смысла предсказаний квантовой механики. Естественно, что и в своих статьях он отводит большое место именно статистике.

Взгляды Борна очень ясно сформулированы в его докладе «Статистическая интерпретация квантовой механики», прочитанном 11 декабря 1954 года при получении Нобелевской премии по физике. Интересна по форме и глубока по содержанию полемическая статья «Интерпретация квантовой механики», написанная в ответ на выступление автора волновой формы современной квантовой механики Эрвина Шредингера, который не мог принять полностью идеи Борна. Полемика между различными взглядами на квантовую механику составляет наиболее ценную часть сборника.

Много страниц посвящает Борн Альберту Эйнштейну. Создатель теории относительности был (кстати, это известно не столь широко) одним из авторов квантовых идей. Воспитанный, однако, на трудах физиков девятнадцатого века, Эйнштейн до конца своих дней верил в возможность классического построения науки, считая вероятностные идеи признаком ее слабости и незавершенности.

Увлекательные страницы посвящает Борн Генриху Минковскому (Г. Минковский родился в 1864 году в Минской губернии, учился и жил в Германии и Польше. Умер в 1909 году), идеи которого о связи геометрии и теории относительности составляют важную часть современного здания теории относительности. К сожалению, Борн, как многие физики, не отмечает великого русского геометра Николая Лобачевского, значение работ которого еще не оценено полностью даже сейчас.

Борн не проходит мимо общественных событий. В статье «Развитие и сущность атомного века» изложены взгляды автора, остро переживающего опасные стороны прогресса науки. Эти взгляды подробно анализируются в интересной статье С. Г. Суворова, которой заканчивается сборник.

Развитие физики дало человечеству неисчерпаемые источники энергии. Но этих источников энергии достаточно и для того, чтобы уничтожить человечество. Такой итог развития неизбежен — он не есть результат безответственной деятельности физиков-атомников. Борн призывает осознать серьезность положения и положить конец войне. Этой благородной цели он отдал много сил. Борн цитирует Бертрانا Рассела: «...Неужели какая-то раса настолько лишена мудрости, настолько слепа даже к самым простым предписаниям самосохранения, что последним доказательством ее глупой одаренности должно явиться уничтожение всей жизни на нашей планете — так как погибнет не только человек, но также животные и растения, которых никто не может обвинить в коммунизме или антикоммунизме. — я не могу поверить, что это должно быть концом». В нашей стране этому тоже не верят!

Сборник в целом предназначен для квалифицированного читателя, однако большинство статей не требует специальной подготовки. Читая эту книгу, можно увидеть яркую картину развития физики двадцатого века, борьбу идей, ломку взглядов на природу вещей и ту неумолимую силу эксперимента, которая заставляет уходить от привычного уюта классической физики в штормующий океан волн и квантов.

При этом надо не забывать, что наиболее абстрактные разделы науки, возникшей на рубеже двух веков, стали сейчас основой промышленности. Никто уже не ставит во-

проса о справедливости выводов ни теории относительности, ни квантовой механики. Яркий пример — работы Альберта Эйнштейна, одного из наиболее абстрактных физиков-теоретиков. Три закона Эйнштейна лежат сейчас в основе промышленности: формула $E = mc^2$ управляет атомной промышленностью, закон фотоэффекта лежит в основе всех радиоламп и транзисторов и наконец законы излучения, открытые Эйнштейном, привели к созданию мазеров и лазеров — генераторов микроволнового и светового излучений.

Интересно, что никто из создателей новой физики не думал о практическом использовании своих изысканий. Читатель не найдет пророческих предвидений и в старых статьях Борна. Тем не менее интуиция ученого-естествоиспытателя всегда ведет его к раскрытию тайн природы, которые неми-

нуемо расширяют технические возможности человечества.

Книга Борна — повторыю — не мемуары. Она почти не рассказывает о людях, их привычках, разговорах. Но она воскрешает рождение и борьбу идей, которые еще не стали историей. Чтение книги поможет читателю увидеть в современных спорах отражение этой борьбы и научит его относиться осторожно к повторениям в наше время старых аргументов против современной физики и (что несравненно более важно) внушит ему уважение к тяжелому труду естествоиспытателя.

Книга Борна дает богатый материал для размышлений, и ее стоит прочесть, даже если это сначала покажется трудным.

Я. СМОРОДИНСКИЙ,

доктор физико-математических наук.



ПРОТИВ ФИЛОСОФИИ АНТИКОММУНИЗМА

**Критика современной буржуазной идеологии. Росвузиздат.
М. 1963. 184 стр.**

В брошюре «Идеология и сосуществование», которая не так давно издана американской реакционной организацией «Моральное перевооружение» двадцатипяти-миллионным тиражом, в частности, говорится: «Против коммунизма невозможно действовать одними военными или экономическими средствами, необходима превосходящая идеология».

Антикоммунизм, как справедливо подчеркивает М. Митин, один из авторов рецензируемого сборника, — это беспринципное объединение врагов общественного прогресса, всякого освободительного движения, подлинных демократических свобод. «В политическом плане антикоммунизм — квинтэссенция клеветы, обмана, лицемерия и двурушничества. В философском — это война против разума, логики и науки, разрушительный антиинтеллектуальный нигилизм. В эмоциональном и психологическом — это страх и ненависть, подавившие все другие чувства и эмоции».

Почему же антикоммунизм, несмотря на свою реакционную сущность, все еще пользуется влиянием? Конечно, немалую роль играет здесь использование идеологами антикоммунизма тех же психологических прие-

мов, какие пускают в ход буржуазные рекламные агентства, навязывающие потребителю товары, чуждые его действительным потребностям: «Не обманешь — не продашь». Верно также, что за прилавком антикоммунизма не последнее место принадлежит таким испытанным приказчикам капитализма, какими являются правые лидеры современной социал-демократии. Следовательно в этом сборнике, кроме того, особо подчеркнуть, что антикоммунизм распространяется прежде всего с помощью религиозной идеологии.

В Программе КПСС отмечается все возрастающее значение клерикализма в политическом арсенале империалистов. В капиталистическом обществе религия служила и служит задачам борьбы против прогрессивных общественных сил, против коммунизма. Клерикальные партии и организации, действующие во Франции, Италии и других капиталистических странах, пытаются поддерживать определенные мотивы недовольства масс и порою даже выступают в защиту отдельных требований, которые грудятся предъявлять как буржуазному государству, так и предпринимателям. Но делается это лишь для того, чтобы ввести

в заблуждение массы, отвлечь их от революционной борьбы.

«Теологические, и в первую очередь католические, теории защиты капитализма отличаются особенно утонченным лицемерием, а главное — очень высоким уровнем социальной демагогии», — справедливо пишет Е. Модржинская в статье «Новейшие формы и методы буржуазной апологии современного капитализма». Пристального внимания заслуживает и другая верная мысль автора о том, что все силы «несоциалистического мира» объединяются на почве религиозной идеологии. С помощью религии буржуазные идеологи пытаются осуществить «синтез» культур Запада и Востока, объединить на платформе общих «духовных ценностей» высокоразвитые индустриальные и слабо-развитые страны. Религиозная идеология все более и более становится оплотом политической философии современной буржуазии.

Следует, однако, сказать, что эти важные мысли, имеющие большое значение для правильной ориентации в борьбе против буржуазной идеологии, не получили необходимого подкрепления и развития в других статьях сборника. Создается впечатление, что авторы статей встретились лишь на страницах книги, что составители сборника не приложили необходимых усилий для того, чтобы придать книге определенную логическую стройность, обеспечить должную связь между статьями.

Философия, как и религия, более, чем другие формы общественного сознания, удалена от базиса. Они занимают самые верхние этажи надстройки. Но религия, давно разобравшись в том, что нужно богу, а что кесарю, в наши дни довольно прочно обосновалась на грешной земле, хотя все еще продолжает по привычке подымать взоры и возносить длани к небу.

С философией дело обстоит несколько сложнее. Есть немало школ и школок, которые в период крайнего обострения кризиса буржуазной идеологии все больше и больше утрачивают какую бы то ни было связь с реальной жизнью и уходят в дебри сверхутонченных философских «исканий». Но, с другой стороны, такие основные направления современной буржуазной философии, как неотомизм и экзистенциализм, претендуют на связь с жизнью, обещают объяснить людям ее смысл и цели, вооружить их цельным мировоззрением. Особенно

далеко в этом направлении идут претензии неотомизма, как бы это ни казалось странным. Б. Быховский — автор статьи «Неотомизм» — справедливо отмечает: «Когда во второй половине XX века говорят, что томизм — одно из главных направлений современной философии, это звучит парадоксом. Приставка «нео» (неотомизм, неосхоластика) не помогает. «Нео» с томизмом не вяжется: нео — старье. Это все равно, как если бы в области техники говорили, как о современном орудии, о «неосохе» или «неомотыге».

Самих неотомистов это мало смущает. То, что их философия не изменилась с XIII века, напротив, расценивается как ее величайшее достоинство. Термин, которым она определяется — *philosophia reipennis* — вековая философия, — является предметом гордости приверженцев этого направления. Представители неотомизма стремятся «научно» обосновать современную политику католической церкви и католических организаций. В ряде случаев они выступают под флагом «критики» капитализма. Пытаясь выдать себя за защитников науки и разума, они проповедуют союз религии и науки на основе «разделения сфер влияния», взаимных уступок и невмешательства, ратуют за подчинение науки религии. Религия объявляется философией простого народа, а философия отводится роль служанки теологии. Эти идейки неотомизма настойчиво распространяются по всему миру в десятках и сотнях специальных исследований, в тысячах брошюр и статей, с амвонов церковей и с университетских кафедр.

К сожалению, у нас нет ни одной большой работы, специально направленной против неотомизма. В сборнике правильно отмечено, что «отдельные брошюры и статьи — а их немало за это время написано — не могут сыграть такую роль, которую сыграло бы большое, фундаментальное исследование в этой области». В этой связи особенно заслуживает быть отмеченной уже упомянутая нами статья Б. Быховского. Автор пишет живо, понятно и вместе с тем язвительно и остроумно. Он, бесспорно, прав, замечая в этой статье: «Неотомизм — это серьезный, упорный, ожесточенный противник. Но, занимаясь им, никак нельзя обойтись без оружия смеха. В этом случае нельзя не вспомнить указание Маркса: «Смеяться над смешным — это и значит относиться к нему серьезно».

После второй мировой войны получил широкое распространение экзистенциализм. Почему это произошло? Чтобы дать ответ на этот вопрос, надо напомнить об одной особенности этого философского направления, не отмеченной, к сожалению, в статье Т. Ойзермана «Экзистенциализм — философия кризиса». Экзистенциализм в своем французском варианте — в лице Ж.-П. Сартра, Альбера Камю и других — теснейшим образом переплетается с литературой и искусством. Сартр не только философ, но и выдающийся драматург и романист. Альбер Камю не только романист и драматург, но и представитель так называемого атеистического экзистенциализма. Но этого мало. Экзистенциализм пытается решить такие проблемы, как «смысл и цель жизни», «назначение человека» и т. д. Эти претензии, конечно, не основательны.

Выступая против экзистенциализма и борясь с ним, наша философия, в частности этика, должна уделять больше внимания внутреннему миру человека.

Верно служит антикоммунизму и эмпирическая социология. Она объявляет себя прикладной наукой. Ее девиз: факты и еще раз факты. Никакой общей теории. Но ведь отказ от философии есть тоже философия, но философия, скользкая по поверхности, докатившаяся, по остроумному замечанию

Соммервиля, до пресловутого «зонтиковедения». Г. Андреева, критикуя эмпирическую социологию за ее отказ от философии, правильно усматривает в этом одну из причин ее глубокого кризиса.

И. Нарский в статье «Неопозитивизм раньше и теперь» справедливо отмечает, что различные направления современной буржуазной философии хотя и ведут между собою борьбу, не скупясь при этом на взаимные обвинения, в конечном счете объединяются под флагом антикоммунизма и становятся на путь взаимной поддержки.

Завершается сборник статьей Д. Ермоленко «О современной буржуазной социологии». Автору удалось систематизировать разношерстные, с множеством оттенков направления современной буржуазной социологии и показать непрерывно происходящий процесс сближения, если не сказать слияния, буржуазной социологии и буржуазной психологии.

Судя по всему, сборник адресован преподавателям общественных наук высшей школы. Думается, однако, что круг его читателей будет более широким. Он дает материал, столь необходимый на современном этапе борьбы против буржуазной философии и социологии, против идеи мирного сосуществования идеологий.

И. МИНДЛИН.

★

ЦЕНА КАРТЫ

Г. р. Федосеев. Смерть меня подождет. «Молодая гвардия». М. 1963. 528 стр.

Много лет писатель и исследователь Г. А. Федосеев изучал приохотский край. Геодезист по профессии, он посвятил свой труд и свои книги Джугджур — горной стране неукротимых ветров, которую вместе со своими спутниками он пересек маршрутами экспедиций.

Новая книга «Смерть меня подождет» напоминает нам о предшествующей его книге «Тропой испытаний». Вновь встречаемся мы с любимым героем автора Трофимом Королевым, землепроходцем наших дней; с многоопытным таежным жителем Улукитканом, эвенкийским Дерсу; встречаемся и с новыми героями эпопеи, развертывающейся в жестоком краю, среди одиноких вершин-гольцов и скалистых

гряд, на бурных реках и в неприветливой тайге.

В советской литературе Г. Федосеев продолжает ту линию документального географического повествования, которую успешно начал В. К. Арсеньев. А. М. Горький писал автору «Дерсу Узала» об огромной художественной и научной ценности его книг. Именно это единство ученого и писателя в одном лице было особенно дорого Алексею Максимовичу, глубоко понимавшему общность дорог, по которым идут наука и искусство, познавая мир.

Г. Федосеев — писатель суровый и правдивый. В этом смысле он близок Арсеньеву, как близок он ему и страстной любовью к своей профессии исследо-

вателя, глубоким, бережливым вниманием к природе. Труд, о котором рассказывает книга, — труд людей, закладывающих основу для нанесения страны на современную географическую карту.

Книги Г. Федосеева рассказывают о творчестве людей, прокладывающих пути в будущее. По их следам пойдут изыскатели, геологи, строители. Поставленные ими на вершинах гор пирамиды — вехи пути, несравненно более достойные славы, чем пирамиды фараонов.

Отсюда и возникают два плана, в которых разворачивается действие книг Федосеева. В одном плане — это книги приключений, рискованных маршрутов — свидетельств непреклонной человеческой воли. Но за этим стоит и второй план — мир точных наблюдений, хорошо запоминающихся деталей, схваченных тренированным зрением ученого и охотника.

В книге «Смерть меня подождет» этот второй план обогащает читателя познавательным материалом, добытым в близком общении с природой. Бедная, чуть наметившаяся местами почва, жалкая зелень украшают Становой хребет, но среди голых, безотрадных скал натуралист подмечает разнообразие форм нетребовательных лишайников, то оранжевых, то желтых, то серебристых, то похожих на свежие капли крови. Пионеры растительного мира поражают яркими красками и железным упорством: «Растения живут даже под темными сводами пещер, где их уж никак не ожидаешь увидеть».

В каменных россыпях путешественник подсмотрел беспечную игру ягнят, на бугристом склоне горного цирка поймал в объектив фотоаппарата редчайшую находку — белого как снег оленя-альбиноса. Каждая такая сцена подтверждает победу жизни, медленно поднимающейся на хребты со своим зеленым ковром.

Но завтрашний день Станового и Джугджура определяется, конечно, не только натиском дикой флоры на их еще не покоренные вершины. Незведанные тропы ведут геолога к туфам — материалу редкой красоты и удобному для обработки. Придет время — извлекут его из недр строители и архитекторы. Шумит у охотских берегов бурное море, о котором председатель райисполкома, человек широкого ума, рассказывает путешественнику как о великой кладовой природы. Есть у моря и плодо-

носные водные пастбища, где много нерпы и рыбы и не разведанные еще запасы сырья. «Не из глубины материка нам, северянам, нужно ожидать изобилия. Надо добывать его из недр нашего моря и посылать гуда, на материк».

Проблемы новой жизни проникают и в этот почти безлюдный, затаивший свои силы неподвижный мир, освещают и угрюмый пейзаж, и почерневшие от усталости и лишения лица путешественников.

А лишений немало. Дорогой ценой достается людям карта! Лишь в краткие мгновения передышек отдаются геодезисты мечтам и наблюдениям над природой.

Герон Федосеева — не искатели приключений. Но по насыщенности драматическими положениями, которым веришь, по тому, что рассказывается о них со сдержанной реалистической точностью, книга занимает особое место в нашей литературе.

Г. Федосеев написал портреты тех, с кем трудился, ел из общего котелка, ходил в опасные маршруты. В книге есть люди и дурные и хорошие (хороших гораздо больше), и показаны они в развитии.

Мы наблюдаем Трофима Королева и вооруженный беспризорником, и молодым парнем, проходящим полную испытаний трудовую школу; мы следим за его горькой любовью, трагически кончающейся вместе с его жизнью в тот самый день, когда достигнута поставленная перед отрядом цель. Человек, которого мы вместе с рассказчиком привыкли видеть отважным и сильным, показан и во время душевной травмы, глубокого надлома, после поражения в борьбе со страшной, стремительно несущейся коварной рекой Маей. Но запоминается нам Трофим и в лучшие, героические его минуты — устанавливающим пирамиду на Алгычанском пике, выручающим товарища из беды, бредущим в разваливающейся обуви, с кровоточащими ранами на ногах, через седловины и по крутым осыпям.

Одна из самых значительных удач писателя — образ Улукиткана. Старый эвенк мудр и трогательно добр к людям, он не терпит лишь к тем, кто пришел в тайгу в погоне за дешевой славой и длинным рублем. Его дружба с геодезистами чистосердечна, его опыт незаменим. Улукиткан умеет по-рысиному красться на охоте, по каким-то древним приметам, а то и просто чужьем овределяет, когда должны пре-

кратиться нескончаемые дожди. Его ясная память хранит пути и дороги спустя пятьдесят лет после того, как сам он прошёл их в молодости.

Этот надежный проводник и верный товарищ — суеверен. Он убежден, что ребяческая привязанность его к олененку Майке приносит удачу в походе. Но в этом суеверии нет робости перед гемными силами природы, которая так свойственна арсеньевскому Дерсу.

Улукиткан — не копия своего дальневосточного собрата. Иной у него характер, иной склад мыслей, своеобразен облик. Он принадлежит другому времени, и в этом, может быть, кроется причина той нежности и грусти, с которой говорит о нем писатель: активно помогая новому, старый эвенк еще живет прошлым и тяжесть прожитых лет мешает ему до конца понять молодежь. Но вместе с русскими братьями восьмидесятилетний Улукиткан щедро вкладывает свой труд в создание карты.

Такие люди не случайные гости на страницах нашей литературы.

«...Мы обнялись в последний раз и крикнули друг другу: «Прости, прости, прости». Я долго видел его маленькую гибкую фигуру, видел, как он махал своей шапкой, обнажив седую восьмидесятилетнюю голову — этот необычайно круглый череп, в котором были скрыты поразительная память, острый ум и верная, детская чистота души».

Это сказано не о Дерсу и не об Улукиткане. Это пишет известный полярный исследователь Э. В. Толль, участник экспедиций, исследовавших в конце прошлого и в начале этого века Новосибирские острова. И пишет он о своем спутнике, жителе Якутского края Джергели.

В третьем выпуске сборника «Вопросы географии Якутии» в прошлом году опубликована интересная статья М. А. Кротова «Аборигены Якутии — соратники русских землепроходцев и путешественников», из которой видно, какую неоценимую поддержку оказывали русским исследователям коренные жители Якутии. В статье названы десятки забытых, извлеченных из архивов имен. Выделяя из своей среды проводников, переводчиков, каюров, эти люди бескорыстно делились всем, что имели, разделяли с путешественниками все тяготы и опасности походной жизни.

Расширяются в наши дни границы исследований — и вот люди вновь и вновь идут туда, куда десятилетиями не ступала их нога, идут картографы, разведчики недр, идут русские, эвенки, якуты, представители всех народов советского Севера и Востока.

Книга «Смерть меня подождет» написана с подлинной, выстраданной в тяжелых испытаниях любовью к далекому краю, еще только просыпающемуся от векового сна. Острое зрение писателя помогло ему создать рельефный образ страны. Так и видишь горных баранов, застывших в неподвижности подобно маленьким сфинксам, или похожие на спрута корни лиственницы, выросшей на вечной мерзлоте...

Жаль, что стилистически книга написана неровно. Автор не всегда чувствует слово. Порою галантные, меткие наблюдения изложены сгущенными, плохо отобранными словами, что, конечно, мешает восприятию этих наблюдений. Есть и длинноты, ненужные повторения. Это тем более досадно, что в целом рецензируемая книга — несомненно, большой успех автора.

Труд, вложенный в карту, дал и побочный выход — книгу о суровом крае и смелых людях, в которой соединены художественный образ и научный поиск.

И. ИНОЗЕМЦЕВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ГЕРМАНИИ БЕССМЕРТНЫЙ СЫН. Воспоминания об Эрнсте Тельмане. Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 464 стр. Цена 1 р. 10 к.

Плоть от плоти германского рабочего класса, Эрнст Тельман по праву стал его любимым вождем. Политическую мудрость и темперамент борца он соединял с величайшим мужеством, незаурядные дарования оратора и публициста — с исключительной скромностью.

В одном из своих последних писем, адресованных товарищу по заключению в фашистском застенке, Тельман писал, повторяя знаменитые слова Фауста:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

Тельман не прекращал этого боя за свободу и счастье своего народа на всем протяжении своей жизни, прерванной в ночь с 17 на 18 августа 1944 года гитлеровскими палачами.

В те скорбные дни политические заключенные Бухенвальда сумели провести в подвале дезинфекционного отделения лагеря траурный митинг. Один из его организаторов — Вальтер Бартель — вспоминает: «Были зажжены свечи, которые тускло осветили помещение. Скрипач сыграл русский траурный марш. Роберт Зиверт в своей речи напомнил о героической борьбе Эрнста Тельмана... В знак торжественной клятвы все присутствующие подняли руки в ротфронтском приветствии, а затем минутным молчанием почтили память нашего незабываемого Эрнста Тельмана».

С тех пор прошло около двух десятилетий, и недавно — почти одновременно в Берлине и Москве — вышел сборник воспоминаний ближайших соратников и современников Тельмана, рисующий весь его революционный путь.

В книгу вошло более семидесяти воспоминаний, принадлежащих преимущественно ветеранам Социалистической единой партии Германии. Среди них — наряду с руководителями партии Вальтером Ульбрихтом и другими — представлены десятки ее рядовых работников. Характерны профессии мемуаристов: слесарь... наборщик... каменщик... литограф... кузнец... клепальщик... шорник... печатник и переплетчик... гончар... плотник... табачница... токарь... жестянщик...

шахтер... железнодорожник... моряк... столяр... электромонтер... краснодеревщик... сапожник... Чуть ли не вся трудовая Германия сказала свое слово о Тельмане в этой книге, ставшей подлинным коллективным литературным памятником человеку-борцу, который еще в 1930 году пророчески заявил немецким рабочим: «Мы заговорим, как русские, будем бороться, как русские, и победим, как русские».

Тельману не суждено было увидеть успехи социалистического строительства в Германской Демократической Республике. Но вся его жизнь была посвящена борьбе за эти успехи и воспитанию тех, кто завоевывает их в наши дни.

Б. Яковлев.

★

ПЯТЬ ЛЕТ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 295 стр. Цена 1 р. 25 к.

«Когда кубинский народ перестанет быть рабом сахара, его пища станет более сладкой, а жизнь — более приятной», — говорил когда-то видный кубинский публицист и общественный деятель Ф. Ортис. Неточность этого утверждения состоит в том, что не рабом сахара, а рабом сахарных монополий был кубинец и поэтому пища его была горькой и сама жизнь — не сладкой.

День 1 января 1959 года, когда кубинский народ сверг иго чужеземных монополий, вошел в историю как день победы первой социалистической революции в Западном полушарии.

Все средства пустили в ход американские империалисты, чтоб удушить кубинскую революцию, — экономическая блокада, террор, диверсии, засылка наемных банд, интервенция. Тщетно! В кровавой неравной борьбе героический народ маленькой Кубы выстоял.

Кажется, так недавно все это было — и вот мы уже отметили пятилетие самой юной республики, строящей социализм.

Сборник «Пять лет кубинской революции», подготовленный Институтом Латинской Америки и Институтом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР, состоит из одиннадцати статей, принадлежащих перу «латиноамериканцев» — экономистов и историков, и очерка очевидца революционных событий на острове

советского посла А. И. Алексеева. Сборник разносторонне освещает сложную и яркую историю кубинской революции, показывает ее завоевания и место новой Кубы на мировой арене.

Многое предстоит свершить, но многое уже удалось достигнуть кубинцам в переустройстве своей жизни — ведь им помогают все народы социалистических стран. Я. Г. Машбиц в статье «Революционные преобразования в экономике Кубы» показал, как аграрная Куба создает крупную современную энергетику и горнометаллургическую промышленность.

Исключительны достижения Кубы в развитии культуры. Богатый фактический материал об этом содержится в статье И. Р. Григулевича и Н. С. Колесникова «Культурная революция». Известно, что за год в стране ликвидирована неграмотность. Триста тысяч человек участвовали в этом благородном деле. Осуществлена национализация системы просвещения, проведена университетская реформа...

Много интересного в статьях, посвященных роли профсоюзов, женских и молодежных организаций Кубы в революционной борьбе и в строительстве новой жизни.

Приятно отметить отличный внешний вид книги — прекрасную бумагу и печать, хорошо выполненные фотографии.

Л. Лерер.

★

А. Г. ВОЛОГДИН. Земля и жизнь. Эволюция среды и жизни на Земле. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 174 стр. Цена 27 к.

В прошлом не было большей загадки, чем происхождение и развитие жизни на Земле. Нельзя сказать, что и в наше время она полностью разгадана. Но при современном бурном развитии наук открываются все новые и новые факты, приближающие нас к решению этой важнейшей проблемы естествознания.

Физики и химики, например, в результате изучения радиоактивных элементов помогли определить возраст Земли. Установлено, что формирование земной коры началось четыре с половиной миллиарда лет тому назад. Уточнены этапы геологического развития нашей планеты, что очень важно для восстановления истории эволюции организмов. Биогеохимическая наука обрисовала историческую картину связи организмов с минеральным веществом Земли. Новым представлением о возникновении первичного живого вещества содействуют современные достижения микробиологии.

Разностороннему рассмотрению всех этих достижений науки посвящена книга «Земля и жизнь». Ее автор — известный в нашей стране геолог и палеонтолог Александр Григорьевич Вологдин — показывает, как сотрудничество различных наук позволяет проследить развитие организмов на Земле в процессе эволюции нашей планеты. С большим мастерством популяризатора уче-

ный излагает ряд сложных вопросов, относящихся к астрономии, астрофизике, микробиологии, геохимии, биохимии и другим наукам, с которыми связаны гипотезы о происхождении нашей планеты и жизни на ней.

Интересно и доступно переданы идеи В. И. Вернадского о связи между живым и минеральным — космическим веществом Земли.

Говоря о происхождении организмов, автор подробно анализирует существующие в этой области важнейшие гипотезы. Он излагает, в частности, идеи академика А. И. Опарина, а также малоизвестные широким кругам читателей взгляды талантливой, ныне уже покойной, украинского ученого академика Н. Г. Холодного.

Большой интерес представляет глава «Первичные формы жизни и их эволюция», в которой на основе ряда новейших исследований воспроецируются наиболее важные факты истории жизни на Земле по геологическим эрам — от начала архейской (2700—1900 миллионов лет назад) до современности.

Появившийся около трех миллиардов лет назад мир микроорганизмов быстро овладел биосферой нашей планеты. Используя материалы палеонтологин, можно убедиться, что следы человека прослеживаются в глубь веков не далее чем на 1—1,75 миллиона лет, а следы млекопитающих животных — на 70 миллионов лет назад.

Единству жизни и среды посвящена заключительная глава книги. Весьма сжато и последовательно обрисована картина того, как благодаря физико-химическим процессам и возникновению живого вещества Земля за миллиарды лет эволюции организмов обогатилась сложным миром бактерий, растений, животных и людей.

Книга написана хорошим языком и убедительно показывает, какую важную роль в популяризации науки могут сыграть сами ученые.

С. Смуглый.

★

Е. БЕССМЕРТНЫЙ. Годы жизни. Записки старого моряка. Приморское книжное издательство. Владивосток. 1963. 231 стр. Цена 55 к.

«Старый морской волк», отдавший морю полвека жизни, написал эту книгу. Необычайна его жизнь. Родился он в украинском степном селе, где не было ни речки, ни даже пруда, чтобы ребята могли поплавать хотя бы на плоту, сделанном из досок старого забора. Тем не менее прирожденный степняк стал замечательным мореходом, водившим суда во все части Старого и Нового Света.

Е. Д. Бессмертный рассказывает о своем пути от простого матроса до капитана дальнего плавания. Первый свой поход он совершил по Амурскому заливу на утлой шаланде и уже тогда пленился могуществом и красотой моря.

В дореволюционное время юноше из бедной крестьянской семьи нелегко было по-

ступить в училище штурманов дальнего плавания. Но Бессмертный настойчиво добивается своей цели и успешно заканчивает «мореходку» во Владивостоке. Затем практически проходит все ступени морской науки. На рыбацких судах, грузовых и пассажирских пароходах юный моряк побывал у дальних берегов Камчатки и Курильских островов, плавал в водах Японии, заходил в порты Китая.

Когда до Владивостока донеслись раскаты Октябрьской революции, он — в числе активных строителей новой жизни. Разгорается гражданская война. Пароход, на котором служил Бессмертный, белые угнали в порт Гензан, оккупированный японцами. С риском для жизни Бессмертный с товарищами освобождается из плена и приводит судно обратно во Владивосток.

Неспокойна жизнь моряка, а в те годы она была особенно обременена. Через некоторое время Бессмертный — помощник капитана парохода «Олег» — вновь оказывается в плену. В порту Тяньцзинь «Олега» захватывает банда реакционного китайского генерала Чжан Цзо-лина. Только благодаря стойкости советских моряков, не поддававшихся ни на какие угрозы и провокации, им удалось благополучно вернуться на родину.

Автор книги увлекательно рассказывает о своих походах вдоль северных берегов Сибири к острову Врангеля, откуда, несмотря на труднейшую ледовую обстановку, удалось своевременно вывезти первых знамешников.

Капитан Е. Д. Бессмертный всегда там, где особенно трудно. В годы освоения еще необжитой Камчатки он совершает частые рейсы туда, помогает созданию местной транспортной флотилии. Затем он в Голландии — взыскательный приемщик заказанных там судов. А когда началась Великая Отечественная война — снова в море, на боевой вахте...

Записки старого моряка о пережитом, увиденном во многих плаваниях привлекут внимание читателя живым изложением и богатством сведений из истории советского флота.

А. Таланов.

★

ЮЛИУС МАДЕР. По следам человека со шрамами (Документальный рассказ о бывшем начальнике секретной службы СС Отто Скорцени). Сокращенный перевод с немецкого. Госполитиздат. М. 1963. 182 стр. Цена 24 к.

Невероятно, но факт: до сих пор по свету бродит опасный преступник, который подлежит аресту за соучастие в подделке и распространении фальшивых денег, за изготовление подложных документов, разбой и грабежи, вымогательство и лжесвидетельство, членство в преступных организациях, создание тайных союзов, за военные преступления и преступления против человечности...

Юлиус Мадер, публицист из ГДР, взял на себя нелегкий труд — пойти по кровавым

следам «человека со шрамами». Его документальный рассказ — это обвинительный акт против Отто Скорцени — убийцы австрийских евреев, немецких солдат и американских военнопленных, жителей русских деревень и чешских крестьян.

После крушения рейха Скорцени со своим заранее сколоченным диверсионным аппаратом перешел в тщательно законспирированное подполье, прихватив припрятанные богатства. Недавно мировую прессу облетели сообщения о «тайне озера Теплиц», где, возможно, хранятся документы и ценности фашистского рейха. Не исключено, что ключи к этой тайне хранит Скорцени — активный участник событий на озере Теплиц.

Читатель узнает о письмах Черчилля и Муссолини, которые оказались в руках сообщников Скорцени, а затем были возвращены Черчиллю за солидный выкуп — освобождение арестованных эсэсовцев, и о многих других малоизвестных фактах.

Под чужими именами, а то и под своим собственным Скорцени ездит из страны в страну, сколачивает и объединяет фашистские группы. У него высокие покровители — и разведывательная служба США, и британская радиокорпорация Би-би-си, и финансовые воротилы Западной Германии, и некоторые высокопоставленные деятели ФРГ, о чьем неприглядном прошлом в роли агентов гестапо рассказывает автор.

«Будь Гитлер жив, я был бы рядом с ним!» — заявил Скорцени на собрании так называемого «Общества историков» в Ирландии в августе 1960 года. В этом его credo. Но есть и еще одно: он готов «работать для победы Запада». Может быть, в этом кроется причина неуловимости и неуязвимости Скорцени — военного преступника, подлежащего суду.

Книга читается с большим интересом, хотя автор строго и порой даже скупо повествует лишь о фактах. Эти факты еще и еще раз напоминают народам: будьте бдительны!

И. Дагалин.

★

КУЛЬТУРА ИНДЕЙЦЕВ. Вклад коренного населения Америки в мировую культуру. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 328 стр. Цена 1 р. 33 к.

Дошедшие до нашего времени памятники индейской культуры — своеобразные храмы, величественные пирамиды, некрофические надписи на могильных плитах и на развалинах исчезнувших городов — бесспорное свидетельство того, что на территории ряда нынешних латиноамериканских государств некогда существовали очаги высокой цивилизации, аналогичные Шумеру или Египту.

Автору этих строк довелось недавно побывать у знаменитых пирамид Солнца и Луны, находящихся в пятидесяти километрах от мексиканской столицы. По своим размерам и архитектурному оформлению они вряд ли уступают известным пирамидам Египта. Их возраст исчисляется в не-

сколько тысяч лет. Длина каждой из четырех сторон пирамиды Солнца, например, достигает у подножия двухсот метров, а вершина возвышается над землей на семьдесят метров. Когда по крутой лестнице медленно подымаешься к вершине этого сооружения, невольно думаешь о его творцах, живших в столь далекое от нас время и пользовавшихся самой примитивной техникой.

Индейцы Латинской Америки за много веков до испанского нашествия культивировали кукурузу, картофель, какао, томаты, фасоль, арахис, подсолнечник и некоторые другие сельскохозяйственные растения, которыми затем стали пользоваться во всех частях света. Индейцы группы майя имели свой оригинальный календарь, основанный на знании движения небесных светил. Они точно предсказывали лунные и солнечные затмения.

Испанские завоеватели, господствовавшие в Южной и Центральной Америке более трех столетий, не только безжалостно истребили миллионы и миллионы рабов-индейцев, но и самым варварским способом уничтожали очаги материальной и духовной культуры индейских племен. О многих памятниках, повествовавших о жизни древних индейцев Америки, мы уже никогда не узнаем.

Сборник статей «Культура индейцев», подготовленный сотрудниками Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, призван служить весьма благородным целям — он напоминает о наследии индейцев, которым сейчас пользуется все человечество. Авторы сборника собрали богатый материал и, опираясь на документы, живо повествуют о том, что дало коренное население Америки человечеству в таких важнейших областях культуры, как сельское хозяйство, архитектура, искусство, меллицина. Они рассказали о вкладе, внесенном северными жителями Америки — эскимосами — в освоение Арктики, а также о том, насколько заметен след культуры индейцев в современных языках Америки и многих стран Европы, в том числе и в русском языке.

С. Воробьев.

★

А. Ф. ГАММЕРМАН, М. Д. ШУПИНСКАЯ, А. А. ЯЦЕНКО-ХМЕЛЕВСКИЙ. Растения-целители. Лекарственные растения нашей Родины. Издательство «Высшая школа». М. 1963. 423 стр. Цена 89 к.

Кто из нас не срывает в поле голубых васильков? Но далеко не все знают, что эти цветы — лекарственное средство, применяемое при сердечных болезнях, простуде, лихорадке. А старая рукопись XVII века считала василек лучшим средством от бородавочек: «Емлем семя васильково толчено, присылаем к бородавицам, тако корень из них вытянет и их истребит, потом николи же не растут на том месте».

Не многие знают также о чудесных свойствах и других растений — конского шавеля,

фиалки, обыкновенного лопуха, медуницы, торфяного мха.

Лекарственные травы в век спутников, полимеров и кибернетики! Да ведь это что-то старое, отжившее свой век вместе с колдунами и знахарством, нечто вроде деревянной сохи или кремневого огнива? Отнюдь нет! В этом еще раз убеждаешься при чтении книги «Растения-целители».

Каковы бы ни были успехи синтетической химии, создавшей лабораторным путем сотни тысяч органических соединений, старые друзья человека — растения по-прежнему стоят на страже его здоровья. Не далее как в сороковых годах был открыт новый класс лекарственных веществ, полученных из грибов и родственных им организмов — то есть из тех же растений. И сколько человеческих жизней спасли эти новые лекарства — антибиотики!

В книге названы важнейшие лекарственные растения нашей родины (всего их около двухсот). Они обрисованы точно, сжато и даже поэтично. Авторы приводят народные сказания и легенды о происхождении того или иного растения.

Немало познавательного узнаешь из глав о прошлом, настоящем и будущем растений; о том, как их находить и собирать. Затем следуют главы о растениях, живущих в различных районах страны — обитателях морей и тундр, болот и тайги, степей и пустынь. Рассказывая о пользе растений, авторы вместе с тем подчеркивают, что их книга никоим образом не лечебник и что применять народные средства без научной медицинской проверки нельзя.

Книга «Растения-целители» — не только практическое пособие для распознавания и поисков лекарственных растений, но и интересный рассказ о природе.

Л. Кафанова.

★

И. ЗАБЕЛИН. Листья лофиры. Африканские повести. Географгиз. М. 1963. 254 стр. Цена 54 к.

Читателю хорошо известно имя И. М. Забелина — географа и писателя. Круг его научных и литературных интересов очень широк, но все-таки почти все они имеют самое непосредственное отношение к географии. Забелина интересуют теоретические вопросы географии, главным образом физической, и он пишет статьи в книге на эту тему. Его интересует будущее нашей науки, будущее географии, судьбы всех естественных наук — и являются его работы об астрогеографии, натурсоциологии... Казалось бы, физико-географу Забелину в силу его специальности не очень близка экономическая география, однако социально-экономическая проблематика постоянно присутствует в его работах. Это относится и к произведениям научно-популярным, написанным на основании многочисленных путешествий автора, в частности к его книге «Листья лофиры».

...Далекая мечта детства — побывать в

Африке. А дороги долгое время ведут в совсем другие места — в Сибирь, Арктику, на Дальний Восток, в Центральную Азию. Но вот мечта становится реальностью, и Забелин летит в Марокко, Гвинею, Сенегал, Мали. Он видит там много интересного и в природе (ведь он натуралист), и в жизни людей и стран (ведь он физико-географ-социолог), и рождается у него образ-символ — растение лофира. Она «прочнее, крепче других связана с землей, вскормившей ее... Сотни различных деревьев, кустарников, не выдержав суровых испытаний, погибли или отступили в горы, к экватору, под защиту круглогодичных ливней... А лофира не отступила. Она осталась и уцелела потому, что ушла в землю: у этого дерева мощная подземная часть, а над почвой приподнимаются лишь концы ветвей; ветви обгорают, но дерево не гибнет; чуть стихнет пожар, лофира тотчас раскидывает над пенелищем связки своих нежно-зеленых листьев — они тянутся к голубому небу наперекор всем бедам и бурям, и я думаю о лофире, как о символе вечной, неистребимой жизни...

Пусть человеческая память несовершенна, но я не сомневаюсь, что теперь, вспоминая Африку, буду всегда вспоминать и лофиру, ее золотистую зелень на фоне черных пожаров.

Читатель побывает в Рабате, Агадире, Конакри, познакомится с гвинейцами, со столицей Сенегала Дакаром, с другим городом этой страны Сен-Луи, с великой африканской рекой Нигером, суровой природой Республики Мали и малийцами, с историей западноафриканских стран и ее следами — поверхностными и глубокими.

Взяв в руки эту книгу, вы увидите, что она вышла в серии «Путешествия. Приключения. Фантастика». В данном случае последние два слова следует отбросить. Читая книгу, вы увидите, что написал ее весьма знающий и много думающий географ-писатель, хорошо владеющий пером, умеющий говорить с читателем просто и занимательно.

Вологда.

Ю. Дмитриевский,

доктор географических наук.

★

Н. МОРОЗОВ. Сорок лет с Гиляровским. «Московский рабочий». М. 1963. 143 стр. Цена 28 к.

Впервые он увидел Москву в октябре 1873 года двадцатилетним юношей и описал потом ночную мглу города, галдевших около вокзала извозчиков, узкие переулки, деревянный столб, лишь наткнувшись на который можно было узнать, что это фонарь, поставленный для освещения улицы...

А шестьдесят с лишком лет спустя, в 1934 году, Владимир Алексеевич Гиляровский, как и подобает истинному «королю московских репортеров», в числе первых описал московское метро, восторгаясь его ярко освещенными мраморными залами.

Сейчас к многочисленным воспоминаниям о «дяде Гиляе» прибавилась еще одна книга. Ее написал Николай Иванович Морозов, в судьбе которого Гиляровский принял большое участие. Известный уже в ту пору журналист Гиляровский приютил и воспитал одаренного рязанского мальчика, случайно попавшего к нему в дом, слал его своим постоянным спутником по многочисленным репортерским делам, научил литературной работе. И Морозов до конца своей жизни сохранил любовь к своему учителю и другу.

Книга «Сорок лет с Гиляровским» порождает читателя множеством интересных подробностей из жизни В. А. Гиляровского. Он обрисован в ней как замечательный человек, журналист и летописец старой Москвы. Немало страниц посвящено подробностям встреч В. А. Гиляровского со своими современниками. А современниками и друзьями этого человека были художник А. Саврасов и поэт Д. Бедный, Глеб Успенский и М. Горький. Гиляровского сердечно любили А. Чехов и А. Куприн, И. Бунин и Ф. Шалапин.

В своих воспоминаниях большинство современников отмечало поразительную жизнерадостность и остроумие Гиляровского. Н. И. Морозов в главе «Четверть века в литературе. Мастер экспромта» прибавляет к множеству известных веселых экспромтов, созданных «дядей Гиляем» в различные периоды жизни, еще несколько не опубликованных ранее.

В предисловии к своей широко известной книге «Москва и москвичи» Гиляровский писал: «И моя работа делает меня молодым и счастливым — меня, прожившего и живущего»

На грани двух столетий,
На переломе двух миров».

Из новых воспоминаний отчетливо встает необыкновенно привлекательный образ Владимира Алексеевича Гиляровского — человека с чистым сердцем и неистощимым жизнелюбием, великолепного знатока Москвы, чья долгая жизнь и деятельность сами по себе живописны и увлекательны.

Л. Серебрянник.

★

ИМЕНА НА ПОВЕРКЕ. Стихи поэтов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Составитель и редактор Сергей Наровчатов. «Молодая гвардия». М. 1963. 189 стр. Цена 51 к.

Книга эта и часа не лежала на прилавках московских магазинов. Я ежедневно спрашивался, когда она поступит в продажу, и все-таки прозевал — опоздал на полчаса. Я пишу об этом не только для того, чтобы лишний раз упрекнуть Книготорг. Просто нельзя не отметить все возрастающий интерес читателей к стихам молодых поэтов военной поры.

Почему эти стихи, написанные двадцать-двадцать пять лет назад людьми разных дарований, иногда несущие на себе следы

подражания, иногда юношески наивные, завоевали большую аудиторию? Прежде всего потому, что тот нравственный мир, который запечатлен в этих стихах, не смогли поколебать ни жестокие испытания военных лет, ни все то, что было связано с культом личности.

Поэзия с точностью сейсмографа регистрирует малейшее расхождение между словом и делом, между этикой, механически заученной, превратившейся в этикет, и этикой, так сказать, «для личного пользования». Юношеский максимализм стихов, составивших сборник «Имена на поверке», не воспринимается как поэтическая декламация: он оплачен кровью. Жизнь и поэзия здесь неотделимы. И поэтому следовало бы в этом сборнике поместить хотя бы краткие биографические справки о каждом поэте — это тот случай, когда жизнь поэта служит самым лучшим комментарием к его стихам.

Большинство поэтов, о которых идет речь, явно тяготело к романтике. В их довоенных — в сущности, еще мальчишеских — стихах она нередко выражалась с помощью гриновских образов. Но на этом основании я не осмелился бы определить ее природу как книжную — такая в этой романтике была живая сила, такое искреннее и страстное стремление к идеалу. Ее не осуждает даже ледяной ветер войны. Эту романтику воспринял и оценил современный читатель.

В сборник «Имена на поверке» вошли стихи П. Қоғана и М. Кульчицкого, Н. Майорова и Г. Суворова, В. Багрицкого и Н. Отрады — поэтов, имена которых в последние годы стали хорошо известны. О них писали, появились наконец книги некоторых из них, стихи их мы знаем по многочисленным журнальным и газетным публикациям. В сборнике богаче представлено творчество поэтов, с которыми широкий читатель познакомился несколько лет назад в книге «Стихи остаются в строю», — В. Афанасьева, Б. Богаткова, П. Винтмана, З. Городницкого, В. Лободы, Л. Шершера, В. Шульчева. Есть здесь поэты, имена которых многие читатели услышат, вероятно, впервые: А. Аргемов, Л. Вилкомир, Г. Корешов, И. Ливертвский, В. Лузгин, К. Мамонов, Н. Овсянников, Э. Подаревский, Б. Смоленский, Т. Сурмев. Оглядывая этот расширившийся фронт молодой поэзии Великой Отечественной войны, мы еще отчетливее видим те ее черты, которые определялись не индивидуальностью поэтов — от таланта зависела сила и чистота их выражения, — а временем и поколением, от имени которого они говорили.

Они не вернулись с войны. Мы не о всех знаем, где они погибли, многие похоронены в безымянных солдатских могилах. Сохранилось далеко не все из того, что они написали. Время немало погрузилось над тем, чтобы стереть память о них. А мы вспоминаем о них все чаще и чаще — с великой горечью и высокой гордостью.

Л. Лазарев.

АЙБЕК. Детство. Перевод с узбекского Н. Ивашева. Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана «Ёш гвардия». Ташкент. 1963. 252 стр. Цена 61 к.

«Память моя сохранила одно из ярких впечатлений далекого детства: я стою рядом с матерью на плоской крыше нашего глинобитного домика в ясную лунную ночь. По небу плывет белая полная луна, она мне кажется прекрасной, я тянусь к ней руками и настойчиво повторяю: мама, дайте мне луну». До сих пор я ощущаю восторг, охвативший меня в те минуты».

Эти слова из автобиографии известного узбекского советского писателя Айбека могли бы послужить эпиграфом к его новой повести «Детство». В этой повести тонко передано пробуждение фантазии, воображения, поэтического чутья у будущего художника. Ее герой — маленький Муса, озорник, проказник, непоседа, — весь превращался в слух, когда кто-нибудь рассказывал сказки или появлялся певец-сказитель, каких много бродило по узбекской земле. «Душа моя как бы озарилась внезапной вспышкой света», — пишет Айбек, рассказывая о первом детском впечатлении от стихов Навои. Не случайно образ великого узбекского поэта вдохновил писателя впоследствии на создание одного из лучших его произведений, романа «Навои».

Ранние годы Айбека прошли до революции, в квартале бедных ремесленников города Ташкента. Он редко видел отца — мелочного торговца, вечно разъезжавшего по степным и горным селам тогдашнего Туркестана. Доходы семьи были так малы, что редко в их доме наедались досыта, а приобретение новых калаш было целым событием в жизни мальчика.

Ярко нарисованы писателем характеры главных героев повести: доброй и умной матери маленького Мусы, Шахадат, обязательного делушки Мусы, сохранившего до глубокой старости, несмотря на жизнь, полную нужды и лишений, веселый нрав, сердечную доброту и понимание детской души.

В повести Айбека сквозь рассказ о личном проступает картина народной жизни, национальное и историческое своеобразие времени и обстановки, в которой протекало детство героя. Мы встречаемся здесь с рабочими хлопкового завода, ремесленниками, чайханщиками, арбакашами, бродячими сказителями, мелкими лавочниками. Но в сознании наблюдателя мальчишка запечатлелись и богатые баи, муллы, узбекские блюстители порядка и чиновники. Так сквозь призматическое восприятие вырисовывается большой и сложный мир социальных отношений.

Есть в этой книге еще один герой — город Ташкент. Автор дал почувствовать удивительный аромат этого своеобразного города, в ту пору резко разделенного на «старую» и «новую» части.

К моменту Октябрьской революции (а ее победой заканчивается повесть) Муса уже подросток, интуитивно, но верно разбираю-

шийся в том, что происходит. В разгоревшейся между двух революций борьбе партий — борьбе, вынесенной на многолюдные улицы и площади, где происходят митинги и собрания, — Муса проходил свою первую политическую школу. В домашний мир мальчика врывается воздух истории.

Мы прощаемся с юным героем повести, спокойные за его будущее. Он начал учиться в советской школе, он нашел свое истинное призвание: «Стихи становились моей жизнью... Читаю. Сам пишу. Дум и мечтаний — целый мир!.. Новый светлый мир!» Этими словами кончается повесть, за пределами которой ошугимо продолжается жизнь ее героя, жизнь человека нового общества.

Л. Бать.

★

ГЕННАДИЙ КАЛИНОВСКИЙ. Капитан поднимается на мостик. Рассказы. «Советский писатель». М. 1963. 216 стр. Цена 30 к.

Сборник рассказов Г. Калиновского завершается двумя сказками. И хотя вполне реальны и современны героини этих сказок — Галя и Оля, хотя ничего фантастического с ними не происходит, уже сам подбор слов и построение фраз рождает сказовый строй, интонацию горской народной сказки. В первой — «Олень с Голубых озер» — старый горец Ташпулат рассказывает о Гале, в зимний буран преодолевшей труднопроходимый Шайтан-перевал, чтобы сдержать слово, данное любимому; а во второй — «Москвич в очках» — об Оле-«Кветке», погибшей при спасении мальчика, укушенного в горах ядовитой змеей.

И сказки Ташпулата, и многие рассказы сборника посвящены любви, в каждом из них есть свой «поворот» известной темы, свой стиль или манера изложения. Но есть во всех этих рассказах и нечто общее — желание раскрыть в людях поэтические, глубокие и чистые чувства. Это мы ощущаем не только в сказках, но и в рассказах, где романтика сочетается с прозой повседневного нелегкого труда.

«Дикая коса», например, — рассказ о двух людях, которые не виделись восемнадцать лет. Бывший отчаянный разведчик Кешка, а ныне Ксенофонт Иванович, инженер-дизель-строитель, убежден, что в его жизни «полный порядок»: диссертацию защитил, честно и успешно работает, семьянин хороший... Чего вам еще? А бывшая радистка Рита, сумевшая в повседневных буднях сохранить молодость души, противопоставила его ему же самому — разведчику сорок третьего года, применила к нему тогдашнюю высокую мерку взыскательного товарищества и заставила его словно бы очнуться: «Что же он потерял, кроме молодости?»

Стремление найти, разбудить в человеке ту силу, которая поднимает его, ведет к внутреннему совершенству, проходит через все рассказы Г. Калиновского, о чем бы они ни были — о любви или о труде, и в какой бы манере ни были они написаны — в ска-

зочно-романтической или разговорно-бытовой.

Досадно только, что в иных рассказах автор вместо поэтического и сложного решения темы преподносит под занавес очевидное назидание или нравоучение. Этим особенно страдают открывающие сборник «морские» рассказы — «Капитан поднимается на мостик» и «Практикантка». По неопытной причине первый из них дал свое заглавие всему сборнику. А между тем ценность этой книжки определяется другими, более удачными рассказами, пусть с менее «звонкими» названиями...

С. Корытная.

★

Я. УХСАЯ. Стаи белых лебедей. Стихи. Перевод с чувашского. Детгиз. М. 1963. 96 стр. Цена 19 к.

Якова Ухсяя не нужно представлять русскому читателю. Добрым нашим знакомцем давно стал чудаковатый, себе на уме, жизнелюб дед Кельбук — герой одноименной поэмы Ухсяя. Изящный томик избранной лирики народного поэта Чувашии занял не последнее место в малой серии «Библиотеки советской поэзии».

В новом сборнике Ухсяя «Стаи белых лебедей» объединены стихи разных лет. Ранние, где через край брызжет молодой задор темперамента, и более поздние, написанные пером зрелого, умудренного жизненным опытом человека. Но все годы поэтом одинаково владеет «одна, но пламенная страсть»: по-прежнему ведущей в его творчестве остается тема родины, тема любви к ней. И здесь он находит значительные, весомые слова.

В стихотворении «Чувашская земля» поэт с болью вспоминает о прошлом своего народа, «щеголявшего» когда-то в обветшалой дерюге да в сношенных лаптях, одурманенного суевериями, о прошлом края, где полными хозяевами чувствовали себя барышники-скопидомы, кулаки да ворожеи. Мотивы прошлого возникают в стихах Ухсяя в самых, казалось бы, неожиданных поворотах, но каждый раз они помогают автору ярче оттенить мысль о новой жизни, которую обрел чувашский народ после революции, жизни, о которой тштно молились «сотни племен, к пророкам зывая своим».

Немалое место в сборнике занимают стихи Я. Ухсяя военных лет. Хочется выделить стихотворение «Из солнцем пронзенной весенней дали...», где звучит клятва людей отомстить врагу

За мертвое небо, за плач журавлей...—

символ разоренного врагом родного края.

Образы, навеянные войной, не уходяг из творчества Ухсяя и тогда, когда пришла долгожданная победа. Теперь они нужны ему для того, чтобы еще громче сказать читателю о мире, о том, что наши дети никогда не должны увидеть «мертвое небо и плач журавлей» («Слово о мире»).

Стихотворная палитра Я. Ухсяя богата, разнообразна. Мы видим в сборнике и тонкие картины природы, и шуточные сценки, и сердечные лирические раздумья. Хорошо, что широкий круг юных читателей может теперь глубже познакомиться с одним из талантливых представителей нашей многонациональной поэзии.

Чебоксары.

В. Иванова.

★

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ. Исток. Коми книжное издательство. Сыктывкар. 1963. 92 стр. Цена 26 к.

В первой книжке Юрия Полякова не так уж много вполне хороших стихов: то какой-нибудь неловкий оборот, то лишняя строфа, то непоследовательность в движении поэтической темы, то неожиданно вычурный образ — несомненное дарование молодого автора еще не подкреплено мастерством и опытом строгого отношения к каждой своей строчке. Но книжка располагает к себе естественностью интонаций, искренностью, органической живостью языка. Располагает молодым оптимизмом без бодрчества, доброжелательным отношением к людям, любовью к природе.

Интерес поэта обращен по преимуществу к внешнему миру и простирается в нем на многое. Ю. Поляков умеет видеть. Вот, например, как описан в одном из его стихотворений аэропорт в Сыктывкаре:

И день и ночь ревет аэропорт.
Взлетает «ТУ»,
Красавец-великан,
Садится пухлый, ожиревший «АН».
Кругом — бетон, железо и комфорт.

Вот пассажеры —
Каждый президент —
Спустились важно трапом непростым,
«АН» отдыхает.
Он устал, простыл,
И нос его сморкается в брезент.

...Сажусь в печальный пожилой автобус.
Позванивая стеклами, пыля,
Он, объезжая летные поля,
Идет в аэропортские трущобы.

Тут репродуктор в ухо не кричит,
Не бьют в ладони ветреные флаги —
Ютятся скромно неба работяги,
Что возят все.
И даже кирпичи...

А в других стихотворениях — рабочне-нефтяники, толкующие «о турбобурах, скважине, прорабе», и пассажиры воркутинского поезда, бросаемые на полустанке к невзрачным придорожным цветам. и Вычегда с идущими по ней баржами и кагерами. Все это обжитой, обыкновенный, но не буднич-ный и не скучный Север, потому что сам поэт смотрит на него не скучным взглядом.

Лирическому герою Ю. Полякова свойственны ясность чувств и определенность отношений — будь то непримиримость к подлости, нежность к любимой или досада на тех, кто ослеплен унизи-тельной верой в бога. Однако чувствуется — это еще не та веская и убеждающая ясность, которая дается глубоким и целостным осмыслением жизни.

Думается, что Юрий Поляков будет хорошим поэтом, если появится у него дорогая и всепроникающая внутренняя тема. Тогда сами собой исчезнут встречающиеся сейчас в стиле и ритмике его стихов следы различных литературных влияний и голос его обретет свою настоящую силу.

Ю. Буртин.

★

С. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ. Крутые Горы (Рассказы о прошлом). Гослитиздат. М. 1963. 240 стр. Цена 52 к.

«Крутые горы» созданы С. Я. Елпатьевским, писателем-демократом, другом Горького, на рубеже двух веков. Это почти автобиографическое повествование о «деревенской» России пятидесятих—семидесятих годов прошлого столетия. В книге запечатлены живые черты русской деревни после реформы 61 года, когда менялся патриархальный быт, рушились «устои». В этих «устоях», столь милых писателям-народникам типа Златовратского, Елпатьевский видит уже не залог сохранения «самобытности», а только тормоз для развития деревни. Вот почему автор, сам выходя из среды сельского духовенства, резко выступает против «мудрости» общины: говоря о благодеяниях, которые шли от «мира» для «сироты безродного», «ослабевшей семьи», «старого и одинокого», писатель делает вывод резкий и справедливый: «Но так мало мог сделать этот мир!..»

Меняется деревня, приходят в нее новые люди, и вместе с этим приходит вера в то, что когда-нибудь должен же измениться строй, основанный на угнетении большинства народа.

«Кончились старые времена. И люди-то новые, и мысли-то новые...» — этими словами матери заканчивается книга. Это надежда и самого Елпатьевского.

«Рассказы о прошлом» написаны в форме отдельных портретных зарисовок, цепь которых хронологически подводит повествование к восьмидесятым годам прошлого века.

Очень хорошо, что читатель сможет познакомиться сегодня с одной из интересных книг начала нашего века

Книгу открывает предисловие Г. М. Миронова, в котором приводятся интересные фактические данные о писателе. Можно оспорить отдельные частные утверждения Г. Миронова, делающего, например, Елпатьевского чуть ли не руководителем студенческого движения своего времени. Нельзя не пожалеть и о досадных неточностях: приводя отрывок из известного стихотворения

Александра Полежаева «Четыре нации», Г. Мионов приписывает эти стихи... Н. П. Огареву! Стоит посоветовать и автору предисловия, и редактору книги посмотреть страницу 65 Сочинений А. Полежаева (1955), вышедших в том же Гослитиздате.

Б. Яранцев.

★

МАРИЯ И МИХАИЛ ЧЕХОВЫ. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. Мемуарный каталог-путеводитель. Под редакцией С. М. Чехова. Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина. М. 1963. 160 стр. Цена 35 к.

Это не простой каталог, а мемуарный. Не всякий музей, не всякая картинная галерея обладают таким каталогом. Для этого нужно, чтобы авторы его сами хранили в памяти многое, о чем бессильно повелеть вещи. Мемуарный каталог дома-музея А. П. Чехова в Ялте составили люди, очень близкие Чехову. Более полувека отдала Мария Павловна заботам о литературном наследии своего великого брата и о сохранности его дома в Ялте, пользующегося теперь мировой известностью. Михаил Павлович — автор книги «Вокруг Чехова», очень ценных воспоминаний, незаменимого источника сведений об А. П. Чехове и его времени. В двадцатых—тридцатых годах Мария и Михаил Чеховы жили вместе в ялтинском доме, и этот вновь выпущенный мемуарный каталог — плод их совместного труда.

Новое издание каталога — уже седьмое по счету: обстоятельство само по себе примечательное, оно говорит о популярности этой книжки среди читателей Чехова и посетителей его дома. Но издание это отличается от других одним существенным добавлением: в нем впервые публикуется рукопись А. П. Чехова «Сад».

Хорошо известно, что автор «Вишневого сада» немало потрудился собственными руками, чтобы украсить деревьями и кустарниками участок земли возле своего дома на заброшенной и неприглядной в те дни ялтинской окраине. Рукопись представляет собою список латинских названий растений, отобранных писателем для своего сада. Как сообщает автор комментария к этой публикации С. Г. Брагин, около половины растений, посаженных А. П. Чеховым, сохранилось до наших дней.

В небольшой книжке описано около 280 вещей и предметов, напоминающих не только о последних годах жизни писателя, которого болезнь заставила перебраться на юг. За этими вещами — характерные приметы нравственного облика Чехова. Медный колокольчик — подарок каторжанина — напоминает о путешествии Чехова на Сахалин, предпринятом для того, чтобы рассказать правду о страшной царской каторге. Деревянное блюдо — подарок крестьян, которым писатель построил школу.

В Ялту Чехов привез многое, что он любил и ценил. Уезжая далеко от мест, ставших для него родными, он хотел по крайней

мере жить среди вещей, дорогих ему по воспоминаниям. Вот почему рассказы людей, ему близких, становятся и в самом деле маленькой энциклопедией по Чехову — не вещи здесь ценны, а частицы отразившейся в них трудной и содержательной жизни писателя.

Посетители дома-музея, да и не только они, охотно прочтут приложенные к каталогу воспоминания М. П. Чеховой и статьи сотрудников музея о ялтинском доме, его обитателях и гостях.

Мемуарный каталог тщательно оформлен племянником писателя художником С. М. Чеховым.

И. Владимиров.

★

Ю. СУРМА. Слово в бою. Эстетика Маяковского и литературная борьба 20-х годов. Лениздат. 1963. 207 стр. Цена 59 к.

Проблема изучения эстетических взглядов Маяковского порою представляется решенной. Кажущаяся исчерпанность связанных с этим вопросов давно низвела их до круга всепрепременных тем школьных сочинений. И многим (увы, не школьникам, а литературоведам) думается, что тут простора для первооткрытий нет, остается проваляться лишь воспроизведением добытых истин.

На самом деле солидных исследований об эстетике Маяковского пока очень мало. А важность научного освоения этой стороны наследия поэта доказывать не приходится.

Исследование Ю. Сурмы привлекает превосходным знанием литературы двадцатых годов, тонким пониманием сути эстетических споров той поры.

Конечно же, мы и раньше знали, что система эстетических взглядов Маяковского была куда более плодотворной и целостной, нежели у его литературных противников — имажинистов, конструктивистов, пролеткультовцев. Но часто этот факт преподносился как нечто аксиоматическое, не вытекало из конкретного анализа и сопоставлений. Ю. Сурма, напротив, тщательно отыскивает контрасты и аналогии, веско аргументирует каждое свое положение, приводит при этом много нового архивного материала.

Непредвзято оценено, а зачастую и пересмотрено значение творчества как видных, так и малоизвестных, забытых писателей двадцатых годов. Во многом заново прочитан и Маяковский: анализ проблематики его произведений неразрывно связан с анализом эволюции эстетических представлений поэта. Собственно, умение уловить это двуединство в творческом процессе и дать Ю. Сурме возможность глубоко и целостно осмыслить крупнейшее явление духовной культуры.

Книга Юрия Сурмы, безвременно скончавшегося талантливого молодого литературоведа, — умное, боевое слово в нашей общей борьбе за высокую идейность и художественное совершенство искусства.

Ленинград.

О. Костылев.

НАФИ ДЖУСОЙТЫ. Мой горный край. Стихи. Перевод с осетинского Я. Козловского. «Советский писатель». М. 1963. 100 стр. Цена 10 к.

Сборник «Мой горный край» интересен уже тем, что это первая книга осетинского поэта Нафи Джусойты на русском языке. Правда, внимательный читатель, вероятно, уже знаком с некоторыми стихами сборника, печатавшимися время от времени в наших газетах и журналах. Но по отдельным публикациям, разумеется, очень трудно составить себе целостное представление о духовном мире художника. Теперь же, при чтении книги (переведенной Я. Козловским), понимаешь, в чем своеобразие творчества поэта. Н. Джусойты — лирик, тяготеющий к философскому осмыслению проблем жизни. Легкое облачко светлой грусти неуловимо, но постоянно скользит по строчкам его стихов.

Однако «Мой горный край» — вовсе не грустная книга, просто в ней много опыта, не всегда легкого и безболезненного. Не случайно Н. Джусойты время от времени переходит от тихих раздумий к ораторским интонациям, ибо основа его поэзии — гражданственность. «Сын немногочисленного рода», он утверждает:

За крепостными стенами, как предки,
Отсиживаться я не собираюсь.
Пусть осаждает жизнь меня упрямо,
Я не укроюсь за хребтами гор.

Вот почему, при всей очевидности старых поэтических традиций, проступающих в стихах Н. Джусойты, его стих, как правило, звучит современно и свежо. Дело здесь не во внешних признаках, не в таких строчках, например, как:

Все гости пировавшие притихли.
Когда поднялся за столом старейший
И полный рог держа перед собою,
Как будто в микрофон заговорил...--

а в самом ощущении мира, ощущении, в котором естественно находится место и уважению к старинному обычаю народа, его деловым песням и сказаниям («Рождение осетинской песни»), и животрепещущим проблемам сегодняшнего дня.

Остается еще сказать, что Н. Джусойты — хороший лирик-пейзажист: горная Осетия в его стихах нарисована тонко и проникновенно.

Меньше удаются ему, на мой взгляд, традиционные «Четверостишия». Во-первых, не все они отточены в той степени, какой требует этот чрезвычайно строгий и чистый жанр, а во-вторых, не всегда велико и значительно их содержание. Это оттого, по-видимому, что талант Н. Джусойты тяготеет к неторопливому повествованию, к задушевной беседе, исполненной естественности и свободы.

Ленинград.

А. Павловский.

Т. ХМЕЛЬНИЦКАЯ. Голоса времени. Статьи о современной советской и зарубежной литературе. «Советский писатель». М.—Л. 1963. 413 стр. Цена 92 к.

Переиздание критических статей разных лет всегда связано не только со стремлением автора собрать воедино самое дорогое для него, но и со стремлением проверить прежние выводы мерой сегодняшнего дня. Книга ленинградского критика Т. Хмельницкой в этом отношении не является исключением. Составившие ее статьи написаны на протяжении более чем двадцати лет; под многими из них двойная дата — свидетельство того, что при подготовке к переизданию они подверглись переработке. И вместе с тем сборнику «Голоса времени» присуща черта, встречающаяся не столь уж часто: он отличается ярко выраженной внутренней целостностью. Разумеется, речь идет не о той целостности, которая все еще нередко усматривается в тематической близости статей. Целостность восприятия статей разных лет достигается прежде всего за счет единства авторской позиции, позиции вдумчивого, внимательного исследователя, настойчиво стремящегося раскрыть и осмыслить сложность жизни и ее отражения в художественной литературе.

И в проблемных статьях («Дети смотрят на нас. Книги о детстве», «Роман карьеры и роман о чести профессии» и др.), и в литературных портретах (статьи о М. Шолохове, К. Паустовском, О. Берггольц, В. Бианки, Н. Хикмете, Ж. Превере и т. д.) Т. Хмельницкая воссоздает широкий историко-литературный фон. Стремление к свободному развитию темы, к широким параллелям (так, разбирая книги о детстве, автор привлекает произведения С. Аксакова, Л. Толстого, М. Горького, А. Толстого, В. Пановой, В. Катаева, В. Смирнова, Г. Бёлля; М. Грегора) присуще статьям сборника в той же мере, что и постоянный интерес к стиливой манере писателя, к языку и к отдельным художественным деталям.

Разумеется, не все статьи равноценны. По точности и глубине анализа в числе лучших следует назвать в первую очередь статьи об исторической прозе Ю. Тынянова и историческом романе Л. Фейхтвангера, статью о лирике Н. Хикмета, а также очерк творчества А. де Сент-Экзюпери. Менее удачной представляется статья «Роман карьеры и роман о чести профессии».

Сборники статей обычно читаются «выборочно». Читателю, любящему современную литературу, хотелось бы посоветовать прочитать сборник статей Т. Хмельницкой целиком, с начала и до конца. И не только потому, что это обогатит его представление о творчестве многих талантливых мастеров советской и зарубежной литературы, но и потому, что позволит ему близко познакомиться с автором интересной и умной книги.

А. Старков.

РАССКАЗ О ПОХИЩЕНИИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ДЖОНА ТЕННЕРА (ПЕРЕВОДЧИКА НА СЛУЖБЕ США В СОСЕНТ-МАРИ) В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ-ЛЕТНЕГО ПРЕБЫВАНИЯ СРЕДИ ИНДЕЙЦЕВ В ГЛУБИНЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 360 стр. Цена 85 к.

Записки эги, вышедшие в Нью-Йорке более ста тридцати лет назад, издаются на русском языке впервые. Однако с кратким их содержанием русский читатель ознакомился еще в 1836 году по подробной рецензии, опубликованной в трезвеей книге журнала «Современник» за подписью «The Reviewer».

Рецензентом был не кто иной, как А. С. Пушкин, которого глубоко потрясла и трагическая участь согнанных со своих исконных земель индейцев и неприкрытый цинизм прославленной американской демократии. «Эти «Записки», — писал он, — драгоценны во всех отношениях. Они самый полный, и вероятно последний, документ бытия народа, коего скоро не останется и следов. Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека; показания простодушные и бесстрастные, они наконец будут свидетельствовать перед светом о средствах, которые Американские Штаты употребляли в XIX столетии к распространению своего владычества и христианской цивилизации».

Страшную правду поведал миру Джон

Теннер, который сам как бы стал индейцем, прожив три десятилетия среди охотничьих племен американской тайги. И не удивительно, что его индейцы куда менее поэтичны, чем те, которых описали Шатобриан и Кюпер, закрасив истину «красками своего воображения».

Тисненная на переплете скорбная фигура индейца, плывущего в самодельном каноэ, как бы предвещает, что рассказ будет далеко не веселым. С границы за страницей повествуют о полуголодной и полной опасности жизни звероловов-охотников, о жесточайшей их эксплуатации конкурирующими американскими компаниями, скупающими за бесценок с таким трудом добытую пушнину, о суевериях, которые так ловко используют в своих интересах посланцы «великого духа», «о скотских оргиях, о ссорах, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованности».

Обилие историко-этнографических данных превращает эту книгу в подлинный документ, освещающий историю колонизации североамериканского континента.

Русскому изданию книги (в текст которой бережно включены отрывки, переведенные А. С. Пушкиным) предпослаю обстоятельное предисловие Ю. П. Аверкиевой (она же снабдила книгу ценными подстрочными примечаниями), а также полное гнева к колонизаторам и сострадания к гонимым индейским племенам введение Эдвина Джемса, записавшего со слов Теннера печальную повесть его жизни.

В. Владимиров.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О научном коммунизме. Сборник. 384 стр. Цена 64 к.

Послание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева главам государств (правительств) стран мира. 31 декабря 1963 года. 16 стр. Цена 2 к.

Н. Хрущев. Проблемы национально-освободительной борьбы. Ответы на вопросы редакций газет «Ганиэн таймс», «Альже репюбликэн», «Пёпль» и «Ботатаун». 32 стр. Цена 3 к.

А. Биневич, З. Серебрянский. Андрей Бубнов. 80 стр. Цена 11 к

П. Большевинов, Г. Горбунов. Ольга Афанасьевна Варенцова. 64 стр. Цена 8 к.

Н. Иванов, Н. Матковский. Великие основоположники марксизма По материалам Музея К. Маркса и Ф. Энгельса. 184 стр. Цена 35 к.

Революционно-исторический календарь-справочник на 1964 год. 312 стр. Цена 66 к.

Н. Салехов. Ян Борисович Гамарник. Очерк о жизни и деятельности 80 стр. Цена 10 к.

Страны социализма и капитализма в цифрах. Краткий статистический справочник. 208 стр. Цена 28 к.

С. Токарев. Религия в истории народов мира. 560 стр. Цена 1 р. 20 к.

«МЫСЛЬ»

Б. Вернер. «...Голодать и повиноваться». Историкография на службе германского империализма. 296 стр. Цена 1 р. 30 к.

История экономических учений. 550 стр. Цена 82 к.

Д. Чесноков. Исторический материализм. 496 стр. Цена 88 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Андреев. Детство. Повесть о Л. Н. Андрееве. 291 стр. Цена 50 к.

С. Валиев. Жемчужный дождь. Повести и рассказы. 311 стр. Цена 59 к.

А. Венцлова. Серебро севера. Очерки. Перевод с литовского. 156 стр. Цена 37 к.

С. Давыдов. Приди к огню. Стихи. 80 стр. Цена 12 к.

А. Дельвиг. Стихотворения. 385 стр. Цена 41 к.

О. Десняк. Десну перешли батальоны. Тургайский сокол. Роман и повесть. Перевод с украинского. 584 стр. Цена 1 р. 8 к.

В. Карпов. Немиги кровавые берега. Роман. Перевод с белорусского. 528 стр. Цена 1 р.

М. Луконин. Товарищ поэзия. 328 стр. Цена 55 к

Л. Любимов. На чужбине. Воспоминания 416 стр. Цена 70 к.

О. Маркова. Первоцвет. Роман. 304 стр. Цена 59 к.

Н. Реут, М. Скрябин. Русский запад. Повесть. 292 стр. Цена 52 к.

Ф. Туглас. К своему солнцу. Роман. Новеллы. Перевод с эстонского. 624 стр. Цена 90 к.

О. Черный. Забытые мотивы. Повесть и рассказы. 448 стр. Цена 80 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ф. Вайскопф. Лисси. Роман. Перевод с немецкого. 248 стр. Цена 79 к.

С. Загорчинов. Праздник в Бояне. Роман. Перевод с болгарского. 291 стр. Цена 47 к.

А. Луначарский. Собрание сочинений в восьми томах. Том 1. 616 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Миколайтис-Путинас. В тени алтарей. Роман. Перевод с литовского. 616 стр. Цена 1 р. 36 к

Поэты Югославии XIX—XX вв. Переводы с сербохорватского, словенского и македонского. 667 стр. Цена 87 к.

Сказки народов Индии. Переводы с языков маратхи, нанджаби, тамили, телугу, хинди. 516 стр. Цена 59 к.

Словацкая поэзия XIX—XX вв. 407 стр. Цена 59 к.

Г. Фаллада. Что же дальше, маленький человек? Роман. Перевод с немецкого. 359 стр. Цена 1 р. 12 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Мулк Радж Ананд. Гаури. Роман. Перевод с английского. 190 стр. Цена 47 к

И. Кальвино. Кот и полицейский. Избранное. Перевод с итальянского. 432 стр. Цена 1 р. 9 к

М. Поповский. По следам отступающих. 256 стр. Цена 57 к.

Б. Рейман. Вступление в будни. Роман. Перевод с немецкого. 255 стр. Цена 60 к.

Г. Семенов. Сорок четыре ночи. Рассказы. 224 стр. Цена 32 к.

Н. Степанов. Крылов (Жизнь замечательных людей). 320 стр. Цена 66 к.

ДЕТГИЗ

С. Алексеев. Сын великана. Братишка. Исторические повести. 224 стр. Цена 43 к.

А. Батров. Барк «Жемчужный». Рассказы. 112 стр. Цена 24 к.

А. Волков. Скитанья. Исторический роман. 304 стр. Цена 71 к

Ю. Гареев. Наша Банат. Документальная повесть. Перевод с башкирского. 160 стр. Цена 39 к.

С. Гиацинтова. Жизнь театра. 208 стр. Цена 63 к

Н. Дубов. Небо с овчинку. Повесть. 192 стр. Цена 57 к.

С. Григорьев. Кит на лине. 112 стр. Цена 30 к.

В. Железников. Путешественник с багажом. Повести. 128 стр. Цена 30 к.

С. Йоунесон. Сага о малыше Хьялти. Повесть. Перевод с исландского. 184 стр. Цена 62 к

А. Линдгрэн. Расмус-бродяга. Повесть. Перевод со шведского. 160 стр. Цена 35 к.

А. Марквичус. Призраки подземелья. Повесть. Перевод с литовского. 176 стр. Цена 34 к

Нет, Тельман не погиб! Рассказы и воспоминания об Эрнсте Тельмане. Перевод с немецкого. 114 стр. Цена 43 к.

В. Пальман. Красное и зеленое. Роман. 248 стр. Цена 65 к.

Р. Фраерман. Золотой Василек. Роман. 288 стр. Цена 70 к.

Г. Хольц-Баумерт. Злоключения озорника. Перевод с немецкого. 192 стр. Цена 38 к.

Г. Чижевский. В дебрях времени. Палеонтологическая фантазия. 160 стр. Цена 38 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Б. Бухаров. Образование американо-японского военного союза. 1945—1952. 129 стр. Цена 40 к.

Л. Гатаулина. Монгольская Народная Республика в социалистическом содружестве. 234 стр. Цена 80 к.

Иран. Сборник статей. 268 стр. Цена 1 р. 10 к.

Х. Эйбус. СССР и Япония. Внешнеполитические отношения после второй мировой войны. 194 стр. Цена 62 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Заседания Верховного Совета СССР шестого созыва. Третья сессия (16—19 декабря 1963 г.). Стенографический отчет. 580 стр. Цена 1 р. 1 к.

Заседания Верховного Совета РСФСР шестого созыва. Вторая сессия (24—25 декабря 1963 г.). Стенографический отчет. 232 стр. Цена 52 к.

Список районов, упраздненных в связи с укрупнением сельских и образованием промышленных районов (декабрь 1962 г.— февраль 1963 г.). 180 стр. Цена 58 к.

«ИСКУССТВО»

Самое важное из всех искусств. Ленин о кино. Сборник документов и материалов. 198 стр. Цена 65 к.

Э. Ацаркина. Брюллов. 534 стр. Цена 5 р. 39 к.

Ф. Вольф. Пьесы. 664 стр. Цена 1 р. 18 к.

А. Михайлов. Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. 80 стр. Цена 32 к.

А. Раскин. Шалапин и русские художники. 162 стр. Цена 1 р. 20 к.

«НАУКА»

С. Березовская. Охрана прав граждан советской прокуратурой. 263 стр. Цена 87 к.

Возможное и невозможное в кибернетике. Сборник статей. 224 стр. Цена 50 к.

А. Западов. Русская журналистика XVIII века. 234 стр. Цена 32 к.

И. Ильинская. О богатстве русского языка. 72 стр. Цена 11 к.

Л. Карлик. Клод Бернар. 271 стр. Цена 82 к.

В. Ключко. Народ — себе. Культура новой Чехословакии. 128 стр. Цена 1 р. 95 к.

Н. Крупская. Из атеистического наследия. 308 стр. Цена 1 р. 6 к.

Е. Левитан. Природа солнечных пятен. 128 стр. Цена 21 к.

Марксистская и буржуазная социология сегодня. 479 стр. Цена 1 р. 95 к.

Микроэлементы в некоторых почвах СССР. 164 стр. Цена 74 к.

Н. Многолетова. Формы концентрации в промышленности США и характер связей между предприятиями. 304 стр. Цена 1 р. 11 к.

М. Панов. И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках. 168 стр. Цена 24 к.

Ф. Пиццель. Лирический эпос Маяковского. 196 стр. Цена 40 к.

Принципы издания эпистолярных текстов. Вопросы текстологии. Выпуск 3. 308 стр. Цена 1 р. 37 к.

Сравнение двух систем. Проблемы экономической науки. 304 стр. Цена 1 р. 58 к.

В. Стеклов. Ленинский план электрификации в действии. 160 стр. Цена 24 к.

Б. Трутовский. Резервы сокращения сроков проектирования и подготовки производства. 184 стр. Цена 70 к.

Физиологическое обоснование системы питания растений. 340 стр. Цена 1 р. 64 к.

Ю. Флаксерман. Глеб Максимилианович Кржижановский. 248 стр. Цена 91 к.

К. Циолковский. Реактивные летательные аппараты. 476 стр. Цена 2 р. 26 к.

Вильям Шекспир. К четырехсотлетию со дня рождения. 1564—1964. Исследования и материалы. 488 стр. Цена 1 р. 57 к.

РЯЗАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. Кожемяко. Перед дальней дорогой. Повесть о детстве и юности Ивана Павлова. 160 стр. Цена 41 к.

С. Шкурлатов и А. Меретин. Любовь моя, Каменка. Повесть. 96 стр. Цена 16 к.

ТЮМЕНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Бабкин. Человек крепче стали. Повесть. 175 стр. Цена 43 к.

Л. Лапцуй. Камень с надписью. Рассказы. Перевод с немецкого. 63 стр. Цена 10 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 5-81-77.

Почтовый адрес: Москва, К В. ул. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 24/1 1964 г.

Объем 18 п. л.

Подписано к печати 13/II 1964 г.

А 02035.

Формат бумаги 70×108^{1/8} мм.

9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)

Зак. 183.

Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636